О. М. Сомов

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ



О. М. Сомов БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ

О. М. Сомов



Москва
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1984

Р1
С61

Составление, вступительная статья и примечания
Н. Н. Петруниной

Художник *Е. М. Дробязин*

$С\frac{4702010100—377}{М\text{-}105(03)84}$ 88—84

ОРЕСТ СОМОВ И ЕГО ПРОЗА

Литературная судьба Ореста Сомова удивительна. После полутора десятилетий живого участия в самых разнообразных журналах и альманахах своего времени — в незаметной издательской работе и в шумных журнальных сшибках, в создании литературной теории русского романтизма и в опытах творческого ее воплощения — этот рано умерший литератор, уйдя из жизни, ушел и из памяти своих литературных друзей и недругов. Можно было бы подумать, что его попросту забыли, как забывают ничем не примечательных людей. Однако много лет спустя, воссоздавая в своих «Записках» литературную жизнь конца 1810-х — начала 1830-х гг., Н. И. Греч не просто набросал литературный портрет Сомова, а счел нужным создать свою версию истории его отношений с издателями «Северной пчелы» и по-своему осветить причины разрыва, которым окончилось сотрудничество с ними Сомова. С годами сложилась и совсем уже странная картина. О Сомове непременно вспоминают, когда говорят о писателях-декабристах — А. Бестужеве и Рылееве и об их альманахе «Полярная звезда», имя Сомова неизбежно возникает рядом с именем Дельвига — издателя «Северных

цветов» и «Литературной газеты», мимо Сомова не проходит ныне исследователь литературных дебютов Гоголя, множится число замеченных параллелей между произведениями Сомова и творчеством самого Пушкина. Сомов вошел и в историю русской журналистики, и в историю отечественной фольклористики, его никак нельзя причислить к забытым деятелям пушкинской поры. Но известен он сейчас более своим участием в литературных предприятиях эпохи, нежели как творческая личность. К тому же, как это ни парадоксально, Сомова-критика знают лучше и перепечатывают чаще, чем Сомова-художника, автора стихов и прозы. Между тем этот скромный писатель — участник не тех пиршеств ума и таланта, которыми богата эпоха 1820-х — 1830-х гг., а ее будничной, повседневной жизни — оставил свой след в истории формирования русской прозы.

1

Орест Михайлович Сомов, выходец из старинного, но обедневшего дворянского рода, родился 10(11?) декабря 1793 г. в г. Волчанске Харьковской (б. Слободско-Украинской) губернии. Сведения о прошедших на Украине детстве и юности Сомова (как, впрочем, и о жизни его вообще) крайне скудны и отрывочны, извлекаются по преимуществу из его произведений и из немногих замечаний современников. Полученное им воспитание характерно для времени и среды: за начальным домашним обучением последовал частный пансион какого-то иностранца, затем Харьковский университет, куда будущий писатель поступил в 1809 г. В то время Харьков был крупным культурным центром; в университете читали лекции сподвижник Н. И. Новикова И. С. Рижский и многие известные деятели украинской культуры, связан был с университетом его недавний выпускник, поэт-сатирик А. Н. Нахимов. В городе издавались журналы «Харьковский Демокрит» и «Украинский вестник», где Сомов с 1816 г. помещал ранние свои литературные опыты. Сотрудничать в этих журналах он продолжал и в первые месяцы жизни в Петербурге. Уже в Харькове Сомов выступает одновременно как поэт и прозаик, с оригинальными и переводными произведениями.

В конце 1817 г. Сомов уже в Петербурге: декабрем 1817 г. помечено его «Письмо украинца из столицы», опубликованное в «Украинском вестнике» (1818, ч. 9). Быстроте, с какой завязываются литературные его связи, вероятно, способствовали украинские земляки: собиратель и исследователь русского и украинского фольклора Н. А. Цертелев, поэт В. И. Туманский и др. С 1817 г. Сомов активно сотрудничает в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств, 30 мая 1818 г. он становится членом этого общества; его сочинения и переводы появляются в журнале «Благонамеренный». 13 мая того же года Сомов принят в число сотрудников, а 24 мая 1820 г.— действительных членов Вольного общества любителей российской словесности. Последнее, как и издававшийся им журнал «Сорев-

нователь просвещения и благотворения», в котором Сомов участвует как поэт, прозаик и критик, находилось под идейным влиянием ранних декабристских организаций.

Летом 1819 г. Сомов отправился за границу. Он посетил Краков, Вену, провел несколько месяцев в Париже и в мае 1820 г. через Дрезден вернулся в Петербург. Сомов-путешественник внимательно всматривался в культурную жизнь, знакомился с новейшей литературой и искусством Западной Европы, с образом жизни, общественными нравами и установлениями, наблюдал особенности национальных характеров, сопоставлял виденное с тем, что осталось дома. Его впечатления легли в основу путевых писем, обращенных к петербуржским литераторам — А. Е. Измайлову, Н. А. Цертелеву, Ф. Н. Глинке, А. Р. Шидловскому — и по возвращении в Петербург напечатанных в «Соревнователе», «Сыне Отечества», «Благонамеренном». Непосредственное наблюдение европейской жизни не прошло бесследно и для цикла повестей Сомова «Рассказы путешественника».

Сомов вернулся в Петербург, когда общество «соревнователей» переживало один из самых драматических моментов своего существования. В. Н. Каразин — в прошлом либеральный деятель начала александровского царствования, инициатор создания Харьковского университета — выступил с запиской, в которой он подчеркивал серьезность патриотических задач и просветительских целей общества, но в реальной трактовке этой программы исходил из отрицания идей Великой французской революции, а критикуя деятельность общества, ополчался против выступлений молодых, прогрессивно мыслящих его членов. В условиях общественно-литературной жизни начала 1820-х годов выступление Каразина разделило «соревнователей» на две партии: правую, умеренную, и левую, ратовавшую за насущные общественно-политические преобразования. Сомов оказался среди сторонников Каразина. Была ли его позиция выражением политической умеренности? Вряд ли, если учесть, что еще перед поездкой за границу Сомов перевел с французского басню Ж. Буассара «История», с которой исследователь общества «соревнователей» связывает «начало борьбы в «ученой республике» за гражданский романтизм»[1]. К этому следует прибавить, что в 1821 г. Сомов напечатал в «Благонамеренном» «Песнь о Богдане Хмельницком — освободителе Малороссии». А в январе 1822 г. он открыл заседания «соревнователей» чтением стихотворения «Греция. (Подражание Ардану)». Концовка стихотворения, где тема борьбы за освобождение Греции перерастает в тему тираноборчества, принадлежит перу русского поэта-переводчика и отмечена взлетом вольнолюбивой гражданской патетики. Эти факты (а их легко дополнить) заставляют, скорее, предположить, что позицию Сомова определило другое: на стороне Каразина оказались все члены общества, связанные с Украиной и поддержавшие Сомова при его недавних литературных дебютах.

---

[1] Базанов В. Г. Ученая республика. М.— Л., 1964, с. 106.

В начале 1820-х гг. Сомов выдвигается в первые ряды «соревнователей», приобретает известность как участник журнально-литературной борьбы преддекабрьских лет. Еще оставаясь сотрудником «Благонамеренного» (хотя предпочтение, отдаваемое им «Соревнователю», год от года очевиднее), он — в качестве поэта, критика, театрального рецензента, очеркиста, переводчика — выступает на страницах околодекабристского «Невского зрителя» и «Сына Отечества». Близкий поначалу к А. Е. Измайлову, посетитель литературного салона С. Д. Пономаревой, к хозяйке которого он одно время питал неразделенное чувство, Сомов постепенно сближается с А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым.

Общее внимание привлекло острое, полемически пристрастное выступление Сомова (1821) с разбором перевода В. А. Жуковского из Гете «Рыбак». В ходе полемики, вызванной этой статьей, Сомов настаивал на принципиальности своей критики, подчеркивал, что он стремился побудить «отличного стихотворца» и его последователей отказаться от «западных, чужеземных туманов и мраков», ибо «истинный талант должен принадлежать своему отечеству», «должен возвысить славу природного языка своего, раскрыть его сокровища и обогатить оборотами и выражениями, ему свойственными»[1]. Эта программная установка Сомова-эстетика получила развитие в его трактате «О романтической поэзии» — одном из важнейших памятников русской эстетической мысли эпохи декабризма, появившемся в 1823 г. в «Соревнователе». Основная мысль критика в том, «что народу русскому... необходимо иметь свою народную поэзию, неподражательную и независимую от преданий чуждых», и самый верный путь к созданию национальной словесности — обращение к живым источникам народной поэзии, «нравов, понятий и образа мыслей», к сокровищам родной природы и истории. Другой важный тезис сомовского трактата уточняет первый: «весь мир видимый и мечтательный есть собственность поэта», «ограничить поэзию русскую воспоминаниями, преданиями и картинами нашего отечества... это было бы налагать новые оковы на гения», ибо, о чем бы ни писал поэт, «в каждом писателе, особливо в стихотворце, как бы невольно пробиваются черты народные»[2]. Эту программу Сомов стремился по мере сил практически реализовать в собственном творчестве.

В конце 1822 г. Сомов оказывается в числе участников альманаха Бестужева и Рылеева «Полярная звезда на 1823 г.», а в исходе следующего, 1823 г. наряду с будущими декабристами — Н. И. Кутузовым, Рылеевым, А. О. Корниловичем, Н. А. Бестужевым — входит в «домашний комитет», который в критический момент способствовал сохранению «Соревнователя», оказавшегося на грани прекращения. Можно полагать, что именно благодаря содействию Рылеева почти одновременно с последним поступает он в 1824 г. на службу в Российско-американскую компанию, где по

[1] Невский зритель, 1821, ч. V, кн. 2, с. 279.

[2] Соревнователь просвещения и благотворения, 1823, ч. XXIV, кн. 11, с. 147, 145, 143, 125.

должности своей столоначальника оказывается помощником того же Рылеева. Все это время Сомов живет в доме компании, по соседству с Рылеевым, ежедневно общается с ним по службе и, не участвуя в политических сходках будущих декабристов, становится постоянным участником их литературных собраний и предприятий.

Зимой 1824 г. внимание литературного Петербурга занимала примечательная новинка — «Горе от ума». Автор рукописной комедии после нескольких лет отсутствия появился в столице за полгода до этого. По свидетельству Д. И. Завалишина, «в исходе 1824-го» года почитатель Грибоедова Сомов познакомил его с драматургом. Тот же Завалишин вспоминал, что в это время (судя по всему, вскоре после петербургского наводнения, когда Сомов и А. Бестужев в отсутствие Рылеева жили в его квартире и готовили «Полярную звезду на 1825 г.») Грибоедов часто бывал у Сомова[1]. Неудивительно поэтому, что когда Сомов вмешался в журнальные споры о «Горе от ума», он не только по достоинству оценил великую комедию и горячо защищал ее от нападок консерватора и литературного старовера М. А. Дмитриева, но и обнаружил знакомство с авторским ее замыслом.

С сентября 1825 г. в квартире Сомова жил А. Бестужев.

Что сближение Сомова с писателями-декабристами имело основой, помимо его ценных деловых качеств писателя, критика, незаменимого в издательской практике повседневного работника, сходство литературных, а отчасти — и гражданских позиций, видно по литературным выступлениям Сомова. О стихах его, созвучных передовым настроениям эпохи, мы уже упоминали в связи с деятельностью Сомова в обществе «соревнователей»; переведенные им в 1824—1825 гг. «Записки полковника Вутье о нынешней войне греков» завоевали популярность в среде декабристов и нашли применение в их агитационной работе; в приветственном отзыве Сомова о «Полярной звезде на 1825 г.» нетрудно узнать его любимые мысли, известные нам по выступлениям 1821—1823 гг. «...Заметно было с самого появления «Полярной звезды» (в 1823 г.),— читаем в этой рецензии,— что в ней преимущественно, и стихи и проза, говорили нам о нашей отчизне или посвящены были ее воспоминаниям... Желательно, чтобы... «Полярная звезда» приобрела славу еще прочнейшую и блистательнейшую — заставила бы русских читателей... полюбить все русское: и великие наши воспоминания, и коренные обычаи, и язык звучный и благородный»[2].

Последнее звено в истории сотрудничества Сомова с А. Бестужевым и Рылеевым — написанная им для «Звездочки» (так был назван альманах на 1826 г.) «малороссийская быль» «Гайдамак». После декабрьского восстания отпечатанные листы альманаха были конфискованы, а вскоре был арестован Сомов: некоторые из декабристов в своих показаниях назвали его имя в ряду имен членов общества. Материалы следствия говорили, одна-

[1] А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980, с. 129—130.

[2] Северная пчела, 1825, № 41, 4 апреля.

ко, о непричастности скромного литератора к политической деятельности его друзей, и в начале 1826 г. он был выпущен на свободу.

Положение Сомова, над которым только что тяготело столь серьезное политическое подозрение, осложнялось еще и тем обстоятельством, что он был одним из первых у нас профессиональных литераторов и, лишившись службы в Российско-американской компании, должен был зарабатывать на жизнь исключительно литературным трудом. В условиях когда «Соревнователь» прекратил существование, «Звездочка» так и не взошла на литературный небосвод, «Благонамеренный» вконец захирел и доживал свои дни, сотрудничество Сомова с недавними друзьями казненных или сосланных декабристов — Гречем и Булгариным, завязавшееся еще в преддекабрьские времена, упрочилось, более того, Сомов впервые со времени вступления своего на литературное поприще оказался в зависимом положении. В довершение всего писателю так и не были возвращены из Следственного комитета его бумаги, между которыми, по его свидетельству, было «несколько начатых и почти уже оконченных повестей»[1]. Первое время Сомов занимается почти исключительно переводами и печатает их в «Северной пчеле». Тем более примечательно, что среди единичных оригинальных его выступлений 1826 г. — две рецензии на сочинения видного деятеля Союза Благоденствия, руководителя «ученой республики» Ф. Н. Глинки, признанного «прикосновенным» к делу декабристов и только что сосланного в Петрозаводск.

К концу 1826 г. у Сомова завязываются литературные отношения с Дельвигом — издателем альманаха «Северные цветы». Поначалу он дает в альманах повесть «Юродивый», а с 1827 г. становится помощником Дельвига по изданию «Северных цветов» и постоянным вкладчиком «прозаической» части альманаха. Ни одна его книжка не обходится отныне без повестей Сомова, а для «Цветов» на 1828, 1829, 1830-й и 1831-й гг. Сомов, продолжая основанную А. Бестужевым традицию, пишет годичные обозрения российской словесности.

Сотрудничество в «Северных цветах» способствовало сближению Сомова с пушкинским кругом литераторов. Со времени основания в 1830 г. «Литературной газеты» он окончательно порывает с Гречем и Булгариным, навлекая на себя их мстительные нападки. В позднейших своих «Записках» Греч постарался свести дело к особенностям характера Булгарина и бросить тень на мотивы, которыми руководствовался Сомов. Можно полагать, однако, что на деле все было не так просто. И определившаяся к началу 1830-х гг. одиозная репутация Булгарина и Греча, и притягательная перспектива освобождения от пут «коммерческой словесности», возможность работы в изданиях Дельвига, бок о бок с самим Пушкиным, достаточно объясняют выбор, сделанный Сомовым.

Ко времени, когда Орест Сомов пришел в «Северные цветы», он был

---

[1] Московское обозрение, 1877, № 22, с. 228.

одной из центральных фигур украинского литературного землячества в Петербурге, опорой начинающих земляков, вроде А. В. Никитенко. И не только Никитенко. В 1829 г. Сомов оказался единственным критиком, рассмотревшим в авторе «Ганца Кюхельгартена» «талант, обещающий в нем будущего поэта». Отзыв Сомова не оставляет сомнений, что уже в это время он лично знал «осьмнадцатилетнего стихотворца» Гоголя. Именно в период участия Сомова в изданиях Дельвига в «Северных цветах» (на 1831 г.) появилась «глава из исторического романа» Гоголя «Гетьман», а в «Литературной газете» — ряд его статей и художественно-повествовательных фрагментов. В те же годы Сомов поддерживает дружеские отношения с М. А. Максимовичем, заручаясь его сотрудничеством в петербургских изданиях; привлекает в «Северные цветы» И. П. Котляревского и популяризирует в столице его творчество; записывает тексты украинских народных песен; стремится сблизить Гоголя и Максимовича на почве общих для них этнографических и фольклорных интересов...

В ноябре 1830 г. «Литературная газета» подверглась цензурным гонениям и была запрещена. После усиленных хлопот ее через месяц удалось возобновить, но при условии смены издателя. Официальным редактором-издателем стал Сомов, который продолжал выпускать газету и тогда, когда Дельвига не стало,— до конца июня 1831 г.

Смерть Дельвига 14 января 1831 г. явилась для Сомова глубоким душевным потрясением. «Он был искренно к нему привязан — и смерть нашего друга едва ли не ему всего тяжеле»,— писал Пушкин П. А. Плетневу 31 января 1831 г. «Не дай бог никому увидеть такое время, понести такую потерю!» — восклицал сам Сомов, обращаясь к М. А. Максимовичу. С Дельвигом он потерял не только друга, но дом, в дружеский кружок которого он был принят как свой, где его полюбили и оценили. На первых порах деловые отношения Сомова с друзьями Дельвига остаются внешне прежними. Выходит «Литературная газета». Пушкин, призывая «помянуть» Дельвига «Северными цветами», заботится о том, как бы это не нанесло ущерба Сомову. Однако в жизни Сомова близился новый катастрофический перелом. К газете Вяземский и Пушкин утратили интерес, уровень ее заметно понизился, и вскоре ее «заели» литературные «шпионы»-конкуренты. Но дух Сомова не сломлен, у него «затей, затей! полны карманы» (письмо к А. С. Пушкину от 31 августа 1831 г.). Он собирается издать в 1832 г. «6 книжек литературы, критики, библиографии и пр.», чтобы удовлетворить подписчиков за недоданные полгода газеты (письмо к М. А. Максимовичу от 9 ноября 1831 г.). «Подвигается к концу» и собирается «выказать нос из-под спуда» «Гайдамак» (то же письмо к Пушкину) Сомов увлеченно сочиняет малороссийские были и еще находит время переводить: теперь у него семья, летом 1831 г. родился сын, растут расходы. В апреле 1832 г. А. В. Никитенко записывает в дневнике, что Сомов «печатает» свои повести, а еще раньше неутомимый преследователь Сомова А. Ф. Воейков, до которого дошли какие-то слухи об этих замыслах, за-

благовременно нападает в печати на так никогда и не вышедшие отдельные издания «Гайдамака» и «Рассказов путешественника». Реально же после закрытия «Литературной газеты» Сомов печатает переводы, ставшие для него основным средством существования, дает то критику, то повесть в журнальчик М. А. Бестужева-Рюмина «Гирланда» и — главное — готовит дружескую тризну по Дельвиге — «Северные цветы».

Летом 1831 г. Пушкин принял решение: «выдадим «Северные цветы» в пользу двух сирот», братьев покойного Дельвига. Основная тяжесть хлопот по изданию (и привычных — литературных, и торгово-коммерческих, прежде приходившихся на долю Дельвига) пала на Сомова. Надежд альманах не оправдал, ожидаемой прибыли не принес. А раз Сомов ведал продажей книжек, неудовольствие Пушкина обратилось на него. Литературные противники и просто недоброжелатели Сомова разносили слух, будто он присвоил выручку за альманах и отстранен от дел издания. Последнее было вполне достоверно. Сомов не оправдывался, а просто признавал, что «арифметическая бестолковость» никогда не доводила его до добра, и предоставлял в погашение дефицита настоящие и будущие свои доходы. Между тем он был болен и работал с трудом. Письмо его к Пушкину полно достоинства и горечи. В нем еще сказывается недавняя близость отношений, но нет и следа радостного одушевления, которым дышали прежние письма Сомова к поэту. Если до этого у него сохранялась хотя бы иллюзия дружеских отношений с близкими Дельвигу людьми, теперь она рассеялась. Оставалась «коммерческая словесность», где без милости поносили и Сомова и его сочинения, но про себя знали цену этому незаменимому журнальному работнику и рады были поставить его на место, превратив в «литературного илота». После того как Воейков год за годом забрасывал его журнальной грязью, Сомов, оказавшись без пристанища, печатается на страницах воейковских «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду». А потом настало время снова идти на поклон к Гречу, искать заработка в «Северной пчеле» и «Сыне Отечества». Но испытания его близились к концу. 27 мая 1833 г. Сомов умер на сороковом году жизни. «Литературные прибавления» откликнулись на смерть своего недолгого сотрудника некрологом, писанным Л. Якубовичем, где впервые было отдано должное «истинному жрецу муз, посвятившему всю жизнь свою единственно литературе».

2

Две стороны деятельности Сомова определяют его вклад в историю отечественной словесности. Сомов — эстетик и критик — не только один из главных представителей декабристского направления в литературно-эстетической мысли своего времени, но и предшественник Надеждина и Белинского. В трактате «О романтической поэзии» он выступил как провозвестник исторического взгляда на развитие литературы, проследил в ее движе-

нии смену последовательных закономерных этапов. Говоря о своеобразии классической и романтической словесности, критик подверг анализу самое понятие романтической поэзии, различая в романтизме разные тенденции. Путь к созданию самобытной русской литературы он видит в обращении и к национальному прошлому, и к фольклору, нравам, обычаям народов, населяющих «все пространство родного края», и к «всему миру видимому и мечтательному» современной жизни. Тезисы, близкие материалистической эстетике, Сомов положил в основу ряда полемических статей 1825 г. Он отстаивал в них мысль, что форма «зарождается в душе» поэта «вместе с самою идеею» и что «сотворить что-либо вне природы, или, по крайней мере, несходное с каким-либо из предметов чувственных, есть физически невозможное для человека даже с самым пылким воображением»[1].

Именно эти исходные эстетические принципы позволили Сомову-критику столь глубоко и верно оценить «Горе от ума». Они же побудили его в 1827 г. выступить в роли переводчика той части «Жизни Шекспира» Гизо, которая посвящена разбору шекспировских трагедий, и в частности «Гамлета». «Гамлет служит в какой-то мере прообразом современного героя»,— читаем мы здесь. И далее: «Почва, на которой воздвигается новое искусство», указана «системой Шекспира», объемлющей «ту всеобщность чувствований и состояний, которая составляет ныне для нас позорище дел житейских»[2].

Другая область, где этот даровитый литератор оставил заметный след,— русская повесть. Именно Сомову выпала в середине 1820-х гг. роль одного из пролагателей новых ее путей.

В истории всякой литературы бывают моменты, когда кипучая подспудная работа не приносит зрелых совершенных плодов, но исподволь готовит приближающийся взрыв. Таковы были 20-е годы прошлого столетия в истории русской прозы. Ведущую роль в литературном развитии по-прежнему сохраняла поэзия, но новое поколение прозаиков, выступившее в начале десятилетия, могло уже опереться на опыт и на завоевания предшественников: с конца XVIII в. проза год за годом отвоевывала у стихотворных жанров все более широкий круг тем и предметов. На протяжении двух первых десятилетий XIX в. в прозе явственно различались две основные тенденции. Одна, связанная по преимуществу с разработкой большого повествовательного жанра — романа, осваивала, совмещала и развивала традиции просветительской сатирической журналистики XVIII в. и низовой демократической литературы. Элементы сатиры на нравы в сочинениях А. Е. Измайлова или В. Т. Нарежного нанизывались на нить авантюрных похождений героя и неизменно приправлялись назиданием. Такой роман по-прежнему не сопоставлялся с произведениями «высокой» литературы и сохранял особую читательскую среду. Лишь последним завершенным

[1] Северная пчела, 1825, № 41, 4 апреля; Сын отечества, 1825, ч. CIII, № 20, с. 473.

[2] Сын отечества, 1827, ч. CXIII, № 9, с. 61.

своим произведением («Два Ивана, или Страсть к тяжбам», 1825) Нарежный поколебал предрассудок, будто «наш народный быт не имеет или имеет мало оконечностей живописных»[1], которые могли бы послужить основой для создания русского романа. Мыслящие современники без колебаний отдавали предпочтение другой линии развития прозы. Признанным и непревзойденным мастером ее был Н. М. Карамзин — автор эпистолярного «путешествия», прозаических миниатюр, повестей. Повести Карамзина при всем своем разнообразии неизменно отличаются артистической простотой и ясностью построения, стилистическим изяществом и завершенностью. Но главное их завоевание — изображение внутреннего мира мыслящей и чувствующей личности, то, что до Карамзина оставалось достоянием лирики и драматургии. После наполеоновских войн, в годы преддекабрьского общественного брожения стало очевидно, что движение, заданное русской повести Карамзиным, исчерпало себя. Он сам «Историей государства Российского» выдвинул перед русской прозой новые задачи.

Еще в начале XIX в. литературное направление и жанр настраивались как бы по одному камертону. Средний участник литературного процесса следовал общепризнанным законам жанра. Тип героя, сюжета, самый набор средств поэтического выражения складывались в некую устойчивую систему, образовывали жанровое «клише». Повествователи-карамзинисты, не достигая уровня Карамзина-прозаика, не только не переступали жанрово-стилистических границ, им обозначенных, но и разрабатывали, как правило, лишь одну из созданных им модификаций повести.

В первой половине 1820-х гг. положение решительно меняется. Еще выходят в свет очередные тома «Истории» Карамзина, выступает с путевыми очерками Жуковский, интенсивно работает и печатается Нарежный, но лицо прозы с начала десятилетия определяют литераторы нового поколения. Инерция предшествующего литературного развития дает пока о себе знать, проявляясь в преимущественном интересе к привычным жанрам путевого и нравоописательного очерка, повести, к литературным «мелочам». Однако те изменения, которые медленно с начала века накапливались внутри каждого жанра, подготовили выход за пределы жанровых стереотипов, и тех, что достались в наследство от классицизма и сентиментализма, и новых, быстро возникавших в литературе преромантизма. Как ни очевидны завоевания А. Бестужева, который от повести к повести совершенствовал свое искусство, обретал все новые и новые возможности отражения предметного мира и умственной жизни эпохи, неразработанность у нас приемов прозаического повествования способствовала тому, что под его пером повесть по духу и построению приблизилась к романтической поэме, сменив устаревший канон сентиментальной своей предшественницы на другой, не менее четко определившийся. На этот раз, однако, жанровое «клише» просуществовало недолго и сломано было общими усилиями.

---

[1] Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. I. Спб., 1878, с. 204.

Около 1823—1824 гг. значение писательской индивидуальности возрастает настолько, что даже в творчестве начинающих прозаиков (независимо от степени их литературной одаренности) традиционные жанровые формы приобретают несходное, индивидуальное звучание. А поиски ведутся одновременно в разных направлениях, и близится момент, когда их результат станет явным и разом появится несколько повестей, созвучных времени и не похожих одна на другую. Этот знаменательный момент не за горами, но пока...

В 1823 г. московские любомудры задумали журнал. Журнал не состоялся, но сохранился рассказ М. П. Погодина — образная характеристика тогдашнего состояния русской прозы. «Одоевский,— вспоминал Погодин,— смело сказал: для первой книжки я напишу повесть. Уверенность, с которой произнесены были эти слова, подействовала на некоторых из нас очень сильно: каков Одоевский! прямо так-таки и говорит, что напишет повесть; стало быть, он надеется на себя!»[1] Между тем В. Ф. Одоевский обещанную повесть написал, а следом явились повести А. Погорельского, Сомова, самого М. П. Погодина, обновил палитру А. Бестужев. Каждая из их повестей (а они не сходны между собой) в 1830-е гг. стала истоком целого направления в развитии русской повести — исторической, психологической, общественно-сатирической, обращенной к исследованию народной жизни. Но первые эти всходы явились в самый канун событий на Сенатской площади, на время их прибило декабрьским морозом. И еще в 1827 г. у нас, по замечанию Пушкина, «...не то что в Европе — повести в диковинку»[2]. В эти-то годы, когда отделы прозы русских журналов заполнялись по преимуществу переводами, а оригинальную русскую прозу за редкими исключениями все еще представляли отрывки из «путешествий», письма, традиционные «малые» жанры — портрет, описание, размышление, за первой повестью Ореста Сомова последовали другие, и их череду оборвала лишь смерть повествователя.

3

Прежде чем проявился его самобытный дар рассказчика, Сомов прошел основательную литературную школу. Стихотворные опыты, неустанная работа переводчика приучили его к точности и ясности выражений, заставили овладеть разными стилями, от «метафизического» языка литературного трактата до стихии живой разговорной речи. Заметим, что к выработке литературного языка (а это была задача, которую в начале 1820-х гг. осознали как одну из ключевых в становлении отечественной словесности) Сомов относился в высшей степени сознательно. Достаточно вспомнить трактат «О романтической поэзии», где этому вопросу отведено значитель-

---

[1] В память о кн. В. Ф. Одоевском. М., 1869, с. 49.

[2] Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. XIII. М.—Л., 1937 с 341.

ное место. По особенностям своего воспитания и литературного развития Сомов избежал воздействия тяжеловесного, восходящего к низовой книжной культуре XVIII в. языка, который в начале нового столетия воспринимался как архаический. Не был он затронут и влиянием карамзинистов (будь то сентименталисты или романтики) с их экспрессией, перифрастическим стилем, с близостью их образов, фразеологии, синтаксиса к языку лирики или стихотворного повествования. В своей литературной практике Сомов стремился использовать разнообразные возможности языка литературы и языка народного в соответствии с замыслом вкрапляя в поток правильной и свободной литературной речи элементы «приказного» красноречия, архаизмы, диалектизмы, но соблюдая меру в их употреблении даже тогда, когда слагал повесть-сказ. «Совершенное знание русского языка» признавал у Сомова даже вечно глумившийся над ним Воейков и добавлял, что в этом отношении «его произведения могут служить образцами»[1].

Журнальная проза Сомова — путевые письма, размышления, описания, анекдоты, «характеры», появляющиеся в печати с 1818 г. и особенно умножившиеся после возвращения из заграничного путешествия,— развивала наблюдательность будущего повествователя и точность его описаний, приучала схватывать резкие черты оригинальных, контрастирующих между собой характеров, служила заметками о виденном и слышанном, которые потом не раз отозвались в его произведениях. К середине 1820-х гг. сложилась и эстетическая программа Сомова, что как нельзя более характерно для эпохи, когда литературное сознание неизменно опережало творческую практику.

Первый опыт Сомова-повествователя, который сразу же выдвинул его в число лучших прозаиков середины 1820-х гг.,— «малороссийская быль» «Гайдамак» (1825). Следуя по пути, проложенному на Западе В. Скоттом, Сомов воссоздает здесь обобщенную, насыщенную социально-историческим и психологическим драматизмом картину национальной украинской жизни. Открывается «Гайдамак» сценой ярмарки с ее шумной разноголосицей, и это дает автору возможность сразу же ввести читателя в сердцевину событий, которые далее безостановочно следуют одно за другим, вовлекая в действие новых и новых персонажей, чьи яркие и выразительные фигуры представляют разноплеменное население края. Элементы юмора, меткой бытовой наблюдательности, превосходное знание народной речи, обычаев, местной этнографии, характерных повадок разных по занятиям, по сословному и национальному облику людей — разгульного чумака, корыстного торговца, плутоватого цыганенка, слепого певца-бандуриста, вольных гайдамаков — сочетаются в «Гайдамаке» с приметами народно-героического, эпического повествования. Опираясь на живое предание, на образы украинских дум и исторических песен, Сомов воздвигает монументальную героизированную фигуру Гаркуши, сильного, ловкого и находчивого, покровителя слабых и

[1] Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1831, № 8, с. 60.

угнетенных, карающего их богатых обидчиков. Его ум и знание человеческого сердца, хладнокровие и бесстрашная решительность в минуту опасности окружают образ атамана гайдамаков поэтическим ореолом, сообщают ему величие и большую впечатляющую силу. В изображении Сомова Гаркуша становится символом героических потенций национального народного характера.

Одновременно с Сомовым о Гаркуше писал В. Т. Нарежный. В своем незавершенном романе он придал Гаркуше традиционные черты героя авантюрно-назидательного повествования, построив рассказ о нем как череду полусказочных, полулегендарных «похождений». К. Ф. Рылеев в поэмах «Войнаровский» и «Мазепа» (отрывок последней «Гайдамак» напечатан в 1825 г.) воспел одинокого байронического бунтаря-«избранника». Сомов же в «Гайдамаке» первым вступил на тот путь, по которому пошел Гоголь — создатель неоконченного «Гетьмана», а позднее — «Сорочинской ярмарки», «Страшной мести», «Тараса Бульбы».

«Звездочка», для которой предназначал Сомов «Гайдамака», не вышла в свет, остановленная декабрьскими событиями, а готовые ее листы (успели набрать и «быль» Сомова) попали в Архив Главного штаба. Тем не менее уже в 1826 г. повесть, представленная теперь как сочинение Порфирия Байского, была напечатана в «Невском альманахе». Появился ли этот прозрачный псевдоним из желания не привлекать лишний раз внимания к автору, известному своей дружбой с казненными и ссыльными декабристами, или у Сомова уже явилась мысль о ряде повестей, связанных именем его земляка Порфирия Богдановича, мы не знаем. Так или иначе, но в связи с публикацией повести Сомову пришлось давать объяснения Бенкендорфу: шеф жандармов был обеспокоен проникновением в печать сочинений, приобщенных к материалам следствия по делу декабристов.

Сюжет о Гаркуше Сомов продолжал разрабатывать еще и в начале 1830-х гг. Вслед за «малороссийской былью» он начал пространную «малороссийскую повесть», а позднее полагал, что замысел выльется в роман в четырех-пяти томах. Однако романа — большой повествовательной формы — Сомов так и не создал. Фрагменты, которые время от времени появлялись в альманахах и журналах, уже в силу этого своего назначения тяготели к известной законченности и сближались с малым жанром, с повестью. К тому же ни один из опубликованных после «были» отрывков не достигал художественного ее уровня. Сочная бытопись, точность этнографического фона, метко схваченные типы национальной жизни чем далее, тем более оказывались фоном для традиционной фигуры благородного разбойника. Композиция же произведения в целом (насколько можно судить по известным ныне фрагментам) постепенно сближалась со схемой старого авантюрного повествования.

С 1827 г. в творчестве Сомова-повествователя отчетливо обозначается несколько тематических линий. Самую обширную и важную в литературном отношении группу образуют сочинения, которые автор характеризо-

вал как «малороссийские были и небылицы» и подписывал псевдонимом Порфирий Байский.

Уже в «Гайдамаке» Сомов вложил в уста Гаркуши «страшную быль» о пане, знавшемся с нечистой силой, и изобразил простодушных слушателей, которые, затаив дух, принимают на веру повесть лукавого сказителя. По мысли Сомова, в образах Гаркуши и его стражей воплощены две стороны народного характера, и несходство их проявляется, между прочим, в разном отношении к чудесному. В дальнейшем народные предания, обычно демонологические — о русалках и колдунах, о ведьмах и упырях,— писатель использует в своих «небылицах». Как правило, они основаны на подлинном этнографическом и фольклорном материале, снабжены особыми примечаниями и пояснениями. Но главное для романтика Сомова — дух народа, выражающийся в его поверьях и мифологических представлениях. Потому-то в его «небылицах» народные побасенки рассказываются как бывальщина, не подвергаются скептическому анализу, предание остается преданием, хотя и облечено в одежды повествования литературного. Даже такие повести, как «Русалка» и «Киевские ведьмы»[1], где фантастические события развертываются на фоне исторической жизни (а в «Киевских ведьмах» они совершаются не только в определенном месте — «Киеве златоглавом», но и приурочены к конкретному моменту национально-освободительной борьбы XVII в., описанному в точном соответствии со свидетельствами исторического источника, на который опирался Сомов,— рукописной «Истории Руссов»), рассказаны как бы с позиций народного сознания. Заметим, что Пушкину, который в балладе «Гусар» по-своему рассказал о ночном путешествии героя на шабаш киевских ведьм, достаточно было вложить сказ в уста побывавшего на Лысой горе очевидца-москаля, чтобы под напором ухарства и непобедимого здравого смысла русского служивого драматическое и поэтическое предание зазвучало «небылицей». Однако молодому Гоголю в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» ближе был сомовский подход к украинской демонологии. Созвучие цели, к которой стремился Сомов и которой дано было достигнуть автору «Вечеров», сделало то, что если первыми из фантастических своих повестей, как и «Гайдамаком», Порфирий Байский подготовил выступление Рудого Панька, то в позднейших он испытал воздействие могучей индивидуальности своего последователя.

Другой характер носят малороссийские «были», с которыми мы уже знакомы по «Гайдамаку». В последующих повестях этого рода Сомов обращается к современной жизни Украины, взятой в бытовом, будничном ее аспекте, но отражающей отдельные стороны национального сознания и культуры. Особое место среди «былей» занимает «Юродивый». Для образа героя повести, бродяги Василя, не прошло бесследно знакомство Сомова со сметливым и сведущим королевским нищим Эди Охилтри из романа Вальтера Скотта «Антикварий». Но сходство фабульных ситуаций

[1] См.: Русская романтическая повесть. Сост., вступ. ст. и примеч. В. И. Сахарова. М., 1980.

не отменяет сути: Василь — нищий южнорусский, первое отражение в нашей литературе мира калик перехожих с их духовными стихами и своеобразным красноречием. И другое: пренебрегающий мирскими благами юродивый выступает в повести носителем народноэтических идеалов правды и справедливости. К теме этой, которой принадлежало в русской литературе большое будущее, Сомов обратился, еще не зная, по-видимому, пушкинского «Бориса Годунова», в это время уже оконченного, но, за исключением отдельных сцен, не напечатанного и известного лишь в ближайшем окружении поэта.

Сильной и яркой бытописью, овеянной на этот раз мягким юмором, отмечены «Сказки о кладах». В отзыве о «Невском альманахе на 1830 год», где впервые была напечатана повесть, Пушкин оценил ее как «лучшее из произведений Байского, доныне известных». В «Сказках о кладах» нашла своеобразный выход тяга Сомова к «большому» повествованию. Но строится оно по старинке, самый замысел предполагал обращение к приему экстенсивного «нанизывания» разных сказаний: по собственному признанию автора, целью его было «собрать сколько можно более народных преданий и поверий». Однако в «Сказках о кладах», как и в других «былях» Сомова, поверья звучат совсем не так, как в «небылицах». Они становятся важным средством характеристики персонажей рассказа, будь то простодушные носители веры в чудесное, предприимчивый плут, который использует ее в своих целях, или выражающий не чуждую элементов дидактики точку зрения автора «просвещенный» герой.

Подобное же столкновение разных повествовательных стихий — стихии чудесного и контрастирующей с ней прозаически бытовой, иронической — легко проследить и в произведениях Сомова из русской жизни. Народнопоэтическая фантастика и тут сохраняет для автора свою притягательную силу. Но обрабатывая русские поверья, Сомов с помощью искусной литературной рамки неизменно включал мир народных преданий и фантастических представлений в более широкий культурный контекст. В «Оборотне» народная фантастика «остранена» интонациями и деталями рассказа, вложенного в уста человека, не принадлежащего к крестьянской среде. Свою «сказку» он начинает обращением к «любезному читателю», полемическими выпадами по адресу романтической литературы и современной журнальной критики, а кончает «Эпилогом», ироническая концовка которого отсылает привычного к литературным «поучениям» читателя к традиционному басенному сюжету. Все это очень напоминает структуру написанного годом позднее пушкинского «Домика в Коломне». В «Кикиморе» крестьянин обращает свой сказ о домовой нечисти к слушателю-барину, а тот не только сам не верит в чудеса, но и пытается (хоть и без успеха) заронить искры сомнения в душу рассказчика. Тем самым повесть превращается в картину столкновения двух типов сознания — наивного и просвещенного.

Но как Порфирий Байский кроме «былей» писал «небылицы», так

Сомов складывал и «русские сказки». Он свободно варьировал в них летописные, сказочные, былинные мотивы, использовал народные пословицы и поговорки, дополняя подлинно фольклорную основу собственным вымыслом. В сказках Сомова — об Укроме-табунщике, об Иване, купецком сыне, о дурачке Елесе («В поле съезжаются, родом не считаются») — бросается в глаза интерес автора к героическим сторонам народного характера, причем вершителем подвига оказывается у Сомова Иван русской сказки, о котором никто не знал, не слыхал, пока не пришла беда — лихие ли половцы или лесное чудовище. По своему героико-патриотическому пафосу к этим сказкам непосредственно примыкает лирическая миниатюра «Алкид в колыбели», где Сомов, продолжая линию гражданской патетики декабристской поры и предвосхищая лирические пророчества Гоголя, призывает Россию идти «прямым путем, путем просвещения истинного, гражданственности нешаткой», к предназначенному ей великому будущему.

Опыты фольклорных стилизаций Сомова, принципиально отличные от поэтических сказок Пушкина, были учтены В. И. Далем в его творчестве сказочника, развернувшемся в 1830-е гг.

Одна из важных заслуг Сомова-прозаика связана с третьей линией, изначально существовавшей в повествовательном его творчестве. Речь идет о вкладе писателя в создание русской беллетристики. Эпоха 1820—1830-х гг. не только поставила перед литературой задачу освоения повествовательных жанров, отвечающих запросам наиболее передовой, мыслящей части общества. Она потребовала развития и таких форм романа, повести, рассказа, которые ставили перед собой более скромную цель — дать современный, живой и занимательный материал для удовлетворения повседневных потребностей широкой читающей публики. Как участник почти всех популярных журналов и альманахов 1820—1830-х гг., а позднее — ближайший сотрудник Дельвига и редактор «Литературной газеты», Сомов прекрасно понимал, что без прозы не обойдется ныне ни одно издание; как внимательный наблюдатель русской жизни, он знал, что потребностью времени было обновление остававшегося неизменным с начала века репертуара массового чтения. Нужна была такая беллетристика, которая, занимая и развлекая читателя, не прививала бы ему дурного литературного вкуса, незаметно и ненавязчиво обогащала бы его познаниями, несла в себе благотворное воспитательное начало. Одним из первых в русской прозе образцов такой беллетристики стали сомовские «рассказы путешественника». В основу их легли разнообразные впечатления, которыми обогатила писателя поездка на Запад. Наиболее примечательной особенностью рассказов этого несобранного цикла является стремление проследить связь «малой», частной жизни героев и «большой», исторической жизни. Так, в «Вывеске» сквозь рассказ героя-«волосочесателя» о смене модных причесок просматривается движение истории от эпохи Людовика XVI через бури революции к империи Наполеона I. А в «Почтовом доме в Шато-Тьерри» повесть о судьбе любящих героев — французского офицера и немецкой

глухонемой девушки — сплетается воедино с историей потрясений, которые перевернули вековой уклад жизни.

В начале 1830-х гг. Сомов-прозаик ищет путей к обновлению своей повествовательной манеры, и не случайно. Время, когда на Руси повести были «в диковинку», миновало. Но главное не в этом. В 1831 г. пушкинский круг писателей, к которому не без оснований причислял себя Сомов, взволнованно обсуждал только что вышедшие в свет «Повести Белкина» и «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сомов был достаточно опытным повествователем и проницательным критиком, чтобы оценить уроки своих гениальных современников и осознать, как важно в этих условиях найти собственный путь в искусстве повествования.

Примечательно, что в «Романе в двух письмах» Сомов, который в отличие от нас не знал начатого и незавершенного Пушкиным «Романа в письмах», где поэт стремился перенести в прозу завоевания своего романа в стихах, во многом сознательно шел за автором «Евгения Онегина». Самый сюжет «Романа в двух письмах» — встреча в деревенской глуши столичного молодого человека и «уездной барышни» — навеян «Онегиным», как подсказан романом Пушкина ряд сцен и фабульных ситуаций. Создавая прозаический эквивалент «Онегина», Пушкин, тонко чувствовавший специфику прозы, обогатил психологию и мысль своих героев, с каждым письмом расширяя картину действительности. Сомов пошел по другому пути — по пути изображения типов дворянской поместной жизни, «уплотнения» бытового фона фабульных событий, обогащения сюжета занимательными поворотами и ситуациями. Существенно заметить и черту, прежде характерную лишь для «рассказов путешественника»: в «Романе в двух письмах», как и в написанной следом за ним повести «Матушка и сынок», рассеяно множество примет культуры и быта, четко приурочивающих действие произведения к определенному хронологическому моменту.

В героях и коллизиях повестей «Сватовство» и «Матушка и сынок» ощутимо сходство с характерами и ситуациями гоголевского «Ивана Федоровича Шпоньки». Быть может, Сомов, писавший «Сватовство», когда лишь готовилась к выходу первая книжка «Вечеров» («Шпонька» же появился во второй), побудил Гоголя к состязанию в этом, новом виде «малороссийской были». Незлобивый юмор, особое внимание и тщательность, с которой Сомов воссоздает неповторимые приметы уходящего в прошлое архаичного провинциального быта, опыты создания ярких, выразительных характеров — вот что принес с собой последний этап в развитии искусства Сомова-повествователя.

Даровитый прозаик, сыгравший столь заметную роль в начальный период становления новой русской повести, Сомов ушел из жизни, не успев до конца самоопределиться и раскрыть свои возможности, в момент, когда прозаические жанры переживали пору бурного развития. Романтик по своим эстетическим установкам, Сомов — эстетик и художник рано понял, что не все виды романтической поэзии в равной мере могут выражать на-

родный характер и найти путь к душе народа. Обращаясь к народной демонологии, писатель остался чужд мистицизму и философским увлечениям романтизма. В его повестях мы не встретим ни попытки отыскать в фольклорной фантастике ключ к тайнам мироздания, ни поэтизированных образов романтических мечтателей. Напротив, через ряд его произведений проходит тема осмеяния разного рода романтического донкихотства. В первом же из «рассказов путешественника» — «Приказе с того света» (1827) — это простодушное увлечение средневековьем и вера в привидения; в «Сказках о кладах» — попытка обрести в поэтических преданиях руководство к земному обогащению; в повести «Матушка и сынок» — «мечтательные глупости сентиментальных романтических любовников», преломленные в кривом зеркале провинциальных русских нравов. Быть может, именно чуждость Сомова «немецкой школе» поэзии, трезвый взгляд на жизнь в годы, когда трезвость была не в моде, привели к тому, что последние его повести не были замечены критикой, как не были оценены по достоинству и «Повести Белкина». Лишь последующее развитие отечественной прозы позволило рассмотреть в этих последних достижениях Сомова-повествователя первые подступы к созданию позднейшей психологической и социально-бытовой русской повести.

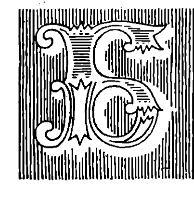
Н. Петрунина

ГАЙДАМАК

Малороссийская быль

Глава I

> Так, вічной пам'яті, бувало
> У нас в Гетьманщині колись...
>
> *Котляревский*



Была осень; частые дожди растворили малороссийский чернозем; глубокая и вязкая грязь превращала в топкие болота улицы и проселочные дороги. В это время в Королевце собиралась Воздвиженская ярманка. По грязным улицам небольшого и худо обстроенного поветового городка тянулись длинные обозы; чумаки с батогом на плече шли медленным шагом подле волов своих, которые с терпеливою покорностию тянули ярмом тяжелые возы. Русские извозчики без пощады погоняли усталых лошадей, суетились около телег, навьюченных московскими товарами, кричали и ссорились. В *ятках*[1] на площади толпились веселые казаки в красных и синих жупанах и те беззаботные головы, кои, уставши чумаковать, пришли к ярманке на родину попить и погулять; одни громко рассуждали о старой гетманщине, другие толковали про даль-

ние свои чумакованья на Дон за рыбою и в Крым за солью. Крик торговок и *крамарей*[2], жиды с цимбалами и скрыпками; цыгане с своими песнями, плясками и звонкими органами, слепцы-бандуристы с протяжными их напевами — везде шум и движение, везде или отголоски непритворной радости, или звуки поддельного веселья. Огромные груды арбузов, дынь, яблок и других плодов, коими небо благословило Малороссию и Украйну, лежа рядами на подстилках по обе стороны площади, манили взор и вкус и свидетельствовали о плодородии края.

Посереди площади собралась толпа народа. Молодой чумак в синем жупане тонкого сукна, в казачьей шапке с красным верхом, лихо заломанной на голове, с алым шелковым платком на шее, распущенным по груди длинными концами, и в красных сафьянных чеботах шел, приплясывая и припевая, вел за собою музыкантов и ватагу весельчаков и сыпал деньгами в народ. Чтобы показать свое удальство и богатство, он то расталкивал ногою плоды у торговок, то бил нарочно стеклянную посуду в ятках — и платил за всё вдесятеро. Все: купцы, жиды, цыгане, бандуристы и нищие обступили его; каждый или предлагал свои услуги, или без всяких услуг просил чего-нибудь, и каждый получал или награду, или подаяние. Большой круг составился около молодца: всяк ему дивился и хвалил его; женщины в этом случае были не последние. «Какой *завзятый* чумак! какой лихой парень! какой статный и пригожий мужчина! какой богатый и тороватый!» — раздавалось отовсюду.

Поодаль человек среднего роста, в простой чумацкой свите с *видлогою*[3] стоял, опершись на *батог*[4], и, насвистывая в пальцы, внимательно смотрел на молодого безумца. Вид этого человека с первого взгляда не обращал на себя внимания, но, всмотревшись пристальнее, не скоро можно было отвести от него глаза. Он стоял без шапки, которую сронил в толпе. Длинный *оселедец*[5] спускался с бритой его головы и закручивался около уха. Смуглое лицо, правильные черты, орлиный нос, нагибавшийся над черными усами, и быстрые, проницательные глаза обличали в нем ум, сметливость и хитрость, а широкие плечи и грудь, крепкие, жилистые руки и богатырское сложение тела ясно говорили о необыкновенной его силе. В движениях и поступках его, даже в самом спокойном положении, видны были решительность и смелость. Ему казалось от роду не более сорока лет, но или сильные страсти, или заботы побороздили уже чело его мор-

щинами. Он выжидал, пока роскошный молодой чумак, обходивший в это время круг, с ним поравняется. «Здорово, Лесько»,— сказал он гуляке, когда наконец тот подошел к нему. «Ба! это ты, Кирьяк? давно, от самой Умани, я с тобою не видался. Здорово, приятель, здорово!» — «Ну, как поживаешь?» — «Как видишь: бью в свою голову, пью да гуляю».— «А волы?» — «Всех распродал! Отец отпустил со мною тридцать пар — остался налицо вот этот батог».— «Хорошо же ты отцу припрочиваешь на старость!» — «А, что будет, то будет! Живу, пока звенит в кармане, а перестанет звенеть — тогда или под красную шапку, или в удалую шайку».— «Дело вздумал! то есть: и в том и в другом случае ты будешь спиною отвечать за голову...» Это истолкование рассмешило стеснившуюся вкруг них толпу, и молодой чумак, не находя лучшего ответа, сам рассмеялся.

«А ты, Кирьяк Максимович,— сказал он после короткого молчания своему знакомцу,— каково чумакуешь? человек ты осторожный и даром копейки не роняешь; я видел тебя в Умани на пятидесяти парах, и ты привез туда бог весть сколько московских товаров! С тобою были лихие купчики: также любили потешиться, как и я грешный!» — «Я и теперь с ними приехал; да переморил своих бедных волов по этой слякоти и даю им отдых. Добрый человек и скотов милует, говорит святое писание».— «Знаю, что ты человек письменный; где же теперь пристал?» — «Я оставил свой *табор* по Путивльской дороге, над Эсманью, а сам пришел сюда принанять молодцов; мои почти все разбрелись».— «Если тебе надобно лихого погонщика, так возьми меня; батог мой исправен... *Гей, цоб*!» — прикрикнул он, ловко помахивая ременным батогом своим. «Я добрых людей не чураюсь,— отвечал Кирьяк,— хочешь, так сейчас к делу; зайдем ко мне на постоялый двор, а там и к табору».— «Спасибо, что так сговорчив, Кирьяк Максимович! спасибо, что ты не таков, как те седые чубы, которые бранят нас, молодых парней, за шалости и не верят, если раз замотаемся... Прощайте, приятели! вот вам на расставанье».— Тут Лесько метнул в народ последнюю горсть мелкой монеты; все бросились подбирать — и когда оглянулись, то уж обоих чумаков как не бывало.

Глава II

> То пан Хмельницький добре учинив,
> Польщу засмутив,
> Волощину побідив,
> Гетьманщину звеселив.
>
> *Старинная малороссийская песня*

В конце городка стоял маленький полуразвалившийся домишка; в нем приставали приезжавшие на ярманку евреи, которые почти всегда под ветхою кровлею прячут от любопытных и завистливых глаз накопленные ими богатства и часто всякими неправдами добытые драгоценности. Еврей Абрам, заперши двери засовом и наглухо закрыв ставнями окна, отбивал донышки у маленьких бочонков, вынимал из них дорогие жемчуги, перстни, серьги и другие золотые вещи, осыпанные блестящими каменьями, и раскладывал их по ящикам, готовя к ярманке на продажу. Он беспрестанно прислушивался, озирался и при малейшем шуме снаружи бледнел, как Каин.

Вдруг кто-то дважды стукнул в дверь. Абрам вздрогнул, но вспомня, что это условный знак товарища, накинул про всякий случай толстое полотно на стол, на котором отбирал вещи, и отнял дверной засов.

— Горе и страх сынам Иуды! — вскрикнул, всплеснув руками, вошедший жид, между тем как товарищ его снова запирал дверь,— горе и страх! я видел его...

— Кого? — торопливо спросил Абрам.

— *Его*, гайдамака, Гаркушу! — отвечал Гершко печальным голосом.— Ты его знаешь, он не посмотрит на город и людство; налетит на нас, как Сеннахерим, заберет и свое, и наше.

— Я говорил тебе: не водись с этим проклятым моавитом! долго ли до беды.

— Знал ли я, ждал ли я, когда он на Волыни отдавал мне для продажи пограбленные им вещи, что через три луны увижу его здесь в Малороссии? Ах! эти большие серебряные стопы, эти богатые золотые цепи, эти яркие дорогие перстни пана Манивельского! сгубят они нас!

— Опомнись! разве ты не еврей? Бог отнял у нас силу и смелость, а мы поневоле взялись за хитрость и пронырство. Придумаем, как бы спастись от когтей сего месопотамского коршуна. Но где и как ты его встретил?

— Я бродил в толпе этих назареев и высматривал, не удастся ли чего повыгоднее купить или продать. Вкруг одного погибшего сына стеною стеснился народ, и всякий под-

бирал серебро, расточаемое безумцем. Я также думал пробраться к нему, хотя ползком... Взглянул и вижу в толпе услужника Велиалова. Тогда я притаился за народом, и когда он увел с собою молодого чумака, я шел за ним издали; припав за забором, сторожил его выход из постоялого двора и видел, по какой дороге они вдвоем отправились.

— Послушай: нам надобно обсудить, как бы и свое спасти, и чужого не выпустить из рук. Благодаря нашим братьям, которые повсюду рассеялись и везде ведут торги, если чего не посмеем выказать здесь, то Польша и немецкая земля велики: там будет простор и нажитому, и добытому.

— Правда, правда! только как теперь избавиться от гайдамака?

— Знаешь ли ты здешнего поветового судью?

— Пана Ладовича? как не знать; добрый пан, честный пан! В нем только три худа: что не слишком жалует евреев, что ему ничего не продашь, а его ничем не подкупишь.

— Зато у него и своим не лучше наших, когда у них руки или совесть не чисты. Слушай же: ступай ты к нему, расскажи про гайдамака всё, что знаешь, укажи дорогу, по которой он пустился,— и после спокойно переплавливай в слитки золото и серебро и сбывай алмазы и яхонты пана Манивельского.

— Рабби Рувим! ты умный человек, Абрам. Так к делу, не теряя времени. Сейчас иду к поветовому судье.

— Не позабудь только взять серебряных ключей: не для него, он ничего не возьмет, а для челяди, которая всегда и везде жадна, как наши праотцы в пустыне.

Гершко пошел скорым еврейским шагом к дому поветового судьи, согнув шею, заложа обе руки в карманы и бросая вкруг себя недоверчивые, испытующие взгляды.

На крыльце судейского дома встретил его молодой цыган, живший у пана Ладовича для услуг, а больше для забавы. Он был одет казачком; на шее у него висел на широкой ленте торбан, на котором он обязан был играть перед гостями и веселить их своею пляскою и пеньем. Не по летам был он высок и статен; живое и выразительное лицо его, на которое падали черные самородные кудри, могло бы назваться прекрасным, если б излишняя смуглость не затмевала его пригожества; под широкими сросшимися бровями прыгали быстрые, огненные глаза; во всех его движениях заметны были ловкость, проворство и лукавство.

— Здравствуй, Жале,— сказал ему Гершко, подойдя к крыльцу.

— Здравствуй, *свиное ушко*! — отвечал цыганенок.

— Как поживаешь, Жале? — продолжал льстивый еврей.

— Хорошо, твоими молитвами: скачу, пою и щиплю твою братью жидков, когда попадутся. Ты каково поживаешь? всё ли по-прежнему обманываешь простаков и копишь золото?

— По-прежнему,— отвечал жид с притворным простосердечием и как бы не вслушавшись.— Пожалуйста, Жале, доложи обо мне пану поветовому судье...

— Ему не до тебя, у него теперь гости.

— Крайне важное дело, не терпящее отсрочки...

— Верно, векселя, которым минули сроки, или покупщик, не заплативший денег?

— Что тебе до этого; твое дело доложить.

— Так потерпи ж, пока пану будет время. Постой здесь: вы привыкли стоять без шапок на дворе во всякую погоду, а теперь еще не зима.

Сколько жид ни упрашивал, но цыганенок только вертелся вокруг его, дразнил, подергивал его за длинные рыжие пейсики и за полы платья и делал ему разные проказы.

— Душа моя, Жале! перестань и пойди докладывать; я не даром прошу тебя...

Тут еврей со вздохом вынул из-под полы небольшой изношенный кошелек и начал дрожащею рукою вытаскивать одну по одной мелкие серебряные монеты, как будто боясь обсчитаться. Но резвый цыган не дал ему кончить: подбежал, подставил руку и, вытряхнув в нее все деньги из кошелька, пустился от жида во всю прыть.

— Стой! я закричу *гвальт*, наделаю шуму, стану стучаться в двери! пан судья не даст меня в обиду.

— А если я доложу ему о тебе, будут ли эти деньги мои?

— Твои, твои! только скорее.

Цыганенок опрометью бросился на крыльцо, вошел в комнаты и через несколько минут вышел сказать жиду, что судья его ожидает.

— Что тебе надобно, еврей? — сказал пан Ладович, когда жид кончил низкие, почти земные свои поклоны.

— Ваша ясновельможность! я имею вам донести о важной тайне,— отвечал жид, оглядываясь на стоящего тут цыганенка.

— Так ступай за мною,— сказал судья, ввел его в небольшую боковую комнату и притворил дверь.

Цыганенок, по свойственному летам и породе его любо-

пытству, а может быть по каким-либо догадкам, приставил к двери внимательное ухо, навыкшее слышать издалека, и не отходил прочь, пока не кончился разговор. Тогда он на цыпочках отошел и стал на прежнее место.

Судья пошел к гостям своим, а жид отправился домой, отвесив снова несколько поклонов. Цыганенок выбежал за ним на улицу.

— Послушай, Гершко! ты купил меня своим подарком, и я хочу тебе отплатить по-приятельски. Там, над Эсманью, остановились обозом знакомые мне купцы; они дешево продают разные шелковые товары и другие вещи: видно, провезли их по-твоему — без пошлины. Я давно уже хотел удружить доброму человеку: благо, что ты мне первый попался.

— Спасибо, спасибо за приязнь! А как их отыскать?

— Не мудрено: они стали над яром вправе от большой дороги, под леском. Только поспеши, чтоб они всего не распродали; они для того и в город не въезжают, что хотят сбыть с рук всё лишнее.

— Сегодня же, хоть и поздно, отправлюсь туда... Прощай!

Жид пошел скорыми шагами, а цыганенок лукаво покачал вслед ему головою, посмотрел во все стороны, прокрался в боковой переулок и подал знак свистом.

На свист его выказался из-за забора высокий и сухой цыган свирепого вида. «Зачем зовешь меня?» — сказал он отрывистым голосом.

— Понура! не тратя ни минуты,— на коня и скачи в табор гайдамаков; скажи там, что жид Гершко донес поветовому судье о Гаркуше и дал его приметы; что сейчас пошлется за ним погоня; скажи, что я спровадил Гершка к ним в табор за товарами; пусть сладят с ним, как знают. Оттуда опрометью ступай по следам Гаркуши и дай ему осторогу...

— Славно! ты добрый малый, не выдаешь своих. Мы недаром тебя продали пану Ладовичу...

— Тс! слышится шум... Прокрадься отсюда, хоть на четвереньках — и давай бог ноги! — С этими словами молодой цыган исчез.

Он вошел в светлицу, или гостиную комнату, судьи как такое лицо в доме, которому за его дар увеселять многое было позволено и которое позволяло себе еще больше.

В гостиной было тогда очень шумно. Гайдамак и его дерзкое появление сделались предметом общего разговора.

Судья, подсудок, подкоморий и возный, уже разославшие гонцов по разным дорогам для задержания Гаркуши,— теперь, отошедши в сторону, совещались о мерах, которые должно было принять для безопасности города и повета от набега бесстрашной шайки удальцов. Прочие гости все толковали разное, и все об одном.

— Давно не было вести о гайдамаке,— говорил отставной сотник Ченович,— слух о нем было призамолк, с тех пор как он за Лубнами ограбил богатого и скупого пана Нехворощу и наделил одного бедного казака[6]...

— Извините,— перервал речь его войсковой писарь Потяга,— давно ли все жужжали, что Гаркуша на Украйне обобрал до нитки тучную ростовщицу Цвинтаревичку и вдобавок сделал ей сильное поучение нагайками за то, что она прогнала из дому простака своего мужа?

— Это жужжало только у вас в ушах, господин войсковой писарь,— отвечал ему Ченович,— носился слух, что гайдамак после ушел за Киев...

Спор загорелся; колкости с обеих сторон посыпались градом, и, как водится в больших собраниях, одни поджигали спорщиков, другие принимали их сторону, все шумели. Но миролюбивый хозяин, предвидя неприятный конец спора, заклял бурю: он ввел в гостиную слепца-бандуриста, давно уже в передней ожидавшего, когда его позовут, и вежливо пригласил гостей своих послушать веселых дедовских песен и стародавних былей.

Безыскусственная игра на многострунной бандуре и звучный, полный, хотя необработанный голос слепого певца, попеременно унывные и веселые напевы малороссийских песен нравились неизбалованному слуху земляков его, страстных к музыке, одаренных верным ухом и впивающих с чистым воздухом родины способность и склонность к пению. Вдруг вещий слепец переменил строй: пальцы его медленно и торжественно перебегали по звонким струнам бандуры; и он молчал еще, но внимание всех было приготовлено; жадный слух ловил уже в знакомых звуках близкие сердцу напевы и предугадывал смысл самой песни[7].

Несколько минут он молча прелюдировал; наконец запел, или лучше, заговорил по музыке следующие слова:

З низу Дніпра тихий вітер віє, повіває;
Військо козацьке в похід виступає:
Тільки бог святий знає,
Що Хмельницький думає, гадає.
О тім не знали ні сотники,

Ні атамани курінниї, ні поковники;
Тільки бог святий знає,
Що Хмельницький думає, гадає!

Певец повествовал о быстром набеге гетмана Хмельницкого на союзную Польше Молдавию, о страхе и жалобах ее господаря Василия Липулы, о робком бегстве ляхов из Сочавы и заключил песнь свою обращением к славе Гетманщины[8]:

В той час була честь, слава,
Військовая справа!
Сама себе на сміх не давала,
Неприятеля під ноги топтала.

Громкие знаки одобрения и восторга раздались по светлице. Между ними прорывались и вздохи на память старой Гетманщине, временам Хмельницкого, временам истинно героическим, когда развившаяся жизнь народа была в полном соку своем, когда закаленные в боях и взросшие на ратном поле казаки бодро и весело бились с многочисленными и разноплеменными врагами, и всех их победили; когда Малороссия почувствовала сладость свободы и самобытности народной и сбросила с себя иго вероломного утеснителя, обещавшего ей равенство прав, но тяжким опытом доказавшего, что *горе покоренным!*

Глава III

...Усі звізди потьмарило,
Половину ясності місяця заступило;
З чорної хмари
Буинії вітри вставали.

Старинная малороссийская песня

Дул сильный холодный ветер; дождливые облака разносились по небосклону; луна то выплывала из-за туч, то пряталась за мрачными их грядами. В это время жид Гершко шел одинок по дороге; он часто останавливался, вслушивался в вой ветра и шелест желтых осенних листьев, падавших на землю и крутившихся вихрем по дороге; робея при малейшем шорохе, он готов был затаиться в глуши. Но так сильна в еврее страсть к прибытку, что он пошел бы на явную опасность, если бы знал, что, избегнув ее, получит барыш. Из бережливости или по благоразумию Гершко надел самое ветхое платье и по тому же благоразумию взял с собою денег очень немного, в надежде, что, сторговавшись с купцами за товар и дав им задаток, уговорит их принять остальную плату в условленном месте.

В таборе его ждали. Шайка кочевала при дуброве, в месте пустынном, над глубоким, крутым оврагом, примыкавшим к самому берегу Эсмани. Гайдамаки, отогнав волов на пастбище, сделали из возов своих род стана или каре и обвешали их непроницаемыми для взора полстями, чтобы любопытному прохожему не видно было, что делается внутри табора. Чтоб еще более отклонить подозрения, часть гайдамаков была одета чумаками, другая русскими купцами, у которых будто бы первые нанялись везти товары на ярманку. Сторожевые стояли повсюду: по дороге, над оврагом, по берегу Эсмани и по опушке леса. Внутри табора гайдамаки поделились на кружки: одни старались в вине затопить воспоминание грозившей им и атаману их опасности, другие, самые беззаботные, курили табак и играли в кости и карты; но самые заботливые рассуждали, как избыть беды и спасти атамана. Кони их были уже готовы в ближнем лесу; табором они не дорожили: тем, что было навьючено на конях, могли б они скупить все чумацкие обозы в Малороссии.

— Вот вам честный еврей, который спрашивал у меня русских купцов над Эсманью,— сказал гайдамак, стороживший на большой дороге, ведя за собою Гершка, который кланялся, сложа руки на грудь и бросая недоверчивые взгляды.

Как рой шмелей, гайдамаки сыпнули к нему со всех сторон.

— Узнаешь ли меня, земляк? — сказал ему выкрест[9] Лемет,— я хочу на тебе доказать благодарность свою тебе и всему бердичевскому еврейскому обществу. По милости вашей — я крестился, и по вашей же милости, бедный Лейба теперь в честной компании.

— Святые праотцы! — вскричал несчастный Гершко, предвидя участь, его ожидавшую, и разгадав, в какие сети завлек его коварный цыганенок.

— Не до праотцев, а до нашего отца атамана! — закричали ему многие голоса.— Сказывай, злодей, что с ним сделалось?

— Что хотите, честные господа! хоть замучьте меня — не знаю.

— Запираться не время: мы сами не меньше тебя знаем, что ты продал Гаркушу поветовому начальству, что за ним разосланы поиски. Если ты не знаешь, где он теперь,— то для тебя ж хуже.

— Как бог свят, не знаю.

— Ну, делать нечего, товарищи,— сказал гайдамак Несувид, занимавший должность атамана в его отсутствие,—

приговаривайте, какую казнь положить ему за измену.

— Прежде всего,— подхватил Лемет,— поджарить его, как тарань, на тихом огне и допросить, где он упрятал дорогие вещи, данные ему атаманом на продажу.

— Досуг толковать о такой безделице, когда дело идет о жизни Гаркуши! видно, ты и теперь еще такой же жид: у тебя всё для золота... Товарищи! к голосам.

— Повесить его на осине: на ней и брат его Иуда повесился,— сказал один гайдамак.

— Отдайте его мне,— перебил цыган Паливода,— я расплющу его молотом на наковальне глаже, чем он расплющивал медные кружки для фальшивых червонцев.

Злобный смех раздался во всей шайке; бедный Гершко был ни жив, ни мертв: холодный пот проступал по всему его телу; все члены были в судорожной лихорадке.

— Не лучше ли,— подал свой голос гайдамак Товпега,— кончить с ним без затей: Эсмань близко, жернов у нас есть... Пустим его греться по месяцу[10].

Предложение принято, жернов прикачен и крепкою веревкою привязан к шее несчастного жида; его потащили к берегу и покатили за ним жернов. Тогда, вдруг вышед из бесчувствия и видя, что ни просьбы, ни слезы не помогут и не смягчат злодеев, закричал он жалким, пронзительным голосом, раздиравшим душу и возвещавшим последнее, отчаянное усилие существа, расстающегося с жизнию.

Ветер разносил вопли еврея. Луна вышла из-за облак и в полном сиянии катилась по темно-синей тверди. В это время старец Питирим, инок П***ского монастыря, ходивший навещать больного в одном отдаленном хуторе, возвращался береговою тропинкою в смиренную свою обитель. Голос погибающего человека проник ему в сердце, и он поспешил на помощь, забыв свою старость и слабосилие, забыв, что сам может сделаться жертвою христианского сострадания. Он увидел свирепые лица и зверскую радость гайдамаков, увидел жалкого иноверца — и ревность к добру придала ему крылья.

— Стой! — закричали разбойники,— руку на нож!

Но старец Питирим не робко подошел к ним, и гайдамаки, из невольного уважения к его сану и летам, остановились. Тогда инок начал свое увещание, представил им всю важность преступления и гнев небесный, постигающий убийц.

— Безумцы! — заключил он речь свою.— Кто дал вам право разрушать превосходнейший дар божества — жизнь человеческую? Кто дал вам право быть судиями чужих поступ-

ков, когда карающий меч правосудия висит уже над преступными вашими головами, и муки ада, стократ лютейшие всех терзаний телесных, ждут вас после бесчестной смерти от руки палача?..

Гайдамаки, в которых вдохновенное красноречие старца минутно пробудило совесть, поникли головами, не смели поднять на него глаз и, опустя руки, стояли в нерешимости. Бедный Гершко, чувствуя, что его не держат, упал к ногам монаха, обнимал его колена, стирал лицом пыль с его ног и заклинал спасти ему жизнь.

— Я сделаюсь христианином,— говорил он с плачем,— отдам на ваш монастырь всё... всё, что имею, очень немного: несколько серебряных монет...

Инок, не могши победить внутреннего презрения к человеку, в котором корыстные склонности пересиливали даже мысль о самохранении, невольно отвратил от него лицо свое.

— Честный отец! иди своею дорогой,— сказал тогда суровый Несувид.— Мы знаем, на что решились — знаем, к чему осуждаемся на том и на этом свете. Но если б одним волосом сего негодяя могли искупить свою жизнь или души, то и тогда б не миновать ему петли и песчаного дна эсманского... Товарищи! дружней за работу.

Монах вздрогнул от слов закоснелого злодея. Между тем одни из гайдамаков принялись раскачивать жида, другие жернов, чтоб лучше и дале бросить их от берега. Отчаянный вой несчастливца перерывался быстротою и силою качки. Монах стоял, как в онемении, возведя глаза и воздев руки к небу. Крик бедной жертвы мщения терзал его душу; и вдруг крик умолк — вода расплеснулась и скрыла свою добычу.

Глава IV

На конях їхали чинненько,
З люльок тютюн тягли смачненько,
А хто на конику куняв.

Котляревский

Утро было ясно и свежо. Рассыльные казаки и понятые ехали по Глуховской дороге от Путивля и везли в середине человека, у которого руки и ноги были связаны. Казалось, однако ж, что бодрость и надежда не совсем его покинули; он весело разговаривал с окружавшими, шутил с ними, рассказывал были и небылицы и приковывал жадное их внимание умным и живым своим разговором.

«Молодец! весельчак! нечего сказать: скручен, как теленок, которого везут на убой,— а всё не унывает!» — «Мне все не верится, чтоб это был Гаркуша; посмотри: человек как человек, нет семи пядей во лбу!» — Так разговаривали двое из понятых, ехавшие позади. «Да как его поймали?» — продолжал последний.

— На всякого мудреца много простоты. Вот видишь, у него было похоронище, в глухом месте, над Сеймом, близ Клепала; там он прятал награбленные им богатства. Вчерась, когда удалый королевецкий рассыльный казак Моторный следил за ним с четырьмя своими товарищами, заметили они, что гайдамак пробирается к тому месту. Они видели, как он сошел с коня, и сами, оставя лошадей за ивняком, почти ползком прокрались к кустарнику, за которым Гаркуша, отыскав заступ, начал разрывать землю. Вдруг они на него бросились и, не дав опомниться, свалили с ног, связали ему руки и ноги, завязали рот, прикрутили молодца к седлу его же коня и вскачь пустились с ним к селению за понятыми. Остальное ты знаешь.

Конвой между тем приближался к Клевенскому перевозу. Сквозь просеки приятной рощицы видны были вдали, на высоком прелестном месте, большой помещичий дом и купол церкви села В***на; внизу текла излучинами быстрая Клевень, сливающая воды свои с Эсманью; по долине, за тундрами и *сагами*[11], мелькали купы дерев, хутора и мельницы. Узник, казалось, любовался видами и любопытно расспрашивал о всем своих проводников; в таких разговорах подъехали они к перевозу.

Паром был уже готов. Казаки и понятые взвели на него гайдамака, поставили усталых коней своих к одной стороне и столпились вокруг пленника. Только ретивый конь Гаркуши, не зная устали, бил от нетерпения в доски копытами и, казалось, хотел пуститься вплавь к другому берегу. К нему приставили одного из понятых и велели крепко держать за повода.

Гайдамак окинул беглым взором своих спутников; потом, устремя глаза на крутые горы противуположного берега Клевени, сказал:

— Кажется, там, за этими горами, влево есть селение над Эсманью... Не могу вспомнить его имени. Покойный дед мой был родом из здешней стороны и часто рассказывал нам, ребятам, страшную быль об этом селении.

— Какую? — спросили в один голос вожатые, увлеченные любопытством и уже прежде заохоченные искусными его рассказами.

— Хорошо вам, друзья, слушать на свободе! у меня гортань пересохла от жажды, а руки и ноги затекли кровью от ваших веревок.

— В самом деле, братцы, к чему его мучить без нужды? Паром теперь отчалил, нас здесь человек сорок, уйти ему нельзя. Развяжем ему руки и ноги, пока на середине реки; а начнем приставать к берегу, тогда пусть не погневается, опять опутаем молодца по-прежнему.

Так говорил один казак, и товарищи охотно его послушались. В наружности и речах Гаркуши было нечто такое, что вожатые, при всем убеждении в его преступлениях, почувствовали к нему невольное доброхотство. Они совершенно потеряли суеверный страх, который на малороссиян наводило одно его имя.

Руки и ноги гайдамака уже свободны; ему поднесли полную кружку вина, которую он выпил «за здоровье братьев земляков». Тогда все приступили к нему, прося рассказать страшную быль, и он начал:

— Давно, не за нашею памятью, селение, о котором я говорил, было за другими панами. Один из них был человек чудной: не ходил в церковь божию, чуждался людей, считал звезды ночью, собирал росу на заре и папоротниковый цвет под Иванов день. Никто не знал, какою смертью он умер и где погребен; только видели, что в ту ночь, как его не стало, огненный клуб прокатился над селением и рассыпался искрами над самым домом панским. Дом сгорел дотла, а с ним и всё, что в нем было. Вот, спустя малое время, начали делаться дела небывалые и неслыханные. Каждый день, и в самую полуденную пору, при ясной погоде, вдруг набегут облака и застелют солнце, подымется пыль столбом по дороге, и сквозь пыль видали те, кого бог не миловал от такого виденья, что *старый пан* (как его называли) вихрем пронесется по селу в старинном *рыдване*[12], шестеркою черных как смоль коней, которые, пенясь и сарпая и бросая искры из глаз, на четверть не дотрогивались до земли. Кучера и лакеи сидели на своих местах, как окаменелые, в белых саванах, с бледными лицами, со впалыми глазами,— словно теперь только вырыты из могил. В один день...

В эту минуту паром приставал к берегу; некоторые из провожатых сидели на помосте с полурастворенными ртами и жадно ловили каждое слово; у одних волос становился дыбом, у других лица вытягивались от ужаса; державший коня гайдамакова опустил руку с поводом и стоял как вкопанный. Вдруг Гаркуша одним прыжком через сидевших выскочил из

круга, столкнул в воду оплошного надзирателя за конем, впрыгнул в стремена, перескочил расстояние, отделявшее паром от пристани, и стрелою полетел на крутизну. На самом гребне придержал он коня, махнул шапкою своим сторожам и, вскликнув: «Спасибо, земляки, за ласку!» — исчез за склоном горы.

— Человек это — или бес? — рассуждали провожатые, опустя головы и еще не опомнившись от столь внезапного побега.— Разве мы не знали, что он водится с нечистою силою! как он нас обморочил...

Долго стояли они на пароме, не зная, что начать, и не смея взглянуть друг на друга.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Шалаши, где производится на ярманках в Малороссии продажа хлебного вина.

[2] Купцы, продающие враздроб красный товар.

[3] *Свита* — род армяка из домашнего сукна, обыкновенное платье простого народа в Малороссии; *видлога* — мешок с вырезкой из того ж сукна, пришиваемый к спине и накидывающийся на голову в дождь или дурную погоду.

[4] Особый бич, или плеть, на длинной палке, чем малороссийские чумаки погоняют волов своих.

[5] Чумаки, отправляясь в дорогу, бреют себе голову, чтобы пыль не набивалась в волосы. Иногда оставляют они, подобно казакам старой Сечи, узкий и длинный клочок волос на теме и завивают его за ухо. Этот клочок называется *оселедцем.*

[6] Казаками в Малороссии называются и теперь все казенные крестьяне. В Слободско-Украинской губернии носят они имя казенных обывателей.

[7] Музыка старинных, так называемых бандурных малороссийских песен идет аккомпанементом, самые песни поются речитативом. Их начинают прелюдией, или интродукцией, на бандуре.

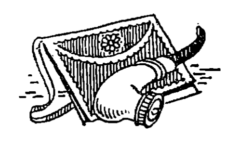
[8] Малороссия, управлявшаяся тогда гетманами, называлась от жителей Гетманщиною.

[9] Имя, которое в Украйне дают крестившимся евреям.

[10] Народное поверье в Малороссии, что утопленники выходят в лунные ночи из воды и греются на лучах луны. Отсего луна в Малороссии называется у суеверных поселян — *солнцем утопленников.*

[11] *Сага* — малороссийское слово, означающее залив реки.

[12] Так малороссияне называют карету, или старинный берлин.

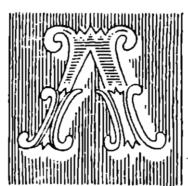


ГАЙДАМАК

Главы из малороссийской повести

Глава I

> Скачи, враже, як пан каже.
>
> *Малороссийская пословица*



ет за пятьдесят Малороссия была страною поэтическою. Хотя жизнь и занятия мирных ее жителей были самые прозаические, как вы узнаете, милостивые государи, из моих рассказов, если станет у вас терпения; зато вековые, непроходимые леса, пространные степи и худо возделанные поля, а в селах полуразвалившиеся хижины и заглохшие сором и крапивою улицы переносили воображение в веки первобытные, которые, как известно, составляют удел и собственность поэтов. Удел, мимоходом сказать, небогатый; и оттого-то мы встречаем питомцев Фебовых в изношенных и забрызганных чернилами платьях, а ищем — на чердаках. Но теперь речь не о них, а о жизни и занятиях малороссиян.

Простой народ пил, ел и дремал в роскошной лени зимою, зарывшись на печи в просо или овес, сушимые для домашнего

обихода. Хотя он не мог похвалиться перед итальянцами климатом и красотами природы; но не уступал им ни в лени, ни в сладкоголосных своих песнях. Летом мужчины кое-как обрабатывали свои поля и убирали жатву, охотно ходили *чумаковать*, т. е. с обозами за рыбой и солью; зимою ж, если холод не выгонял их в лес за дровами, которых они никогда не заготовляли на целую зиму, если недостаток других жизненных потребностей не заставлял их отвозить на *базар* небольшой свой запас хлеба или крайняя бедность не запирала в дымной винокурне зажиточного заводчика; то они как будто держали заклад с медведями, кто кого переспит. Промежутки между сном проводили они в шинках, где, потчуя друг друга, за чаркою вина вспоминали старину и свои *чумакованья*. Женщины белили хаты свои к Рождеству и *Велику-дню* (празднику Пасхи), содержали в опрятности дом, варили вкусный *борщ*, ухаживали за домашнею скотиной, а в зимние вечера при свете ночника пряли, рассказывая соседкам страшные были о ведьмах, мертвецах и русалках; но вообще в это время года были они гораздо досужливее и полезнее мужьев своих.

Девушки и молодые парни проводили время веселее и разнообразнее. Зимой они собирались вместе на приманчивые *вечерницы*, и здесь-то малороссийские красавицы истощали все пособия сельского кокетства, привечали и часто обманывали доверчивых молодцов. Косы, заплетенные в *дрибушки* или перевитые разноцветными *скиндячками*, радужная *плахта*, штофовый или парчевый корсет, едва состегивающийся под грудью *гаплицами*, белый суконный кунтуш, по фалдам коего, отделяющимся от стана, расшиты были черным шелком *усы*[1], и сафьянные *чоботы* — составляли наряд щеголеватой малороссийской девушки. Черный цвет волосов и бровей и живой румянец в щеках почитались непременными условиями красоты; посему с помощью зеркала и услужливой пробки или, за недостатком ее,— накопченой иглы светлого цвета брови часто превращались в лоснящиеся черные, а таящийся в бледных щеках румянец вызывался наружу щипким *надошником*[2] или осторожно заменялся настоенным в вине сандалом. Жупан или свита нараспашку, казачья шапка с красным суконным верхом, красные или желтые чоботы, иногда цветной шелковый платок, небрежно повязанный на шее,— таков был убор молодого малороссиянина *до танцу*. Музыка была не по найму: один из посетителей сего сельского клуба приносил гудок или *скрипицу*, балалайку, *сопелку*[3] или на чем был горазд и, наигрывая *дудочки*,

метелицу, горлицу или *казачка*[4], вливал огонь и быстроту в гибкие члены молодой толпы.

Панки, или мелкопоместные дворяне, жили почти так же. *Будинки*[5] сельского панка были не многочисленны светлицами; иногда тесовые или чисто выбеленные стены с божницею, с простою дедовскою утварью составляли все их украшение; иногда стены пестрели и удивляли глаза простодушных гостей теми самыми или подобными тем изображениями, какими Котляревский убрал палаты царя Латина в IV-й песни своей «Энеиды»[6]. Чай не всегда и не везде подносился гостям и часто заменялся варенухою[7]. Терновка, вишневка, дулевка, рябиновка и другие наливки на домашнем хлебном вине, изредка вина сикийское, монастырийское и волошское услаждали неразборчивый вкус так же, как позже вина венгерские, рейнские и французские.

Вот, в коротких словах, образ жизни тогдашних малороссиян. Панки отстали теперь от него: потчуют гостей чаем и вареньями, а панночки играют на фортепиано и танцуют экосезы; но простой народ все еще держится коренных обычаев. Не станем, однако ж, выходить из описываемой нами эпохи и взглянем на частные картины.

Воздвиженская ярмарка в Королевце приходила к концу; залетные гости, купцы московские, жиды из Бердичева и Белой церкви и пр. и пр. отправились искать на других ярмарках или неверных выгод, или нежданных потерь. Королевец стал пустеть, как наши поля и болота во время осеннего перелета птиц; только сентябрьская непогода, дожди и грязь основали постоянное свое пребывание в городке и окрестностях его до поздних заморозков. Пан Гриценко в это время праздновал именины своей дочери, прекрасной, милой и доброй Евфросинии, которую, по малороссийскому сокращению, все называли Присею. Пан Гриценко был богат, а Прися его единственная наследница: мудрено ли, что распутица не помешала любителям пламенных, черных глазок и охотникам до сытных блюд и вкусных наливок собраться у зажиточного соседа? Прелестная Прися должна была из своих рук подносить гостям наливки и варенуху, которую сама приготовила; с милою, стыдливою улыбкою, с опущенными к полу ресницами и застенчивым поклоном говорила она каждому обычное приветствие: «На здоровье!» Таким образом, при звуке серебряных чарок и филижанок, в шуму речей и малороссийских песен, время летело, и короткий осенний день смешался с хмурым и туманным вечером. Многие из гостей встали и хотели уехать; пан Гриценко

ко, по врожденному гостеприимству малороссиян, удерживал всех, наливал чару за чарой и просил посидеть.

— Нет, не погневайтесь! — говорил толстый подкоморий Кныш.— Дорога ко мне идет по косогору и у самого леса; волки ходят теперь стаями, и почему знать — может быть *гайдамак*...

— Полно, полно! — прервал речь его Гриценко.— К чему пугать любезных моих гостей? и как сюда ждать гайдамака, и что ему здесь делать? Если кандалы не подкосили ему ноги и колодка не скрючила шею, то он верно теперь не ближе отсюда, как верст за пятьдесят, где-нибудь на Королевецкой дороге, поджидает богатого московского купчика с товарами или беломорского грека с винами. Вы знаете, что теперь разъезжаются с ярмарки.

— А что в самом деле, не слышно ли чего о гайдамаке? — спросил один из гостей.

— Как? — подхватил словоохотный подкоморий, считавшийся в своем кругу приятным рассказчиком и живою газетой всех новостей.— Неужели вы ничего не слыхали о том, что случилось в Королевце? Ну так я вам расскажу. Племянник мой был там на ярмарке и привез мне самые точные и подробные известия.— При сих словах подкоморий посмотрел на все собрание с самодовольным и отчасти горделивым видом как человек, знающий то, чего другие не знают.

— Вот, милостивые государи, как было дело,— продолжал подкоморий.— Гайдамак вдруг явился середи бела дня на ярмарке, в толпе народа. Никто не смел его тронуть даже пальцем: самые отчаянные смельчаки боялись не столько его силы, сколько его бесовского художества и мороченья. Он похаживал как индейский петух, спесиво раздув хохол и посматривая на боязливых: куда ни обернется — толпа народа так и отхлынет, как дым от ветра. Тут откуда-то выискался жид, который, как и весь их жидовский род, видно, знал чернокнижие не хуже Гаркуши. Он явился к поветовому судье и сказал ему наедине, посмотревши на звезды и на воду, где и как можно поймать гайдамака живым и без всякого сопротивления, ну словно, как мы ловим зайца тенетами. В полночь жидок с рассыльщиками и понятыми напал на гайдамака врасплох, когда тот спал под чистым небом в каком-то глухом месте, отговорил начерченный им около себя волшебный круг, услал за тридевять земель сторожившего над ним нечистого духа и выдал Гаркушу рассыльным казакам, которые тотчас его скрутили и повезли в Гл⟨ух⟩ов. Только ненадолго его взяли: при переправе через Клевень,

на пароме, он вдруг околдовал своих конвойных: все они, человек сорок, не могли тронуться ни руками, ни ногами, хотя слышали, как вдруг расплеснулась вода в Клевени, видели, как оттуда выскочил на паром черный конь с огненными глазами, как Гаркуша сел на него, взвился над рекою и берегом — и поминай как звали! Все это рассказывали они уже спустя шесть часов после этого случая, а до тех пор оставались окаменелыми на пароме и они и их лошади. С жидом было и того хуже: он вдруг исчез, так что не заметили, в воду ли канул или в дым сотлел. Нечистая сила, видно, покарала своего прислужника за то, что он выдал ее любимца.

— Да, гайдамак ужасный чернокнижник: дунет на воду — и вода загорится, махнет рукою на лес — и лес приляжет,— сказала одна дородная гостья и, конча речь, как заметно было, шептала молитву.

— И лихой удалец,— примолвил отставной хорунжий Черемша,— с дюжиною своей вольницы набежит на целый обоз, подвод во сто и более; не побоится ни ружей, ни рогатин, свистнет, гаркнет: «Ниц головами!»[8] — и все прилягут, пока он не очистит возы ото всего, что получше да подороже.

— Охота вам, господа! — еще раз перервал хозяин,— рассказывать такие незабавные новости? Вы и так уже напугали мою именинницу: смотрите, она сидит в углу и чуть не плачет.

И в самом деле Прися, в промежутках потчеванья гостей своих, сидела в углу, одна, вдали от всех, с поникшею головою. Лицо ее было печально, частые вздохи волновали высокую грудь ее; в кругленьких, полненьких щечках то вспыхивал яркий румянец, то вдруг сбегал с них и уступал место бледности. Не от ужасных рассказов тосковала милая девушка: нет! они ее не занимали, она их не слушала. Год назад она провела этот день с другом своего сердца, Демьяном Кветчинским, молодым, пригожим и ловким офицером одного гусарского полка. Кветчинский был сын одного соседнего дворянина; отец его был беден, но Демьяна воспитал в Киеве и за четыре года пред тем из последнего снарядил его на службу царскую. Демьян служил с отличием, скоро произведен был в офицеры и за год до описываемого здесь времени приезжал в отпуск к отцу своему. Тут познакомился он с домом пана Гриценка, увидел Присю, влюбился в нее страстно, изъяснился ей в любви и получил взаимное признание робкой девушки. Ободренный ее любовью, личными своими достоинствами и благословением отца своего

послал он сватов к пану Гриценку; но получил оскорбительный отказ, сопровожденный насмешкою, верным изъявлением спеси богатого и старинного малороссийского пана. Отец Приси отвечал, что не отдаст дочери своей за бедняка, который сверх того не может насчитать и трех поколений в дворянской своей родословной. Ни слезы, ни уверения Приси, что кроме Демьяна Кветчинского она не будет ничьею женою,— не сильны были разжалобить упрямого старика. С тех пор влюбленные виделись только однажды и то мельком; поклялись друг другу: она — что расплетет девичью свою косу разве только под клобук монахини, а он — что сосватается разве только с пулею неприятельскою. Демьян уехал в армию, и уже более десяти месяцев не было о нем ни слуху, ни духу. Прися тосковала, плакала как дитя; но грусть ее, как и грусть дитяти, не была глубока, не иссушила ее сердца и не изменила юной ее красоты и свежести. Только в день своих именин, оживляя в душе своей память прошедшего, она была грустнее обыкновенного и, хотя стыдилась плакать при гостях, чтобы злые языки не вывели из того каких-либо предосудительных для нее заключений, однако ж беспрестанно задумывалась, вздыхала и изменялась в лице, как мы видели выше. Отец ее первый это заметил; ибо гостям, за попойкою и разговорами, было не до того.

— Что с тобою сталось, дитя мое? — сказал он, подошед и поцеловав ее в лоб.— Не бойся: бог милостив; он не попустит, чтобы такой ангел, как ты, такая добрая и послушная дочь, пострадала от набегов и грабительства гайдамаков. Это все сказки: Гаркуши здесь поблизости нет и не будет. А! да я и забыл, что у нас именины без музыки; это и в самом деле скучно, особливо молодым девушкам: их ноги не привыкли быть в покое... Эй, Стецько!

Стецько[9], камердинер и вместе скороход пана Гриценка, явился у дверей в разодраной *свите*, с босыми ногами и полурастворенным ртом, уставил неподвижные глаза на своего пана и ждал приказа.

— Беги опрометью, вялое животное, и позови сюда слепца Нестеряка[10] с бандурою.

— Шкода[11]! — жалко пропищал Стецько, пожимая плечами и не двигаясь с места.

— Шкода будет тебе, если еще разинешь рот.

— Власть панская! — продолжал Стецько, все еще не уходя и тем же голосом.— Только на дворе ночь хоть глаз выколи, дождь как из ведра, грязь по колено. До нестеряковой хаты далеко: она на краю села; а там у оврага всякую

ночь люди видят черную собаку, и все в один голос говорят, что это *упырь*[12]; кто знает, может быть, сам Нестеряк: этот слепой леший не мне одному кажется колдуном.

— Ступай же, пока я не заколдовал тебе язык,— закричал Гриценко, толкая его в сени.

Делать нечего: бедный Стецько должен был отправиться в неприятное для него посольство; зато, меся ногами грязь по улице, он выветривал свою досаду горькими жалобами и не щадил своего пана в следующей речи, которая расстановками у него вырывалась:

— Правду говорит пословица: «Скачи, враже, як пан каже!..» Хорошо ему сидеть в теплой и светлой комнате да пить свою терновку с гостями: сам бы пошел вместо меня в такую погоду, в такую ночь... и куда еще? О мать пресвятая богородица!.. А!.. кто тут? кто шумит? кто шепчет?.. Нет, кажется: это в панском саду блеклые листья шелестят под дождем... Я не трус и за себя постою; с живым управлюсь; только мертвец или оборотень — не свой брат!.. А уж что будет, то будет! у меня на всякий случай есть оборона: на мертвеца — крест, а на живого — дубина... Подумаешь, подумаешь: для чего я сам не пан! Ел бы сало, сколько душе угодно, накопил бы полные сундуки денег и спал бы на печи, а для потехи заставил бы пана Гриценка прыгать через эту дубину или послал бы его в глухую ночь сзывать всех слепцов и бандуристов из околотка... Чтоб ему так легко икалось, как мне легко по его причудам тащиться здесь по грязи и шарить ощупью дорогу... Ни звездочки на небе, ни света по хатам: все улеглись... вот самая лучшая пора бродить по улицам! добрый человек теперь и собаки не выгонит... Бог тебе судья, пан Гриценко!.. Скачи, враже, як пан каже... Ай!..

Страх оковал ноги бедного Стецька, и на этот раз его страх был не пустой: сильный удар по плечу невидимой впотьмах руки зазвенел у него в ушах, как неожиданный удар грома, и рассыпался по всем его составам смертным холодом.

— Здорово, товарищ! — проговорил в то же время кто-то твердым голосом, который показывал, что говоривший не боится дубины и не бегает от креста.

— Здорово, коли надобно!.. Кто ты: мертвец, оборотень или...— спросил Стецько дрожащим, перерывчатым голосом; последнее слово замерло у него в гортани.

— Узнаешь, когда со мною пройдешься,— с смехом отвечал неизвестный.— Я слышал, что пан Гриценко не слишком милосердо с тобою поступает: в эту ночь послать по сво-

им причудам такого славного парня... Не знаю, на твоем месте я отшутил бы ему шутку так, что он бы не скоро опомнился.

— Где мне с ним сладить? он мой пан! Плетью обуха не перебьешь...

— Перебьешь, коли сумеешь: не в том сила, что он толст и крепок, а в том, чтобы знать сноровку, где и как ударить по обуху.

— Да, да! ударить невпопад — так плеть и отхлыснет по твоей же спине.

— Простак! если волка бояться, так и в лес не ходить. Пожил бы с моё, побродил бы, как я, по свету — то бы узнал, что и не такие обухи тонким ремешком перетирают... Послушай, я тебя научу на камне муку́ добывать.

— Рад слушать.

— Тебе больно служить пану Гриценку?

— И мне, и спине!

— Хотел бы от него подале?

— Да уж что будет, то будет, а хуже не бывать!

— Разумеется, если станет у тебя на то ума. Ты знаешь, дурак о себе не радеет, а умный человек всегда что-нибудь подготовит про запас.

— Ведомо, так! да где же взять, коли нет? С сухого лесу листья не соберешь.

— Есть где взять, были бы руки. Слушай: пан Гриценко, отпустя гостей, ляжет в постелю с тяжелою головою и уснет, хоть стреляй над ухом; панянка, как и все молодые девушки ее лет, так же крепко уснет, а люди и пуще. Ты один не будешь спать. В эту пору, попозже полуночи, я стукну в дверь, что из саду; ты тотчас отвори. Не бось! худо ни с кем не будет; только мешки пана Гриценка станут полегче, а сундуки поглубже.

— Дело! по рукам.

В это время они подходили к оврагу.

— До встречи у дверей! — сказал неведомый. Стецько оглянулся — его уж не было.

— С нами сила крестная! — думал Стецько, крестяся.— Это, верно, наваждение; нет! не продам душу лукавому, кто б он ни был, человек, мертвец или сам нечистый дух! — С такими мыслями подошел он к дому бандуриста.

Слепец Нестеряк уже спал. Услыша стук в окно, он пробудился, отдернул форточку и, на спрос узнавши о причине такого позднего посещения, разбудил семилетнюю девочку, свою внуку и вожатую.

— Олеся, сердце! вставай и вздуй лучину, да подай мне поновее свиту и чоботы. Пан хочет — не отговариваться стать: я панских ласк и денег не чуждаюсь.

Послушная малютка, потягиваясь, исполнила приказ, снарядила старика, оделась сама, подала ему бандуру и по привычке повела его за руку к панскому дому, оставя ветхую свою хату на стражу бедности.

Веселая пирушка в доме пана Гриценка была на самом разгулье. Старик бандурист был встречен ласковым приветом: пан погладил его по седой голове и, велев поднести ему чарку водки, сказал:

— Где ты пропадал, старик? что так долго не казался мне на глаза?

— Виноват, *добродей*[13]! я вчера только притащился домой с королевецкой ярмарки, где пробыл целую неделю.

— Что же ты узнал там нового? — спросили вдруг несколько голосов.

— О, много, много! — отвечал слепец, слегка покачивая головою.— Там был и нежданный гость, гайдамак. Он словно как из воды вынырнул: всполошил всю ярмарку, заставил о себе трубить всех, от мала до велика, и после вдруг исчез невесть куда.

Все гости приступили с расспросами к бандуристу, и он пересказал им народные басни о Гаркуше почти так же, как и толстый подкоморий. «Все это так вбилось мне в голову,— прибавил слепой певец,— что я, идучи с ярмарки, дорогою беспрестанно твердил: *гайдамак! гайдамак!* И чтобы как-нибудь разделаться с этим страшным человеком, которого имя ни на миг меня не покидало и нагнало тоску маленькой проводнице моей, внучке,— я сложил про него песенку. Если угодно честной компании, я спою...

— Спой, дружок, спой! — закричали ему гости со всех сторон. Нестеряк взял бандуру, закинул себе около шеи прикрепленную к ней алую ленту, пробежал пальцами по звонким струнам, потом заиграл и запел следующую песню:

Кто полуночной порою
Через лес и буерак,
С свистом, гарканьем, грозою
Мчится в поле? — Гайдамак!

Он как коршун налетает,
От него спасенья нет!
Черный вихорь заметает
Гайдамака страшный след.

Кто один в селеньях бродит
И, как злобный *волколак*[14],

Старым, малым страх наводит?
Кто сей *знахарь*[15]? — Гайдамак!
Тронет он — замки валятся,
Отмыкаясь без ключей,
И червонцы шевелятся
В сундуках у богачей.
Кто так зорко приглядает
За проказами гуляк,
В душу к ним змеей вползает?
Кто сей демон? — Гайдамак!
Враг он и душе и телу:
Буйных, молодых повес
Научает злому делу
И с собой уводит в лес.

Еще старый певец не кончил своей песни, как вдруг послышался необыкновенный шум у дверей дома. Все гости вздрогнули; хозяин, по невольному движению, бросился к дверям; слепец Нестеряк, оставя свою бандуру на коленях, опустил руки и как будто бы силился взглянуть. Одна Прися, подняв голову, весело обвела взглядом все собрание: было ли то предчувствие нежданной радости, или беглая мысль, мигом отвлекшая ее от грустных дум,— этого никто от нее не узнал, потому что никто не спрашивал. И до того ли было гостям? Все они с каким-то робким ожиданием смотрели на двери и оставались как прикованные на своих местах.

Глава II

Чи се ж тая криниченька, що голуб купався?
Чи се ж тая дівчинонька, що я женихався?

Малороссийская песня

Спустя минуту вошел человек средних лет, в богатом польском наряде. На нем была бекешь из зеленой парчи, с большими золотыми цветами и бобровою опушкою; она состегивалась накрест золотыми снурками, по краям коих висели крупные золотые кисти, и сверх того стянута была персидским кушаком. С одной стороны к кушаку прикреплена была золотою цепочкою кривая турецкая сабля в дорогой оправе; а с другой — заткнут был турецкий же кинжал с серебряною рукояткою и ножнами, на которых сверкали драгоценные каменья. Незнакомец, войдя в комнату, вежливо поклонился всему собранию; с меткостию человека, живущего в лучших обществах, отыскал он хозяина дома, сказал ему на польском языке приветствие и просил ночлега и гостеприимства, объясняя, что сбился с большой дороги и в такую пору не мог ехать далее. Пан Гриценко, разумев

немного по-польски, отвечал ему как умел приглашением остаться в его доме до будущего утра, и если не соскучится, то пробыть у него и весь следующий день, чтоб отдохнуть и оправиться от такой трудной дороги.

Тут только гости, опомнившиеся от первого впечатления, заметили, что вслед за поляком вошел в комнату молодой гусарский офицер. Прися прежде всех его увидела: она вздрогнула, ахнула... Это был Демьян Кветчинский. Поляк, оборотившись, взял его за руку и представил хозяину дома как своего спутника. По пословице: *хоть не рад, да готов*, пан Гриценко повторил свое приглашение и Кветчинскому, боясь отказом нарушить обязанность гостеприимства, весьма свято в Малороссии уважавшегося, и подать о себе на первых порах дурное мнение польскому пану.

Когда все уселись, слуги польского пана, или, как он говорил, его *шляхтичи*, начали вносить дорожные его вещи. Первый из них поставил на стол перед своим господином его шкатулку, без которой знатный и богатый поляк никогда почти не делает шага из дому. Второй внес походное его ружье и пистолеты в бархатных футлярах. «Это,— молвил незнакомый гость,— я взял с собою для того, что здесь, сказывают, дороги не совсем спокойны. Я слышал, что в вашем краю разгуливают шайки бродяг и очень немилостиво обходятся с проезжими, а особливо с моими земляками, зная, что с нами всегда бывает порядочный запас *дукатов*. Для того же я взял сверх обыкновенных моих проводников несколько человек лишних. По незнакомым дорогам не худо ездить с хорошею охраною». И в самом деле, любопытные гости пана Гриценка насчитали всей прислуги поляка человек до двенадцати, входивших то с разными его вещами, то для получения его приказаний. Все они одеты были в одинакое, весьма щеголеватое платье, с золотыми позументами, у каждого была за поясом сабля и пара пистолетов; большая часть из них, как видно было, составляла конную стражу своего господина.

Не прошло полчаса, как уже все гости были, так сказать, околдованы обходительностию и ловкостию польского пана, занимательностию его разговоров и приятностью поступков. С мужчинами был он вежлив и говорлив, с женщинами услужлив и вкрадчив. Знав, что не многие из собеседников его разумели по-польски, старался он говорить по-малороссийски, ломал довольно забавным образом наречие туземцев, и сам первый тому смеялся. Ничем столь легко не приобретешь доброго расположения малороссиян, как непринуж-

денною веселостью и шутливостью; казалось, польский пан обладал в высшей степени сими качествами приятного собеседника. Около него составился кружок; всякий с удовольствием его слушал, расспрашивал и смеялся от души остроумным его замечаниям насчет жизни знатных богачей в Польше и в Москве, откуда, по словам польского пана, он теперь ехал, быв посылан с какими-то важными поручениями.

Между тем как хозяин и все гости были заняты слушаньем рассказов поляка, Кветчинский нашел удобный случай сесть подле Приси, повторить ей свои уверения в вечной любви и выслушать такие же от нее. После сей взаимной передачи нежных чувствований Прися с веселым видом спросила у Демьяна: где отыскал он этого чудака-незнакомца, который, явясь впервые в их обществе, как будто бы сто лет был знаком со всеми?

— Я нашел его,— отвечал Кветчинский,— назад тому часа два, в постоялом доме, что стоит там, под леском, в четырех верстах от здешнего селения. Он остановился было там ночевать, когда я заехал в ту же корчму, чтоб обогреваться и дать отдых лошадям, которых измучил по худой дороге, спеша к отцу... Признаюсь тебе, милая, хоть я и решился было никогда сюда не возвращаться: но один взгляд на тебя, один слух о тебе вызвали бы меня...

— С того света,— перервала Прися с лукавою улыбкою.— Не о том теперь речь: ты хотел мне рассказать, как познакомился с польским паном. Продолжай же.

— Изволь, милая, если тебе приятнее слышать о проказах польского чудака, нежели о муках моего сердца,— отвечал Демьян отчасти укорительным голосом.— Вошедши в корчму, я увидел толпу прислужников польского пана, которые суетились около него. Сам он лежал в переднем углу на лавке, на которой разостлан был персидский ковер с сафьянными подушками; перед ним, на столе, поставлены были неразлучная его шкатулка, сабля, кинжал, пистолеты и бутылка какого-то заморского вина. Когда я вступил в комнату, он торопливо вскочил с своего места, быстро посмотрел мне в глаза, потом поклонился и спросил по-польски: конечно, я проезжий? Я отвечал, что он не ошибся. Тут он просил меня сесть подле него, потчевал своим вином, расспрашивал, куда и зачем еду... Смейся или нет, моя милая, только я от полноты души рассказал ему все: и нашу любовь, и наши горести; не утаил даже и того, что нынче день твоих именин. Вообрази мое удивление, когда чудак, вскрикнув: «Я вам помогу, и помогу сей же час»,— велел своим людям в минуту

собраться в дорогу, надеть лучшую их однорядку и, одевшись сам, посадил меня с собою в бричку, чтобы, как он шутя говорил, показывать дорогу... И вот мы здесь! Не знаю, что из этого будет, не смею еще надеяться ничего хорошего; но сердце мое замирает в каком-то тягостном ожидании.

Прися вздохнула. В эту минуту раздался громкий, единодушный хохот всего собрания. Отчасти из любопытства, отчасти из опасения, чтоб не заметили долгого их разговора глаз на глаз, вдали от прочего общества,— Прися встала и подошла к гостям. Демьян пошел вслед за нею. ⟨...⟩

Таким образом, в веселых рассказах и шутках, неприметно пролетел вечер. Кукушка в стенных часах прокричала одиннадцать часов; гости вдруг опомнились, стали собираться к отъезду, но хозяин снова начал унимать их закусить, что бог послал. Они снова начали отговариваться позднею порою, волками и гайдамаками. Тут к хозяину пристал и поляк, упрашивал их подарить его остатком вечера и отведать за ужином его венгерского вина; к тому прибавил он, что всем им даст своих шляхтичей проводниками. На замечание подкомория, что шляхтичи и без того устали и намучились по такой дурной дороге, отвечал он, что эти молодцы привыкли к поездкам и что они готовы ехать во всякую пору по приказу своего пана, не зная ни сна, ни усталости, как черкесы.

За ужином польский пан велел подать свой запас венгерского и серебряные чарки. Сам он подносил вино своим собеседникам, чокался с каждым из них и пил за их здоровье. Наконец, когда все уже были очень навеселе, вдруг, по его знаку, подали две серебряные стопы одинакой меры, с чернью и позолотою; поляк подошел к пану Гриценку, сказал ему, что хочет пить с ним по-польски, на *братство;* стал на колени и пригласил хозяина сделать то же. Тут он громко сказал: «Пан Гриценко! здоровье твое, мое, любезной именинницы, твоей дочери, и молодого гусара, моего товарища. Видишь ли, я пью от души на братство: не забываю и тех, которые милы тебе и мне. Выпьем же, как у нас в Польше: все до дна, не переводя духа». Пан Гриценко, у которого прежняя попойка уже затмила рассудок, принялся пить без всякого возражения; однако же не мог выпить всего за одним духом: останавливался, пыхтел, но не хотел отстать от своего товарища. У польского пана вино свободно лилось в горло; он выпил несколькими минутами прежде хозяина, стукнул стопою о серебряный поднос и закричал: «Виват!» Слепец Нестеряк, забытый с самого появления поляка, ото-

звался в эту минуту, громко ударя *тушь* по всем струнам своей бандуры. Польский пан подошел к нему, налил венгерского и, бросив в чарку червонец, подал ему и сказал: «На, пей, старик!» Слепой бандурист выпил вино, достал со дна чарки червонец, ощупал его и молчаливо поклонился щедрому дарителю. Вслед за тем он встал, оперся на плечо своей внучки и пошел домой, покачивая седою своею головою.

Головы гостей сильно кружились, когда они встали из-за стола. Прися просила Кветчинского, который один из всей мужской компании уцелел от хмеля, позаботиться об отъезде гостей. Польский пан, вслушавшись в ее речь, созвал своих служителей, велел осьмерым из них быть в минуту готовыми и провожать гостей, настрого подтвердив, что они будут ему отвечать за целость и безопасность как самих господ, так и всего, что при них находилось. На него, как видно было, вино не сильно действовало, по привычке ли к таким попойкам, или потому, что он был крепок от природы. Он распоряжал всем и отдавал приказания, как человек с совершенно свежею головою. Зато хозяин дома совсем обомлел от последнего потчеванья: язык у него почти не ворочался, ноги подкашивались. По отъезде гостей он уже насилу стоял на ногах. Прися кликала Стецька, чтоб он отвел своего господина в его комнату; но Стецько не откликался. Один из людей польского пана сказал ей, что камердинер отца ее спал в людской избе, «от того,— прибавил он,— что, потчуя прислугу его ясновельможности, не забывал и себя». Кое-как, с помощью Демьяна, Прися отвела своего отца в его комнату, где Кветчинский и денщик его раздели пана Гриценка и уложили его в постелю. Прися пожелала спокойной ночи польскому гостю, то же желание, сопровожденное едва заметным вздохом, сказала она Демьяну и ушла в свою комнату. Поляк и Кветчинский остались вдвоем и скоро легли спать. Так ли они крепко уснули, как пан Гриценко, или вовсе не спали, как молодая Прися в эту ночь,— не станем исследовать; а посмотрим, что сталось с Стецьком.

Он крепко держал в уме и на душе, чтобы пересказать панянке, которую любил за ее доброту и ласковость, встречу свою с незнакомцем у оврага; но при гостях не имел свободной для того минуты. Приезд польского пана развлек его внимание; к тому ж он уверился, что при таком большом числе вооруженных людей гайдамаки не посмеют напасть на дом пана Гриценка. На беду еще, его заставили потчевать

служителей поляка, которые все были большие весельчаки и беззаботные головы: пили сами за его здоровье и его заставляли пить за свое, поодиночке.

— Вы славные молодцы,— сказал Стецько, когда у него порядочно зашумело в голове,— и перед вами нечего таиться; да вы же в этом деле можете нам и сослужить службу.

— А что такое? — спросили почти в один голос все поляки.

— Да вот что. К нам назывался в нынешнюю ночь еще один гость: бог весть, кто он таков, а кажется, гайдамак...

— Что же ты нам присоветуешь делать, когда он явится? — был новый вопрос.

— Ни больше, ни меньше, как заступиться за нас, т. е. за меня, пана и панянку: стрелять из ваших пистолетов, колоть, рубить, крошить в мелкие куски злодеев. Я не хочу, чтоб они над нами насмеялись.

— Дельно! небось, не выдадим,— сказал хвастливо один из поляков.— Посмотрел бы я, как-то ваши малороссийские гайдамаки посмели бы насунуться на мою польскую саблю? подавай их сюда!.. Выпьем же на отвагу.

И чарка снова пошла кругом, и голова Стецькова еще более отуманела.

— Да как ты сведал, что гайдамаки хотят напасть на здешний дом? — спросил у Стецька один поляк.

— Я встретил одного из них нынешним вечером, и он сам меня подговаривал отпереть им двери,— отвечал Стецько.

— А ты и не согласился?

— Я было сказал надвое; да после одумался. Пуще всего мне стало жаль панянки.

— Разве она так добра?

— Ох! добра, как мать родная! от нее-то и ласковое слово услышишь, от нее-то и лишнюю чарку, и лишний кусок получишь. Когда пан наш на кого разгневается, она упрашивает да умоляет его до тех пор, пока он умилосердится. И бедным всем она помогает, своим и чужим. Пошли ей, боже, здоровье и счастье, да хорошего жениха!

— Выпьем же за ее здоровье! — воскликнули поляки и снова принялись пить и поить Стецька.

Чарка за чаркой — под конец он упал без чувства на лавку и таким образом проспал до утра, забыв и гайдамаков и добрую свою панянку.

Глава III

Топчи вороги
Під ноги:
Щоб наші підківки
Бряжчали,
Щоб наші вороги
Мовчали!

Малороссийская свадебная песня

На другой день пан Гриценко проснулся гораздо позже обыкновенного и с тяжелою головою. Польский пан и Кветчинский давно уже были на ногах, а Прися, как ранняя птичка, порхала то туда, то сюда, хлопотала по домашнему хозяйству и заботилась об завтраке. В ней заметна была необыкновенная живость, пробужденная близостью любимого человека и надеждою на старания нового его знакомца.

Стецько также проспал долее, чем в другие дни, и проснулся не без страха. Приятели его, поляки, или шляхтичи, как он их величал, рассеяли его опасения, сказав, что пан его еще сам в постеле, и советовали ему опохмелиться. За чаркою вина они снова завели с ним разговор о гайдамаке, но уже в другом виде: они смеялись боязливым грезам бедного Стецька, шутили над его трусостью и заверяли его, что кто-нибудь из знакомых, подслушав его разговор с самим собою, нарочно впотьмах напугал его. Стецько и сам наконец остановился на этой мысли, стыдился напрасного своего страха, сердился, что не проучил порядком ночного насмешника, и твердо решился не сказывать о том никому в доме, чтоб не узнали об его трусости и не вздумали часто его так дурачить.

Когда пан Гриценко пришел к гостям своим, то после обыкновенных приветствий и расспросов о здоровье польский пан сказал ему, что хочет говорить с ним наедине. Кветчинский под предлогом, чтобы похлопотать об отъезде, пошел отыскивать Присю, которая еще не кончила домашних своих забот или, может быть, по чувству приличия не хотела так рано казаться гостям.

— Пан Гриценко! — сказал поляк, когда они остались вдвоем.— Я приехал к тебе сватом. Знаю, что ты дивишься этому и считаешь меня за такого чудака, который любит мешаться в чужие дела; но выслушай. Я богат и бездетен; ближних родственников у меня нет, а дальние должны быть довольны и тем, что я им оставлю. Я полюбил будущего твоего зятя: он лучше, умнее и благонравнее всех молодых людей, которых мне случалось встречать из моих земляков и из ваших. В этой шкатулке лежит у меня три ты-

сячи червонных и почти на столько же дорогих вещей: согласишься ли ты отдать дочь свою за Кветчинского, когда я дам ему все это свадебным подарком?.. Смотри...

Тут он раскрыл шкатулку, на которую пан Гриценко и гости его так умильно поглядывали накануне. Она была по самую крышку набита полновесными червонцами. Поляк тронул пружинку, и потайной ящик с разными драгоценными вещицами явился глазам удивленного Гриценка.

— Говори же: согласен ли ты на мое предложение?— снова спросил поляк.

Удивление пана Гриценка прервалось вздохом, тяжело вырвавшимся из груди его, как у человека, которого вдруг пробудили от приятного, обольстительного сна. Поляк снова повторил свой вопрос.

— Быть так! пусть дочь моя будет женою Кветчинского,— сказал Гриценко, собравшися с духом.— Он славный молодец, и я всегда его любил: одна бедность была ему помехою жениться на моей Присе: теперь нет и этой помехи, по милости ясновельможного моего гостя. Что до его рода, то он сам выйдет в люди своим умом-разумом, да с божеским благословением и царским жалованьем.

— Так по рукам, и завтра же свадьба,— сказал поляк, подставив свою ладонь.

— Это слишком скоро: мы ни с чем еще не готовы...

— Не твоя забота, пан Гриценко! у меня все мигом будет готово. Мне некогда ждать, время не терпит; я и так уже просрочил, а я непременно хочу погулять на свадьбе у доброго моего приятеля Кветчинского. Сейчас же разошлю моих молодцов сзывать вчерашних гостей и пригласить старика Кветчинского на нынешний вечер: сегодня у нас непременно должен быть сговор. Другие из моих шляхтичей отправятся закупать все нужное к свадьбе, и завтра же наши жених с невестой будут обвенчаны... Эй, люди!

На голос поляка сбежались его прислужники. Он с удивительною поспешностию и точностию роздал им приказания и разослал их в разные стороны. Через минуту они были уже на конях и выехали со двора. При нем, для услуг, осталось только четверо.

— Ин по рукам: я на все согласен,— сказал Гриценко, до сих пор в молчаливом раздумье смотревший на все, что вокруг него происходило.

— Давно бы так!—подхватил польский пан и хлопнул в открытую ладонь Гриценка так сильно, что он от боли поморщился и замахал рукою. Поляк улыбнулся.— Это

остаток старой моей силы,— сказал он с видом самохвальства,— в прежние годы я разгибал подковы и скручивал узлом железные кочерги без дальних усилий. Теперь уже не то: все не по-старому; нет уже таких молодцов-силачей, как бывало прежде. И не только в силе — в самых понятиях нынешняя наша молодежь крайне изменилась. Скажу и о твоем будущем зяте: у него престранный образ мыслей. Например, он никак не принял бы сам от меня этого подарка из гордости; и я прошу тебя, пан Гриценко, не прежде отдать ему шкатулку, как на другой день свадьбы. Теперь покамест унеси ее и спрячь у себя.

— Правда, правда! — сказал Гриценко и, услышав шум в передней светлице, торопливо схватил шкатулку, притаил ее у себя под мышкою и почти припрыгивая унес в свою комнату.

В эту минуту вошли Кветчинский и Прися. Польский пан подошел к ним, поздравил Присю с добрым утром и с женихом, а Кветчинского с невестой. Оба они не верили своему счастью и принимали слова поляка за дурную шутку, пока возвратившийся Гриценко не уверил их в том совершенно. Не станем описывать их радости: все такие описания скучны, ибо радость любит выражаться не словами, а улыбками, взглядами и тому подобными знаками, которых никакое красноречие не сильно вполне передать.

К вечеру начали съезжаться гости: отец Кветчинского явился из первых, дивясь нежданному приглашению богатого и спесивого соседа. Уже по приезде узнал он, зачем его звали, и радовался почти не меньше своего сына. Началось сватовство обыкновенным малороссийским обрядом: польский пан, игравший роль старшего свата, поставил на стол хлеб и соль и просил ласки хозяина, чтоб он принял от его руки жениха своей дочери; и когда пан Гриценко подтвердил свое согласие, тогда Прися поднесла сватам и отцу своего жениха шелковые *ручники* на серебряном подносе[16]. Остальное шло своим чередом: гости пили за здоровье жениха и невесты, отцов их, сватов и проч., гостьи пели свадебные песни; польский пан был шутлив и любезен до крайности, говорил даже малороссийские поговорки, приличные случаю. Казалось, что он учился тамошнему наречию не по дням, а по часам, как славные богатыри росли в старинных русских сказках. Поздно разошлись гости по квартирам, которые отведены им были в домах зажиточных обывателей селения.

На другой день, рано поутру, *дру́жки* одели невесту к

венцу. В девять часов свадебный *поезд* был уже совсем снаряжен: жених с сватом и *дружко́м*[17] поехали вперед верхами, чтобы у церковных дверей принять невесту, которая с свахою, *дру́жками* и *светилкою*[18] везены были в старинном огромном рыдване, четверкою коней и вершинками. Сбруя на конях и рукава у вершников украшены были большими бантами розовых лент. От венца поезд возвратился тем же самым порядком в дом пана Гриценка, где уже приготовлен был, в ожидании обеда, сытный завтрак. Начались поздравления и потчеванья, молодой и молодая стали с поклонами подносить гостям разные цветом и вкусом водки. Каждый из почетнейших гостей, выпив, целовал молодых и клал на поднос какой-нибудь подарок. Польский пан, или сват жениhов, положил полный кошелек червонцев. Таким образом время продлилось до обеда, за которым пирушка разгуливалась более и более. Гостям показалось странно, что не было музыки: некому было играть *туш*, когда пили здоровье молодых. Пан Гриценко уже дважды посылал за слепым бандуристом, но он все не являлся. Стецько снова был отправлен привести или притащить его, если он не пойдет доброю волею.

В конце стола венгерское польского пана опять полилось в чары и в уста лакомых гостей. Сам поляк был еще веселее, разговорчивее и шутливее, нежели прежде. Он часто пил за здоровье молодых, приговаривая: «Горько!» и заставляя их целоваться; напевал малороссийские и польские песни, точил балы и был в полном смысле душою пирушки. Опять он велел принести большую свою серебряную стопу и пил из нее на коленях с паном Гриценком и старым Кветчинским.

С шумом и суматохою кончился обед. Начались громкие, крикливые разговоры; женщины уселись в кружок и запели веселые малороссийские песни; мужчины собрались около них, слушали и подтягивали. Между тем молодые, посаженные на почетном месте, почти не замечали того, что вокруг них происходило: они, так сказать, были погружены в настоящее и будущее свое благополучие. В таких приятных и невинных занятиях пролетело несколько часов. Тут только некоторые из гостей и хозяин дома заметили, что между ними кого-то недоставало, и сквозь туман винных паров наконец досмотрелись, что отлучившийся гость был веселый и добрый польский пан, сильно поколебавший врожденное в малороссиянах предубеждение насчет поляков. Начали его искать повсюду — его нигде не было; люди его, прислуживав-

шие за столом, также все скрылись. Некоторые из самых любопытных гостей побежали осведомляться на дворе: поселяне, собравшиеся смотреть на свадьбу, сказали им, что несколько часов тому назад бричка польского пана выехала за ворота, конные служители его также поодиночке выбрались, а спустя немного сам он тихо вышел на улицу, сел в бричку и ускакал, окруженный своими проводниками.

И гости и хозяин дивились такому странному поступку польского пана; отец Приси дивился также и тому, что ни слепой бандурист, ни Стецько не являлись во весь вечер. На многолюдных, шумных пирушках обыкновенно такие случаи на миг мелькают в понятиях собеседников и быстро сменяются другими впечатлениями. Какой-то залетный музыкант с скрипкою, песни, пляски и продолжительная попойка скоро вытеснили из согретых хмелем голов и польского пана с его забавными шутками, и слепца Нестеряка с его бандурой, и Стецька с его глупым взглядом и разинутым ртом.

Последний из них явился, однако ж, на другой день поутру. Он бросился в ноги своему пану, просил у него прощения за вчерашнюю свою отлучку и сказал, что слепой Нестеряк решительно отказался идти на свадьбу с своею бандурой. В то же время Стецько подал господину своему запечатанное письмо.

— От кого принял ты это письмо? — спросил пан Гриценко, еще не разламывая печати.

— От кого?..— молвил Стецько, повторяя вопрос со всею медлительностию малороссиянина.— Да от *нашего* свата, польского пана...

— Где и как,— нетерпеливо подхватил Гриценко.

— Где?.. в корчме, за селением, на большой дороге. Как?.. я и сам порядком не помню; дайте надуматься. А! теперь кажется так: извольте слушать. Шедши домой от Нестеряковой хаты, я встретился с одним из шляхтичей, который дружески потрепал меня по плечу и сказал: «Прощай, товарищ! пан наш уехал, и я спешу вслед за ним. Да не можешь ли ты,— прибавил он,— сослужить мне службу, показать мне дорогу в корчму, что за селением, по С.... цкому шляху[19]? Я тебе буду очень благодарен, и там мы расстанемся, как добрые приятели, за чаркою вина».— Виноват, грешный человек: я взялся его провожать, и там мы нашли польского пана со всеми его проводниками. Пан обошелся со мною ласково, потчевал меня сам из своих рук, дал мне на водку и велел подождать, пока напишет к вам письмо. В другой светлице шляхтичи окружили меня и пили со

мною на расставанье до тех пор, что уж я и не помню, как заснул. Когда же проснулся, то уж ни пана, ни людей его не было, а корчмарь подал мне это письмо и крепко-накрепко наказал мне доставить его к вам, говоря, что если не доставлю, то польский пан отыщет меня хоть под землею и тогда бог весть, что со мною будет. Я испугался и своей отлучки из дому, и вашего гнева, и угрозы польского пана, опрометью бросился из корчмы и не помню, как меня ноги сюда донесли.

Пан Гриценко, выслушав этот рассказ, распечатал письмо. Судите ж об его удивлении, когда он прочел в нем следующее.

«Пан Гриценко! я хотел ограбить тебя, и уже все было к тому готово. Чтобы собрать моих удальцов в одно место, переодел я их в однорядку, и сам оделся поляком, потому что не имею в здешних местах надежного притина. В этом виде велел я самым лихим ребятам из моей вольницы съезжаться в одной корчме, где сам их дожидался. На твое счастье, приехал туда же нынешний зять твой, Кветчинский. Я хотел было отправить незваного гостя в нежданное место; но как я никогда не проливаю крови, то вздумал выведать хорошими средствами, не будет ли он нам помехой? Слово за слово, я вытянул из него всю подноготную: и любовь его к твоей дочери, и твой отказ, и его горе. Я от природы имею доброе сердце: мне стало жаль бедного Кветчинского: тотчас я переменил намерения на твой счет и решился помочь ему. Хорошо ли я в этом успел, сам ты знаешь. Прощай: люби дочь и зятя, надели их, как долг велит доброму отцу, береги мою шкатулку — она тебе пригодится, и будь милостив к своим служителям. Они такие же люди, как и ты. Если все это исполнишь по моему желанию, то можешь быть уверен, что никогда не встретишься с *Гаркушею*».

Лихорадочная дрожь проняла пана Гриценка во время этого чтения; ему казалось, что гайдамак все еще перед ним; робко взглянул он и увидел подле себя не Гаркушу, а слепого бандуриста.

— Я пришел поздравить вас, *добродей*, и пожелать счастья вашим молодым. *Пусть их живут, как венки вьют*[20]! Вчерась же, винюсь, не пришел к вам на свадьбу: тут был недобрый человек, и я ни за что бы не хотел с ним быть под одною кровлею.

— Разве ты по чему-либо узнал гайдамака? — спросил пан Гриценко, пришедши несколько в себя.

— Ну, так! — подхватил слепой музыкант.— Я чувст-

вовал, что здесь что-то недаром. Порядочный человек не стал бы бросать своих червонцев первому встречному. Сейчас же иду и отдам его дар на богадельню. Не хочу себе даров от нечистых рук.

— А я так приберегу свои десять серебряных круглевиков про черный день,— думал про себя Стецько, стоя у двери.— Нужды нет, что пришли ко мне из нечистых рук: на это есть мел и тертый кирпич.

Что думал пан Гриценко о своей шкатулке, мы не знаем; только он не отдал ее на богадельню. Может быть, от страха, чтоб не прогневить Гаркушу презрением к его подарку; или, может быть, хотел он возвратить ему шкатулку при первой встрече. Как бы то ни было, но он до самой смерти не упоминал о шкатулке ни зятю, ни дочери, и она перешла к ним как наследство отцовское.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Дрибушки* — мелкие косы; их заплетают по нескольку и обвивают вкруг головы. *Скиндячки* — разноцветные ленты, которыми повязывается голова; концы их распускаются по плечам. *Плахта* — род юбки или передника, *ýсы* — стрелки или строчки на фалдах кунтоша.

[2] *Надошник* — болотное растение. Если им натереть какую-нибудь часть тела, то она в минуту покраснеет; но частое его употребление портит лицо, делает его шероховатым и даже угреватым.

[3] *Сопелка* — свирель или дудка.

[4] Малороссийские плясовые песни.

[5] *Будинки* — дом, палаты. Собственно значит здание.

[6] «Як Александр цареві Пору
Давав із військом добру хльору...
Патрет був пранцюза Картуша,
Биля його стояв Гаркуша,
А Ванька Каїн впереді...» и проч.
«Энеида» Котляревского. Песнь IV, ⟨40—41⟩.

[7] *Варенуха* или *варена* — напиток, варимый из коринки, изюма, калины и пр. и пр. с вином и медом; он подается теплый.

[8] *Гири до долу! — Гиря*, голова, в том же смысле, как по-русски *башка* и по-французски la caboche.

[9] *Стецько* — уменьшительное имени Стефан.

[10] *Нестеряк* — Нестор.

[11] *Шкодá* — беда, худо.

[12] *Упырь* — вампир или оборотень.

[13] *Добрóдий* — благодетель. Малороссияне, обращаясь с сим вежливым названием к человеку высшего звания или рода, говорят оное в звательном падеже: *добрóдию*.

[14] *Волколак* — оборотень, превращающийся в волка, чтобы пугать людей и душить овец по злобе на хозяев.

[15] *Знáхарь* — колдун.

[16] *Ручники*, или белые полотенца с узорными коймами, подносятся невестою сватам, когда сватовство идет на лад. В богатых помещичьих до-

мах сии *ручники* состояли из нескольких аршин шелковой ткани, иногда даже с золотою бахромою.

[17] *Дружко́* — товарищ свата на малороссийских свадьбах; *дру́жки* — подруги невесты, которые одевают ее и провожают в церковь.

[18] *Светилка* — девица, которая должна быть с зажженною восковою свечою при свадебных малороссийских обрядах.

[19] *Шлях* — большая или столбовая дорога.

[20] *Нехай їх живуть, як віночки в'ють* — обыкновенное малороссийское приветствие новобрачным.

Глава XIX

Чи ти гордий, чи ти пишний,
Чи гордо несешся?

Малороссийская песня

В жаркий июльский полдень, по дороге от Золочева к Сумам, медленно тянулись несколько повозок. Впереди ехал *рыдван*, или огромная коляска с отдергивающеюся кожею вместо дверец, с маленькими окошками, вставленными в позолоченные рамы, с вычурными украшениями из прорезной жести, положенной на алую фольгу, по углам, спереди и сзади кузова. Четвероугольный сей кузов поставлен был на низком ходу ярко-красного цвета. Тяжелую эту колымагу тащила шестерня раскормленных лошадей, из которых четыре были впряжены рядом у дышла, а две впереди. Кучер и форейтор, или вершник, оба в белых *свитах* домашнего сукна, лениво и неловко правили этою шестернею. Рядом с кучером, на низких и просторных козлах, сидел небольшой, плотный человек, с предлинными усами и в странном наряде: на нем был разноцветный жупан, у которого одна пола была синяя, другая светло-зеленая, стан красный, а рукава желтые; шапка у него на голове была также особого покроя: околыш ее сшит был до половины из черного и до половины из белого бараньего смушка, а верх, сделанный колпаком наподобие венгерского гусарского кивера, пестрел теми же четырьмя цветами, которые видны были в его платье. Широкие штофные шаровары с большими узорами всех возможных красок и сафьянные чоботы, из коих один красный, а другой желтый, с высокими медными подковами, дополняли убранство этого чудака, который часто оглядывался в окошко коляски, говорил по нескольку слов и возбуждал невольный, простодушный смех в неудалом кучере. Два рослые *хлопца*, или лакея, в синих чекменях и казачьих шапках, стоя на большом сундуке, привинченном к запяткам коляски, и перегнувшись через кузов, скалили зубы вместе с кучером; а четыре проводника, ехавшие верхом по сторонам коляски, безвинно

смеялись чужому смеху, хотя вовсе не слышали слов полосатого проказника. Между тем двое передовых, тихою ступью подвигаясь шагах в двадцати от передних лошадей, очищали дорогу, покрикивали на проезжих и дремали да покачивались в промежутках времени. Шесть больших повозок, или дорожных фур, тащились следом за коляской, на крестьянских лошадях, и нагружены были съестными припасами, погребцами с дорожною пропорцией водок и наливок, поваренною посудой, пуховиками, подушками, баулами, чемоданами, няньками, горничными девушками, поварами, босоногими мальчиками и пр. и пр. Шествие замыкалось двумя псарями, которые вели на сворах целую стаю собак, покуривая табак из коротких трубок, переглядываясь и посмеиваясь с горничными.

Полы коляски были задернуты, окна подняты, несмотря на зной и духоту, и снаружи не видно было, кто там сидел; но встречавшиеся поселяне, видя такой пышный караван, почтительно сворачивали в сторону и, поравнявшись с коляской, робко снимали шляпы. Двое из них даже съехали с дороги на пашню, остановились, и, когда уже коляска и вся ее свита проехали мимо, тогда они вступили в разговор между собою.

— А что? — был лаконический вопрос первого.

— Э-ге! — отвечал другой обыкновенным малороссийским междометием, которое, не означая ничего в собственном смысле, выражает многое.

— Знаешь ли, Грицко, кого бес пронес мимо нас? — промолвил первый после минутного молчания.

— Кому ж быть, как не *толстому пану?* — отвечал второй.— Хотелось бы мне знать, куда его несет нелегкая?

— Куда! вестимо к нам, в степную его деревню, а ездил он по другим своим деревням и хуторам, объедать и опивать мужиков своих, брать с них волею и неволею *на поклон,* то деньгами, то хлебом, то медом, топтать их поля своими собаками и вытравливать их сады и огороды голодными своими *хлопцами.*

— Как бог еще терпит на свете такую пиявицу? Уж он ли всем не насолил, и своим и чужим! А сколько, ты думаешь, за ним всех душ?

— Сказывал мне Яким Вдовиченко, который служит у него в дворе писарем, что всего-навсе за ним, по разным уездам и поветам, больше семи тысяч душ; а своей — и не спрашивай!

— Больше семи тысяч! то-то, должно быть, денег-то, денег!

— Да говорят, одна кладовая с железными решетками, у которой денно и нощно стоит караул, насыпана медными от полу до верху; а с собою он возит бог весть сколько сундуков с серебром и шкатулок с червонцами.

— Правду говорит пословица: *у богатого черт детей качает*[1]. Да зачем же пан Просечинский возит с собою все лучшее свое добро?

— Видно боится, чтоб без него не ворвалися в дом воры или не случился пожар. Этот пан Просечинский сущая притча: для других скуп, для себя тороват; людей своих морит голодом, а сам ест за семерых; гостям, особливо бедным панкам, подносит простую сивуху, а сам пьет третьепробную водку, настоенную и невесть какими снадобьями, да наливки и заморские вина, о которых и вспомнить, так слюнка течет.

— Богачи всегда скупы; уж так, видно, им на роду написано.

— В доме у пана Просечинского такая каторга, что и боже храни! Работою люди завалены так, что и за ухом некогда почесать, а чуть что не по нем — заспался ли, загулялся ли кто из дворовых — так и дерут бедняка на конюшне. Там у пана пристроена особая каморка, а в той каморке припасены такие диковины, что и подумать страшно: и цепи, и кандалы, и дыбы, и разные плети; утро и вечер идет там расправа; мимо идешь, так дыбом волос становится.

— Избави бог от такого варвара! Да чего же смотрит гайдамак?.. Сказывают, что он проучивает злых панов, чуть только про которого прослышит худое.

— Видно, про этого он еще не слыхал... Бог даст! — прибавил Грицко, заметив впервые нищего, который давно уже стоял перед ними и, казалось, ожидал только конца их разговора, чтобы попросить милостыни.

— Вот тебе, человек божий,— сказал товарищ Грицка, вынув из мешка большой кусок хлеба и подавая нищему,— вот все, чем могу с тобой поделиться. Видел ли ты: сейчас проехал по дороге богатый пан; он, верно, здесь недалеко остановится, вон там, под дубровой: паны всегда любят негу и для того в жаркое время прячутся под тенью. Авось-либо он тебя наделит побольше.

— Да, попытайся! — примолвил Грицко насмешливо.— Если не уськнет тебя собаками, так уж верно понесешь его милостыню на спине, а не за спиною.

— Нам бог велел терпеть все и с пóтом, горем и слезами добывать себе хлеб,— отвечал нищий, поклонился, прошептал молитву и побрел по дороге в ту сторону, куда уехала

коляска. Крестьяне долго глядели вслед ему с каким-то полусонным любопытством. Вид этого нищего и в самом деле был замечателен: это был человек среднего роста, плотный телом, с рыжими, всклоченными волосами на голове и в бороде. Лицом он был довольно полон и с первого взгляда не казался ни больным, ни слабым; но желтые пятна на щеках, синета под глазами, правая нога, которою он хромал, левая рука, как будто бы вышибенная из плеча, и чахлый голос являли в нем полного калеку, каких весьма часто встречаешь по большим дорогам, в городах и местечках Малороссии. Потолковав еще несколько минут, Грицко и товарищ его снова поворотили на дорогу и погнали по ней лошадей своих, разлегшись на телегах с малороссийскою ленью.

Между тем коляска остановилась подле леса, в урочище, называемом Образ. Проезжие находят ныне на сем месте большую каменную часовню, в виде разрезанного конуса, довольно красивой архитектуры; но в тогдашнее время стояла здесь часовня деревянная, которой стены валились от ветхости. Часовня сия возвышается над лесистым оврагом, в углублении коего находится колодец чистой, холодной ключевой воды, с бревенчатым срубом. Теперь по другую сторону от дороги здесь есть шинок, или постоялый дом для проезжающих; но тогда не было еще здесь никакого жилого строения. Пустынное сие место привлекает взоры путешественников своею дикою красотою, и редкий из них не останавливается здесь хотя на короткое время.

Прежде всего выгружена была одна из дорожных фур. Хлопцы и ездовые пана достали из нее палатку, или огромный шатер, натянули на древки и положили в нем целую кипу пуховиков и подушек, одни на других, так, что это составило нечто похожее на турецкий диван; все это прикрыли они большими шелковыми покрывалами, или попонами. Тогда полы коляски отдернулись на медных кольцах по железному пруту, и прежде всего выскочили из нее два молодые человека, или, как в Малороссии называют, *панычи*, несовершеннолетние сыновья пана, два плотные юноши, от осьмнадцати до двадцати лет; за ними вышла сестра их, девица лет шестнадцати, не красавица, но имевшая с неправильными чертами очень милое лицо малороссийской панночки. Далее вышел мужчина лет тридцати, приятной наружности, стройный и крепко сложенный; наконец показался из коляски огромный человек, высокого роста и необыкновенной толстоты: это был сам пан Просечинский. Псари подставили ему крепкую скамейку с подушкой, а четверо слуг

подавали ему руки; он ступил тяжелою ногою на землю, крякнул и, поддерживаемый хлопцами, потянулся к палатке; там разлегся он на пуховиках, покоя спину свою и голову на подостланных подушках. Прочие члены его семейства поместились около него, а у ног его стал полосатый человек, сидевший дорогою подле кучера.

— Рябко! — сказал толстый пан протяжно-томным голосом, как будто бы это был голос больного.— Нравится ли тебе это место?

— Как не нравиться! — отвечал полосатый шут.— Если б этот овраг был мой, то я отдал бы его на аренду гайдамакам и собирал бы с него славный доход.

— Безбожник! разве ты захотел бы погубить свою душу, связавшись с душегубцами?

— И, *дядько*[2]! не я был бы первый, не я последний. Да и за что про одних только бедных гайдамаков идет такая дурная слава? А наши судовые, чернильные пиявки, разве не душегубцы, когда у них виноватый прав, а правый виноват?

— Правда, правда твоя, Рябко! ты дурак, а судишь иногда, как путный человек.

— И твоя правда, *дядько*, да не совсем: у путного человека язык спутан, а у дурака развязан. Ты мне помешал говорить о гайдамаках и душегубцах. Слушай же и учись: а наши паны, которые сдирают по три шкуры с мужиков своих, то частыми поборами, то ременными нагайками, не...

— Подавись этим словом, собака! — взревел толстый пан, совершенно переменив тон и голос.— Тебе ли судить о панах, негодный червяк?

— Вот ты и рассердился, *дядько*,— сказал шут весьма спокойно, как будто бы не боясь гнева своего пана,— и опять ты не дал мне договорить: речь не о тебе шла, а о других панах, которых я видал по белому свету.

— Ну, то-то же,— промолвил пан Просечинский, успокоясь,— иначе ты отведал бы, каковы арапники у моих псарей.

— У тех панков, что пануют над собаками? я и без того знаю: у них арапники панские; где надо брать добром, там они отнимают побоями... Да собакам собачья и честь! Иное дело, когда людей честят по-собачьи...

В это время вошел *кашевар*, или походный повар пана Просечинского, и спросил, что прикажет готовить к обеду.

— Почти что ничего! — промолвил толстый пан прежним своим протяжно-томным голосом, который старинные мало-

российские паны полагали в числе приличий хорошего тона, особливо, когда говорили с своими подчиненными или с мелкопоместною шляхтой.— Я человек больной,— продолжал он после некоторой расстановки.— Много есть не могу; притом же нынче постный день... Что у нас есть в запасе?

— Есть десятков пять крупных окуней да три сотни раков. Я закупил это для панского стола в последней деревне, которою мы проезжали, и сложил в мешки с свежею травою.

— Три сотни! много, очень много: я человек больной и много есть не могу... Сварить половину; остальные к ужину; а из рыбы изготовить уху; рыбы не к чему оставлять, еще найдем где купить... Ну!

— Есть свежепросольная осетрина, пуда два.

— Пуда два! много, очень много: я человек больной, и день нынче постный... сварить фунтов двадцать и подать с хреном. Ну!

— Есть сушеные караси.

— Сварить из них *кулеш*[3]: это самое здоровое кушанье для больного. Дальше!

— Есть свежая белужина, фунтов тридцать.

— Фунтов тридцать! много, очень много... Да время теперь жаркое, свежая рыба может испортиться. Разрезать пополам; из одного куска сварить похлебку, прибавить в нее раковых шеек, а из другого, пополам с осетриной, солянку на сковороде. Ну!

— Есть у нас десятка два больших карпов...

— Изжарить их. Ну!

— Есть *планчита*[4] и целый короб сладких пирожков.

— Подать *планчиту* и положить на блюдо пирожков... так, не больше двадцати; прибавить к этому гренков с поливкой из вишен, сваренных на меду... Ну!

— Есть балык, семга, сельди, кавьяр[5]...

— Довольно, довольно! Подать всего этого к водке, перед обедом, по одной тарелке; слышишь ли? не больше! — Повар ушел.

— Дорога меня измучила,— продолжал пан Просечинский,— видите ли, дети, как я слаб, болен, как похудел? Вот мой шелковый халат теперь мне широк, сидит мешком... не правда ли?

— Правда, правда, *дядько*! — подхватил шут.— И то правда, что ты велел его сшить взапас, думая, что тебе за пост и молитву прибавит бог дородства.

Толстый пан сердито посмотрел на шута, и тот пустился

бегом из палатки. Скоро, однако ж, возвратился он, неся в руках свою бандуру и наигрывая на ней *казачка*.

— Не хочешь ли, *дядько*, промяться со мной перед обедом? это здорово: больше съешь и крепче уснешь.

— Пляши сам, *вражий сын*! — отвечал Просечинский.

— Изволь, я не прочь; только ты мне подари новые чоботы, когда я эти истопчу для твоей потехи.— И шут заиграл громче и пустился плясать с смешными телодвижениями и кривляньями, припевая:

По дорозі жук, жук, по дорозі чорний!
Подивися, дівчина, який я моторний,
Подивися, вглянься, який же я вдався:
Хіба даси копу грóшей, щоб поженихався[6].

Окончив свою пляску, шут сел на голой земле, поджав ноги по-турецки, и пропел под игру на бандуре еще несколько малороссийских песен, любимых его паном. Голос шута был чист и приятен, и в пении заметно было некоторое искусство. Пан Просечинский, нежась на пуховиках, свел глаза и как будто дремал; сыновья его выбежали из палатки и отправились смотреть своих собак и болтать с псарями и хлопцами; а дочь, сидя подле молодого мужчины, о котором выше было упомянуто, шепотом с ним разговаривала.

Между тем челядь толстого пана, отпрягши и расседлав лошадей, стреножив их и пустив на траву, собралась около *кашевара*, который, разведя большой огонь под открытым небом, готовил обед. Несколько медных котлов привешено было над огнем на железных присошках; большие кастрюли и сковороды шипели на угольях, и голодная челядь, облизываясь, жадно на них смотрела.

В это время подошел туда нищий, который, прихрамывая, брел по дороге. Он остановился перед кружком, собравшимся около огня, или, справедливее, около кушанья, и жалобным голосом проговорил нараспев: «Православные христиане! сотворите милостинку, Христа ради!»

— Какой тебе милостинки от нас! — молвил один из хлопцев.— Мы сами смотрим на чужой обед, а глотаем только дым.

— Много вас, попрошаек, по большим дорогам,— прибавил другой.— Об вас-то и думать, когда самим есть нечего.

— Пан наш так добр, что, верно, не откажет тебе в рублевике,— подхватил третий с лукавым видом.— А у него их очень много: видишь ли этот окованный сундук, позади рыдвана? Там есть чем наделить всех нищих в свете. В рыдване и того больше: там четыре шкатулки с червонцами, с доро-

гими перстнями и самоцветными каменьями. Да в той фуре, что стоит с краю от рыдвана, найдется другого-прочего тысяч на несколько. Попытайся: может быть, он тебе и уделит часточку.

Нищий, казалось, ловил на лету слова болтливого слуги. Может быть, он сравнивал бедную свою участь с богатым состоянием толстого пана; только заметно было, что он как будто бы что-то соображал или рассчитывал.

В эту минуту подбежали туда молодые *паничи*. «Зачем здесь этот бродяга?» — закричал старший.

— Оставь его, брат,— сказал младший,— он нас позабавит. Эй, ты, калека! умеешь ли играть на волынке?

— Не умею, *добродию*,— отвечал нищий.

— Ну так пой и пляши! — подхватил младший паныч.

— Я стар и слаб, петь мне не по силам, а плясать могу ли я с хромою моею ногою и увечным телом?

— О, так ты еще и упрямишься! — завопил старший брат.— Только со мною даром не разделаешься: ты у меня запляшешь и через палку... Брат! возьми у псарей арапник и подгоняй этого урода, а я буду держать палку: пусть-ка через нее поскачет!

При сих словах он вырвал клюку из рук нищего, и сей, от нечаянного потрясения, упал на землю и закричал громким болезненным голосом. Оба молодые шалуна стояли над ним и хохотали во все горло; малодушная челядь, из угождения ли своим паничам или по врожденной жестокости, тоже смеялась над бедняком.

Пронзительный крик нищего перервал дремоту толстого пана; он зевнул, потянулся, спросил, что там делалось, велел позвать к себе сыновей и подавать обед.

Глава XX

> А в сього пана скам'я заслана,
> Та на тій скам'ї три кубки стоять:
> В першому кубці — медок солодок,
> У другім кубці — кріпкеє пиво,
> У третім кубці — зелене вино.
>
> *Колядка*[7]

Четверо хлопцев внесли в палатку складной стол, накрыли его шленскою скатертью[8], и дворецкий толстого пана, отомкнув погребец, достал из него четыре полуштофика с разными водками и несколько серебряных чарочек без поддонников, установил все это на тяжелом серебряном подносе узо-

рочной обронной работы и поставил на стол перед своим паном. Хлопцы принесли потом на четырех или пяти тарелках сытную закуску, которая и теперь еще часто в малороссийских домах подается перед обедом и может заменить целый, весьма нескудный обед для желудков, не столько привычных к беспрерывной работе.

— Жарко! — промолвил пан Просечинский прежним своим протяжно-томным голосом.— Выпью *мятной* водки: это меня освежит. Пей, Леонтий Михайлович! — продолжал он, обратясь к будущему своему зятю, молодому Торицкому, налив водки и подавая ему чарочку.— Это водка здоровая, прохладительная.— Потом выпил сам, вздохнул, как бы от полноты удовольствия, и закусил. Все семейство толстого пана собралось вокруг стола и дружно принялось закусывать.

— Мне все что-то нездоровится,— сказал Просечинский, склонив голову на сторону с видом человека расслабленного,— не подкрепит ли меня эта запеканка? — Тут он налил настойки из другого полуштофа, выпил и продолжал работать вилкой и зубами.

— Не отведать ли нам этой *любистовки*[9], Леонтий Михайлович? это нам придаст аппетиту; я же почти ничего не могу есть: кусок нейдет в горло.

Торицкий отказался, а толстый пан, выпив чарку, принялся есть с новою охотой, как будто бы в доказательство, что *любистовка* пробудила его аппетит.

— Выпить было *кардамонной:* авось-либо она согреет мне желудок. Это необходимо на рыбную и соленую пищу.

Вслед за этими словами пан Просечинский выпил четвертую чарку водки и принялся доканчивать закуску, которой и так уже немного оставалось, благодаря ревностным стараниям толстого пана и обоих сыновей его.

Между тем шут, стоявший поодаль в ожидании подачки, первый заметил нищего, который, остановясь у входа палатки, безмолвно кланялся и, казалось, следил глазами каждый кусок. Это был тот самый нищий, на которого перед сим нападали шаловливые панычи.

— Разве ты не видишь,— сказал ему шут с таким видом, с каким жирный мопс косится на тощую дворовую собаку, умильно поглядывающую на кости, кои не для нее назначены,—разве ты не видишь, что панская прислуга еще не *кушала?* Убирайся за добра-ума: я так голоден и зубы мои так разлакомились, что могу и тебя схрустать вместо рыбьего позвонка.

Нищий, не отвечая на слова шута, запел *Стих о убогом*

Лазаре звонким, резким голосом и произнося слова немного в нос.

— Прочь, прочь! — завопил пан Просечинский.— Я терпеть не могу этой сволочи, этих бесстыдных попрошаек, которые не хотят работать и выдумали ремесло — обманывать честных людей да жить мирским подаянием.

— Видишь ли, старец[10],— промолвил шут,— **ведь** я тебе советовал убираться за добра-ума; я голоден, а пан мой не совсем еще сыт, и оттого мы оба сердиты. Моли бога, что во мне еще больше жалости, нежели в богатых панах! — прибавил шут скоро и тихим голосом, подойдя к нищему и сунув ему в руку две копейки.

Но нищий, казалось, упорно хотел что-нибудь выманить у толстого пана: стоя на прежнем месте, он кланялся и твердил жалобным напевом: «Милосердые паны! сотворите божью милостинку старцу-калеке, бездомному и безродному».

— А, так ты еще и упрямишься! — закричал толстый пан.— Погоди, вот я велю спустить собак; тогда завопишь у меня другим голосом.

Молодая, мягкосердечная Олеся[11], дочь Просечинского, робко и умильно взглянула на своего отца. Торицкий, показывавший уже и прежде в выражении лица и телодвижениях худо скрываемое негодование на бездушие своего нареченного тестя, понял мысль своей невесты, подошел к нищему и, подав ему серебряную монету, проговорил: «На, старец; молись за нее...»— Тут, указав быстрым взглядом на Олесю, отошел он и сел опять подле нее.

Нищий посмотрел на монету, взглядом и движением губ поблагодарил щедрого дателя, но все еще не трогался с места.

— Чего ж тебе еще, жадная собака? — вскрикнул Просечинский в сильной досаде и на упрямую назойливость нищего, и на слезы, навернувшиеся на глазах Олеси, и на сострадательность ее жениха.— Прочь отсюда, сию же минуту. Эй, псари! собак и арапников!

— Позвольте нам, батюшка! мы управимся с этим негодяем! — сказали оба паныча и, не дожидаясь ответа, кинулись к нищему. Он проворно отскочил назад и тем избег первого их нападения; другим скачком стал еще далее от палатки, но за третьим подпустил к себе panычей и быстрым, метким движением рук, схватя того и другого за шею, повернул их с необыкновенною силой и ударил о землю. В тот же миг он засвистал богатырским посвистом.

Псари и хлопцы, сбежавшиеся на голос своего пана, сперва с малороссийским, насмешливым любопытством смотрели, как нищий отыгрывался от панычей. Когда же он повалил их на пол, тогда служители, дивясь такой дерзости, долго не могли опомниться и вступиться за своих господ. И было уже поздно: едва раздался свист нищего — вдруг отовсюду, из-за кустов, из-за кочек, из густой травы, поднялись страшные люди, вооруженные с головы до ног. С громким, пронзительным воплем бросились они как саранча на челядь толстого пана; другие, на крик своих товарищей, летели во весь опор на конях из лесу, с поля, со всех сторон: у каждого был в руках большой нож, за плечами ружье, за поясом пистолеты. Одни схватили оторопелых псарей и хлопцев, другие бросились в палатку и задержали толстого пана, Олесю и Торицкого, третьи окружили возы и прибрали к рукам поваров, кучеров и остальных людей Просечинского. Никто не успел опомниться и подумать о побеге или обороне.

— Вяжите всех,— кричал Гаркуша, сбросив с себя накладные волосы, нищенское рубище и суму и явясь в легкой куртке, с полным вооружением гайдамака.— Вяжите всех; не троньте только молодой панночки, жениха ее да шута: их просто держите и не делайте им никакой обиды.

Все мигом было исполнено с самою раболепною точностию. Казалось, что шайка гайдамаков угадывала даже мысли своего атамана. Он стоял опершись правою рукою на пистолет, бывший у него за поясом; лицо его было спокойно и не выражало ни малейшей страсти; но ястребиный взор его в один миг перелетал с места на место и обозревал все, что вокруг него происходило.

Связав толстого пана по рукам и по ногам, гайдамаки с диким, радостным криком вынесли его из палатки; таким же образом связали они и обоих его сыновей. Торицкий, не предвидев опасности при выходе из коляски, оставил там свою саблю и пистолеты; но когда гайдамаки ворвались в палатку, тогда он, схватив столовый нож, стал перед своею невестой и решился отчаянно защищать ее. Усилия его были напрасны: четверо удалых, сильных гайдамаков схватили его за плеча и за руки и, посадив на подушки, на которых перед тем покоился будущий тесть его, крепко держали и не сводили с него глаз. Олеся, оцепеневшая от страха, была посажена рядом с ним, и приставленный к ней гайдамак, слегка ее придерживая, утешал ее и уверял, что ей не сделают никакого зла, что такова была воля атамана, которой никто не осмелился бы нарушить. Что касается до шута — его гайда-

маки закутали в огромный халат толстого пана и, спеленав как ребенка персидским его кушаком, посадили на землю. Не потеряв головы и видя, что для него не было никакой дальней опасности, он начал слегка покачиваться и напевать однозвучную колыбельную песенку, точно так, как дети сами себя убаюкивают перед усыплением.

Людей Просечинского свели в одно место и, схватив им руки за спиною, привязали их друг к другу длинною веревкой, подобно цепи невольников. Робко и безответно бедняки покорялись своей горькой доле и ждали над собою еще больших бед. По знаку Гаркуши, гайдамаки в несколько минут выгрузили коляску, а в нее посадили всех женщин и малолетных, задернули полы и накрепко застегнули их ремнями и пряжками.

Тогда Гаркуша велел оттащить Просечинского и панычей к часовне, а сам пошел в палатку.

— Пан Торицкий! — сказал он, войдя туда.— И ты, добрая панна Елена! Вам нечего бояться: вы никому не желали зла, а напротив того, сколько могли, делали добро. Вот вам рука Гаркуши, что ни он, ни его *вольные казаки* не возьмут ни одной нитки изо всего того, что вам принадлежит. Гаркуша никогда не изменял своему честному слову: он не таков, как ваши паны и *порядочные люди*, которые держат слово только до первой встречи... С паном Просечинским будет у меня другая разделка: я давно ждал случая порядочно потазать его за дерзость, скупость и жестокосердие и хотел только сам увериться, правда ли было то, что мне о нем рассказывали...

Олеся зарыдала и закрыла лицо руками. Торицкий хотел вырваться из рук своих стражей, но осторожные гайдамаки предвидели это движение и удержали его.

— Напрасный труд, пан Торицкий,— сказал ему Гаркуша спокойно и важно.— И что мог бы ты сделать, один и безоружный, против сорока таких удальцов, как мои? Нареченного же твоего тестя сам сатана со всем своим бесовским причетом не вырвал бы теперь из моих рук. Чему быть, того не миновать; что я положил у себя на сердце, то непременно исполню.

Потом, переменив выражение лица, с улыбкою обратился он к шуту.

— Здравствуй, приятель,— сказал он ему,— да кто тебя так опоясал?

— Твоя прислуга, дядько! — отвечал шут.— Видно, они берегут мое здоровье и боялись, чтоб я не простудился.

Умные люди говорят, что в сильные жары должно больше бояться простуды, нежели в трескучие морозы.

— Паливода! — сказал Гаркуша, взглянув на высокого, плечистого и курчавого цыгана своей шайки.— Вижу, что здесь не без твоих проказ; шут шута далеко видит. Однако же, пока я не велел самого тебя завязать в мокрый мешок и не приложил тебе *нагайской припарки*[12], так потрудись, развяжи своего товарища по ремеслу.

— Рябко не товарищ этого черномазому головорезу,— проворчал шут с заметною досадой,— у него самые дурацкие шутки; спеленал Рябка как малое дитя. А когда спеленал, так пусть и нянчит; только я наперед ему говорю, что я дитя самое упрямое и блажливое.

Между тем цыган развязал узлы, развил кушак и выпустил бедного Рябка на свободу. Первым действием шута было то, что он вцепился в черные курчавые волосы цыгана и начал трясти ему голову, приговаривая: «Вот так, так сеют мак»[13].

Гаркуша громко смеялся такому неожиданному поступку шута; но рассерженный Паливода схватил жилистыми руками своего противника под бока, стиснул его, поднял вверх и конечно ударил бы его о землю, если б Гаркуша не помешал ему в том.

— Ты столько меня позабавил, что я должен тебе заплатить за это,— сказал атаман шуту.— Говори смело, чего бы ты хотел от меня?

— Прежде всего, отдай мой грош, который я тебе подал сегодня: он годится для нищей братии, а не для вашей братьи.

— Охотно,— сказал Гаркуша, сунул руку в карман и, вытащив из него червонец, подал шуту.

— Это не мой,— отвечал шут, глядя исподлобья на гайдамака,— этот запятнан, а мой был чист, как... как мои руки.

Гаркуша понял упрек. Он нахмурил брови, безмолвно опустил руку в карман, вынул несколько монет и, отыскав между ними грош, отдал его шуту. Потом, в раздумье подняв серебряный полуполтинник, поданный ему Торицким, сказал, оборотясь в ту сторону, где сидели жених и невеста:

— С этим я так легко не расстанусь: он подан мне добрыми, сострадательными душами...

И, как будто бы вдруг опомнясь или устыдясь минутной своей чувствительности, он не докончил речи и снова оборотился к шуту:

— Держи при себе свой *чистый* грош до первого *старца*

и вместе с ним подай бедняку и мой, *запятнанный*. Теперь говори, чего ты еще у меня просишь?

— Вели меня отвести к моему пану. И ему и мне легче будет, когда мы вместе станем делить горе.

— Отведи его туда! — сказал Гаркуша Паливоде, а сам, поспешно вышед из палатки, велел задернуть полы оной и поставить вокруг нее шесть человек сторожевых гайдамаков.

Медленно и задумчиво шел Гаркуша к часовне; за ним, в некотором отдалении, цыган Паливода вел шута Рябка, держа за плечо и подталкивая его не весьма вежливо коленом. У часовни уже дожидалась большая толпа людей. Гайдамаки обступили служителей Просечинского, связанных друг подле друга и поставленных в полукруг. Сам толстый пан лежал посередине, зажмурив глаза, как будто бы свет солнечный действовал на него болезненным ощущением; казалось, он в каком-то онемении ждал готовившейся ему участи. Сыновья сидели по обеим его сторонам, плакали и жаловались на боль от туго затянутых веревок. Восемь гайдамаков, с длинными ножами наголо, наполняли остальную часть круга.

Когда Гаркуша подошел к кругу, гайдамаки расступились и впустили его в середину. Он стал прямо против лица толстого пана, тронул его ногою в бок, как бы желая растолкать его или пробудить его внимание, и с важным видом, громким и внятным голосом начал ему говорить:

— Спирид Самойлович! видишь ли, до какого унижения, до какого стыда довел ты себя! Ты, богатый и спесивый пан, которого боятся и уважают соседи, которому льстят и дают поблажку низкие судовые подлипалы,— валяешься теперь, как презренная колода, связан, как последний из твоих псарей, провинившийся перед тобою. Ты, верно, жалуешься на это, считаешь такой поступок несправедливым; а кто виноват? Сам ты. Вспомни дыбы, плети, цепи и рогатки, которыми ты мучил своих *подданцев*[14] и дворовых людей; вспомни, что не раз я подкидывал к тебе письма, в которых увещевал тебя быть милосерднее, щедрее и грозил тебе моим гневом, если не исправишься. Ты не слушался моих увещаний, ты надеялся на ваших судовых, которые тобою закуплены и задарены; ты думал, что слова Гаркуши пройдут мимо. Знай же, до меня дошло все: и презрение, с каким ты читал мои письма, насмешливо говоря: *собака лает, ветер носит;* и твоя похвальба на меня: «я-де скручу его со всею шайкою»; и гостинцы, которые ты готовил мне и *вольным* моим *казакам* у себя в доме. Гаркуша не так прост, чтоб, очертя

голову, кинуться в расставленные тенета: он умеет выбрать время и случай. Теперь, Спирид Самойлович, ты сам у меня в руках и должен поневоле идти на правеж. Готовься со мною рассчитаться и поплатиться, а до тех пор ступай к часовне и моли бога о прощении всех твоих грехов. Я покамест займусь отеческим исправлением твоих паничей, которых сам ты не хотел или не умел учить страху божию, и оттого из них со временем вышли бы большие негодяи, ничем не лучше отца. Надобно им страх задать, чтоб помнили Гаркушу и его наставления...

— Напейся моей крови, нечестивый душегубец! — вскрикнул Просечинский, скрежеща зубами и злобно, с отчаянным остервенением взглянув на гайдамака.— Какие бы муки, какая бы смерть ни ждала меня от поганых твоих рук,— я стану молиться, чтоб тебе не миновать колеса, а гнусной твоей шайке виселицы...

Ему не дали докончить. Зверообразный гайдамак Несувид, крещеный жид Лемет и крепкотелый любимец Гаркуши ускок Закрутич схватили его и поволокли к часовне. Там стал он на колени перед образом и, не сводя с него глаз, начал молиться, перечитывая шепотом все молитвы, которые приходили ему на память. Только доносившиеся до него порою крики и взвизгиванья сыновей его подергивали судорожным движением тучные его щеки, на которых выступал крупный, холодный пот. Три гайдамака, приведшие Просечинского к часовне, стояли в нескольких шагах у него за спиною, с длинными, широкими своими ножами на плечах.

Глава XXI

Бряжчатиме ж гостра шабля
Услід за тобою,
Шумітиме ж нагаєчка
Попад головою!

Малороссийская песня

— Пора! — раздался в ушах толстого пана грубый голос Несувида.— Пора! там ждут.

И гайдамаки снова подняли Просечинского и перенесли его на середину круга.

Бледен как полотно явился Просечинский перед самовольным своим обвинителем и судьею. Мутным взором обвел он место истязания. Прямо против него, на сундуках и подушках, покрытых дорогим его персидским ковром, сидел Гаркуша с строгим, но спокойным видом и допрашивал людей Просечинского, которые стояли на коленях и робко отвечали

на вопросы. Но какою горячею кровью облилось отцовское сердце пана Просечинского, когда, с тяжким предчувствием отведя глаза в сторону, увидел он сыновей своих! Они лежали недвижно на войлоке, и на обоих накинуты были красные попоны, укрывавшие их с головы до ног. Несчастный отец не взвидел света: в ушах его раздался как будто шум воды, внезапно прихлынувшей, и он уже не слышал более ни слов Гаркуши, ни ответов своей челяди.

Когда толстый пан опомнился, то почувствовал, что его обливали холодною водою. Несколько гайдамаков стояли вокруг него, держа наготове орудия тяжкого и постыдного наказания, которое присудил ему неумолимый атаман. Гаркуша встал с своего места, подошел к нему и начал говорить.

— Я допрашивал твоих людей, пан Просечинский: они так запуганы тобою, что не смели сделать никаких показаний, и это самое уже служит доказательством жестоких твоих с ними поступков. Послушайся же моих доброжелательных увещаний: я делаю их от души, из прямой любви к ближнему! Люби, пан Просечинский, своих людей: они тебе служат; они пóтом и кровавыми трудами добывают то, что тебе доставляет роскошь и негу. Сам бог заповедал панам миловать служителей как родных детей своих, не мучить их без пощады за малейшую вину, не томить их неумеренными трудами и голодом, не отнимать у них последних, потовых крох. Посмотри, с каким состраданием они смотрят теперь на тебя, хотя у многих из них не зажили еще на теле раны, которые они от тебя же получили. Что ж, если б ты был добрым паном, другом и благодетелем твоих *подданцев*? Они любили бы тебя, как отца...

Гаркуша остановился, растрогавшись сам от своих слов — искренне или притворно, того никто не мог прочесть на лице и в душе его. В характере атамана была такая чудная смесь лицемерства с добрыми природными наклонностями, холодной, расчетливой мстительности с наружным правосудием и благонамеренностию, что самые приближенные его, Несувид и Закрутич, обманывались в истинных или ложных его ощущениях и не могли разгадать того, что в нем происходило. Бывали минуты, в которые можно было подумать, что он сам себя обманывал. Так, может статься, было и на этот раз. Постояв несколько минут в молчании, посмотрев медленным, пытливым взором на лица людей Просечинского и своих гайдамаков, как будто бы с желанием доведаться, верят ли они проповедническим его чувствованиям и что думают

о цели его красноречия,— он продолжал тихо и с расстановкой:

— Чтобы слова мои, Спирид Самойлович, были для тебя внятнее, чтоб они дошли до твоей души и сильнее врезались в твоей памяти, то *потерпи* немного... Я сам из уважения к твоей особе стану считать... Эй, вольные казаки мои, принимайтесь!..

В эту минуту шут Рябко вырвался из рук Паливоды, бросился на колени перед Гаркушей и кричал сквозь слезы:

— Пан атаман! возьми мою шкуру, выкрой, пожалуй, из нее чоботы для любого из твоих *вольных казаков*, только оставь в целости моего пана. Он человек старый и мягкотелый; он не выдержит твоего *отеческого исправления*. А у Рябка кожа загрубела и загорела; смотри: она так тверда, что хоть на барабан натяни — не порвется; и Рябко готов ее сменить на новую, лишь бы пана своего вызволить...

Цыган схватил шута за полы его жупана и тащил его прочь, между тем как Гаркуша смотрел на него с хладнокровною, бесстрастною улыбкой. Видя, что на слова его не обращали внимания и что пану его не избежать пытки, Рябко вдруг вскочил, обоими локтями толкнул цыгана так сильно, что тот не удержался на ногах и принужден был выпустить полы жупана. Не теряя времени, Рябко кинулся к толстому пану, прикрыл его своим телом и как клещ уцепился за него руками и ногами.

— Нате же, режьте и ешьте меня, *катовы дети*[15]! — с ожесточением кричал он гайдамакам.— Хоть искрошите меня в мелкие куски — я не сойду отсюда и не отстану от моего пан-отца[16]: умру сам, а пока жив, не дам его тела на поругание!

Гайдамаки переглядывались между собою, как бы спрашивая друг друга глазами, что из этого будет, и в нетерпеливой досаде кусали себе губы. Несувид хмурил брови и клялся себе под нос, что сквозь ребра шута дознается правды от толстого пана; никто из них не смел, однако ж, начать что-либо прежде, нежели атаман даст приказание. Между тем шут подразнивал гайдамаков и накликал на себя их мщение ругательствами. Гаркуша, казалось, тешился и задорною бранью шута, и недоумением и досадою своих удальцов. Он стоял сложив руки и посматривал на все происходившее вокруг него с таким видом, с каким взрослые люди смотрят на ребят, дразнящих привязанную кошку, которая фыркает, щетинится и мечется то на того, то на другого, со всем напряжением бессильной злости.

Наконец, наскуча сим зрелищем, Гаркуша подошел к шуту, толкнул его ногою и сказал: «Вставай, приятель! вижу твое усердие и храбрость и хвалю тебя за это: ты отчаянно защищал своего пана языком и спиною. Теперь я сам хочу доказать тебе мою благодарность за добрый твой совет и подаяние нищему: обещаю тебе, что пана твоего не тронут и пальцем...

— Вправду ли, *дядько?*

— Разве ты слыхал от кого, что Гаркуша не сдержал когда-нибудь своего обещания? Только и ты обещай мне стоять смирно под надзором, ни во что больше не мешаться и не давать воли ни рукам, ни языку.

— О, пожалуй! И ты увидишь, что Рябко не хуже Гаркуши умеет держать свое слово. Бери меня, черномазый,— продолжал он, встав и оборотясь к Паливоде,— только, сделай дружбу, полегче держи меня за плеча. Ты и без того уже измял их так, что я целую неделю не смогу взяться за бандуру.

Гайдамаки пристально смотрели в лицо Гаркуши и молча ждали его повелений. Он провел указательным пальцем черту по воздуху в ту сторону, где лежали panычи,— и толстый пан мигом был туда перенесен. Просечинский сел в положении человека, который, только что быв вытащен из воды, не может еще опомниться и собрать своих мыслей. С рассеянным видом озирался он вокруг себя, пока взор его снова остановился на сыновьях его, которые лежали затаив дух и не смея поворохнуться. Тут пробудилось участие в сердце отца: с тоскливым умилением глядел он на своих детей, но не решался заговорить с ними, боясь, чтоб ужасная истина не разрушила последней, шаткой его надежды.

Гаркуша между тем сел на прежнее свое место, и гайдамаки снова обступили его с видом ожидания. «*По оброк!*[17]»— промолвил он, и гайдамаки, громко и радостно вскрикнув: «По оброк!», рассыпались в разные стороны, кроме тех из них, которым поручено было смотреть за толстым паном, за детьми и людьми его, сторожить у палатки и пр. Часть гайдамаков бросилась к коляске, фурам и возам Просечинского, несколько человек расстилали перед Гаркушей ковры, попоны и все, что могли отыскать в обозе толстого пана; а *выкрест*[18] Лемет, подойдя к Просечинскому, с притворною, лукавою учтивостью и старинными своими жидовскими оговорками и божбами, просил его *ссудить на время* атамана ключами от походных своих сундуков и баулов

и, не дожидаясь ответа, начал шарить у него в карманах, отыскал большую связку ключей и принес ее к Гаркуше.

Хладнокровный сторонний зритель подивился бы ловкости, сметливости и проворству, с какими гайдамаки обыскивали и опоражнивали захваченный ими обоз. Из читателей наших легко могут об этом составить себе понятие те, которым случалось быть в руках французских таможенных приставов и осмотрщиков, особливо на заставе при переезде через Рейн, у Страсбурга. В минуту все было обыскано, вытаскано и снесено в одно место, и те из сундуков и шкатулок, кои заключали в себе самые ценные вещи, с редкою догадливостью были отобраны и расставлены перед атаманом.

Прежде всего Гаркуша, расспрашивая шута и других людей Просечинского, начал отбирать вещи, принадлежавшие Торицкому и Олесе. Все это откладывалось на сторону, и Гаркуша даже не отмыкал сундуков, чемоданов и шкатулок, в которых, по показаниям людей, находилась собственность панны Елены или будущего ее мужа! Атаман гайдамаков, любивший при всяком случае с некоторым хвастовством выказывать свое бескорыстие или великодушие, отложил еще значительную долю из взятых им на свой пай дорогих вещиц и червонцев и, положив в шкатулку, замкнул и отослал с другим имуществом жениха и невесты в палатку, строго подтвердив гайдамакам, чтобы все было доставлено в целости.

Тогда начался подел. С видом знатока и любителя, Гаркуша рассматривал и оценивал все вещи высокой цены, к тяжкому прискорбию толстого пана, который печально смотрел на расхищение своего богатства. При открытии каждого сундука с серебром, каждого баула с золотыми деньгами или шкатулки с драгоценностями гайдамаки испускали неистовый, радостный вопль, как стая воронов при виде мясной добычи, и этот вопль болезненно отдавался в ушах и в сердце толстого пана. Надобно было видеть жадные, сверкающие взгляды корыстолюбивой вольницы, когда перед нею рассыпали мешки с червонцами и рублями или раскладывали большие серебряные стопы и чаши, дорогое оружие, золотые парчи, камки и бархат! Надобно было видеть горькие ужимки и тяжелые вздохи толстого пана, когда перед его глазами Гаркуша с своею шайкой распивали, похваливая, любимую его водку, сладкие его наливки и редкие заморские вина! Такое зрелище могло бы сообщить понятие о радости злых адских духов, которые, подразнивая утратою земных

благ, заживо мучат бедного грешника, попавшегося к ним в когти с телом и душою.

Атаман разделил всю добычу на три пая, из которых два были совершенно равные, а третий гораздо менее двух первых и по счету, и по ценности составлявших его вещей. Один из больших паев отложил он особо, говоря: «Это, товарищи, для *кошевого скарба*»[19], другой разложил с математическою точностью на равные участки по числу гайдамаков, примолвя: «Это на *вольных казаков*».— «А это на атамана»,— прибавил он, указывая на меньший пай. Тогда он отослал шута в палатку, велев поклониться от него Торицкому и Олесе и пожелать им счастливого пути, а сам подошел к Просечинскому.

— Прощай, Спирид Самойлович! — сказал Гаркуша толстому пану.— Я хотел с тобою распрощаться не так ласково; но, видно, богу было угодно, чтоб ты на этот раз отделался только страхом и потерею своих излишков. Помни, однако же, слова мои: будь милосерд к бедным и щади своих людей. Не то — как бог свят — ни высокие твои заостроженные заборы, ни крепкие твои замки и засовы не спасут тебя от Гаркуши и *вольных* его *казаков*. Пусть это будет тебе наветкой на первый случай. Еще раз говорю, не вынуждай меня нагрянуть к тебе в гости и знай: Гаркуша вдруг, как снег на голову, налетит там, где его не ждешь, не чаешь. Панычи твои будут, кажется, помнить мои наставления и свои клятвы, а впрочем, не бойся за них: *лоза не измучит, лишь добру научит*.

Окончив сию речь, отошел он в сторону и выстрелил из пистолета на воздух — и вдруг с разных концов прискакали еще около двадцати гайдамаков, бывших в засаде для наблюдения и подания вести в случае какой-либо опасности. Они вели с собою лошадей тех из своих товарищей, которые перед нападением на обоз, спешившись, сидели в лесу или лежали в траве. Те, которые сторожили у палатки или наблюдали за связанными своими пленниками, сбежались также в одно место. Все они кинулись к своим участкам, мигом их расхватали, а Несувид и Закрутич прибрали также паи артельный и атаманский; и между тем как Олеся, сопровождаемая Торицким и Рябком, бежала к отцу своему и братьям, гайдамаки успели уже забрать и навьючить лучших лошадей толстого пана, вскочили сами на коней, пустились во весь опор по полю вслед за атаманом — и только пыль вилась за ними густым облаком.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Богатому чорт дiти колише — народная малороссийская пословица.

[2] Т. е. дядюшка.

[3] Жидкая кашица, которую малороссияне очень любят.

[4] *Планчита* — большой сладкий пирог с яблоками.

[5] Паюсная икра.

[6] Смысл этой песни, поющейся под музыку одного *казачка*, можно перевести слово в слово таким образом:

> На дороге жук, жук, на дороге черный,
> Посмотри-ка, девица, какой я проворный;
> Посмотри, вглядися, каков уродился:
> Разве дашь полтину денег, чтоб поволочился.

[7] «Колядки суть песни, которые поют вечером 25 декабря, обыкновенно под окнами, называя по именам хозяина, его детей и пр. В некоторых местах, однако ж, *колядуют* и целую неделю (рождественских святок), которая и называется *колядами*».— Максимович. Малороссийские песни (см. примеч. на с. 222).

[8] *Шленским* называлось и поныне называется в Малороссии саксонское столовое белье: Шленск — Силезия. В старину чумаки малороссийские, ходившие с обозами на волах даже в Бреславль, вывозили оттуда сие белье.

[9] Зарная водка. Заря (растение) называется в Малороссии *любиста*.

[10] Нищие в Малороссии обыкновенно называются старцами.

[11] Олеся — Аленушка, уменьшительное имени Елена.

[12] Плети в Малороссии называются нагайками.

[13] Ой так, так
Сiють мак!
Это малороссийская игра, которою часто забавляются деревенские ребятишки.

[14] В старину крестьяне малороссийские могли произвольно переходить от одного помещика к другому, селиться на землях его из рабочих дней или из *ченьши* (род оброка) и потому назывались *подданцами*, как бы поддающимися временно и по собственному желанию.

[15] *Кат* — по-малороссийски значит палач. Выражение *катовы дети* соответствует французскому: gibier de potence.

[16] *Пан-отец*, в звательном падеже *пан-отче*, почти то же, что по-русски *государь-батюшка*.

[17] По малороссийскому выражению: *до ченьши*. Это значило на языке нашего гайдамака забирать добычу и сносить ее в одно место для дележа.

[18] *Выкрестами* называются в Малороссии окрещенные жиды.

[19] *Кошевый скарб* — общественная казна или имущество. *Кош* на языке малороссийских казаков значит общество, мир, артель.

Глава XXVII

НОЧЛЕГ ГАЙДАМАКОВ

Як виїхав козаченько в чистеє поле,
Пустив свого коничейька на попасанне,
А сам припав к сирій землі на спочиванне
Та й приснився козаченьку дивнесенький сон...
Малороссийская песня

Табор гайдамаков расположился в чаще леса, на поляне. Гайдамаки, по обыкновению своему, развеся из предосторожности войлоки и циновки по сучьям деревьев, зажгли костры и начали готовить себе ужин. Для атамана, его приближенных и других старшин шайки поставлены были два полстяные шатра, наподобие калмыцких кибиток. В одном из сих шатров, на войлоках и бурках, отдыхал Гаркуша, окруженный теми из гайдамаков, к которым питал он более приязни или оказывал более доверия. Это были: угрюмый Несувид, который под суровою наружностью хранил испытанную верность и преданность к своему атаману-товарищу; ускок Закрутич, готовый всегда по слову Гаркуши идти в огонь и в воду и одаренный необычайною телесною силой; Лесько, или Алексей, молодой промотавшийся чумак, которому от гайдамаков дано было прозвание *Лесько Мотыга;* этот молодец нравился Гаркуше своею неизменною веселостью, беззаботностью о будущем и открытым, простосердечным своим взглядом. Четвертый из любимцев Гаркуши был семнадцатилетний мальчик, Ивась, любивший атамана, как родного отца. Ивась имел весьма приятную наружность и забавлял иногда Гаркушу в свободное время своим пением и пляскою, но никогда не был еще употреблен во время разъездов и набегов, а оставался всегда при обозе, с запасными. Никто из гайдамаков не знал, кто он был и какого рода; в одну бурную осеннюю ночь атаман, возвратясь из одинокой своей отлучки, привел с собою этого мальчика и с тех пор заботился о нем, как о ближнем своем родственнике. Гайдамаки все полюбили Ивася за его тихость и детскую чистоту души — свойства, которые нередко нравятся и самым закоснелым злодеям; но не расспрашивали или не смели расспрашивать о нем у Гаркуши, ибо никто из них не решился бы выведывать у атамана своего тайны, которой он сам не хотел им вверить. В других, важнейших случаях Гаркуша не допускал их ни до каких сомнений и первый объявлял им то, о чем нужно им было знать.

Второй шатер оставлен был в распоряжении Товпеги, Паливоды и еще пяти или шести урядников или десятников, поставленных в это звание Гаркушею, между коими обыкновенно втирался туда выкрест Лемет, который, по старой еврейской своей привычке, умел всегда подделываться к старшим, прислуживаться им, словом, быть для них почти необходимым, и чрез то извлекать для себя множество мелких выгод. Прочие гайдамаки, приставя коней своих к вязанкам травы, захваченной ими по дороге, либо сидели у огня и ждали ужина, либо, укрывшись бурками и свитами, лежали в разных местах табора.

После ужина, за которым атаман всегда ел из одного котла со всеми людьми своей шайки, кроме сторожевых, назначавшихся по наряду, Гаркуша ранее обыкновенного ушел в свой шатер; Несувид, Закрутич, Ивась и Лесько также отправились туда почти вслед за ним.

— Чудное дело! — сказал атаман после долгого молчания, когда он и четверо его товарищей улеглись, не раздеваясь, на своих подстилках.— Вот уже с полгода, как меня что-то тянет на мою родину, которая, помню, как сквозь сон, должна быть здесь, около степной деревни пана Просечинского. Мне все кажется, что я не буду ни счастлив, ни спокоен, пока не увижу снова тех мест, где росло мое детство. Почти каждую ночь неведомо кто обещает мне во сне что-то смутное в здешнем краю: и радость, и горе... коротко сказать, сам я ничего не разберу в этих сонных грезах, а никак не могу выбить их из головы.

— Что ж? может быть, сердце вещует тебе все доброе, а сон твой и в самом деле сулит тебе что-нибудь такое, о чем сначала, как ни раскидывай нашим коротким умом — не разгадаешь прежде, чем наяву сбудется,— сказал Закрутич.

— А ты веришь снам? — спросил у него Гаркуша.

— Не шути, атаман, снами: между ними есть такие, которые насылаются на человека, чтоб он выводил из них себе пользу, или остерегался, от чего нужно.

— Я и позабыл было,— молвил Гаркуша, — что ты родился в такой стороне, где больше всего верят бабьим бредням.

— Атаман ничему не верит,— вплелся в их разговор Лесько.— А я скажу, что тот, кто так близко видел ведьму, как я, поневоле станет верить всем таким диковинкам.

— А ты видел ведьму? — спросил у него Гаркуша с насмешливым любопытством.

— Не то, чтобы видел,— отвечал Лесько,— а вот как было дело: когда мне было лет девятнадцать, тогда в летнюю пору я спал каждую ночь на дворе, для того что в хате было душно и чтобы по ночам стеречь скотный двор. Вот в одно время, только что я улегся, только свел глаза,— вдруг подошло ко мне что-то, наклонилось и дохнуло на меня таким холодным духом, что я весь закоченел: ни руки, ни ноги не смог повернуть, ни глаз открыть; а только слышал, как *оно*[1] пошло на скотный двор, как доило наших коров, у которых к утру не осталось ни капли молока. У меня была тогда лихая собака, *ярчук*, да еще и с волчьим зубом[2]; на другую ночь, я привязал моего Рябка под телегой, на которой сам спал. Около полуночи слышу, *ярчук* мой так и заливается, и мечется из-под телеги. Я спустил его с привязи, он и бросился к плетню в конце двора, и залаял и зарычал пуще прежнего. Погодя немного там что-то вскрикнуло женским голосом, как будто от сильной боли. Я поглядел в ту сторону — ворота были заперты; только, еще спустя миг — другой, что-то шасть через плетень, инда земля застонала. Ночь была темна, ничего нельзя было разглядеть порядком; а на рассвете нашел я у плетня подле ворот лоскуток *намитки*[3], как видно, оторванный у ведьмы моим ярчуком.

— По этому, ты видел не ведьму, а только лоскуток ее намитки? — промолвил атаман, когда Лесько окончил свой рассказ.

— Да,— отвечал Лесько,— с меня и этого довольно.

— Когда у нас пошло на россказни,— говорил Гаркуша,— то я напомню тебе, Закрутич, о твоем обещании, которое до сих пор оставалось за тобой в долгу. Ты когда-то сулил мне рассказать свои похождения.

— Мои похождения, атаман, не важны, и повесть о них не долга. Родину мою ты знаешь; я родился в одном селении, неподалеку от Звониграда; отец и мать мои были люди бедные и покинули меня на этом свете без всякого достатка, без роду и племени, когда мне только что минуло семнадцать лет: оба они сошли в могилу ровно через две недели друг после друга. Спустя полгода по смерти их я спознался с молодою Хавой[4], дочерью богатого и гордого морлака в нашем селении, Яцинта Порадича. Хава была очень пригожа лицом, так пригожа, что у меня и теперь еще бьется сердце, когда о ней вспомню. Ее любил и племянник нашего *войводы;* только Хава любила одного меня, за то, что я был виднее собою, удалее и складывал для нее морлацкие песни. Вот

однажды Хава сказала мне: «Вуко Закрутич! принеси мне ожерелье из червонцев — и я твоя». Тогда же начал я подумывать, как бы уйти в горы, к гайдукам, и с ними награбить червонцев у богатых турецких беев и аянов в Боснии; как вдруг меня в одно утро схватили, отвезли в Звониград и записали в пандуры[5], по проискам войводского племянника, который, видно, дознался, что Хава меня любила. Не долго, однако ж, удалось им погулять надо мною: я и спал и видел, как бы сделаться *ускоком*[6]. Скоро мне удалось это спроворить: я был таков, и убрался исподтишка в горы, где знакомые гайдуки очень радушно приняли меня в свои товарищи. Два года я ходил с ними на добычу по разным местам Далмации и Боснии; червонцев у меня появилось столько, что стало бы на десять ожерелий. Тут я вздумал наведаться Хавы и, если можно, увезти ее с собою в горы. Конь у меня был как зверь: не знал усталости и птицею летал по самым трудным местам. Ночью прискакал я к дому Порадича. Окно светлицы, в которой сиживала Хава, было в сад; я пробрался туда и увидел, что окно было отворено и Хава сидела одна в светлице, за работой. Бедняжка была задумчива, как будто не примечала ничего вокруг себя, и, сдавалось, грустила о чем-то, может быть обо мне. Я тихонько влез в окно, подошел к ней, хотел взложить ей на шею ожерелье из червонцев,— как она вдруг оглянулась, задрожала всем телом, вскрикнула: «Вампир! Вампир!» — и без памяти ударилась об пол. На крик ее сбежались отец, мать, вся дворня, и все, указывая на меня, кричали: «Вампир! Вампир!» Крик этот скоро разлился по всей деревне; все сбегались, кто с винтовкой, кто с *ганцаром*, кто с *ятаганом*[7]. Я видел, что мне со всеми сладить было нельзя, и бросился из окна в сад. «Бейте его!» — заревел старый Порадич, сам выстрелил в меня из пистолета и ранил меня в левое плечо; но я добежал до своего коня, вскочил на него и опрометью помчался из селения. По улицам бегала толпа народа с зажженными пуками соломы и с разным оружием; увидя меня, все кричали: «Вампир! Вампир!», стреляли в меня, бросали каменьями и чем попадя; однако ж, спасибо доброму моему коню, он вынес меня из этого ада без дальних ран. Долго еще отдавался в ушах моих крик бешеной толпы: «Вампир! Вампир!», и я не мог ума приложить, как никто из прежних моих знакомых не узнал меня, да и сама Хава не могла распознать моего лица. Отбежав от селения примерно верст семь, конь мой вдруг зашатался и упал; я соскочил с него вовремя. Тогда только я заметил, что верный мой товарищ

сам был изранен в четырех местах пулями. Время было подумать об нем и обо мне самом. Я изодрал дорогую турецкую шаль, отбитую мной у одного босняцкого бея, перевязал раны бедному моему коню и свое плечо. Голова у меня закружилась от сильной потери крови; я упал и не помню, что после со мною было. Когда ж я опомнился, то увидел себя в келье; около меня сидело двое монахов, которые старались меня привести в чувство и подать мне всякую помощь. Какой-то добрый старец их монастыря нашел меня и коня моего рано поутру подле дороги. Верного моего товарища уже не было в живых; но во мне монах заметил признаки жизни. Он позвал еще троих братий, и вместе они перенесли меня в свой монастырь. Чрез неделю я почти совсем оправился старанием честных отцов; отдал на их монастырь все червонцы, которые сберегал для Хавы, и пешком уже отправился в горы к гайдукам. Мой *побратим*[8], молодой гайдук Юра Радивоич, встретил меня на дороге и сказал мне, что Янко Лепан, племянник войводы, и Яцинт Порадич подсылали к гайдукам какого-то переметчика, который распустил в горах слухи, что я служил с пандурами, был убит в одной сшибке с гайдуками и теперь брожу вампиром, чтоб отомстить гайдукам за смерть мою. «Этому слуху все поверили,— примолвил Юра,— и стерегут тебя, чтоб убить и разорвать тебя по частям с обрядами, какими в обычае у нас прогонять вампира с этого света». Тут только я понял и страх Хавы и окрик, который на меня дали по всей деревне: лиходеи мои взвели на меня такую небылицу, чтоб оторвать от меня сердце Хавы и принудить ее выйти за Янка.

Нечего было делать: я не хотел идти на вольную смерть и понести с собою в могилу проклятие всех честных людей. Мне должно было проститься навеки с моею родиной; но прежде я хотел кровавыми слезами отлиться Янку Лепану и Яцинту Порадичу. Короче: помня пословицу моей родимой стороны *кто не отомстится, тот не освятится*[9], я положил у себя на душе страшную клятву — извести моих злодеев во что бы то ни стало. С помощью моего побратима собрал я все, что имел, достал другого коня, простился с добрым моим Юрой и отправился туда, куда манила меня кровь заклятых моих неприятелей. Днем прятался я в скрытных местах, а ночью бродил, как мертвец, около селения и выжидал случая выполнить мою клятву. Она была выполнена: Янко Лепан и Яцинт Порадич от моей руки пошли в могилу; Хава, как я узнал от сторонних людей, скоро после первого моего появления умерла со страха и с горести; а я долго бродил

из края в край, зашел в Польшу, оттуда в Киев, где встретился с тобою, атаман. Остальное ты знаешь так же хорошо, как и я сам.

— Так в вашем краю очень верят тому, будто бы есть вампиры на свете? — спросил Гаркуша у Закрутича.

— Да нельзя и не верить,— отвечал ускок,— после того, что я слышал в горах от одного старого гайдука.

— Что же ты слышал?

— Это длинный рассказ, атаман; боюсь, чтоб он тебе не наскучил. Ты, может быть, утомился и хочешь уснуть...

— Ничего, рассказывай. Уснуть я так же хорошо могу под шум твоих речей, как и под вой этого ветра.

— Да, ветр поднялся сильный; так и колышет деревьями, инда корни скрипят; а ночь темна, хоть глаз выколи...— сказал Закрутич, привстав и выглянув из шатра.

— Вот самая пора бродить мертвецам либо нашей братье,— примолвил Лесько.

— Только, верно, не тебе,— перебил его речь Гаркуша,— тебя, думаю, и по шее не выбил бы одного в такую пору. Однако ж, не мешай Закручичу забавлять нас своим рассказом.

— Когда на то твоя воля, атаман,— сказал Закрутич,— то будь по-твоему. Наперед всего я должен сказать тебе, что я знал в горах одного лихого гайдука, у которого в седых усах было, верно, больше отваги, чем у многих из нас в целом теле. Старый Скорба не боялся ни сабли, ни пистолетов, ни ружья турецкого, и я думаю, не побоялся бы самого сатаны. Везде он шел грудью вперед, как бы ни велика была опасность; никогда не спрашивал, много ли неприятеля, а только далеко ли до него. В одну ночь шел я с ним и другими гайдуками на добычу: это было в Боснии. Ночь была месячна, и я заметил, что седой наш удалец часто поглядывал в сторону, на косогор, где было турецкое кладбище. «Что ты там видишь, товарищ?» — спросили мы у него. «Ничего покамест»,— отвечал он. «А разве случалось тебе видать что-либо в такую пору?» — «Поживите с мое, так и вы увидите»,— промолвил он. «А все не худо бы узнать о том для переду»,— сказали мы в один голос. «Ну, так слушайте»,— был его ответ. Тут он начал нам рассказывать страшную быль...

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] По-малороссийски *воно́* — самое вспомогательное местоимение у простого народа в Малороссии. *Воно́* заменяет многие фразы, названия предметов неизвестных или непонятных и даже употребляется в смысле ироническом, для указания на такое лицо, которого, в силу малороссийского остроумия, не хотят назвать собственным его именем. При таком обширном значении сия частица речи имеет на языке малороссиян особенную выразительность и весьма кстати употребляется в лаконическом их разговоре.

[2] *Ярчук* — собака, родившаяся с шестью пальцами на передних лапах. Такая игра природы нередко замечается на дворняжках. Простолюдие приписывает сим шестипалым собакам чудное свойство: узнавать ведьму по духу, видеть ее, даже нападать на нее и кусать ее своими зубами. Волчий зуб, по суеверным приметам поселян, дает собаке бодрость и силу бросаться на волка и загрызть его. Рябко, Серко, Бровко, Рудый — обыкновенные названия собак у малороссиян, которые в этом держатся русской пословицы и *дают собаке кличку по шерсти*.

[3] *Намитка* — покрывало из тонкого полотна или белой кисеи, которое замужние малороссиянки повязывают поверх очипка или кички, головного их убора, распуская длинными концами по плечам.

[4] *Хава* — Ева.

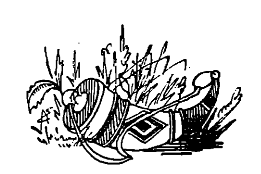
[5] *Пандуры* — полицейские солдаты в Иллирийских областях.

[6] *Ускок* значит беглец, ушедший из войска.

[7] *Ганцарь* (hanzar) — испорченное турецкое слово: канджар, т. е. кинжал; *ятаган* — кривой, серпообразный нож или косырь, с лезвием изнутри; название его также турецкое.

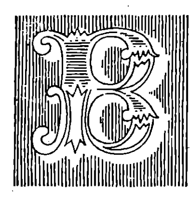
[8] У морлаков и черногорцев два человека нередко торжественно братаются между собою на жизнь и на смерть. Такие присяжные братья называются побратимами. Почти не было примеров, чтобы побратим изменил своему побратиму. Сей обычай присяжного родства водится и между женщинами, кои называются посестримами.

[9] На морлацком наречии пословица сия: *Ко се не освети, он се не посвети*, составляет игру слов. *Освета* значит у морлаков и освящение и мщение.



ЮРОДИВЫЙ

Малороссийская быль



есело ехал молодой офицер из одной загородной деревни, где провел день в самом приятном кругу — в кругу гостеприимных хозяев, милых их дочерей и пяти или шести молодых своих товарищей. Он спешил на ночь в город, потому что на другой день должен был идти в караул. Луна, верная спутница летних ночей украинских, сыпала серебряный свет свой на рощицы, на холмы и поля и рисовала взору прелестные картины, дополняемые пылким воображением.

Лихая тройка коней быстро несла каткие дрожки офицера. Вдруг, на повороте около одного оврага, что-то черное, лежавшее почти на самой дороге, мелькнуло в глаза пугливых коней; кони всполохнулись, рванулись и, не чуя вожжей кучера, бросились в сторону с большой дороги, по рытвинам и кочкам. Кучер слетел с своего места, офицер почти вслед за ним — и кони скоро скрылись из глаз.

Не чувствуя никакого ушиба, Мельский — так назывался офицер — встал, отряхнулся и пошел отыскивать своего кучера, которого скоро нашел также на ногах и в добром здоровье. Оба они упали на мягкий чернозем и разделались только невольным своим полетом. Поздно было искать лошадей; да и где их найти? Почему офицер, со всею беспечностию молодых лет, оставя на произвол судеб коней своих и колесницу, захотел узнать, что было причиною их испуга.

— Иван,— говорил он кучеру, шедшему вслед за ним,— как ты думаешь, чего испугались лошади?

— Помилуйте, сударь, да как и не испугаться: на дороге лежала целая стая волков!

— Трус! Недаром говорят: у страха глаза велики.

— Да право, сударь, их было по крайней мере пары две или три.

— Перестань болтать пустое; если б это были волки, то ужли ты думаешь, что они и не пошевельнулись бы в то время, когда мы со стуком пронеслись мимо них?

— Воля ваша, сударь, а я сам видел с полдюжины глаз, которые горели, как уголья.

— Полно, полно! Ты видел в траве какого-нибудь светляка или и вовсе ничего не видал. Ступай за мною: пойдем доведываться, что там было.

— Да как, сударь! При мне ни топора, ни большого ключа от колес: все это в дрожках.

— При тебе твой кнут, а за поясом вижу у тебя большой складной нож: этого очень довольно. Ступай за мною, и больше ни слова.

Не смея ослушаться своего барина, Иван пошел за ним, взяв в обе руки оба свои оружия, повеся голову и ворча себе под нос.

Мельский и сам из предосторожности вынул шпагу и окидывал взором дорогу впереди себя. Небольшого труда стоило ему отыскать черное страшилище Ивана и лошадей: то был человек; он лежал на краю дороги, поджав ноги под платье и укутав голову рукою, и, казалось, спал крепким сном.

— Вставай, пьяница,— кричал ему Мельский, толкая его под бок носком сапога.

— Пьяница? Не я пьяница, а твои глаза охмелели,— отвечал грубый, хриповатый голос.

— Вставай же, покамест тебя не подняли неволею.

— Оставь меня! Тебе завидно, что я здесь сплю в чистом поле, и самому приходит охота полежать на сырой земле.

А вот, подожди с недельку, тогда и я в свой черед тебе помешаю...

— Ну, как хочешь, приятель, а я тебя вытрезвлю,— сказал Мельский, принимая его за пьяного, который грезил с хмеля...— Иван, подними его!

— Не дотрагивайся до меня, хам! — сказал мнимо пьяный и поспешно встал на ноги.

Это был человек высокого роста, с щетинистою бородою и всклокоченными на голове волосами. Лицо его было бледно и сухо и при лунном свете казалось как бы мертвым; мутные, бродящие глаза его показывали, что голова его не в самом здоровом состоянии.

— А, да это наш полоумный,— вскричал кучер, очнувшись от страха,— в городе зовут его *Василь дурный*[1].

— Дурный! — подхватил Василь, передразнивая кучера.— Правда, Василь не обижает бедных лошадей и не продает их сена и овса на сторону, не бьет понапрасну бедного козла на конюшне, не ходит в кабак по ночам и не бранит тайком своего барина. Василь боится бога, ходит в церковь, читает молитвы и поет стихиры; Василь живет подаянием, а боже избави его красть или обманывать.

Во всю эту речь кучер стоял как сам не свой, повеся голову и утупя глаза в землю, как будто искал чего-то под ногами. Мельский между тем улыбался и поглядывал то на кучера, то на полоумного, который стоял без шляпы, в черном, длинном платье толстого сукна, сшитом наподобие монашеского подрясника; подпоясан он был узким ремнем с железною ржавою пряжкою; обуви на нем вовсе не было; в руке держал он длинную палку с вырезанными на коре ее узорами.

— Иван,— сказал Мельский кучеру,— ступай в ту сторону, куда убежали лошади, и старайся их отыскать!

— Ступай! — примолвил юродивый.— Найдешь и не возьмешь; отзовутся и не дадутся.

Кучер отправился искать лошадей, а Мельский пошел по дороге к городу. Полоумный, не отставая от него, шел широкими скорыми шагами, размахивая и опираясь своею палкою, и напевал духовные песни. С Мельским он не заводил разговора.

Мельский воспитан был в нынешнем веке и по-нынешнему, следовательно, вовсе без предрассудков. Но странный его спутник вселял в него какое-то незнакомое чувство: то был не суеверный страх и не подозрение, а нечто между тем

---

[1] *Дурный* по-малороссийски значит: дурачок или полоумный.

и другим. Грубый, сиповатый голос полоумного и унывные напевы стихир из панихиды терзали слух молодого офицера и разливали в душе его тоску непонятную.

Во всю дорогу Василь пел и не говорил ни слова; Мельский молчал и как бы боялся завести с ним разговор. Таким образом прибыли они к городской заставе. Часовой окликнул и, взглянув на мундир и на лицо Мельского, почтительно дал ему дорогу; но, как можно было заметить в светлую лунную ночь, солдат казался удивленным, увидя своего полка офицера пешком и с таким странным товарищем.

— Ваше благородие,— сказал вполголоса служивый, подойдя к Мельскому,— не прикажете ли задержать этого бродягу? Он иногда раз двадцать за ночь проходит туда и назад чрез заставу, и бог знает, что у него за дела и все ли доброе на уме?

— Бродягу!— громко сказал полоумный.— А задержал ли ты того бродягу, который когда-то без спроса отлучался от полка и явился тогда, как его за шею приволокли? Ему бы палочки, палочки... много, много! Благо, что командир добрый, пожалел его спины.

Солдат остолбенел, а Мельский с удивлением смотрел на юродивого. Ему странно казалось, как человек, лишенный полного употребления ума, мог знать все тайны людей, почти вовсе ему незнакомых?

Полоумный, окончa свою речь, пошел прежним своим шагом вдоль по улице. Мельский скоро догнал его; из любопытства ли, или по другому какому побуждению, он решился с ним заговорить.

— Где ты живешь? — спросил он у полоумного.

— Под небом на земле,— отрывисто отвечал Василь.

— Верю; но где твой дом?

— Здесь нет; а там! — сказал юродивый, подняв палку вверх и очертя ею полкруга в воздухе.

— Где же твой ночлег?

— Где бог приведет.

— Так ночуй у меня; я тебя накормлю...

— Да, накормишь! — грубо перервал юродивый: — сегодня пятница, а у тебя на столе то курочка, то уточка.

— Хорошо; я велю тебе подать чего-нибудь нескоромного; напою тебя добрым вином, дам тебе хорошую постелю.

— Василь пьет воду; Василь спит на голой земле или на помосте. Да пусть по-твоему: было не было — ночую у тебя.

До квартиры офицера ни он, ни юродивый не говорили

больше ни слова. Одетый денщиком слуга Мельского отворил дверь на стук своего господина и чуть было не уронил свечи, отступя назад, когда увидел, какого гостя барин привел с собою.

— Василь не леший! — сказал поспешно юродивый.— Он бродит по ночам, а не шатается. А пуще в лавках ничего не забирает в долг на чужой счет.

Ловкий слуга думал отделаться медным лбом. Он усмехнулся и оборотился, чтобы светить своему барину по лестнице.

— Смейся! — ворчал юродивый, как будто сам с собою.— Заплачешь, и горько заплачешь, и об эту ж самую пору.

Мельский взглянул на юродивого; но он уже шептал и, как видно было, молитвы, потому что от времени до времени крестился и наклонял голову.

— Весело, светло, красно! — сказал он, войдя в комнаты.— Много казны, много казны! — и запел старинную песнь *о блудном сыне:*

> О горе мне, грешнику сущу!
> Горе, благих дел не имущу.

По приказанию Мельского ужин для юродивого был приготовлен; но он ел только хлеб, а пил воду и очень немного вина. Во время ужина он молчал и только иногда делал набожные восклицания; потом, помолясь богу и поблагодаря хозяина, он сказал: «Теперь дай мне ночлег поближе к дверям, что на улицу. Когда мне надобно будет идти, я разбужу кого-нибудь из твоих людей и велю за собою запереть двери. Еще увидишь меня, и еще, и еще; тогда Василь скажет тебе большое спасибо и пойдет далеко, далеко — отсюда не видно!»

Он выбрал себе ночлег в передней и расположился на полу у самых дверей. Мельский остановился и смотрел, что он будет делать. Юродивый долго и с теплою верою молился, стоя на коленях и часто поднимая руки к небу; потом, положа на полу под голову себе данную ему подушку и откинув на сторону всю прочую постелю, он лег не раздеваясь и в ту же минуту закрыл глаза.

Мельский также пошел в свою спальню и лег в постелю. Он думал, что утомление от загородных его резвостей и танцев и от невольного пешеходства даст ему крепкий и спокойный сон, но обманулся. Странный вид странного его гостя, его слова, в которых он отчасти открывал, что случилось и что случится вперед, не выходили из головы молодого офи-

цера. Он всячески старался уверить себя, что слова полоумного были обыкновенным последствием расстроенной головы, что там, где он как будто бы намекал на дела, которые ему не могли быть известны, говорил он наудачу, зная общие повадки слуг, и что сказанное им солдату мог он как-нибудь услышать от его сослуживцев; со всем тем юродивый беспрестанно представлялся его воображению. Несколько раз Мельский заводил глаза и принуждал себя уснуть; но ему было так душно, комната его теснила, стены как будто сжимались вокруг кровати, и потолок над нею пригибался к полу. В досаде Мельский ворочался, бранил себя за эту неизвестную ему доселе слабость и снова закрывал глаза; но если иногда забывался, как перед сном, то вид юродивого, его бледные впалые щеки, его мрачный взгляд и бродящие глаза, его высокий стан, выраставший выше и выше и, наконец, превращавшийся в исполинский, неотступно были в мечтах молодого офицера и мучили его, как бред горячки. То чудилось ему, что юродивый хватает его за руку жилистою, сухою своею рукою или что он наклоняется к нему на изголовье и говорит грубым, хриплым своим голосом: «Вставай, я пришел помешать тебе ложиться». Мельский вздрагивал и вскакивал. Наконец, видя, что не может приневолить себя уснуть, он приподнялся, сел на постеле и начал в мыслях доискиваться естественной причины своей бессонницы и нелепых грез, которые его тревожили. «Так,— наконец сказал он сам себе,— нет ничего естественнее: излишнее движение привело сегодня кровь мою в волнение; это временный нервический припадок. Смешно, что я, солдат, не робевший ни пуль, ни штыков, расстроил себе воображение вздорным бредом, и от чего ж? от полоумного!» Рассуждая таким образом, Мельский успокоился; но чтобы вполне разуверить себя, что юродивый ему вовсе не страшен, он встал, взял горевшую в другой комнате ночную свечу и пошел в переднюю. Долго смотрел он на странного виновника своей бессонницы. Юродивый спал крепким сном, на лице его видно было спокойствие чистой совести и детская беззаботность; только раз сквозь сон провел он туда и сюда рукою перед лицом, как будто бы отмахивая от себя что-то неприятное. Мельский возвратился в спальню и лег опять в постель; на этот раз природа взяла свое; он начал засыпать, как вдруг послышалось ему, что над головою у него что-то затрещало; стены как будто бы обрушились и падали с протяжным гулом. Он снова вскочил и, не приписывая этого мечте, а какому-нибудь шуму в доме, опять взял свечу, прошелся по всем комнатам

и еще раз взглянул на юродивого, который спал, как и прежде; все домашние Мельского также погружены были в глубокий сон, в доме все было тихо и спокойно, все уборы, все вещи стояли в целости на своих местах. После сего осмотра Мельский ушел в свою комнату и на этот раз спокойно проспал до самого того времени, как слуга вошел напомнить ему, что время собираться в караул.

— А вчерашний наш чудак? — спросил Мельский.

— Он ушел, сударь, куда еще до солнца. Чуть начало брезжиться, он разбудил меня, чтоб я запер за ним дверь, и велел только доложить вам, что скоро скажет вам большое спасибо за вашу хлеб-соль.

— Все ли цело в доме? — спросил Мельский, не хотя прямо спросить о шуме, который послышался ему ночью.

— Все, сударь,— отвечал слуга почти сквозь зубы, приняв, что вопрос сей относился на счет Василя.— Этот дурачок ничего не уносит, где днюет или ночует, как бы что плохо ни лежало.

— Я не о том спрашиваю,— сказал Мельский, дав другой вид своему вопросу.— Пришел ли кучер, и нашлись ли лошади?

— Кучер пришел, сударь, только без лошадей. Он здесь в передней, дожидается, когда изволите выйти.

Мельский велел позвать кучера, который рассказывал ему, что в одном небольшом леску слышал ржание и сарпанье лошадей, но за темнотою от заката месяца, за густыми кустарниками и валежником никак не мог пробраться к тому месту; что страх от волков помешал ему дождаться там утра, но что он теперь же опять идет туда.

Побраня и отослав кучера, Мельский оделся, вышел в другую комнату и взглянул в окно. Там увидел он, что лошади его и с дрожками мчались во всю прыть по улице и вдруг остановились перед домом. Ими смело и ловко правил юродивый, а кучер бежал следом. Осадив и остановя лошадей на всем бегу, юродивый сдал вожжи подоспевшему кучеру, а сам пошел в комнату к Мельскому.

— Моя беда, хоть не моя вина,— сказал он вошедшим.— Василь поправил, как умел; вот твои кони и колесница: кое-что пообито и порастеряно. Да ты не горюешь; у тебя лишних рублей много, много — хоть за окно мечи! Так почти ты и делаешь.

— Да ты почему это знаешь? — спросил его Мельский.

— Знаю, знаю! Василь все знает: так ему на роду написано. Пестренькие карточки много тянут рублей по зеле-

ному сукну; а там и пиры, и затеи, и бог весть!.. Правда: подаешь гривенки нищим, и много... Хорошо, хорошо, не пропадут!

— Вот и тебе гривенка за то, что отыскал и привел моих лошадей,— сказал Мельский, подавая ему червонец.

— Спасибо! Красен, красен! Много свеч богу, много гривенок братьям,— молвил юродивый, держа червонец на ладони и смотря на него.— Спасибо, прощай!

Мельский хотел его остановить, но он уже ушел; посланный слуга кликал его на улице, но он не оглядываясь шел размашистым скорым своим шагом и распевал стихиры.

В остаток этого дня ничего особенного не случилось с Мельским, так как и в следующие за тем дни; он почти позабыл о юродивом, который и сам не являлся и не встречался ему. На шестой день он собирался вечером на бал к богатой и роскошной графине Верской; уже он садился на дрожки, чтоб ехать к графине, как вдруг увидел идущего по улице Василя, который размахивал своею палкою и давал ему знак подождать. Мельский, желая узнать, что из того будет, велел кучеру приостановиться.

— Постой, повороти оглобли,— сказал юродивый, подойдя к офицеру.— Подале оттуда: там тесно, душно; там все вертится — и ноги и голова. Закружишься — забудешься; на сердце одно, а на языке другое. Язык наш — враг наш: прежде ума рыщет.

Мельский усмехнулся и, занятый ожидавшими его веселостями, бросил несколько серебряных денег юродивому, закричал кучеру: «Ступай!» — и скоро проскакал по улице. Однако ж, по невольному движению, он оглянулся при повороте в другую улицу и увидел, что юродивый, стоя все на том же месте, взглянул на небо и размахнул обеими руками врозь, как будто бы хотел сказать: *да будет воля твоя!*

В шуму празднества Мельский скоро позабыл неприятное впечатление, оставленное в нем внезапным появлением, словами и выразительным телодвижением юродивого. Он был отменно весел, шутлив и танцевал очень много. Между девицами, украшавшими собою бал, отличалась от всех Софья Ластинская, осьмнадцатилетняя красавица, богатая невеста и лучшая танцовщица в городе. Софья была хорошо воспитана, умна, с добрым сердцем; но на все эти добрые качества набрасывали темную сетку ее кокетство, ветреность или, лучше сказать, легкомыслие и невоздержная охота построить язычок на чужой счет. Мельский имел и сам эту

оследнюю слабость, и потому на всех балах, где им случалось быть вместе, в танцах и между танцами они всегда находили случай сообщить друг другу колкие свои замечания насчет других танцовщиков и танцовщиц; иногда, поглядывая на бостонные и вистовые столики, перебирали они сидевших за ними смешных старушек и спорщиков-старичков. Часто язвительная улыбка Мельского или громкий неосторожный смех Софьи обличали перед другими то, что они говорили между собою вполголоса, а провинциальная щекотливость заставляла многих думать, и часто впопад, что тут говорилось на их счет. За что в отплату мстительное самолюбие осмеянных ими или считавших себя осмеянными назвало их *неразлучными*. И в самом деле, шутя над другими, Софья не обращала внимания на себя: она не замечала, как часто и неосторожно искала глазами Мельского между танцующими, как часто садилась поодаль от других, чтобы приберечь ему место подле себя. Мельский не был из тех молодых самолюбцев, которые всякую малозначащую благосклонность пригожей женщины перетолковывают в свою пользу, однако ж столь явное к нему предпочтение Софьи не укрылось от наблюдательных глаз его; он и сам чувствовал к ней некоторое влечение: Софья была молода, прекрасна, образована, с живым, пылким умом... но, по странному противоречию сердечных склонностей, все их отношения друг к другу ограничивались взаимною охотою шутить насчет других. Сердце Мельского до сих пор молчало или искало в Софье других качеств, лучше тех, которые он знал в ней по светскому знакомству.

Легко можно догадаться, что и на бале у графини Верской *неразлучные* скоро отыскали друг друга. В нескольких танцах сряду были они точно неразлучны, и завистливая молодежь и обиженное самолюбие шепотом между собою пророчили уже им скорую свадьбу. Как и часто случается, они, шутя насчет других, не замечали, что и над ними подшучивают. К концу бала стали собираться пары на *котильон;* Мельский подле Софьи, и, благодаря длинным расстановкам бесконечного танца, острые их замечания в полной свободе переливались от одного к другой и наоборот.

— Вот самая большая красавица,— говорила Софья, указывая глазами на одну из танцовщиц,— по крайней мере по росту: похвалитесь хоть одним гренадером вашего полка, который бы, в кивере и со всею вытяжкой, мог с нею поравняться.

— Зато какой у нее крохотный кавалер,— примолвил Мельский,— он ей ровно вполталии. Посмотрите, как бедненький мучит свои ноги, чтоб не отстать от нее в вальсе. Но мудрая природа везде любит уравнение: оба они, вершковою мерою, составляют полную пару танцовщиков среднего роста.

— Ах, посмотрите, посмотрите на эти желто-серые глазки: как приманчиво они вертятся под белыми ресницами! Бедняжки, и им кажется, что могут кому-нибудь понравиться!

— И, как видно, они не ошиблись. Видите ли, как этот длинноногий немчик, кавалер той дамы, около нее увивается. Браво! он говорит ей нежности; это видно по немецко-патетическому выражению глаз его и лица.

— Полюбуйтесь жар-птицею: пунцовые цветы на голове, пунцовое платье, пунцовый румянец на щеках и почти пунцовые волосы! Вот ей-то, par excellence*, пристал русский эпитет: *красная девица*.

— А поджаристому ее кавалеру — *горе-богатырь*. Право, ему вальс кажется похоронным маршем; так он наморщился и такую плаксивую сделал из себя маску.

Слушая и делая также замечания, Мельский заметил, что Софья, иногда со смехом от его шуток, иногда с весьма важным видом, оглядывалась назад. Там стоял, в нескольких шагах от них, артиллерийский офицер, держал палец у рта, как будто бы грыз себе ногти, и сурово посматривал то на Мельского, то на Софью. Всему бывает конец; и котильон, иногда продолжающийся до утра, особливо в провинциях, на этот раз кончился довольно скоро. Софья скрылась от глаз Мельского, а он, желая подышать свежим воздухом, пошел к стеклянным дверям, ведущим в сад. Там артиллерийский офицер, как видно было, выжидавший его, заступил ему дорогу.

— Позвольте,— сказал Мельский весьма учтиво.

— Позвольте наперед узнать от вас, милостивый государь, что говорила вам и чему смеялась ваша дама?

— Вот хорошо! — отвечал Мельский, не вышедши еще из терпения.— Разве эта дама поручена в ваш надзор? Да если б и так, то надеюсь, что вы столько знаете законы рыцарские...

— Милостивый государь! — запальчиво перервал артиллерист.— Я требую от вас не пустословия, а дела...

* Как никому (*фр.*).

— А я требую от вас, сударь,— подхватил Мельский таким же тоном,— сказать мне, где вы взяли право меня допрашивать?

— Я покажу это право в свое время.

— А я покажу, как умею отделывать навязчивых допросчиков.

— Дерзкий!..

И слово за слово, шум сделался сильнее и сильнее; около двух офицеров стеснился кружок любопытных: все расспрашивали, от чего начался спор. Но ни Мельский, ни артиллерист не могли и не хотели открыть коренной причины ссоры.

Как и всегда, и в этом случае нашлись услужливые примирители и ревностные поджигатели той и другой стороны. Сослуживцы Мельского твердили, что для чести их мундира это дело должно кончиться дуэлью, и дуэлью смертною; защитники артиллерийского офицера говорили то же. Оба противника сами того искали и хотели. Тут же, вышед в сад, назначили секундантов и свидетелей, место поединка — в роще, на второй версте от города; оружие — пистолет, до смертельной или очень тяжелой раны; и время — на другой день, в семь часов утра.

Не было больше путей к примирению; не было способа объясниться и виноватому извиниться перед правым: все было условлено и положено. К счастию, женщины узнали только, что был спор, а как, за что и чем должен кончиться, о том из предосторожности им не сказали.

Оба противника с их секундантами и свидетелями тотчас уехали с бала. Софья искала глазами Мельского и, не находя его, дивилась его раннему отъезду: она и не подозревала, что была, хотя и не вовсе невинною, но неумышленною причиною того, что он должен был выставить грудь против пули.

Приехав домой, Мельский сел перед письменным своим столом и не думал уже ложиться в постелю. Он призвал своего слугу, велел подать пистолеты, сам их осматривал, выбирал и примерял пули, готовил заряды. Но природа брала свое: дело, так сказать, валилось у него из рук, пули падали на пол, а порох сыпался мимо патронов. Крайняя его рассеянность или, справедливее, отсутствие всякой посторонней мысли, кроме предстоящего поединка, была бы заметна и не для таких пытливых глаз, какие были у Игнатья, слуги его.

С первого взгляда, по приезде барина, Игнатий заметил уже перемену в лице его; отрывистые приказания, поминутно

повторяемые и отменяемые, изменившийся голос, требование пистолетов и зарядов — все это помогало ловкому слуге разгадать страшную истину. Он не смел спросить о том своего барина; но, привыкши с малолетства быть при нем и, несмотря на небольшие свои проказы, будучи к нему искренно привержен, он вышел в переднюю и заплакал горькими слезами.

В это время послышался сильный стук у наружной двери. Игнатий вздрогнул, холод рассыпался по всем его членам; однако ж он вышел и отпер дверь, чтоб узнать, кто стучался: это был юродивый.

— Василь говорил тебе ровно за неделю: «Будешь плакать!» — и должен плакать; добрый, добрый господин! дает полною горстью и никогда не считает.

С сими словами пошел он прямо в комнату Мельского. Игнатий не имел духа остановить его.

Мельский все еще сидел за письменным столом как бы в окаменении, устремя неподвижные глаза свои на стол, на котором лежала перед ним белая бумага. В лице ни кровинки; дыхание с каким-то напряжением вырывалось из груди; изредка только легкий судорожный трепет пробегал по его членам, и тогда тонкая краска вдруг вспыхивала на щеках его и вдруг погасала.

— Это ты? — сказал он, обернувшись, Василю, который вошел и стал против него.— Что скажешь?

Василь только покачивал тихо головою и не говорил ни слова.

— На, поделись с бедной братией и помолитесь за... за меня! — промолвил Мельский, схватя свой бумажник и вынув из него сторублевую ассигнацию, которую подал юродивому.

— Поздно! — отвечал Василь, как бы удерживая вздох.— Однако ж Василь возьмет, Василь оделит братию... Пусть так! — продолжал он после некоторого молчания и с расстановками.— Была не была!.. от нее не уйдешь... рано, поздно — все равно... была не была!

Мельский смотрел на него в недоумении: было ли то приправленное по-своему утешение со стороны юродивого, или другая какая мысль вертелась в расстроенной голове его — Мельский не мог отгадать.

— Бог же с тобою! — сказал он юродивому по некотором молчании, показывая глазами на дверь. «Бог и с тобою!» — отвечал Василь. «Да, бог с тобою!» — повторил он выразительным, растроганным голосом, который не отзывался уже

грубостью и отсутствием ума, как обыкновенная речь юродивого. Он обернулся, пошел к дверям, подняв руки к небу, и при выходе сказал только, как бы на что решившись: «Ну!»

Появление его рассеяло раздумье Мельского; по уходе юродивого он принялся писать; потом позвонил, и Игнатий с заплаканными глазами явился на зов своего барина.

— О чем ты плакал? — спросил его Мельский.

— Да как, сударь!.. что с вами... что со мною будет!..— И после сих перерывистых слов Игнатий зарыдал снова.

— Ты добрый малый,— сказал ему Мельский, встав и положа руку ему на голову,— живи хорошо, веди себя честно... Вот тебе покамест,— прибавил он, подавая ему пучок ассигнаций,— а здесь и ты и все другие не забыты. Это письмо отдай — если что случится — моему дядюшке.— Тут он указал на лежащее на столе запечатанное письмо.

Игнатий расплакался и разрыдался пуще прежнего, целовал руки своего барина, клялся, что ему будет житье не в житье, если не станет доброго его господина. Мельский был очень растроган.

Часы между тем текли своим нерушимым порядком; первые лучи солнца проникали уже в спальню Мельского. Он поднял сторы, открыл окно в маленький садик своей квартиры. Ранние птички чиликали в садике; утро было прелестное; роса светилась на зелени. Мельский высунул голову в окно и снова впал в задумчивость. Он думал, что, может быть, это последнее утро его жизни, что он не будет уже в сей вечер провожать глазами заходящего солнца и ночь, беспрерывная ночь протянется над ним до бесконечности. Неизвестность будущего, страшный шаг, который должно было ему переступить,— все это толпилось в его воображении и тягчило сердце непомерным гнетом.

Долго оставался Мельский в сем положении. Легкий удар по плечу вывел его из забвения; вздрогнув, он оглянулся. Перед ним стоял Свидов, его секундант; поодаль оба свидетеля поединка с его стороны, офицеры их полка.

— Полно рассуждать о суете мира сего,— весело сказал ему Свидов.— Теперь половина шестого; нам остается полтора часа. Вели нам подать водки и чего-нибудь перекусить. Тебе, брат, не прогневайся, не дадим: поговей покамест. Такие игры разыгрываются на тощий желудок.

В решительных случах спокойствие и веселое расположение духа одного товарища сильно действует и на прочих: так и здесь было. Три офицера весело принялись за поданный

завтрак; Мельский сел с ними, хотя и ничего не ел. Свидов оживлял беседу. Он шутил, смешил своих товарищей насчет Мельского, говорил, что он нарочно постарался выкроить себе такую плаксивую личину, потому что собирается отпевать своего противника, и тому подобное. Смех прилипчив; Мельский и сам развеселился, особливо, когда к концу завтрака Свидов, а за ним и оба другие офицера, налив полные стаканы вина, приподняли их и громко воскликнули: «Твое здоровье, Мельский!..»

— Отблагодарю вас, господа, через два часа, а не прежде,— отвечал Мельский с вольным духом.

Свидов взглянул на часы. «Ого, друзья, сколько мы бражничали: половина седьмого. Мельский, вели подать свои пистолеты и заряды: я как распорядитель жизни или смерти твоей — не бледней, милый друг! — хочу освидетельствовать, все ли боевые снаряды в должной исправности».

Пистолеты были осмотрены, лошади поданы — и через десять минут четверо товарищей были уже за городом. С каждым шагом ближе к месту поединка, звук копыт конских о землю звонче и звонче отдавался в ушах Мельского. Однако ж он был бодр: естественная или умышленная веселость Свидова и других офицеров, с ним ехавших, придавала ему духу. Приближаясь к назначенному месту, они заметили пыль по дороге и скоро увидели, что следом за ними неслись на всех рысях несколько человек. Это был противник Мельского и его ассистенты.

— Мы их опередили и кстати,— молвил Свидов,— покамест отдохнем и сгладим последние морщины с лица у Мельского.

Но Мельский был уже не тот: решимость, понятие о чести и чувство оскорбления придали ему необыкновенную отвагу. На лице его сияло совершенное спокойствие; он очень свободно расхаживал и холодно, но вежливо поклонился прибывшим в эту минуту товарищам его противника.

Свидов и секундант артиллерийского офицера сошлись, передали несколько слов друг другу, выбрали и зарядили пистолеты, потом, разделя поровну между противниками свет и ветер, мигом отмеряли восемь шагов на барьер и по пяти в обе стороны, чтобы сходиться. Подавая пистолет Мельскому, Свидов взглянул на него пристально и подивился и порадовался спокойствию и хладнокровию, которые выражались в чертах его лица и во всех поступках. «Славно!— сказал он вполголоса.— Для первой дуэльной попытки это слишком много». С сими словами отступил он несколь-

ко шагов и стал рядом с секундантом противной стороны.

Уже пистолеты подняты, пальцы на шнеллерах, уже противники ступили шаг... тяжкое ожиданье заняло дух у секундантов и свидетелей... Кому-то пасть? или обоим? Оба равно смелы, оба равно тверды... только в артиллерийском офицере заметна была какая-то нетерпеливость в движениях: может статься, это было следствие обыкновенного его характера, или он, считая себя более обиженным, хотел скорее отмстить за свою обиду.

— Стой! — вдруг раздался громкий и твердый голос, и, по невольному движению, оба противника опустили пистолеты. Прежде нежели могли прийти в себя и они и их секунданты, юродивый стоял уже между поединщиками.

— Что вы делаете? — продолжал он тем же голосом.— Вы оба неправы; только ты виноватее,— примолвил он, оборотясь к артиллерийскому офицеру.— Драться вам не за что!..

— Протолкайте этого сумасброда! — закричал артиллерийский офицер.

— Сам ты сумасброд, что накликаешь на свою голову кровь неповинную,— сказал юродивый между тем, как секунданты и свидетели обеих сторон схватили его и хотели оттащить. Василь одарен был необыкновенною силою; по крайней мере, в этом случае показал он чрезвычайные усилия; шесть человек едва могли с ним сладить; наконец, оттащив его в сторону от барьера и видя, что он снова мечется к поединщикам, служившие свидетелями офицеры взялись его держать, а секунданты стали снова на свои места.

С одинаковою неустрашимостью противники пошли опять друг против друга; уже они почти на барьере, уже метят, курок спускается... Выстрел!.. «Стой!.. ох!..» — и юродивый упал от пули артиллерийского офицера. В то же мгновение другая пуля просвистала над ухом артиллериста.

Пистолеты обоих противников, как по команде, упали на землю. Все бросились к юродивому. Он был еще жив. Кровь била клубом из-под распахнувшейся его одежды. Полковой лекарь, приглашенный предусмотрительными товарищами Мельского и крывшийся в ближнем леску, прибежал на выстрелы и, освидетельствовав рану, объявил, что она смертельна. Пуля по близости удара пролетела насквозь; часть внутренностей несчастного была повреждена.

Начали перевязывать рану. Ничто не служит таким надежным шагом к сближению двух противных сторон, как общее участие к одному предмету. Помогая лекарю в его

попечениях, раздирая свои платки и спорясь, так сказать, в условиях облегчить страдания раненого бедняка, Мельский и противник его не сказали еще ни слова. Наконец сей последний, держа компресс на ране больного, тогда как лекарь отошел в сторону приготовлять бинт, взглянул в лицо Мельского, который поддерживал голову страдальца, и с некоторым усилием сказал: «Поединок наш еще не кончен!»

— Скажите, бога ради, за что вы меня вызвали? — вскричал Мельский как бы по невольному движению.

— Вы сами должны это знать: не вы ли меня оскорбляли? Не вы ли смеялись на мой счет с тою, чьей руки я искал и еще не позабыл огорчительного ее отказа.

— Клянусь честию, что в разговоре моем с Софиею не было о вас ни слова. Я не дал бы этой клятвы, когда шел против вашей пули; теперь, над трупом сего бедняка, пострадавшего в нашем деле, я должен вывести вас из заблуждения.

— Почему ж она, говоря с вами, оглядывалась на меня и язвительно усмехалась?

— Это самого меня удивляло, и я хотел когда-нибудь выведать от нее тому причину. Но, повторяю снова свою клятву, предметом шуток наших и смеха были другие, а не вы.

Артиллерист помолчал несколько минут; он призадумался и, казалось, что-то припоминал; потом сказал тихим и горестным голосом и как бы сам себе: «И в этот раз запальчивость моя и подозрительный нрав довели меня до исступления ума, даже до убийства. Боже мой!.. Но я уже наказан — должен понести без ропота и то наказание, какое законы назначат убийце».

Мельский, по чувству соучастия, протянул к нему руку и хотел утешать его. Артиллерист схватил его руку, сжал ее и сказал: «Простите ли вы мне опрометчивость мою, забудете ли нанесенную вам обиду?»

Молодой, мягкосердечный Мельский снова и крепко сжал ему руку. Он был удовлетворен вполне: товарищам своим и, следовательно, всему полку доказал он, что не боится порохового дыма; понятию о чести принес он жертву, соперник его просил у него прощения; чего ж мог он более требовать?

Привстав на колена и не отнимая руки от компресса, артиллерийский офицер протянул голову к Мельскому. Они поцеловались.

— Давно бы так! — сказал юродивый, который только что опамятовался. В это время подошел лекарь и докончил

перевязку: раненый не испустил ни одного вздоха и не впал снова в беспамятство.

Офицеры подошли к примирившимся соперникам, поздравляли их с мировою; и Свидов первый как большой и опытный знаток в дуэльных делах сказал, что оба противника шли отлично и что сам он дерется со всяким, кто хоть заикнется против сего поединка.

В это время Мельский взглянул на лицо юродивого: он звал его глазами. Мельский наклонился к нему. «Я знал, чем кончится,— говорил Василь слабым, но внятным голосом,— бог положил это мне на сердце. Я знал, что поведу тебя на могилу твоей тетки: ты с приезда сюда не был еще у нее на могиле. Добрая, добрая была у тебя тетка: любила нищую братию и много ее наделяла. Василь был от нее и сыт, и одет, и пригрет!.. Десять лет как она отошла к отцу небесному... Оттого и тебя полюбил я с первого взгляда, хотел узнать тебя поближе, да тебе было не до меня: суета сует закружила тебя. Я хотел отблагодарить за хлеб-соль твоей тетке; сказал, что помешаю тебе лежать,— и помешал».

Юродивый умолк. Мельский, роняя слезы на лицо его — дань благодарности и человечеству, которой он не стыдился,— вспомнил притом, что если б юродивый не подоспел, то пуля действительно попала бы прямо в него и, может быть, также навылет; ибо выбранные секундантами пистолеты были велики и сильно заряжены, по человеколюбивому расчету Свидова, чтоб не долго мучиться раненому.

Офицеры разошлись в разные стороны и за хорошую плату собрали несколько крестьян, работавших вблизи того места. Им велели из соседнего леса вырубить хворосту и сделать плетеные носилки, чтобы перенести в город раненого. Как скоро добрые малороссияне узнали, что раненый был Василь, то не хотели даже взять платы за перенесение его: они считали, что благословение божие будет на них и на их домы за услугу, которую окажут они юродивому. Дивились они только и шепотом между собою рассуждали, каким образом и кем он застрелен; но Василь, вслушавшись в их слова, сказал: «Я сам, братцы, наискался на смерть: так богу было угодно! здесь никого не вините».

Слушая его слова и веря им, ибо знали, что Василь никогда не говорил неправды, крестьяне прекратили свои толки. На носилки настлали мягкой травы и сверх нее положили несколько свит[1], чтоб раненому было еще мягче. Свидов

[1] *Свита*, малороссийский кафтан или армяк.

сверх всего этого разостлал свою офицерскую шинель. Офицеры, как бы в погребальном шествии, тихим шагом ехали за носилками.

В предместии города офицеры велели остановить носилки и постучались в двери одного маленького, но опрятного домика. Там жила добрая старушка, вдова. Узнав, что дело идет о том, чтобы дать приют Василю, она тотчас отперла дверь, очистила небольшую светлицу и приготовила мягкую постель для больного. Лекарь охотно вызвался навещать его, хотя и не предвидел никакой надежды его излечить.

Мельский ходил каждый день наведываться о его здоровье и с каждым днем видел постепенное угасание последних искр жизни сего непонятного человека. Василь говорил мало и говорил ему о тетке его, о ее добродетелях и благотворительности, присовокупляя иногда короткие, но сильные наставления для будущей его жизни. Во всех словах его не было уже признаков прежнего юродства, ни предсказаний. Так прошло три дня. На четвертый Мельский, нашедши хозяйку дома в первой комнате, спросил у нее о больном.

— Ему сегодня лучше,— отвечала старушка,— он спокойнее провел ночь и утром говорил громче и больше, нежели в прежние дни. Вспоминал о вас. Теперь, кажется, заснул; я выходила на час из дому, а после не слыхала никакого шума в его комнате, почему и думаю, что он спит.

Мельский отворил немного дверь в светлицу: ни на постеле, ни в комнате никого не было. Старуха вскрикнула, бросилась искать по всему дому, бегала в маленький свой садик, спрашивала у соседей: нигде не было Василя, никто не видал его! Наконец Мельский сам пошел искать и расспрашивать. Одна маленькая девочка сказала ему, что видела, как Василь через силу брел по улице к кладбищу. Мельский тотчас пошел туда. До кладбища было очень недалеко от дома старушки; легко могло случиться, что Василь, в новом припадке юродства, вздумал посетить заживо последнее свое жилище. При входе в кладбище Мельский увидел у одного памятника человека, который сидел на подножии, прилегши головою на низкий цоколь надгробного камня.

Мельский подошел к нему: это был точно Василь; но закостенелые члены и посинелое лицо его показывали, что жизнь уже отлетела из полуразрушенной своей оболочки. Долго стоял Мельский в задумчивости над холодным трупом человека, принесшего ему в жертву жизнь свою: потом, рассматривая надгробие, прочел он, что памятник сей скрывал

под собою прах его тетки. Юродивый в последние дни свои принес двойную дань благодарности.

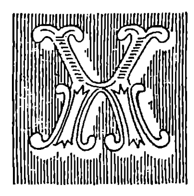
— Ты сдержал свое слово! — говорил Мельский. — Ты привел меня на могилу тетки, и сам пришел посвятить последний вздох свой благодарному о ней воспоминанию. Покойся же с миром!

Грустно возвращался Мельский с кладбища. Обще с артиллерийским офицером, неумышленною причиною смерти юродивого, устроил он приличное погребение сему земному страдальцу, и сам шел за гробом его; товарищи Мельского и все участвовавшие в поединке также отдали последний долг умершему сочеловеку. Стечение народа, собравшегося даже из окружных сел на погребение Василя, показывало, в каком уважении был юродивый у сих простых, но добрых людей. Особливо нищие с плачем провожали его в могилу: будучи сам нищ, он находил способ помогать им и делился с ними подаянием, которое получал. Одна дряхлая, как остов иссохшая старуха плакала и выла больше всех; когда кончено было погребение, когда разошлись все, и старый и малый, она одна осталась на могиле и кропила свежую землю своими слезами. И после часто видали ее на могиле юродивого; мать ли то была, родственница, или только предмет особых попечений покойного: никто не решился у нее спрашивать, и она никому о том не говорила.



ВЫВЕСКА

Рассказ путешественника



лоп, хлоп, хлоп! Бич моего почтальона раздался в воздухе и перервал утреннюю мою дремоту, наведенную пасмурною, дождливою погодой и однообразным качаньем коляски по весьма не живописной дороге. Почтальон соскочил с седла, отпер дверцы коляски и, почтительно снимая шляпу, сказал мне: «Милостивый государь! Вы благополучно прибыли в Вердён; где вам угодно будет остановиться?»

— Где сам знаешь, друг мой; по мне все равно.

— В таком случае я приму смелость рекомендовать вам трактир на почте. Это лучший в городе: все иностранные принцы, все знатные путешественники в нем останавливаются.

Я кивнул головою в знак согласия; почтальон снова вскочил на седло, бич его снова захлопал и звонко отдавался по

узким улицам города. Через несколько минут мы остановились у почтового двора, и хозяин трактира, вызванный на улицу со всею своею челядью приветливым стуком бича, подошел ко мне, приподнял свой черный шелковый колпак и, рассыпаясь в учтивостях, просил сделать честь его *заведению*.

Хозяин, сухой, как ученые разыскания некоторых антиквариев, и бледный, как муза некоторых элегических поэтов, повел меня в общую залу, засыпая на каждом шагу градом вопросов, догадок, предположений и тому подобного; а между тем он находил еще досуг отдавать приказания трактирному слуге, служанке и двум поваренкам. Все это говорил он с необыкновенною скоростию, как бы боясь, чтобы кашель и удушье, которым он был подвержен, не пресекли у него речи. Вот его-то без греха можно было назвать, по поговорке его единоземцев, *словесною мельницей* (moulin à paroles): отроду я не видывал такого словоохотного и несносного болтуна и расспросчика, даже и из его братьи трактирщиков.

В первой комнате, за щеголеватою конторкой красного дерева с бронзовыми прикрасами, сидела молодая, пригожая девушка с прелестными черными глазами, в которых светился огонь чувства. Она была одета не нарядно, но очень к лицу и так ловко, как только умеет одеться двадцатилетняя француженка. Если б были еще в моде чувствительные путешествия во вкусе женевца Верна, то я описал бы вам все складочки ее платья, все сгибы, уголки и наклон ее тока и во всем этом искал бы ключа к душе, склонностям и привычкам красавицы; но теперь, на беду нам, путешественникам, настает век взыскательной существенности, и от писателя требуют поменьше мечтательности и побольше дела.

— Дочь моя! — сказал трактирщик, оборотясь к пригожей конторщице.— Постарайся, чтобы требования этого господина выполнялись с возможною точностию и поспешностию. Смею спросить, милостивый государь, о вашем достоинстве: вы граф или маркиз?

— Ни то, ни другое, господин хозяин. Я просто русский путешественник, дворянин, если вам нужно это знать, и вот все, что могу вам объявить о себе.

— О, разумею! Вы, господа русские князья, изволите утаивать высокий ваш род по тонкому чувству снисхождения, чтоб уволить нас, бедных мещан, от должных вам почестей. Но мы тоже знаем свой долг.

— Я вам сказал о себе сущую правду. Прошу вас не величать меня теми титулами, которых не имею, если не хотите меня огорчить.

— Вижу, что вам угодно соблюдать строгое *инкогнито*. Извольте, пусть будет по-вашему: я тоже умею кстати быть скромным.

Несмотря на это обещание, когда он ввел меня в залу, то по всему видно было, что он готов был спустить с языка какую-нибудь нелепость вроде сказанных им прежде. К счастию, я взглянул на него вовремя, и мой взгляд наложил на него отрицательную скромность.

В зале сидел толстый, рыжеватый англичанин, с багровыми щеками и носом, с лицом, на котором рука покойной г-жи дю-Дефан также легко могла бы обмануться, как и на лице соплеменника его Гиббона. Голова его, за недостатком шеи, покоилась на груди; лучи света скоплялись на величавой его лысине, как будто в фокусе зажигательного стекла. Расставя врозь мясистые свои ноги, укутанные в длинные штиблеты дикого казимира, англичанин преспокойно и безответно выслушивал льстивые приветствия и корыстны предложения малорослого итальянца, бродячего художника, который вертелся и прискакивал около него, как кошка около жирного куска говядины. Рядом с англичанином сидела, и также безмолвно, его сожительница, высокая, сухая, с одним из тех холодных женских лиц, на которые боишься смотреть, чтоб не простудить себе глаза. По всему видно было, что эта чета, которой итальянец так щедро расточал названия: Signor milordo и Signora milorda*,— была чета купцов из лондонского City, переехавшая на твердую землю поважничать перед чужеземцами и вымещать на них спесь и презрительные взгляды, какими с избытком и мужа и жену дарили в Лондоне богатые их сограждане. Четвертое лицо из находившихся в зале был француз самой подозрительной наружности. Он похаживал по комнате, поглядывал то на того, то на другого, останавливался, прислушивался и изредка пожимал губами.

Дурная погода производит на меня весьма сильное влияние: она совершенно владеет нравственным моим расположением. То, что в ясный день забавляло бы меня и смешило, в пасмурный и дождливый выводит из терпения. По сему-то и в верденской гостинице все было не по мне, все досадно: и болтливость хозяина, и спесь англичан, и низость

---

* Синьор милорд... синьора милорда (вместо: миледи; *ит.*).

итальянца, и приглядыванье и подслушиванье неблаговидного француза. Это пагубное влияние усилилось даже до того, что красота молодой конторщицы начала мне казаться самою обыкновенною, а скромный ее вид жеманством провинциальной кокетки. Наконец, не в состоянии быв долее сносить сего досадного ощущения, схватил я шляпу и, не сказав никому ни слова, назло погоде и своему здоровью, пустился бродить по улицам.

Я за правило себе положил в моих путешествиях везде осмотреть, разведать и *отведать*, чем славится какое-либо место. Особливо последнее наблюдал я во всей строгости, и не без причины: в винах, плодах и лакомствах, которые отведывал я на местах, где они родятся или делаются,— вызнавал я вкус, склонности и досужество жителей и тем распространял круг моих нравственно-экономических наблюдений. И здесь, едва вышел я на улицу, как вспомнил, что Вердён славится своими конфетами, известными во Франции под именем dragése de Verdun*. Нетрудно мне было их отыскать: в редком доме, особливо на главных улицах, не было вывески конфетчика; я заходил к каждому, покупал по целому пакету и все это складывал в огромный боковой карман широкого моего страннического плаща. Нагрузясь таким образом, возвратился я в свой трактир с хорошим запасом для послеобеденного моего десерта в коляске.

Уже я всходил на лестницу, как, оборотясь назад, увидел на другой стороне улицы очень замысловатую вывеску. На ней было намалевано обыкновенное цирюльничье блюдце с такою надписью: «Солнце светит для каждого» («Le soleil luit pour tout le monde»). Воображение тотчас сказало мне, что хозяин этой вывески должен быть человек необыкновенный, человек... человек... словом, другой Фигаро; любопытство подтакнуло воображению, прибавя, что мне непременно надобно с ним познакомиться. Я остановился на минуту, в раздумье снял шляпу и повел рукою по волосам, после по бороде, нашел, что и те и другая отросли и что мне нельзя продолжать путешествие в таком виде, если не хочу пугать собою встречных: самая основательная причина зайти к цирюльнику и продлить у него мое заседание! Не будь этой причины — я нашелся бы в великом затруднении: любопытство мое было сильно, и я избаловал в себе эту наклонность тем, что всегда слепо выполнял ее прихоти; к тому же, не в похвальбу сказать, я человек совестливый: не люблю

---

* Верденское драже *(фр.)*.

даром отнимать у людей время, особливо у художников. В таком борении двух враждующих между собою чувств, не знаю, на что бы я решился: может быть — до чего не доведет обладающая страсть! — может быть, я решился бы вовсе без нужды пустить себе кровь или вырвать зуб, лишь бы только в угоду любопытству познакомиться с цирюльником и выведать его похождения.

Уже я перескочил через улицу — и в этом должны мне поверить: не только в провинциальных городах Франции, но даже и в самом Париже есть такие улицы, через которые без труда можно перепрыгнуть в один скачок. Короче: я в лавке цирюльника. Ко мне подошел высокий, статный молодой мужчина, с приятным лицом, кудреватыми черными волосами и большими бакенбардами, подравненными волосок к волоску. «В чем нужны вам мои услуги, милостивый государь?» — спросил он; и я без дальних околичностей указал ему на свою бороду и голову.

— А, понимаю, сударь! Вас нужно обрить, остричь, завить и причесать по самой последней моде, не правда ли?

Я мигом сделал свои соображения: все, что предлагал мне цирюльник в своих догадках, взятое вместе, займет его долее и, следовательно, даст мне более времени поразговориться с ним и порасспросить его.

— Правда, друг мой; ты отгадал.

— Ребята! Бастьен, Жано, Блез! — И три мальчика, в белых фартучках и с волосами в бумажках, явились на зов своего хозяина.

— Мигом: горячей воды, бритвенный прибор, ножницы, гребни; чтобы завивальные щипцы были на жару... Я сам буду иметь честь убирать господина.

Покуда мальчики управлялись, я окинул глазом вокруг себя. Комната была убрана очень опрятно и даже с некоторою роскошью: столы, стулья и прочая мебель красного дерева, на окнах чистые кисейные занавески. Большое зеркало висело между двумя окнами; под ним, на столике, разостлана была синяя салфетка с красивыми узорами, а на ней разложены были бритвы в разных футлярах. Другое большое зеркало (psyché) стояло у глухой стены, а на другой стороне, у стены же — шкаф со стеклами, задернутыми тафтою; на шкафу лежала гитара. Хозяин стоял предо мною в платье тонкого сукна и довольно новом, с тонким чистым фартуком, который нашел он тайну как-то щеголевато опоясать вокруг тела.

— По всему видно, друг мой, что ты доволен своим состоянием,— сказал я ему.

— Не жалуюсь, сударь: я имею довольно *обширную практику*. Господин мэр здешнего города никому, кроме меня, не хочет вверить головы и бороды своей; все, кто познатнее и побогаче, также ко мне идут или за мною присылают, не считая молодых и пожилых модниц, которых и здесь, как и во всяком другом городе Франции, можно бы набрать порядочный легион. И вот недавно еще была у меня депутация от отцов иезуитов, чтобы я взял на свое попечение их головы, когда они оснуют свое пребывание в нашем городе.

— Берегись, мой друг, ты возбудишь во мне зависть.

— Ах, сударь! Участь моя точно была бы завидна, если б не вмешались сердечные обстоятельства...

— Ты несчастлив, мой друг,— вскрикнул я, не дав ему кончить,— в твои лета, с твоею наружностию, с твоим талантом — несчастлив в любви... Можно ли это? Кто ж эта жестокая? Расскажи мне печальную твою повесть.

Многие, конечно, подивятся таким восклицаниям; но это с моей стороны был тоже небольшой расчет. Я знал, что ничем нельзя легче растрогать и задобрить француза, как участием и будто бы невольно сказанными приветствиями — и не ошибся. Цирюльник мой приосанился, слегка пощипал себя за бакенбард и сказал:

— Вы напрасно назвали девицу Селину Террье жестокою: скажу вам, что она неравнодушна была к тем небольшим достоинствам, которые вам угодно было во мне найти. Нет, милостивый государь! Возьмите назад свое обвинение! Моя Селина имеет не каменное сердце. Вы ее видели, вы должны были ее видеть; скажите, похожа ли она на жестокую?

— Как! Это?..

— Это дочь старого, удушливого скряги Террье, содержателя гостиницы, что на почте, где верно и вы остановились.

— А, а!.. поздравляю: ты умел выбрать по себе.

— Не правда ли, сударь?.. Скажу вам больше: и повесть моя не так печальна, как вы думаете. В ней есть, конечно, темные пятна, зато есть целые полосы и других цветов, посветлее и повеселее.

— Любопытен бы ее слышать: эта пестрота обещает в ней что-то очень цветистое, и я давно уже предубежден в пользу повествователя.

— О, сударь! Вы слишком милостивы,— примолвил он тихим голосом, с скромным, но довольно в себе уверенным видом.— Впрочем, чтоб вам не скучно было сидеть,— слабые мои дарования в рассказе к вашим услугам.

В сердце у меня стало тепло от удовольствия, как у ребенка, которому подарили любимую игрушку; однако ж я по возможности скрыл свою радость, чтобы не подать рассказчику моему подозрения насчет корыстных видов моего прихода. Я отвечал ему простым уверением, что мне приятно будет узнать его жизнь и подвиги. Вот почти слово в слово собственный его рассказ, за исключением только некоторых междометий, когда ему случалось, заговорившись, делать не то, что надобно; и некоторых коротких выходок против его мальчиков, за то что вода не довольно горяча, а щипцы слишком раскалены, и т. п.

Я уроженец здешнего города. Отец мой был парикмахером и в старинные годы славился здесь тем, что с отличною ловкостию и приятностию начесывал *голубиные крылышки* (ailes de pigeon) на головах здешних модников и взбивал огромные шиньоны на величавых челах здешних красавиц. Он считался очень достаточным человеком, имел обширное волосочесальное заведение и мог бы со временем сделаться важным капиталистом; но революция все оборотила вверх дном: парики слетели с голов, пудра рассеялась по воздуху, как дым славы, голубиные крылышки опустились и огромные шиньоны пали на зыбких своих основаниях. Место их заступили не только не чесаные, но еще нарочно всклокоченные головы; целые толпы парикмахеров, за неимением лучшего дела, пошли по миру, в том числе и отец мой разорился. Однако ж, как человек сметливый, он не утопился с горя и не сделался пьяницей от нечего делать; но, припрятав гребенки и завивальные щипцы, из прежних своих принадлежностей оставил при себе один фартук и определился служителем в один славный по тогдашнему времени кофейный дом, носивший не помню какое-то грозное революционное имя. Хозяин этого дома славился своею изобретательностию и тою применчивостию к обстоятельствам, которую в нынешнее насмешливое время называют *флюгерством* (le girouetisme): он придавал самые патриотические в тогдашнем смысле названия своим мороженым, питьям и сластям; от этого дом его был беспрестанно полон, а карман и того полнее. Здесь отец мой умел снова составить себе посильный капиталец из крох и опивок многочисленных посетителей кофейного дома;

и как сыну неприлично клеветать на память отца своего, то я не скажу положительно, чтобы как-нибудь, ошибкою, западало иногда к нему в карман что-либо хозяйское. Девица Флора, молодая конторщица, была крайне дружна с отцом моим, который, сколько я мог судить по остаткам, был детина видный и очень не дурен лицом: мудрено ли, что они вместе вели счет исправно? Хозяин был доволен, они не жаловались, а мне и того меньше причин жаловаться, потому что взаимной их дружбе я обязан бытием моим. Короче: лет через пять отец мой и девица Флора пришли к хозяину, объявляя, что не могут более служить ему, разочлись с ним, получили сполна выслуженные у него деньги и в тот же день заключили брачный свой союз пред лицом муниципального сословия. Девица Флора, ставшая г-жею Жак, имела тоже за собою не одно ремесло: еще до вступления своего в кофейный дом, она прошла полный курс воспитания в разных модных магазинах и выучилась искусно делать цветы и головные уборы, шить дамские платья и ...всего не припомнишь. Молодые супруги наняли уютную и опрятную квартиру. Мадам Жак снова принялась за иголки, проволоки, шелка и разноцветные обрезки; мосье Жак снова отыскал свои щипцы и гребенки и начал завивать модные головы *а-ла Титюс;* они прибили над дверьми своей квартиры красивую вывеску, на которой написаны были римляне с курчавыми головами и римлянки в новомодных тюниках и с цветочными уборами в волосах; замысловатая надпись на вывеске: «Aux têtes romaines: Citoyen Jacques, coiffeur, et sa femme, fleuriste et marchande de modes»* — еще более придавала цены магазину в понятиях тогдашних патриотов. По этому заманчивому названию магазина, а еще более по новости, модники и модницы налетали роями, и если не мед, то деньги оставляли в нем. Дела моих родителей пошли как нельзя лучше: к довершению их счастия, небо укрепило еще более союз их, послав им меня. Отец мой хотел назвать меня просто Жаком, чтоб увековечить это имя в нашем роду, но мать моя доказала ему, что такие имена были тогда не в моде и что мне должно было дать какое-нибудь громкое имя греческое: отец мой и тут, как и во всем, послушался жены своей — меня назвали Ахиллом.

Не стану вам рассказывать истории первых лет моей жизни и перейду к моему воспитанию. На восьмом году возраста

---

* Римские прически: гражданин Жак, парикмахер, и его супруга, цветочница и модистка *(фр.)*.

меня отдали в школу, где я многому кое-чему учился; иное понимал и теперь помню, другого не понимал и теперь вовсе не знаю. Но, признаюсь, понятнее всего были для меня романы, которые читывал я украдкою. Они с самых ранних годов показывали мне свет сквозь розовое стеклышко, которое теперь, с прибавкою лет и опытности, хотя отчасти и потускнело, но все еще не изменило прежнего своего цвета. В школе, куда я ходил целые семь лет почти каждый день, обучались также и девушки. Не понимаю, почему многие чужестранцы дивятся ловкости и развязности французов в обхождении с женщинами и той светскости, тому знанию приличий, которые замечаются у нас между людьми почти всякого состояния. Разве эти чужестранцы не знают, что у нас оба пола с молодых лет привыкают быть вместе; что воспитание, игры детства и проч. доставляют нам к тому беспрестанные случаи? От этого мы привыкаем к вежливости в таком еще возрасте, когда у других народов дети низших званий не имеют о ней ни малейшего понятия; от этого мы рано приобретаем тонкое чувство приличия, которое назначает должные границы между позволительным и непозволительным в обращении с прекрасным полом и отметает все грубое, резкое и непристойное в речах и поступках. И вот где, милостивый государь, должно искать источника светскости и обходительности французов.

Я сказал уже вам, что в той же школе обучались и девушки. Иные были старее меня, а из тех, которые были одних со мною лет или моложе, ни одна мне не нравилась: следовательно, я не мог еще молодым моим воображением сделать поверки тому, что читал в романах. Пять лет уже сидел я на школьной скамье, был первым в ученье и в играх и тем заслуживал уважение от мальчиков; девушки часто заглядывались на меня, и, без хвастовства сказать, monsieur Achille* слыл первым учеником, первым затейником и первым красавцем, словом, Фениксом своего училища. Около этого времени привели к нам в школу милую семилетнюю девочку с таким пригоженьким личиком, с такими черненькими, блестящими глазками, с таким умильным, сиротливым взглядом, что я в одну минуту почувствовал к ней жалость и какое-то непреодолимое влечение. Вы, конечно, знаете, сударь, школьную повадку, по которой всякого новобранца принимают на искус, т. е. старые ученики придираются к нему, щиплют его, дразнят и подсмеивают; и если он вы-

---

* Господин Ахилл *(фр.)*.

держит это испытание, т. е. если не плача и не жмурясь вытерпит щипки, толчки и насмешки, или если он такой смельчак, который, несмотря на неравенство сил, станет драться со всяким и покажет удальство и проворство в ручном бою,— тогда его больше не трогают и объявляют добрым товарищем. Такой искус при вступлении моем в школу выдержал я с успехом, и это отчасти было немаловажною причиной, по которой школьные товарищи начали меня уважать.

Девушкам тоже бывают испытания, хотя и полегче: их не заставляют терпеть толчки и щипки. Так было и в этот раз: увидя, что бедное дитя робко и сиротливо поглядывало на всех и не смело мешаться в наши игры, все — и девочки и мальчики, начали над нею подшучивать, пугать строгостию школьной жизни, темною комнатой и разными наказаниями. Малютка расплакалась, и за это ее пуще прежнего начали дразнить. Я тотчас за нее вступился, стыдил девушек, особливо взрослых, и объявил мальчикам, что дерусь со всяким, кто станет обижать ее. Видя, что я взял маленькую ученицу под свое покровительство, и зная на деле, как верно я держал свое слово, в один миг все от нее отстали; я подошел к ней, утешал ее, приласкал и уверил, что это была только шутка новых ее товарищей. Милая малютка положила свои ручонки ко мне на плечи, подняла прелестную свою головку вверх и поблагодарила меня таким умильным взором, с такою радостною улыбкой сквозь слезы, что у меня сердце забилось сильнее обыкновенного и я тут же поклялся быть всегдашним ее другом и защитником. Вы, может быть, уже догадались, сударь, что эта малютка была Селина Террье.

Два года еще после того оставался я в школе. Селина подрастала на моих глазах и час от часу более ко мне привязывалась. В играх она старалась быть как можно ближе ко мне; обижал ли ее кто — она тотчас подбегала ко мне и жаловалась. Вы не можете вообразить себе того удовольствия, которое чувствовал я, когда она, бывало, сядет подле меня, ласкается ко мне, гладит меня по лицу маленькою своею ручонкой и называет меня своим другом, своим единственным другом. Наконец родители взяли меня из училища. Это стоило многих слез Селине, и, признаюсь, мне самому было грустно ее оставить. Однако ж я под предлогом, чтобы повидаться с прежними моими школьными товарищами, каждый день заходил в училище и всегда выбирал те часы, которые ученикам даются для отдыха и для игр. Селина выбегала ко мне навстречу, весело и приветливо кричала мне еще издали: «Здравствуйте, добрый мой друг!», рассказывала мне обо

всем, что с нею случилось: о своем ученье, забавах и детских горестях. Всякий раз приносил я ей или куклу или лакомства, и милая малютка благодарила меня за них, как за самые драгоценные подарки.

Между тем годы неслись вперед. Селина все подрастала и с каждым годом становилась стройнее и пригожее. Уже я видел в ней не резвое, игривое дитя, но прелестную девушку, расцветавшую как юная роза в весеннее утро; уже в обращении со мною она показывала более скромности и даже некоторую застенчивость, хотя и не отбросила прежней своей доверчивости; уже я видел в ней будущую подругу моей жизни и наперед сулил себе блаженство в союзе с нею, не предполагая и не воображая никаких препон. Вместо кукол и лакомств начал я носить ей мадригалы, экспромты и триолеты, которые кропал для нее на досуге, и, скажу откровенно, сударь,— некоторыми из них сам был очень доволен. Селина принимала их с такою ласкающею улыбкой, с таким блеском радости в глазах и читала их с таким умильным выражением голоса, что я считал себя, по крайней мере, наравне с нашими Буфлерами, Доратами, Леонарами и другими стихотворными поклонниками прекрасного пола и признавал в себе решительный дар поэзии.

Я позабыл вам сказать, что отец мой не мог устоять против приманок обольстительной мысли — скоро обогатиться. Что делать! Видно, человек создан с этой беспокойною наклонностию беспрестанно желать больше и больше: она погубила многих честных людей, и даже славных людей; этому служит доказательством еще недавний пример Наполеона. Кто бы сказал лет за десять до нынешнего, что *маленький* наш *капрал*[1] променяет французскую империю за тесный уголок на полудиком острове? И вот как, сударь, оправдывается наша пословица: *желание лучшего — враг добру* (*le mieux* est l'ennemi du *bien*). Так и мой отец наскучил верными доходами от своего ремесла и от модного магазина, вздумал вдруг сделаться богатым капиталистом, пустился в подряды и в торговые спекуляции, а что хуже всего, завел большой трактир в здешнем городе, назло старому Террье, отцу Селины. Завистливый этот ханжа старался всячески вредить нам, подкупал почтальонов, чтоб они завозили к нему проезжих, всякими неправдами переманивал от нас по-

---

[1] Le petit caporal, шуточное название, которое французские солдаты давали Наполеону.— Цирюльник рассказывал повесть свою русскому путешественнику в 1820 году, когда Наполеон был еще жив на острове св. Елены.

стояльцев и посетителей, печатал препышные объявления о своей гостинице не только в здешних, но и в заграничных листках — и успел в адских своих расчетах: его трактир постоянно был набит жильцами, проезжими путешественниками и здешними гуляками, а к нам редко-редко кто заглядывал, и то разве за недостатком места в гостинице Террье. К довершению своей злобы, узнав, что я люблю Селину и каждый день с нею вижусь, он взял ее из школы и запретил ей принимать меня. Все мои старания, все убеждения остались без пользы: Селина плакала, я горевал, и в это время отец мой с каждым днем получал самые огорчительные известия. Все его спекуляции лопались как мыльные пузыри, подряды оставались в чистый наклад, и наконец он, скрепя сердце, принужден был объявить себя банкротом.

Я побежал сказать Селине о нашем несчастии, думая, что как-нибудь прокрадусь в приемную комнату трактира, куда отец посадил ее конторщицей и где мне иногда удавалось с нею видеться. В самых дверях столкнулся со мною старый Террье. «А, любезный господин Ахилл,— сказал он мне с самою злою улыбкою,— вы, верно, отыскиваете здесь кого-нибудь из комиссионеров или торговых товарищей почтенного вашего батюшки?.. Жалею, очень жалею о ваших неудачах. Впрочем, это послужит полезным уроком для других выскочек — не браться не за свое дело. Теперь же я попрошу вас уволить мой дом от ваших посещений; смею вас уверить, что даже прогулки ваши по здешней улице будут напрасны и только вам же могут нанести неприятности. Без дальних околичностей — вот ступеньки вниз и на мостовую!»

Я готов был стиснуть горло старому насмешнику так, чтобы слова замерли в чахлой его груди; но вспомнил, что он отец Селины,— и удержался. Вместо всяких возражений я бросил на него убийственный взгляд; в ответ на это он подобрал плоские свои губы с такою ужимкой, которая ясно говорила: «Я не боюсь твоего гнева и презираю твои угрозы». Вслед за этим он хлопнул дверью почти перед самым моим носом и оставил меня выветривать свою досаду на улице.

С пылавшим лицом и кипевшею кровью побрел я домой — уже не в большой и богатый трактир, а в скудную, тесную квартиру на конце города. Здесь ожидали меня новые неприятности: вместо прежних нарядных мебелей увидел я самые только необходимые и самые бедные; отец и мать моя, сидя по разным углам, вели между собою страшную перебранку: мать укоряла отца за его нерасчетливость и безрассудные спекуляции, а отец делал ей упреки за ее мотов-

ство, страсть к нарядам и неумеренную роскошь. Эти домашние междоусобия возобновлялись у них каждый день, и не было способа помирить или унять их. Мать моя сделалась крайне гневлива, криклива и слезлива и оттого нажила себе чахотку; отец мой, уже несколько лет познакомившийся с подагрою, стал чаще прежнего чувствовать припадки сей болезни. Таким образом они поминутными своими ссорами все глубже и глубже рыли друг для друга могилу. В один день мать моя до того раскричалась и закашлялась, что с криком и кашлем переселилась из здешнего мира... бог весть куда; у отца моего от досады и огорчения (потому что из последнего должно было отправить похороны) подагра поднялась вверх и задушила его. Я распродал остальное, убогое свое наследие и похоронил родителей моих в одной могиле: там мирно они почивают вместе, как бы в доказательство тому, что гроб примиряет всякую вражду житейскую. Я поплакал на их гробе, потом начал думать о будущей своей участи. Отец мой, в последнее время своей жизни, от нечего делать учил меня прежнему своему ремеслу, т. е. брить бороду, завивать и чесать волосы. Стыдно мне казалось явиться с бритвой и гребенкой в том городе, где некогда все знали меня как достаточного молодого человека и где несчастное безрассудство отца моего было еще у всех в свежей памяти. Как перенести все толки и пересуды? Как выдержать лицемерное сожаление бывших друзей и знакомых, которых, вероятно, довелось бы мне брить или чесать? А Селина? Каково было бы ее сердцу?.. Нет! лучше уйти из здешнего города, переселиться туда, где меня никто не знает,— думал я — и исполнил.

Я бродил из города в город. В одном убирал волосы модников и модниц, в другом определялся в какой-нибудь трактир или кофейный дом; и на это, сударь, была у меня своя мысль: может быть, думал я, со временем буду я счастливым обладателем Селины и наследственного ее трактира; тогда мне нужно будет знать все хозяйственные подробности таких заведений. Между тем тоска подчас грызла мое сердце; иногда даже, признаюсь, закрадывалась в него и ревность: Селина молода и богата, за нее найдутся многие женихи; почему знать? Может быть... и кто поручится за сердце тринадцатилетней девушки? Она скромна, чувствительна, нежна; но эти чувствительность и нежность могут обратиться и к другому какому-нибудь воздыхателю, а по нашей пословице — *отсутствующие всегда виноваты.* Сии грустные думы не беспрестанно, однако ж, меня тревожили; самолюбие в неко-

торых случаях есть одна из самых утешительных наклонностей человеческой души: оно часто, для разогнания моей тоски, подводило меня к зеркалу, показывало лицо мое в приятнейших видах, нашептывало мне сладкие слова о моем уме, нраве и способностях и прикрепляло ко мне — по крайней мере в моем воображении — самым крепким, неразрывным узлом любовь и постоянство Селины. В такой смене мыслей и занятий, занятий и мыслей протекало мое время; всего огорчительнее было для меня то, что я не получал известия о Селине, да и сам не смел писать к ней, боясь подвергнуть ее гневу отцовскому.

Я все больше и больше приближался к Парижу, куда издавна влекла меня мысль — усовершенствоваться в моем искусстве и устроить будущее свое благосостояние; но *человек обдумывает, а бог определяет!* Я накопил десятка три *наполеондоров* и решился, не останавливаясь уже ни в каком городе, прямо идти в столицу. Под вечер одного прекрасного весеннего дня пришел я в Мо; там все было в движении, как будто на каком-нибудь празднике: шумные, веселые толпы молодых воинов то прогуливались по городу с песнями и громкими радостными разговорами, то сходились в кружки на улицах, то, выглядывая из окон трактиров и кофейных домов, ласково привечали пригоженьких девушек и подшучивали над степенными старушками. Откровенная веселость, беззаботность о будущей своей участи, пылкая, неугомонная страсть ловить каждый миг наслаждения и братское согласие, казалось, одушевляли этих добрых воинов. Я позавидовал их счастливой беспечности; подошел к одному кружку, хотел спросить одного молодого солдата о том, о сем, взглянул на него и вскрикнул: «Это ты, Жорж?» — «Это ты, Ахилл?» — был ответ его, и мы обнялись как братья: в молодом солдате узнал я школьного своего товарища. «Да,— продолжал он,— это я, Жорж, бывший твой соученик, теперь же с маленькою солдатской добавкой — Жорж *Ламитраль*, к твоим услугам».— «Ужели?..» Жорж не дал мне докончить: «Прибереги свои *ужели* до другой поры,— сказал он,— а теперь милости просим со мною в ближайший трактир выпить кружку доброго вина в память старой нашей дружбы. Товарищи! кому угодно со мною, попраздновать вместе встречу с старинным другом?» Товарищи мигом нашлись: человек с десять молодых, бойких солдат окружили нас, и чрез минуту мы очутились в особой комнате трактира, за столом, уставленным бутылками и стаканами.

Между шутками и смехом, которыми сопровождалась

каждая выходка казарменного остроумия, Жорж рассказал мне свои похождения. Он также был влюблен по выходе из школы; богатый и скупой дядя, от которого надеялся он получить наследство, отказал ему в своем согласии и во всякой помощи, невеста изменила — и он с отчаяния сделался солдатом. Видно, однако ж, что отчаяние доброго Жоржа не было неисцелимо: в толпе веселых товарищей он скоро забыл все свое горе, и любовь, и потерю богатого наследства; он пел, пил вино и проказил за четверых.

Я слушал рассказы, каламбуры и песни и тянул рука на руку с этими весельчаками. В голове у меня шумело против обыкновения, потому что, не в похвальбу скажу, сударь, — я всегда был воздержан; а в молодости, до этой встречи, не помню, чтобы когда у меня в глазах двоилось от хмеля.

— Послушай, любезный Ахилл, — сказал мне Жорж, — ты, мне кажется, пьешь за здоровье своей красавицы и пьешь, как красавица.

— Нет, мой друг; ты видишь, что я не отстаю от других...

— Не отстаешь! и только-то?.. Ведь ты у нас гость, и мы тебя потчуем; так ты должен пить за честь нашего полка и за здоровье каждого из собеседников.

Рюмки снова зашевелились, я видел, что мне не отделаться ничем от этой пирушки, и пустился пить наудалую все, что в меня ни лили. Пирушка делалась шумнее и шумнее; начались взаимные уверения и клятвы в вечной, неразлучной дружбе...

— Эх, друг Ахилл, — сказал мне Жорж, ударя меня по плечу, — для чего ты не будешь с нами на поле чести?.. Сказать ли тебе за тайну то, что и сам я слышал за тайну: полк наш идет с большою армией в *Московию;* ты помнишь, еще в школе учитель географии сказывал нам, что там-то золотые горы, особливо в Сибири, немного в сторону от Москвы. В этом городе есть даже огромные колокола из чистого серебра, а куполы церквей покрыты кованым золотом... Я ведь знаю твою историю: ты любишь в нашем городе Селину Террье и прочее и прочее — все знаю. Послушайся меня: в Москве мы столько накуем *наполеондоров,* что каждый из нас, верно, возвратится в карете, которая до верху будет набита золотом; притом же, офицерские чины, которые вольноопределяющимся легко схватить, знаки отличия, раны, славное имя... Кого это не сведет с ума? Не только старый Террье — сам Великий Могол за честь себе поставит иметь такого зятя.

Товарищи Жоржевы, вслушавшись в наш разговор, также пристали ко мне и начали меня подговаривать и сулили воздушные замки, льстили моему самолюбию... Короче, сударь: хмель, золотые надежды, пробужденное честолюбие, желание теснее сблизиться с такими славными молодцами... короче, сударь: на другой день я проснулся с тяжелою головою, но в легком солдатском мундире. Новые товарищи поздравили меня, рассказали, что я накануне сам доброю волею записался в их полк и был у командиров, что имя мое внесено в полковой список и проч. и проч. Делать было нечего: уйти я не мог и не думал, потому что считал побег бесчестным и не хотел подать худого о себе мнения новым моим сослуживцам. Я остался солдатом и ревностно принялся за нежданную мою должность.

Полк наш через день после того отправился в поход, прошел всю Германию, где все клонилось тогда перед нами; наконец увидели мы берега Немана. «Так вот Россия; так здесь-то мы попируем, здесь-то будем тонуть по горло в золоте и возвратимся крезами!» — думали мы. Вы помните, сударь, как сбылись наши пышные надежды... Но не стану забегать вперед и расскажу вам главные со мною случаи в этом походе, который и теперь еще часто пугает меня воспоминанием, как недавний, тяжкий сон.

С самого перехода чрез Неман мы увидели, что не все так хорошо шло, как нам обещали. Мы, правда, довольно скоро дошли до Смоленска; но здесь нам должно было каждый шаг вперед покупать нашею кровью.

Поле Бородинское встретило нас такою потехою, какой и самые старые служивые, по их признанию, сроду не видывали. Здесь уже некоторые из наших солдат вспомнили и начали потихоньку напевать старый романс:

Худо, худо, о французы,
В Ронсевале было вам!

Но мы все еще не лишались бодрости: высокое мнение о воинских познаниях Наполеона и его генералов, уверенность в непобедимости наших войск и двадцать лет постоянной славы одушевляли даже самых робких из нас... Так шли мы от Можайска к стенам Москвы. С одной горы засияли перед нами куполы церквей и башен московских; сердце каждого из нас распрыгалось от радости: еще одно, положим, самое упорное сражение — и мы в стенах столицы русской! По знаку, войско наше остановилось: из колонны в колонну, из ряда в ряд пронесся слух, что уже никакого войска не

было в Москве и что здесь явится к Наполеону депутация и поднесет ему городские ключи. Ждем несколько времени — никто не является: в обширном городе мертвая тишина, как будто бы ужасный мор в одну ночь истребил всех жителей, как будто бы эти высокие башни, эти огромные здания стояли теперь надгробными памятниками отжившего населения!.. Впереди нас и поодаль от всех генералов, Наполеон расхаживал с явными знаками нетерпеливости: он то расстегивал, то застегивал свой сюртук, то быстрым движением срывал с руки перчатку, то снова надевал ее; поминутно повертывал на голове шляпу, иногда даже снимал ее, как будто бы ему было душно, тяжело! То, сложа руки, тихо расхаживал он туда и сюда, и казалось, был в самом неприятном раздумье; то вдруг, раскинув руки, начинал он ходить быстрым шагом, щелкал пальцами, как будто бы этим движением хотел отогнать от себя какую-то досадную мысль. В таких, почти судорожных приемах и оборотах, со всеми признаками своенравного, упрямого ожидания, провел он более получаса, поминутно поглядывая на большую дорогу к городу... Депутация не показывалась, и даже не было надежды ее увидеть. У нас что-то тяжкое легло на сердце: мы сомнительно переглядывались между собою, как будто желая спросить друг у друга: что из этого будет? Но все, и старшие и младшие, хранили набожное молчание: все видели, что *маленький* наш *капрал* сердился, и знали, что в этом расположении духа он не любил шутить. Вдруг он обернулся к войскам, громко и гневно крикнул: «Вперед, к городу!» — и все понеслось за ним. Приближаемся к заставе — все тихо, как в могиле; проходим по улицам — нигде нет ни души, дома заперты, площади и рынки пусты; вместо радостного торжества победы какое-то зловещее уныние овладело нами; каждый из нас думал: это не к добру! Нам грозят или тайные подкопы и засады, или голодная смерть в стенах огромного опустелого города. Но всякое неприязненное ощущение недолговечно у французов, особливо там, где их много вместе. Мы доедали последние крохи, покинутые в Москве ушедшими жителями, и от скуки, для препровождения времени, распивали вина, оставшиеся в погребах богачей, растаскивали дорогие вещи из их домов, ломали и портили то, чего не могли унести, и, роясь в земле и в подвалах, искали запрятанных сокровищ. Вы скажете, сударь, что руки у нас не совсем были чисты, но таков был тогдашний наш военный дух: понятие о славе поселяли в нас неразлучно с понятием о богатой контрибуции; а все то, что каждый из нас мог захватить у

вооруженного ли, безоружного ли неприятеля, считалось честною добычей.

Не долго, однако ж, могли мы спокойно хозяйничать в Москве: начались беспрерывные пожары, и мы были в поминутном страхе, чтоб нас и самих не сожгли вместе с городом. Продовольствия час от часу уменьшались; фуражёров наших или ловили русские партизаны, или душили крестьяне. Притом же носились слухи, что Москва отовсюду окружена была русскими войсками, которые ждали нас, как обреченную свою добычу, и уже заранее пировали нашу гибель. Ропот, неразлучный спутник отчаяния начал явно возвышать свой голос в рядах нашего войска. «Зачем он привел нас сюда? Разве он хотел, чтоб мы поколели с голоду, как тощие собаки; либо были изжарены медленным огнем, как сельди у парижских наших торговок?» Таковы были речи почти у всех наших солдат. Доверенность к предводителю войск исчезла; чувство эгоизма и своекорыстия заступило место согласия и привязи между простыми воинами и даже между эфицерами; жуткий страх вытеснил прежнюю бодрость и отвагу. Москва нам опротивела: нам было в пространных стенах ее, как в тесной и душной могиле. Мы нетерпеливо ждали как блага той минуты, когда выступим из этого города, хотя и чувствовали, что нам нельзя было бороться с неравными силами бодрого, ожесточенного неприятеля. Но в тогдашнем положении дел явная гибель казалась нам сноснее томительной неизвестности.

Наконец, после шести недель страданий и мучительных тревог, нам сказан был поход. Но какое жалкое и вместе странное зрелище представляло наше войско по выходе из Москвы! Число солдат крайне уменьшилось, и оставшиеся в рядах наших были как выходцы из того света: бледны, тощи и слабы. Вместо красивых мундиров на них оставались либо противные для глаз лохмотья, либо пестрые, шутовские разнорядки, в коих наряды московских щеголих мешались с мужским платьем старого покроя, с облачением духовенства и обувью русских крестьян. Это еще не все: нас встретила преждевременная суровая русская зима, по пятам за нами гналась сильная армия, которая каждый день истребляла у нас часть войск, отбивала обозы и пушки и отнимала все способы продовольствия; впереди ждала нас другая, значительная часть русского войска и перерезывала нам переправу чрез Березину. Нестерпимый холод, недостаток в пище, теплой одежде и обуви действовали на нас как повальный мор: какое-то оцепенение всех умственных способностей, какая-то

ледяная бесчувственность заставляла нас равнодушно смотреть, как вокруг нас десятками и сотнями падали бедные наши товарищи. Я долго выдерживал всю жестокость непогод, всю тягость лишений; долго крепился и не слушал товарищей, которые подговаривали меня отстать от армии, чтобы промышлять себе пищу мародерством; наконец, все другие чувствования во мне притупились: понятия о чести, об обязанностях воина и о долге повиновения уже для меня не существовали. Одно темное чувство самосохранения, один неумолкающий голос мучительных нужд говорил во мне: я хотел только хлеба, требовал только хлеба и готов был купить его ценою собственной жизни или жизни лучшего моего друга. Я сам уже начал подговаривать солдат нашего полка: человек тридцать согласились идти со мною, и мы начали понемногу отставать; наконец пошли в сторону с большой дороги, по полю, покрытому снегом; бедная тварь, полковая наша собака, поплелась за нами. Она была так тоща и худа, что кости чуть держались в коже; но каким-то чудом осталась жива и не отставала от полка. Я любил бедную *Сантинель* (так называлась собака) и, пока мог, делился с нею последнею коркой, последним черствым сухарем; зато и она была ко мне крайне привязана и почти от меня не отходила.

Товарищи выбрали меня своим предводителем, и я повел их прямо по тому направлению, по которому, вдалеке, что-то чернелось сквозь снег и казалось нам небольшою деревушкой. Однако ж мы обманулись: это был мелкий лесок. Из предосторожности я повел небольшой свой отряд по опушке этого леска; вдруг вижу — несколько человек конницы едет прямо к нам. Мы думали, что то был казачий разъезд; я велел солдатам своим рассыпаться за деревьями и стрелять из сей засады в случае, если нас заметили и станут на нас нападать. Конные приблизились к нам на ружейный выстрел, и мы без труда узнали в них наших единоземцев, конных егерей не помню которого полка; их было восемь человек. Я показался из своей засады, сказал приветствие землякам и спросил их, куда они ехали?

— Я думаю, туда же, куда и вы идете, товарищ! — отвечал весельчак-трубач, ехавший немного впереди прочих.

— Если так, то мы можем совершить этот поход вместе.

— О, без сомнения! Тем больше, что мы, хотя и конные, а кажется, вас не опередим: бедные наши твари насилу волокут ноги.

— Позвольте узнать,— спросил я у речистого трубача,— кто у вас командир отряда?

— Я к вашим услугам,— отвечал он,— и выбран в эту почетную должность вместе с качеством парламентера потому, что разумею немного по-немецки.

— Но здесь говорят не по-немецки, а по-русски.

— Все равно: я стану им говорить по-немецки, а если не поймут,— могу по нужде сказать несколько слов по-итальянски, и даже по-испански.

— И можете быть уверены, что вас также не поймут.

— Вот еще! Да на каком же языке им говорить?

— Я думаю, лучше всего, если можно, на русском.

— О! так поздравляю вас: один мой приятель, польский улан, продиктовал мне слов десяток на своем языке. Я записал их; они тут... Черт возьми, какая рассеянность! Теперь только вспомнил, что еще в Москве раскурил трубку этою бумажкой.

Мы засмеялись; трубач и сам со смехом сказал: «Это небольшая беда, сладим как-нибудь». Я первый вызвался уступить ему главное начальство над нашим соединенным отрядом; он пожеманился немного, повторил несколько раз, что уверен в высоких моих познаниях по части тактики,— и, однако ж, принял команду. Мы пошли по небольшой, едва протоптанной тропинке, которая вела из лесу. Конница наша построилась по четыре в ряд; трубач, наш командир, ехал на правом фланге, а я, сомкнув небольшую нашу пехотную колонну в каре, шел следом за конницей. Скоро мы завидели довольно большое селение, в пустынном месте, далеко от большой дороги. Ни одна душа не показывалась; все было тихо и безмолвно, и не было никаких примет, чтобы там находился какой-нибудь неприятельский отряд. Однако ж мы шли с большою осторожностию. Подойдя на пушечный выстрел к селению, трубач, наш начальник, остановил нас и рассудил за приличное сказать своему войску следующую прокламацию:

— Солдаты! готовьтесь к жаркому, отчаянному делу. Впереди ждут нас победа, слава и хлеб; позади — голод, холод и постыдная смерть. Виват Наполеон! Вперед!

Мы бросились вслед за храбрым трубачом к самым ближним домам. При нашем приближении мужчины и женщины, старый и малый выскочили опрометью из этих домов и с криком и плачем побежали внутрь селения. Трубач наш как опытный начальник расставил трех человек из своей конницы для наблюдения и сказал нам, что в случае опасности он затрубит сбор; тогда мы должны все сбегаться и съезжаться в тот двор, где он сам будет. Выслушав сей приказ,

мы рассыпались по домам, которые стояли перед нами; первым нашим движением было отыскивать хлеб и съестные припасы. Мы подкрепили свои силы и брали в сумы, что могли. Скоро, однако ж, должно было прекратить эти поборы: не прошло десяти минут, как роковой зык трубы раздался у нас в ушах. Мы выбежали на улицу и услышали в селении страшный шум и звон колоколов; мы, не помня себя, вскочили в тот двор, откуда слышался призывный рев нашего трубача,— и по следам нашим густая толпа крестьян обступила двор, в котором едва мы успели запереть накрепко ворота. Число крестьян беспрестанно усиливалось новыми, которые сбегались со всех сторон. Иные скакали верхом, другие бежали пешие; у многих были ружья, винтовки, пистолеты, копья и сабли, и кажется, это были земские ратники: ими командовал человек в черной меховой шинели, с подвязною шапкой на голове; он разъезжал на добром коне, строил своих ратников и был вооружен с ног до головы: мы заметили у него в руках саблю, за плечами ружье, а за поясом большой турецкий кинжал и пару пистолетов; другая пара была в ольстрах его седла. Прочие крестьяне вооружились, кто чем мог: косами, отпущенными напрямик, топорами, насаженными на длинные палки, большими ножами, дубинами, кольями и проч. Перед ними шел священник с крестом, а за ним несколько причетников с хоругвями и образами. Мы едва успели построиться на широком дворе, как человек в черной шинели, подняв саблю вверх, закричал нам по-французски: «Сдайтесь!» Но испуганные рассказами наших товарищей, которые уверяли, что крестьяне русские не щадят и сдающихся, мы вместо ответа пустили несколько выстрелов. Священник, раненый, зашатался; но видно было, что он не переставал ободрять своих прихожан: нам отвечали тоже целым градом выстрелов, которые, однако ж, не могли нам вредить по высоте забора. Черный человек отдал приказ — и в минуту сотни крестьян явились с огромными пуками соломы; несмотря на меткие наши выстрелы, несмотря на то, что многие из отважных падали мертвые,— другие беспрестанно заступали их места и в короткое время обложили соломою весь двор и зажгли ее. Мы поздно заметили нашу оплошность; хотели отступить на соседний двор — но уже и там пылала солома. Громкое радостное *ура!* осаждавших крестьян раздалось в воздухе. Нечего было делать; огонь и дым мешали нам стрелять в осаждавших; строение со всех сторон запылало, и нам становилось нестерпимо жарко. Мы решились испытать последнее сред-

ство: пройти сквозь прогоревший и рухнувший забор, быстрым движением пробиться сквозь неприятеля и отретироваться в поле. Соблюдая еще некоторый порядок, мы бросились по горячим угольям и непростывшему пеплу соломы; ударили в штыки на толпу крестьян, выдержали залпы стрелков, натиск конных ратников и успели отойти на некоторое расстояние от пожара. Здесь мы кое-как построились снова; увы! нас не было уже и половины. Мы видели, как некоторых из наших товарищей поднимали вверх на острых косах, других добивали дубинами, третьих тащили, чтобы бросить в пожарище. Но нам было уже не до них: мы думали о собственной безопасности. На дворе становилось темно; короткий день сменялся пасмурным вечером. Отстреливаясь и отступая, пробиваясь сквозь окружавших нас крестьян и поминутно теряя товарищей, мы все подавались в поле. Тут только мы заметили, что храбрый наш трубач с остальными своими егерями уехал вперед и что за ними следом скакал довольно сильный отряд конных ратников. Тени вечера густели больше и больше; погоня за нами становилась слабее; остальных мы выстрелами держали в почтительном расстоянии. Я был ранен, но имел еще довольно силы, когда мы добрались до кустарников. Тут, потеряв надежду схватить нас, крестьяне вовсе нас оставили. Оглянувшись назад, я видел только дальнее зарево горевшей деревни. При мне оставалось моих товарищей всего-навсе пять человек, и те были крайне изранены. Мы прилегли в кустах, чтобы скрыться от неприятеля и хоть немного отдохнуть. Никто не смел сказать ни слова, боясь, чтобы не привлечь какого-нибудь скрытого неприятеля: одни заглушаемые стоны раненых были слышны. Утомление от чрезмерных трудов, боль от раны и потеря крови истощили во мне последние силы; я впал в беспамятство и, может быть, истек бы кровью или бы замерз в эту холодную ночь: угадайте, кому я обязан за мое спасение? Беспамятство или какое-то невольное усыпление продержало меня почти до утра в некотором онемении чувств. Пробуждаюсь — и вижу *Сантинель*, которая, растянувшись по всему моему телу, грела меня косматою своею шерстью и зализывала у меня рану на голове. Бедняжка! она сама была ранена в шею ударом ножа или косы, и лапы ее были обожжены, видно, тогда, когда она вместе с нами выскочила из пожара. Я открыл мою суму, достал корпии, несколько ветошек, которые были у меня в запасе, и склянку водки, захваченную мною в селении; промыл раны благодарному животному, которое так умело чувствовать сделанное

ему добро, и обвязал его лапы ветошками; дал *Сантинели* кусок унесенного мною хлеба, выпил сам глоток водки и закусил остальным куском хлеба. Это меня оживило и ободрило. Я встал на ноги, поглядел на моих товарищей... Все они померли или от ран, или от стужи. Старый усач, добрый мой приятель, сидел закостенев на сугробе снега; руками держался он за раненую босую свою ногу, как будто бы еще хотел перевязать ее; открытые глаза его светились в страшной неподвижности посреди посинелого лица, усы обросли инеем, и губы лоснились как стекло от заледеневшего пара. Сердце мое сжалось; тяжко я вздохнул и спешил уйти от сего ужасного зрелища. *Сантинель* тихо плелась за мною, дрожа и взвизгивая от боли. Я остался один из всех моих товарищей, на жертву холода и недостатков, в земле неприятельской... Куда идти? Как избежать от ужасной смерти? В таких размышлениях прошел я около двухсот шагов. Смотрю: бедный наш бывший начальник, конно-егерский трубач, лежит мертвый на одной поляне. Он весь был изранен: голова разрублена, на воротнике мундира застыла кровь... Добрый конь его стоял над ним, уныло глядел на убитого своего седока и разгребал снег копытом: можно было подумать, что он хотел отдать долг погребения бывшему своему господину! Конь заржал и замотал головою, когда увидел меня, как будто бы предчувствовал, что я из числа тех, которые принимают участие в судьбе несчастного, погибшего в чужой земле, далеко от своей родины. Я отворотил голову; несколько слез с усилием вырвались из моих глаз. Я пошел далее. Целый день бродил я по окрестностям; скудные мои запасы истощились, голод и холод меня одолевали. *Сантинель* часто останавливалась, заглядывала мне в глаза и как бы спрашивала: где же конец нашим страданиям? Здесь я узнал собственным опытом, что чем ближе человек бывает к погибели, тем сильнее он привязан к жизни. Я не хотел умереть, дрожал при малейшем шорохе, прятался, увидя вдали что-либо похожее на человека. Под вечер силы вовсе меня оставили; я упал среди поля и не помню, что со мною было... Очнувшись, я увидел себя в крестьянской избе; двое поселян оттирали окостенелые мои члены; человек в черной шинели, тот начальник земских защитников, о котором я прежде рассказывал, сидел в углу на скамье. С первого взгляда мне показалось, что все это вижу я во сне; я закрыл снова глаза, но чувствовал, что меня терли сукном, и убедился в существенности того, что видел. Тут пришла мне страшная мысль, что меня стараются возвратить к жиз-

ни для того, чтобы предать новым, ужаснейшим мучениям. Я вскочил: черный человек тихо и с участием спросил меня на французском языке: «Как ты себя чувствуешь, друг мой?» — «Мне лучше,— отвечал я, не помня сам себя от страха,— пустите меня, или...» Черный человек улыбнулся. «Идти! куда? чтобы замерзнуть или быть убиту? — молвил он.— Нет, друг, я не пущу тебя».— «Что ж вы хотите со мною делать?» — спросил я изменившимся голосом. «Теперь покамест отогреть и накормить тебя,— отвечал он,— а там что бог внушит мне». Холодный пот меня пронял, зубы у меня застучали так, что звон отдавался в ушах, голос замер, и я с крайним усилием едва мог промолвить: «Как это?» — «Успокойся, друг мой,— отвечал он со смехом,— тебя, я вижу, напугали нашими крестьянами; но здесь ты мой военнопленный. Могу тебя уверить, что я не так страшен, как тебе кажусь...» И, не дав мне еще опомниться, он сказал что-то по-русски своим подчиненным. Мигом принесли графин водки, хлеб и чашу русской похлебки. Черный человек выпил сам, налил другую рюмку и подал мне, потом поднес по рюмке каждому из своих ратников. Я не мог опомниться от удивления и благодарности, хотел изъяснить их новому моему благодетелю,— но он не дал мне времени высказать свои чувствования. «Садись и утоли свой голод»,— сказал он, подвел меня к столу и посадил меня за чашей горячей похлебки; сам между тем похаживал в молчании по комнате. Я начал есть и, сказать правду, не церемонился; вдруг что-то бросилось мне под ноги; я вздрогнул... Это была моя *Сантинель*, которая до сих пор спала, пригревшись в углу избы, подле печки. Слезы навернулись у меня на глазах; я прижал к груди своей *Сантинель* как друга, с которым не надеялся больше видеться в здешней жизни; делился с нею кусками и ласкал ее. Черный человек остановился, казался растроганным и сказал мне: «Да, эта собака стоит, чтоб ее ласкали; она причиною, что мы спасли тебе жизнь. Я с людьми своими ездил для осмотра окрестностей, чтоб узнать, нет ли где неприятельских мародеров. Мы видели многих из погибших твоих товарищей; я осматривал каждого в надежде, что могу спасти кого-нибудь из этих несчастливцев; но все стали добычей мороза или умерли от ран. Таким же образом мы нашли и тебя. Вот еще один несчастный, думал я: вдруг собака, лежавшая подле тебя, встала на ноги и глухим рычаньем как будто хотела нас отогнать. Это возбудило во мне любопытство и участие: я велел поднять тебя; собака скалила зубы, дергала за полы моих людей, наконец, видя,

что мы подняли тебя и взложили на седло одного из верховых моих, побрела за нами и не отставала до самой деревни. Я велел ее впустить в избу, кормил хлебом, и она спокойно улеглась, видя или чувствуя, что тебе никакого зла не делали».

Можете вообразить, что я чувствовал, слушая этот рассказ. В другой раз был я обязан *Сантинели* за сохранение моей жизни; я ласкал ее, плакал как ребенок и впервые после долгих дней страдания и горя ощутил в душе что-то отрадное.

Спустя несколько времени пришли сказать черному человеку, что все готово. Мне дали теплую обувь, укутали шубой и на голову надели меховую шапку; в таком наряде сел я в сани вместе с черным человеком; *Сантинель* тоже вскочила туда и улеглась на моих ногах. Мы помчались как стрела по гладкой снежной дороге. За нами скакали около двадцати человек вооруженных крестьян. Чрез полчаса мы приехали в другое селение, которое по обгорелым остаткам полусожженного дома узнал я как место несчастных наших подвигов. Я вздрогнул, и мороз пробежал у меня по всем составам. Черный человек, видно, заметил это; он ободрял меня и сказал, что один только этот дом и сгорел; что он при нашем отступлении тотчас велел тушить пожар, и это нетрудно было сделать, ибо множество снега подавало к тому все способы; что по сей-то причине крестьяне не все и то очень слабо нас преследовали; наконец, что он на свой счет выстроит новый дом погоревшему крестьянину и вознаградит его за все убытки. Тут только я узнал, что сострадательный черный человек был помещик этой деревни; прежде служил он в военной службе, а теперь, для охранения своего околотка от наших мародеров, составил из своих крестьян то небольшое земское ополчение, которое так ужасно против нас действовало. Мы подъехали к красивому господскому дому; мне с *Сантинелью* отвели особую, теплую комнатку и...

— Хозяин! — вскрикнул один из мальчиков моего рассказчика, торопливо вбежавший в комнату.— Господин мэр прислал за вами и требует вас к себе как можно скорее.

— Ты видишь, что я занят: скажи, что приду, когда окончу...

— Нельзя, хозяин,— прервал докучливый мальчик,— какой-то знатный чиновник приехал из Парижа, и господин мэр непременно должен к нему сей же час явиться; а вы знаете, что господин мэр никому, кроме вас, не доверяет своей головы.

— Какое безвременье! — вскричал мой волосочесатель, нетерпеливо топнув ногою. — Впрочем, сударь, я в минуту кончу уборку вашей головы и в коротких словах доскажу вам мою историю... Скажи, что сейчас!

Мальчик исчез, а парикмахер спешил докончить мою прическу и свою повесть.

— Новый мой благодетель, которого образ ношу я в моем сердце, но, право, стыжусь изломать его имя неправильным французским выговором, держал меня в своем доме, одел меня, кормил и поил до тех пор, пока остатки французской армии не вышли из России и ожесточение русских крестьян против нас не укротилось. Тогда он сам отвез меня в город, и я поступил в число прочих военнопленных. В продолжение войны 1813 и 1814 годов мне удалось видеть многие города России и в каждом из них или убирать волосы или готовить мороженое и конфеты для желающих. Наконец в одном большом губернском городе я завел лавку, в которой продавал духи и помады, накладные волосы; убирал головы русских красавиц, снаряжал свадебные столы, учил мальчиков искусству волосочесателя и пр. и пр. Сими честными средствами я нажил около пяти тысяч франков на наши деньги, и этому не должно дивиться: господа русские очень щедры, особливо к нам, французам, а я любил порядок и бережливость. При возвращении французских военнопленных я поспешил в отечество, с радостными слезами пришел в родной мой город, с восторгом спешил к Селине — и выслушал от нее новые уверения в верной, неизменной любви. Но злой старик, отец ее, по-прежнему был непреклонен: он слышать не хотел о том, чтоб соединить нас! В досаде я решился идти ему наперекор: на вывезенные мною из России деньги нанял квартиру прямо против окон этого старого брюзги и здесь ежечасно бешу его тем, что он видит меня, видит, как счастье мне с каждым днем больше и больше благоприятствует — а он не может вредить мне; даже из корыстолюбия не может мне запретить, когда я зазываю несколько добрых приятелей в его трактир, где подчас дразню его полным кошельком золота...

— Чего же ты надеешься вперед, друг мой? — спросил я моего рассказчика.

— Гм! чего я надеюсь, сударь? я надеюсь, сударь, что со временем все переменится. Старик Террье не два же века станет жить: авось либо он исчахнет от зависти, или захлебнется от кашля и удушья.

— А Селина? что она об этом думает?

— Селина любит меня, но любит и отца своего и не хочет его покинуть. Она все не теряет надежды когда-нибудь его умилостивить, а в ожидании переглядывается со мною, пересылается записками и часом даже переговаривается, когда старик выходит из дома. Но я слишком заговорился, сударь; прическа ваша совсем готова, а меня ждет господин мэр.

— Еще одно слово, друг мой,— сказал я, подавая ему червонец,— скажи мне, пожалуйста, что значит надпись на твоей вывеске: *Солнце светит для каждого?*

Парикмахер мой немного смешался; довольно неудачно объяснял мне, что сею надписью думал он выразить минувшие свои беды и нынешнее благосостояние, и т. п. Наконец он признался с добродушною улыбкой, что словами *Солнце светит для каждого* хотел он подразнить старого Террье и высказать ему, что не для него только светит солнце счастия. После такого пояснения он поклонился мне; я вышел и отправился в гостиницу Террье.

В гостинице нашел я необыкновенное волнение. На дворе стояла прекрасная дорожная карета, около которой собралась толпа зевак и толковала о чем-то вполголоса; на лестнице беготня и толкотня ливрейных лакеев и трактирной челяди; вдоль коридора целый строй разных лиц в самом чинном положении и с заказною радостью во взгляде. Я вошел в общую комнату. Толстого англичанина с сухощавою его половиной там уже не было, вертляный итальянец также исчез, а неблаговидный француз, прилипнув в углу к стене, казалось, не смел дышать. Хозяин трактира почтительно стоял у двери, как бы на посылках, и на этот раз был безгласен как рыба; только глазами умильно следил он человека, который свободно и отчасти горделиво расхаживал взад и вперед по комнате. Я взглянул на сего важного незнакомца и мигом узнал в нем графа***, пэра Франции, с которым несколько раз виделся у одного богатого нашего соотечественника, жившего тогда в Париже. Я подошел к графу, он также узнал меня, сказал мне несколько весьма лестных приветствий, которые старый Террье ловил на лету и, как видно было, составлял по ним новые догадки на мой счет. В эту минуту вошел один из служителей графа и доложил ему, что комнаты его готовы; граф учтиво пригласил меня с собою, и я, имея на него некоторые виды, о коих скажу после, и не подумал отказаться. В коридоре обступила нас густая тол-

па людей разного звания с поздравлениями, словесными и письменными просьбами — разумеется, к графу; некоторые же, сочтя меня или за секретаря его, или за другую важную доверенную особу, относились наперед вполголоса ко мне. Оба мы раскланивались во все стороны, я извинялся и отговаривался, как умел, а граф сказал этим господам, что чрез полчаса примет их в общей зале. Мы вошли в комнаты, приготовленные для графа.

— Не правда ли, — сказал он с улыбкою, — что эти просители очень милы?

— Если вы находите, граф, что они очень милы, — отвечал я, — то для меня это ободрительно, потому что и я имею честь включить себя в число ваших просителей...

— Вы?.. — вскрикнул удивленный граф, бросив на меня недоверчивый взгляд, — каким чудом?.. Однако ж, — прибавил он с изученною важностию, — вы здесь иностранец и должны пользоваться правом гостеприимства. Позвольте выслушать вас прежде других.

Граф посадил меня подле себя; я рассказал ему в коротких словах похождения моего парикмахера и просил его содействия в том, чтобы помочь бедному Ахиллу касательно его женитьбы на Селине.

— В том-то и вся ваша просьба? — сказал граф, выслушав меня. — Этой беде, кажется, легко помочь, и я охотно готов сделать, что могу, для человека, который проливал кровь свою за Францию, под чьими бы то ни было знаменами. Рассказ ваш задобрил меня в его пользу, и мне как туземцу приятно будет вступить в лестное совместничество с русским, когда дело идет о том, чтобы сделать добро французу. Погодите: сейчас явится ко мне здешний мэр, и я дам ему аудиенцию в общей комнате трактира. Вы сами увидите, какие будут плоды этой аудиенции; вас я прошу быть свидетелем нашего разговора.

Чрез несколько минут вошел хозяин и с низкими поклонами объявил, что городской мэр и другие чиновники собрались в общей зале и ожидают графа. При сем случае хозяин спросил у графа, угодно ли ему будет, чтоб никого из посторонних не впускать в приемную залу во время аудиенции? На лице старого Террье заметно было худо побежденное любопытство и крайнее желание быть в числе зрителей. Граф с одного взгляда понял, что происходило в душе трактирщика.

— О, нет! — сказал граф. — Я даю публичную аудиенцию, и всякий имеет право быть при ней.

Трактирщик с веселым лицом и с новыми поклонами вышел. Вслед за ним граф, взяв меня под руку, пошел в общую залу.

Мэр и другие чиновники расшаркались и рассыпались в поклонах и приветствиях при появлении графа, который отвечал им барскою уклонкой головы и несколькими ласковыми словами. После долгой церемонии, в которой господа тот-то и тот-то были представлены мэром, граф отвел сего последнего в сторону и говорил с ним минут с десять. Я заметил нашего трактирщика в толпе зрителей: он стоял впереди всех с улыбкой радости, с разгладившимися на лбу морщинами; и, казалось, жадно собирал запасы для будущих своих рассказов.

Граф, переговорив с мэром, подошел вместе с ним на средину залы и сказал громко:

— Кстати, господин мэр: у вас в городе есть один человек, которому я должен уплатить старый долг благодарности за одного моего ближнего, родственника, бывшего в походе 1812 года. Человек, о котором я говорю, кажется, должен быть здесь парикмахером: имя его Ахилл, а солдатское прозвище, помнится, Ла-Роз. Я желал бы сделать для него что-нибудь особенное...

Я взглянул на Селину, которая сидела на своем месте, у конторки,— лицо этой молодой девушки прояснилось, и щеки запылали; взглянул на ее отца — старый брюзга сделал какую-то странную ужимку, по которой нельзя было разгадать, радовался ли он, или печалился от того, что слышал.

— Я знаю этого человека, который удостоился внимания вашего сиятельства,— отвечал мэр,— и смею уверить, что он поведением своим вполне того заслуживает.

— Очень рад,— промолвил граф,— только не знаю, чем бы вознаградить его за важные услуги, оказанные моему родственнику. Этот мне сказывал, что Ахилл Ла-Роз влюблен был в одну девушку в здешнем городе, был ей всегда верен и надеялся жениться на ней по возвращении сюда. Женился ли он?..

(Я снова взглянул на Селину: она покраснела пуще прежнего, и на глазах у нее навернулись слезы.)

— Нет еще,— отвечал мэр.

— Хозяин,— сказал граф, обратясь к трактирщику, который в это время кусал себе губы и переминался на месте как индейский петух,— вели позвать сюда парикмахера Ахилла Ла-Роз.

— Готов исполнить волю вашего сиятельства,— отвечал Террье и поплелся из комнаты в каком-то раздумье или внутренней борьбе. Через две-три минуты он снова явился с Ахиллом, тихо и очень дружелюбно с ним разговаривая.

Ахилл, одетый щеголевато, подошел к графу, поклонился очень вежливо, но не раболепно и с какою-то воинскою ловкостию. Он все еще, как видно было, не понимал, зачем его позвали. Граф благосклонно объявил ему, что одна знатная особа заботится о его судьбе, и спросил, кто та девица, которую он любил столь нежно и постоянно?

— Она здесь, ваше сиятельство,— вскрикнул Ахилл от полноты чувств, теперь только уразумев причину сего участия, ибо увидел меня подле графа.— Вот она,— прибавил он, оборотясь к Селине,— сами извольте судить, заслуживает ли она такую верную и постоянную любовь?

— А, а! Ты прав, друг мой; эти черные глаза очень заслуживают, чтоб о них помнили и на снегах русских... Господин трактирщик! неужели ты решишься еще томить этих молодых людей? Смотри: они созданы друг для друга. Хоть для нового нашего знакомства, согласись устроить их судьбу... Почему знать! может быть, со временем буду я тебе полезен...

— Готов исполнить волю вашего сиятельства,— повторил Террье затверженную свою фразу с пренизким поклоном и глубоким вздохом.— Будущий мой зять всегда мне нравился как человек степенный и обстоятельный; только некоторые фамильные неудовольствия разлучали нас... Теперь же, при покровительстве вашего сиятельства... Надеюсь, что и меня ваше сиятельство не позабудете... Я давно уже намерен представить правительству кой-какие проекты касательно некоторых отраслей промышленности, и ваше предстательство...

— Хорошо, хорошо! — сказал граф отчасти с нетерпением.— Теперь покамест позволь мне быть у тебя в долгу и радоваться, что я мог исполнить просьбу доброго моего приятеля.

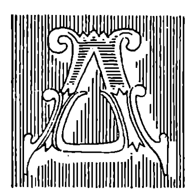
При сих словах граф приветливо взглянул на меня, а я отблагодарил его также взглядом. Полную мою благодарность изъяснил я ему после за обедом, к которому он пригласил меня и за которым мы пили здоровье будущей четы.

Чрез два года мне случилось проезжать снова Вердён; я остановился в гостинице Террье. За конторкой по-прежнему сидела Селина, в черном платье и в чепце; старого Террье не было, и наместо его хлопотал знакомец наш, Ахилл как хозяин дома. Он тотчас меня узнал: изъявлениям радости и благодарности от него и жены его не было конца. Селина сказала мне, что старый Террье умер за полгода пред тем, и по нем-то она носила траур; что до конца своей жизни он радовался, глядя на своих детей, не мог нахвалиться бережливостью и расторопностью Ахилла — и благословил их с любовью на смертном одре. «Он крайне переменился в последнее время»,— примолвила она, скромно потупя глаза и с некоторым замешательством. «Да, он сделался в тысячу раз добрее прежнего»,— прибавил муж ее как бы в пояснение того, чего жена не решалась досказать. Я поздравил молодую чету с их счастием и расстался с ними в сладостной мысли, что был, хотя и не прямою, но все-таки причиною нынешнего их благополучия.



РУСАЛКА

Малороссийское предание



авным-давно, когда еще златоглавый наш Киев был во власти поляков, жила-была там одна старушка, вдова лесничего. Маленькая хатка ее стояла в лесу, где лежит дорога к Китаевой пустыни: здесь, пополам с горем, перебивалась она трудами рук своих, вместе с шестнадцатилетнею Горпинкою[1], дочерью и единою своею отрадою. И подлинно дочь дана была ей на отраду: она росла, как молодая черешня, высока и стройна; черные ее волосы, заплетенные в *дрибушки*, отливались как вороново крыло под разноцветными скиндячками[2], большие глаза ее чернелись и светились тихим огнем, как два полуистухших угля, на которых еще перебегали искорки. Бела, румяна и свежа, как молодой цветок на утренней заре, она росла на беду сердцам молодецким и на зависть своим подружкам. Мать не слышала в ней души, и труженики божии,

честные отцы Китаевой пустыни, умильно и приветливо глядели на нее как на будущего своего собрата райского, когда она подходила к ним под благословение.

Что же милая Горпинка (так называл ее всякий, кто знал) стала вдруг томна и задумчива? Отчего не поет она больше как вешняя птичка и не прыгает как молодая козочка? Отчего рассеянно глядит она на все вокруг себя и невпопад отвечает на вопросы? Не дурной ли ветер подул на нее, не злой ли глаз поглядел, не колдуны ли обошли?.. Нет! не дурной ветер подул, не злой глаз поглядел, и не колдуны обошли ее: в Киеве, наполненном в тогдашнее время ляхами, был из них один, по имени Казимир Чепка. Статен телом и пригож лицом, богат и хорошего рода, Казимир вел жизнь молодецкую: пил венгерское с друзьями, переведывался на саблях *за гонор*[3], танцевал краковяк и мазурку с красавицами. Но в летнее время, наскуча городскими потехами, часто целый день бродил он по *сагам*[4] днепровским и по лесам вокруг Киева, стрелял крупную и мелкую дичь, какая ему попадалась. В одну из охотничьих своих прогулок встретился он с Горпинкою. Милая девушка, от природы робкая и застенчивая, не испугалась, однако ж, ни богатырского его вида, ни черных, закрученных усов, ни ружья, ни большой лягавой собаки: молодой пан ей приглянулся, она еще больше приглянулась молодому пану. Слово за слово, он стал ей напевать, что она красавица, что между городскими девушками он не знал ни одной, которая могла бы поспорить с нею в пригожестве; и мало ли чего не напевал он ей? Первые слова лести глубоко западают в сердце девичье: ему как-то верится, что все, сказанное молодым красивым мужчиною, сущая правда. Горпинка поверила словам Казимира, случайно или умышленно они стали часто встречаться в лесу, и оттого теперь милая девушка стала томна и задумчива.

В один летний вечер пришла она из лесу позже обыкновенного. Мать пожурила ее и пугала дикими зверями и недобрыми людьми. Горпинка не отвечала ни слова, села на лавке в углу и призадумалась. Долго она молчала; давно уже мать перестала делать ей выговоры и сидела, также молча, за пряжею; вдруг Горпинка, будто опомнясь или пробудясь от сна, взглянула на мать свою яркими, черными своими глазами и промолвила вполголоса:

— Матушка! у меня есть жених.

— Жених?.. кто? — спросила старушка, придержав свое веретено и заботливо посмотрев на дочь.

— Он не из простых, матушка: он хорошего рода и бо-

гат: это молодой польский пан...— Тут она с детским простодушием рассказала матери своей все: и знакомство свое с Казимиром, и любовь свою, и льстивые его обещания, и льстивые свои надежды быть знатною паней.

— Берегись,— говорила ей старушка, сомнительно покачивая головою,— берегись лиходея; он насмеется над тобою, да тебя и покинет. Кто знает, что на душе у иноверца, у католика[5]?.. А и того еще хуже (с нами сила крестная!), если в виде польского пана являлся тебе злой искуситель. Ты знаешь, что у нас в Киеве, за грехи наши, много и колдунов и ведьм[6]. Лукавый всегда охотнее вертится там, где люди ближе к спасенью.

Горпинка не отвечала на это, и разговор тем кончился. Милая, невинная девушка была уверена, что ее Казимир не лиходей и не лукавый искуситель, и потому она с досадою слушала речи своей матери. «Он так мил, так добр! он непременно сдержит свое слово и теперь поехал в Польшу для того, чтоб уговорить своего отца и устроить дела свои. Можно ли, чтобы с таким лицом, с такою душою, с таким сладким, вкрадчивым голосом он мог иметь на меня недобрые замыслы? Нет! матушка на старости сделалась слишком недоверчива, как и все пожилые люди». Таким нашептыванием легковерного сердца убаюкивала себя неопытная, молодая девушка; а между тем мелькали дни, недели, месяцы — Казимир не являлся и не давал о себе вести. Прошел и год — о нем ни слуху ни духу. Горпинка почти не видела света божьего: от света померкли ясные очи, от частых вздохов теснило грудь ее девичью. Мать горевала о дочернем горе, иногда плакала, сидя одна в ветхой своей хатке за пряжею, и, покачивая головою, твердила: «Не быть добру! Это наказание божие за грехи наши и за то, что несмысленая полюбила ляха-иноверца!»

Долго тосковала Горпинка; бродила почти беспрестанно по лесу, уходила рано поутру, приходила поздно ночью, почти ничего не ела, не пила и иссохла как былинка. Знакомые о ней жалели и за глаза толковали то и другое; молодые парни перестали на нее заглядываться, а девушки ей завидовать. Услужливые старушки советовали ей идти к колдуну, который жил за Днепром, в бору, в глухом месте: он-де скажет тебе всю правду и наставит на путь, на дело! Горе придает отваги: Горпинка откинула страх и пошла.

Осенний ветер взрывал волны в Днепре и глухо ревел по бору; желтый лист, опадая с деревьев, с шелестом кружился по дороге, вечер хмурился на дождливом небе, когда

Горпинка пошла к колдуну. Что сказал он ей, никто того не ведает; только мать напрасно ждала ее во всю ту ночь, напрасно ждала и на другой день, и на третий: никто не знал, что с нею сталось! Один монастырский рыболов рассказывал спустя несколько дней, что, плывя в челноке, видел молодую девушку на берегу Днепра: лицо ее было исцарапано иглами и сучьями деревьев, волосы разбиты и скиндячки оборваны; но он не посмел близко подплыть к ней из страха, что то была или бесноватая, или бродящая душа какой-нибудь умершей, тяжкой грешницы.

Бедная старушка выплакала глаза свои. Чуть свет вставала она и бродила далеко, далеко, по обоим берегам Днепра, расспрашивала у всех встречных о своей дочери, искала тела ее по песку прибрежному и каждый день с грустью и горькими слезами возвращалась домой одна-одинехонька: не было ни слуху, ни весточки о милой ее Горпинке! Она клала на себя набожные обещания, ставила из последних трудовых своих денег большие свечи преподобным угодникам печерским: сердцу ее становилось от того на время легче, но мучительная ее неизвестность о судьбе дочери все не прерывалась. Миновала осень, прошла и суровая зима в напрасных поисках, в слезах и молитвах. Честные отцы, черноризцы Китаевой пустыни, утешали несчастную мать и христиански жалели о заблудшей овце; но сострадание и утешительные их беседы не могли изгладить горестной утраты из материнского сердца. Настала весна; снова старуха начала бродить по берегам Днепра, и все так же напрасно. Она хотела бы собрать хоть кости бедной Горпинки, омыть их горючими слезами и прихоронить, хотя тайком, на кладбище с православными. И этого, последнего утешения лишала ее злая доля.

Те же услужливые старушки, которые наставили дочь идти к колдуну, уговаривали и мать у него искать помощи. Кто тонет, тот и за бритву рад ухватиться, говорит пословица. Старуха подумала, подумала — и пошла в бор. Там, в страшном подземелье или берлоге, жил страшный старик. Никто не знал, откуда он был родом, когда и как зашел в заднепровский бор и сколько ему лет от роду; но старожилы киевские говаривали, что еще в детстве слыхали они от дедов своих об этом колдуне, которого с давних лет все называли Боровиком: иного имени ему не знали. Когда старая Фенна[7], мать Горпинки, пришла на то место, где, по рассказам, можно было найти его, то волосы у нее поднялись дыбом и лихорадочная дрожь ее забила... Она увидела старика,

скрюченного, сморщенного, словно выходца с того света: в жаркий майский полдень лежал он на голой земле под шубами, против солнца и, казалось, не мог согреться. Около него был очерчен круг, в ногах у колдуна сидела огромная черная жаба, выпуча большие зеленые глаза; а за кругом кипел и вился клубами всякий гад: и ужи, и змеи, и ящерицы; по сучьям деревьев качались большие нетопыри, а филины, совы и девятисмерты[8] дремали по верхушкам и между листьями. Лишь только появилась старуха — вдруг жаба трижды проквакала страшным голосом, нетопыри забили крыльями, филины и совы завыли, змеи зашипели, высунув кровавые жала, и закружились быстрее прежнего. Старик приподнялся, но увидя дряхлую, оробевшую женщину, он махнул черною ширинкою с какими-то чудными нашивками красного шелка — и мигом все исчезло с криком, визгом, вытьем и шипеньем: одна жаба не слазила с места и не сводила глаз с колдуна. «Не входи в круг,— прохрипел старик чуть слышным голосом, как будто б этот голос выходил из могилы,— и слушай: ты плачешь и тоскуешь об дочери; хотела ли бы ты ее видеть? хотела ли б быть опять с нею?»

— Ох, *пан-отче*[9]! как не хотеть! Это одно мое детище, как порох в глазу...

— Слушай же: я дам тебе клык черного вепря и черную свечу...— Тут он пробормотал что-то на неведомом языке, и жаба, завертев глазами, в один прыжок скакнула в подземелье, находившееся в нескольких шагах от круга, другим прыжком выскочила оттуда, держа во рту большой белый клык и черную свечу; то и другое положила она перед старухой и снова села на прежнее свое место.

— Скоро настанет *зеленая неделя*,— продолжал старик,— в последний день этой недели, в самый полдень, пойди в лес, отыщи там поляну, между чащею; ты ее узнаешь: на ней нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника. Проберись на ту поляну, очерти клыком круг около себя и в середине круга воткни черную свечу. Скоро они побегут; ты всматривайся пристально и чуть только заметишь свою дочь — схвати ее за левую руку и втащи к себе в круг. Когда же все другие пробегут, ты вынь свечу из земли и, держа ее в руке, веди дочь свою к себе в дом. Что бы она ни говорила — ты не слушай ее речей и все веди ее, держа свечу у нее над головою; и что бы после ни случилось, не сказывай своим попам да монахам, не служи ни панихид, ни молебнов и терпи год. Иначе худо тебе будет...

Старухе показалось, что в эту минуту жаба страшно на

нее покосилась и захлопала уродливым своим ртом. Бедная Фенна чуть не упала от испуга. Поскорее отдала она поклон колдуну и дрожащими ногами поплелась из бора. Однако ж до чего не доведет любовь материнская! Надежда отыскать дочь свою подкрепила силы старухи и придала ей отваги.

В последний день *зеленой недели*, когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала там сказанную колдуном поляну, очертила около себя круг клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу — и свеча сама собою загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум: с гиканьем и ауканьем, быстро как вихрь помчалась через поляну несчетная вереница молодых девушек; все они были в легкой, сквозящей одежде, и на всех были большие венки, покрывавшие все волосы и даже спускавшиеся на плеча. На одних венки сии были из осоки, на других из древесных ветвей, так что казалось, будто бы у них зеленые волосы[10]. Девушки пробегали, минуя круг, но не замечая или не видя старухи; и она, откинув страх, всматривалась в лицо каждой. Смотрит — вот бежит и ее Горпинка. Старуха едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Другие, видно, не заметили того на быстром, исступленном бегу своем и, гикая и аукая, пронеслись мимо. Старая Фенна поспешно выхватила из земли пылавшую черную свечу, подняла ее над головою своей дочери — и мигом зеленый венок из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы горпинкиной. В кругу Горпинка стояла как оцепенелая; но едва мать вывела ее из круга, то она начала у нее проситься тихим, ласкающим голосом:

— Мать! отпусти меня погулять по лесу, покачаться на *зеленой неделе* и снова погрузиться в подводные наши селения... Знаю, что ты тоскуешь, ты плачешь обо мне: кто же тебе мешает быть со мною неразлучно? Брось напрасный страх и опустись к нам на дно Днепра. Там весело! там легко! там все молодеют и становятся так же резвы, как струйки водяные, так же игривы и беззаботны, как молодые рыбки. У нас и солнышко сияет ярче, у нас и утренний ветерок дышит привольнее. Что в вашей земле? Здесь во всем нужды: то голод, то холод; там мы не знаем никаких нужд, всем довольны, плещемся водой, играем радугой, ищем по дну драгоценностей и ими утешаемся. Зимою нам тепло под льдом как под шубой; а летом, в ясные ночи, мы выходим греться на лучах месяца[11], резвимся, веселимся и для забавы часто шутим над живыми. Что в том беды, если мы подчас щекочем их или уносим на дно реки? разве им от того

хуже? Они становятся так же легки и свободны, как и мы сами... Мать! отпусти меня: мне тяжко, мне душно будет с живыми! Отпусти меня, мать, когда любишь...

Старуха не слушалась и все вела ее к своей хате; но с горестью узнала, что дочь ее сделалась русалкою. Вот пришли; старуха ввела Горпинку в хату; она села против печки, облокотясь обеими руками себе на колена и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела, и Горпинка сделалась неподвижною. Лицо ее посинело, все члены окостенели и стали холодны как лед; волосы были мокры, как будто бы теперь только она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее безжизненное лицо, на ее глаза, открытые, тусклые и невидя смотрящие! Старуха поздно вскаялась, что послушалась лукавого колдуна; но и тут чувство матери и какая-то смутная надежда перемогли и страх и упреки совести: она решилась ждать во что бы ни стало.

Проходит день, настает ночь — Горпинка сидит по-прежнему, мертва и неподвижна. Жутко было старухе оставаться на ночь с своей ужасною гостьей; но, скрепя сердце, она осталась. Проходит и ночь — Горпинка сидит по-прежнему; проходят дни, недели, месяцы — все так же неподвижно сидит она, опершись головою на руки, все так же открыты и тусклы глаза ее, бессменно глядящие в печь, все так же мокры волосы. В околотке разнесся об этом слух, и все добрые и недобрые люди не смели ни днем, ни ночью пройти мимо хаты: все боялись мертвеца и старой Фенны, которую расславили ведьмою. Тропинка близ хаты заросла травою и почти заглохла; даже в лес ходили соседние обыватели изредка и только по крайней нужде. Наконец, бедная старуха мало-помалу привыкла к своему горю и положению: уже она без страха спала в той хате, где страшная гостья сидела в гробовой своей неподвижности.

Прошел и год: все так же без движения и без признаков жизни сидела мертвая. Настала и *зеленая неделя*. На первый день, около полуденного часа, старуха, отворя дверь хаты, что-то стряпала. Вдруг раздались гиканье и ауканье и скорый шорох шагов. Фенна вздрогнула и невольно взглянула на дочь свою: лицо Горпинки вдруг страшно оживилось, синета исчезла, глаза засверкали, какая-то неистовая и как бы пьяная улыбка промелькнула на губах. Она вскочила, трижды плеснула в ладоши и, прокричав: «Наши, наши, наши!» — пустилась как молния за шумною толпою... и след ее пропал!

Старуха, мучась совестью, положила на себя тяжкий за-

рок: она пошла в женский монастырь в послушницы, принимала на себя самые трудные работы, молилась беспрерывно и, наконец, успокоенная в душе своей, тихо умерла, оплакивая несчастную дочь свою.

На другой день после того, как русалка убежала от своей матери, нашли в лесу мертвое тело. Это был поляк в охотничьем платье, и единоземцы его узнали в нем Казимира Чепку, ловкого молодого человека, бывшего душою всех веселых обществ. Ружье его было заряжено и лежало подле него, но собаки его при нем не было; никакой раны, никакого знака насильственной смерти не заметно было на теле; но лицо было сине, и все жилы в страшном напряжении. Знали, что у него было много друзей и ни одного явного недруга. Врачи толковали то и другое; но народ объяснял дело гораздо проще: он говорил, что *покойника русалки защекотали.*

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Горпинка,* уменьшительное имени *Горпина* (Агриппина). Это имя в малороссийском наречии гораздо ближе к римскому своему корню, нежели Аграфена или Груша.

[2] *Дрибушки* — мелкие косы; *скиндячки* — ленты, повязываемые на голове. (См. в «Северных цветах на 1828 год» примеч. к повести «Гайдамак»).

[3] *За гонор* по-польски значит: *за честь.*

[4] *Сага* — залив реки. Слово малороссийское.

[5] Когда Малороссия находилась под властью поляков, тогда взаимная недоверчивость поляков и малороссиян, особливо в простом народе, была в самой сильной степени. Понятия религиозные подкрепляли сие неприязненное чувствование в тот век, не ознаменованный еще, подобно нынешнему, веротерпением. *Католик* — было у малороссиян бранчивое слово, сделавшееся народным. И теперь еще употребляется оно в том же смысле необразованными простолюдинами в Малороссии.

[6] Киев, по баснословным народным преданиям, искони славился своими ведьмами и колдунами не только в Малороссии, но и по всей России.

[7] *Фенна* — Феона, по малороссийскому выговору.

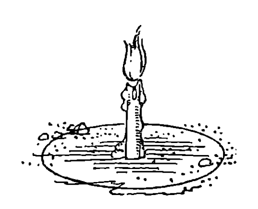
[8] *Девятисмерт,* или сорокопуд, небольшая птичка, весьма обыкновенная в лесах Малороссии. О ней говорят, будто бы она сперва убивает восемь насекомых и съедает уже девятое; отсюда происходит имя ее — *девятисмерт.* Много есть и других суеверных рассказов об этой птице, которая занимает непоследнее место в *баснословной зоологии* малороссиян.

[9] *Пан-отче* — звательный падеж сложного слова пан-отец, которое малороссияне из учтивости говорят старшим летами или достоинством. В собственном смысле оно соответствует русскому выражению: государь-батюшка.

[10] Простой народ в Малороссии думает, что русалки суть утопленницы и удавленницы, произвольно лишившие себя жизни. Одни говорят, что у русалок зеленые волосы, другие просто наряжают их в большие зеленые венки. Сочинитель принял последнее из сих поверий, а для отличия русалок,

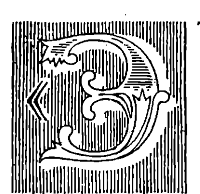
одних из них покрыл венками из осоки, других — венками из древесных ветвей. Разумеется, что первые из них утопленницы, а вторые — удавленницы. Они, по мнению малороссиян, бегают по лесам на *зеленой* (т. е. Троицкой) *неделе*, аукают, качаются на деревьях, и если поймают живого человека, то щекочут его до смерти. Посему малороссияне боятся в продолжение сей недели откликаться на лесное ауканье.

[11] Луна, по малороссийскому поверью, есть *солнце утопленников*. Они выходят ночью из воды греться на лучах месяца, которым воображение малороссиян придало теплоту.



ОБОРОТЕНЬ

Народная сказка



то что за название?»—скажете или подумаете вы, любезные мои читатели (какому автору читатели не любезны!). И я, слыша или угадывая ваш вопрос, отвечаю: что ж делать! виноват ли я, что неусыпные мои современники, романтические поэты в стихах и в прозе, разобрали уже по рукам все другие затейливые названия? Корсары, Пираты, Гяуры, Ренегаты и даже Вампиры попеременно, одни за другими, делали набеги на читающее поколение или при лунном свете закрадывались в будуары чувствительных красавиц. Воображение мое так наполнено всеми этими живыми и мертвыми страшилищами, что я, кажется, и теперь слышу за плечами щелканье зубов Вампира или вижу, как «от могильного белка адского глаза Ренегатова отделяется кровавый зрачок...». Напуганный сими ужасами, я и сам, хотя в шутку, вздумал было попугать вас,

милостивые государи! Но как мне в удел не даны ни мрачное воображение лорда Байрона, ни живая кисть Вальтера Скотта, ни даже скрипучее перо г. д'Арленкура и ему подобных, и сама моя муза так своевольна, что часто смеется сквозь слезы и дрожа от страха; то я, повинуясь свойственной полу ее причудливости, пущу слепо мое воображение, куда она его поведет. Скажу только в оправдание моего заглавия, что я хотел вас подарить чем-то *новым, небывалым;* а русские оборотни, сколько помню, до сих пор еще не пугали добрых людей в книжном быту. Я мог бы вместо оборотня придумать что-нибудь другое или подменить его каким-либо лихим разбойником; но все другое новое, как я уже имел честь доложить вам, разобрано по рукам другими, а в книжных наших лавках залегли теперь такие большие шайки разбойников — не всегда клейменых (по крайней мере клеймом гения), но всегда печатных,— что если б мыши и моль не составили против них своей Santa Hermandad[1], то от них не было б житья порядочным людям.

Я думал написать это вступление в виде разговора кого-нибудь из моих приятелей с кем-нибудь из моих неприятелей, но побоялся, что меня тотчас уличат в подражании; а признаюсь, мне не хотелось бы прослыть подражателем... Свое, господа мои сподвижники на поприще бумаги и перьев, станем творить свое! Я хочу вам подать похвальный пример и для того вывожу напоказ небывалого русского *оборотня.*

В одном селении... Вы, добрые мои читатели, верно, не спросите, как называется это селение, в какой губернии и в каком уезде лежит оно. Удовольствуйтесь же тем, что я вам буду рассказывать, и не требуйте от меня лишнего.

Итак, дослушайте ж...

В одном селении жил-был старик по имени Ермолай. Все знали, что он умывается росою, собирает разные травы, ходя, беспрестанно что-то шепчет себе в длинные, седые усы, спит с открытыми глазами и пр. и пр. Чего же больше? он колдун, и злой колдун: так о нем толковало все селение. Надобно сказать, что селение было раскинуто по опушке большого, дремучего леса, а изба ермолаева была на самом выезде и почти в лесу. Ермолай сроду не был женат, но лет за пятнадцать до того времени, в которое мы с ним знакомим-

---

[1] Santa Hermandad, слово в слово: святое братство. Так назывались в Испании сыскные команды инквизиции.

ся, взял он к себе приемыша, сироту, которого все сельские крестьяне называли прежде бобылем Артюшей; а теперь, из уважения ли к колдуну, или по росту и дородству самого детины, стали величать Артемом Ермолаевичем: подлинного его отца никто не знал или не помнил, а и того больше никто о нем не заботился.

Артем был видный детина: высок, толст, бел и румян, ну, словом, кровь с молоком. И то сказать, мудрено ли было колдуну вскормить и выхолить своего приемыша? Крестьяне были той веры, что колдун отпоил Артема молоком летучих мышей, что по ночам кикиморы чесали ему буйную голову, а нашептанный мартовский снег, которым старик умывал его, придавал его лицу белизну и румянец. Одного добрые крестьяне не могли добиться: каким образом старый Ермолай, так сказать, перероля Артема из тощего, бледного мальчишки в дородного и румяного парня, не научил его уму-разуму? ибо Артюша был прост, очень прост: молвит, бывало, что с дуба сорвет, до сотни не сочтет без ошибки и не всегда, бывало, впопад ответит, когда у него спросят, которая у него правая рука и которая левая. Он так нехитро смотрел большими своими серыми глазами, так простодушно развешивал губы и так смешно переплетал ногами, когда случалось ему бежать, что сельские девушки подсмеивали его исподтишка и шепотом говаривали про него: «Красен как маков цвет, а глуп как горелый пень». В селении прозвали его *вислогубым красиком*, и все это не вслух, а тайком от колдуна, потому что все боялись обидеть его в лице его приемыша.

И то, однако ж, многие начали смекать, что злой старик догадывается о насмешках поселян над его нареченным сыном. В селении вдруг начал пропадать мелкий рогатый скот: у того из поселян не явится пары овец, у другого трех или четырех коз, у третьего пропадут все ягнята. Пастухи не раз видали, как из лесу вдруг выбежит большой-пребольшой волк, схватит одну или пару овец, стиснет им горло зубами, взбросит их к себе на спину — и был таков: мигом умчит их к лесу. Сколько ни кричи, ни тюкай — он и ухом не ведет; сколько ни трави собаками: они поплетутся прочь, поджав хвосты, и робко озираются назад. Крестьяне тотчас взяли догадку, что это не простой волк, а оборотень; вслед же за этою догадкой пришла к ним и другая: что этот оборотень не иной кто, как сам Ермолай Парфентьевич.

Делать было нечего. Все боялись колдуна, хотя, сказать правду, до сих пор он не делал еще никакого зла селению; но все-таки он был колдун. Жаловаться на него — у кого най-

дешь расправу, когда и сам священник отрекался заклясть его? Самим его доконать — грешно, хоть он и колдун; притом же эти дела так пахнут торговой казнью и ссылкой, что у всякого невольно руки опустятся. Да и кто знает, что после смерти не станет он приходить из могилы мертвецом и душить уже не овец, а людей, которые озлобили бы его преждевременным отправлением на тот свет? Как ни раскладывали крестьяне умом, сколько ни толковали на мирской сходке, а все дело не клеилось. Пришлось им стать в тупик, горевать, закуся губы, да молиться святым угодникам за себя и за стада свои.

В селении том жила красная девушка, Акулина Тимофеевна. Лицо у нее было, что наливное яблочко, очи соколиные, брови соболиные — словом, она уродилась со всеми достоинствами и приманками красавиц, о которых перешли к нам достоверные предания в старинных русских песнях и сказках. Одна она никогда не смеялась над простаком Артюшей, а напротив того еще заступалась за него между своими подругами и уверяла их, что он детина хоть куда. Лукавая девушка смекнула, что старик Ермолай очень богат и очень стар, что жить ему на свете оставалось недолго и что после него единственным наследником его имения должен быть Артем Ермолаевич. Она так умильно поглядывала на Артема, так ласково говорила ему, встречаясь: «Здравствуй, добрый молодец!», что Артем, как ни был прост, а все заметил ее приветливость. Часто он, избочась и выступая гоголем, подходил к ней и заводил с нею речи — грех сказать: умные, а такие, которые, видно, нравились красавице и на которые она охотно отвечала. Короче: Акулина Тимофеевна скоро заслужила всю доверенность нелюдима Артюши: он еще чаще стал подходить к ней, облизываясь и с глупым смехом выкрикивая: «Здорово, Акуля», отвешивал ей дружеский удар тяжелою своею ладонью по белому круглому плечу и таял пред нею... Да, таял, в полном смысле слова, потому что щеки его делались еще краснее, глаза еще мутнее и глупее, а багровые губы никак уже не сходились между собою и становились час от часу толще, час от часу влажнее, как вишня, размокшая в вине. Девушка стала уже не шутя подумывать, как бы ей пристроиться: то есть, с помощью обручального кольца да честного венца, прибрать к рукам и Артема и будущие его пожитки.

К ней-то, наконец, смышленые крестьяне обратились с просьбою помочь их горю. «Ты-де, Акулина Тимофевна, в селе у нас умный человек; а нам вестимо, что благопри-

ятель твой Артем Ермолаевич с неба звезд не хватает, хоть и слывет сыном такого человека, у которого в седой бороде много художества. Порадей нам, а мы тебе за то чем по силам поклонимся. Одной только милости у тебя и просим: как бы досконально проведать, подлинной ли то волк душит наших овец или это — не в нашу меру будь сказано — Ермолай Парфентьевич оборотнем над нами потешается?» Акулина Тимофеевна молчала несколько времени, покачивая в раздумье головушкой: с одной стороны, боялась она прогневить колдуна, который знал всю подноготную; с другой стороны, манили ее подарки... а кто к подаркам не лаком? Спросите у стряпчих, спросите у судей, спросите у того и другого (не хочу называть всех поименно): всякий если не словами, так взглядом припомнит вам старую пословицу: *кто богу не грешен, царю не виноват!* И Акулина Тимофевна была в этом смысле ежели не закоснелою грешницей, то, по крайней мере, не совсем чиста совестью. Она подумала-подумала — и дала крестьянам обещание похлопотать об их деле.

На другой день, встретясь с Артемом, больше прежнего была она с ним приветлива и ласкова, и больше прежнего таял бедный Артем: щеки его так и пылали, губы так и пухли. Умильно потрепав его по щеке полненькими своими пальчиками, плутовка сказала ему:

— Артюша, светик мой! молвила бы я тебе словцо, да боюсь: старик твой нас подметит. Где он теперь?

— А кто его весть! Бродит себе по лесу словно леший, да, тово-вона, чай дерет лыка на зиму.

— Скажи, пожалуйста: ты ничего за ним не примечаешь?

— Вот-те бог, ничего.

— А люди и невесть что трубят про него: что будто бы он колдун, что бегает оборотнем по лесу да изводит овец в околотке.

— Полно, моя ненаглядная: инда мне жутко от твоих речей.

— Послушай меня, сокол мой ясный: ведь тебя не убудет, когда ты присмотришь за ним да скажешь мне после, правда ли, нет ли вся та молва, которая идет о нем по селу. Старик тебя любит, так на тебя и не вскинется.

— Не убудет меня? да что же мне прибудет?

— А то, что я еще больше стану любить тебя, выйду за тебя замуж и тогда заживем припеваючи.

— Ой ли? да что же мне делать-то?

— А вот что: не поспи ты ночь да примечай, что старый

твой станет кудесить. Куда он, туда и ты за ним; притаись где-нибудь в углу или за кустом и все высматривай. После расскажешь мне, что увидишь.

— Ахти! страшно! Да еще и ночью. А когда же спать-то буду?

— Выспишься после. Зато уж как женою твоею буду, ты, мой голубчик, будешь спать вволю. Тебя не пошлют тогда ни дрова рубить, ни воду таскать: все я за тебя; а ты себе, пожалуй, поваливайся на печи да покушивай готовое.

— Ладно! будь по-твоему: стану приглядывать за моим стариком. Да скажи, он мне бока-то не отлощит?

— Не бойся ничего: он не узнает; а какова не мера, так я сама принесу ему повинную и скажу, что тебя научала.

— Ну, то-то, смотри же! чур, не выдавать меня.

— И, статимо ли дело! прощай же, дружочек.

— Ин прощай, моя любушка!

При всей своей простоте, Артем не вовсе был трус: он уважал и боялся названого своего отца, а впрочем, по слабоумию ли, по врожденной ли отваге, не мог себе составить понятия о страхах сверхъестественных. Может быть, и старик, воспитывая его в счастливом невежестве, старался удалять от него всякую мысль о колдунах, недобрых духах и обо всем тому подобном, чтобы не внушить ему каких-либо подозрений на свой счет и не заставить его замечать того, в чем нужно было от него таиться.

Наступила ночь. Артем, по обыкновению, лег рано в постелю, укутался с головою; но не спал и прислушивался, спит ли старик. С вечера было темно; старик ворочался в постели и бормотал что-то себе под нос; но когда взошел месяц, тогда Ермолай встал, оделся, взял с собою какую-то вещь из сундука, стоявшего у него в изголовье, и вышел из избы, не скрипнув дверью. Мигом Артем был тоже на ногах, накинул на себя балахон и вышел так же тихо. Притаясь в сенях, он выглядывал, куда пошел старик, и, видя, что он отправился к лесу, пустился вслед за ним, но так, чтобы всегда быть в тени... Так-то и самый простодушный человек имеет на свою долю некоторый участок природной тонкости и употребляет его в дело, когда нужно ему провести другого, кто его посильнее или похитрее. Но довольно о тонкости простаков: посмотрим, что-то делает наш Артем.

Лепясь вдоль забора, прокрадываясь позадь кустов и, в случае нужды, ползучи по траве как ящерица, успел он пробраться за стариком в самую чащу леса. Середь этой чащи лежала поляна, а середь поляны стоял осиновый пень, вы-

шиною почти вполчеловека. К нему-то пошел старый колдун, и вот что видел Артем из своей засады, которою служили ему самые близкие к поляне кусты орешника.

Лучи месяца упадали на самый сруб осинового пня, и Артему казалось, что сруб этот белелся и светился как серебряный. Старик Ермолай трижды обошел тихо вокруг пня и при каждом обходе бормотал вполголоса такой заговор: «На море Океане на острове Буяне, на полой поляне, светит месяц на осинов пень: около того пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый. Месяц, месяц, золотые рожки! расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя и на человека, чтоб они серого волка не брали и теплой бы с него шкуры не драли». Ночь была так тиха, что Артем ясно слышал каждое слово. После этого заговора старый колдун стал лицом к месяцу и, воткнув в самую сердцевину пня небольшой ножик с медным черенком, перекинулся чрез него трижды таким образом, чтобы в третий раз упасть головою в ту сторону, откуда светил месяц. Едва кувырнулся он в третий раз, вдруг Артем видит: старика не стало, а наместо его очутился страшный серый волчище. Злой этот зверь поднял голову вверх, поглядел на месяц кровавыми своими глазами, обнюхал воздух во все четыре стороны, завыл грозным голосом и пустился бежать вон из лесу, так что скоро и след его простыл.

Во все это время Артем дрожал от страха как осиновый лист. Зубы его так часто и так крепко стучали одни о другие, что на них можно б было истолочь четверик гречневой крупы; а губы его, впервые может быть от рождения, сошлись вместе, сжались и посинели. По уходе оборотня он, однако ж, хотя и не скоро, оправился и ободрился. Простота, говорят, хуже воровства: это не всегда правда. Умный человек на месте нашего Артема бежал бы без оглядки из лесу и другу и недругу заказал бы подмечать за колдунами; а наш Артем сделал если не умнее, то смелее, как мы сейчас увидим. Он подошел к пню, призадумался, почесал буйную свою голову — и после давай обходить около пня и твердить то, что слышал перед сим от старого колдуна. Мало этого: он стал лицом к месяцу, трижды кувырнулся через ножик с медным черенком и за третьим разом, глядь — вот он стоит на четвереньках, рыло у него вытянулось вперед, балахон сделался длинною, пушистою шерстью, а задние полы выросли в мохнатый хвост, который тащился как метла. Дивясь такой скорой перемене своего подобья и платья; он попробовал молвить слово — и что же? вместо человечьего голоса завыл

волком; попытался бежать — новое чудо! уже ноги его не цеплялись, как бывало прежде, друг за друга.

Новый оборотень не мог говорить, но не лишился способности рассуждать, то есть столько, сколько он обыкновенно рассуждал в человеческом своем виде. Мне, признаться, никогда не случалось слышать, чтобы оборотни в волчьей шкуре становились умнее прежнего. Вот наш Артем остановился и призадумался, как ему употребить в пользу и удовольствие новую свою личину? Тут ему пришла мысль, достойная того, в чьей голове она зародилась: он вспомнил, как часто молодые парни их селения над ним смеивались. «Давай-ка,— думал он,— посмеюсь и я над ними: пойду утром в селение и стану бросаться на всякого... как же эти удальцы будут меня бояться! Однако ж прежде попытаюсь-ка выспаться: в этой шубе мне будет и тепло и мягко даже на сырой траве...» Вздумано — сделано: наш Артем, или оборотень, забрался снова в кусты орешника, лег и заснул крепким сном.

Долго ли спал он, не знаю наверное; только солнце было уже очень высоко, когда он пробудился. Он встряхнулся, посмотрел на себя, и новый его наряд при дневном свете так показался ему забавен, что смех его пронял: он хотел захохотать — но вместо хохота раздался такой пронзительный, отрывистый волчий вой, что бедный Артем сам его испугался. Потом, опомнясь и видя, что он пугается собственного смеха, он захохотал еще сильнее прежнего, и еще громче и пронзительнее раздался вой. Нечего делать: как ни смешно ему было, а поневоле должно было удерживаться, чтоб не оглушить самого себя. Тут он вспомнил о вчерашнем своем намерении — потешиться над своими сверстниками, молодыми сельскими парнями. Вот он и пошел к селению. Дорогою попадались ему крестьяне, ехавшие в поле на работу; каждый из них, завидя издали смелого, необыкновенной величины волка, никак не подозревал, чтоб это был простак Артем; все думали, что то был точно оборотень,— только отец его, старый колдун Ермолай. Оттого каждый крестился, закрывал себе глаза руками и говорил: *чур меня! чур меня!* Это еще и больше веселило простодушного Артема, еще больше поджигало его идти в селение; никогда, никто его столько не боялся, как теперь: какая радость! Да то ли еще будет в селении? как все всполошатся, крикнут: «Волк!» — станут его травить собаками, уськать, тюкать, соберутся на него с копьями и рогатинами, а он и ухом не будет вести: его ни дубина, ни железо, ни пуля не возьмет и собаки боятся... То-то потеха!

И в самом деле, все селение поднялось на *серого забияку*. Сперва встречные бежали от него, крестьянки поскорее заперли овец и коз своих в хлева, а сами запрятались в подушки: все знали, что то был не простой волк. Скоро, однако ж, нашлись удальцы, крикнули по селению, что один конец должен быть с старым колдуном, и повалили толпою: кто с дубиной, кто с топором, кто с засовом — обступили волка и давай нападать на него. Сначала он храбрился, бросался то на того, то на другого, щетинился, скалил зубы и щелкал ими; но наконец робость его одолела: он знал, что, в силу заговора, его не убьют и даже не наколотят ему боков; но могут ощипать на нем шерсть, оборвать хвост, и тогда — как он явится к строгому своему отцу в разодранном балахоне и с оторванными полами? Беда!

Правда, не нашлось еще смельчака, который бы вышел с ним переведаться: все уськали, кричали только издали, а ни один не подавался вперед. Собак же и вовсе не могли скликать; они разбрелись по конурам и носов не выказывали. Зато люди все стояли в кругу и прорваться сквозь них никак нельзя было. Еще новое горе бедному нашему оборотню: он ничего не ел от самого вечера и желудок его громко жаловался на пустоту. Как быть? и кто поручится, что отец его уже не в селении и не узнает о его проказах? Ахти! вот до чего доводит безрассудство! он и забыл посмотреть, каким образом отец его получит свой человеческий вид! Ну, придется горюну Артему умереть с голоду или исчахнуть с тоски-кручины в волчьей коже... Он задрожал всеми четырьмя ногами, упал, свернулся в комок и уключил голову промеж передних лап.

Крестьяне рассуждали, что им делать с оборотнем: зарыть ли его живого в яму или связать и представить в волостное правление? В это время слух о трусости оборотня разнесся уже по селению, и женщины отважились показаться на улице. Одна девушка пришла даже к кругу, составленному крестьянами около мнимого волка: эта смелая девушка была Акулина Тимофевна. Она тотчас смекнула дело, просила крестьян расступиться, вошла в круг и повела такую умную речь:

— Добрые люди! не дразните врага, когда он сам, как видно, оставляет слово на мир. Смертью оборотня вы добра себе немного сделаете, а худа не оберетесь; в судах же, я слыхала, так водится, что и оборотень с деньгами оправится почище всякого честного бедняка. Послушайтесь меня: разойдитесь с богом по домам, а этого оборотня я пове-

ду к себе и ручаюсь вам, что вам же от того будет лучше.

Все крестьяне слушали в оба уха и дивились уму-разуму красной девицы. Никто из них не придумал умнее того, что она говорила: они послушались ее речей и расступились в разные стороны. Тут она выплела из косы своей цветную ленту и подошла к оборотню, который в это время потянулся и сам вытянул шею, как будто бы знал, что затевала девушка.

Акулина Тимофевна обвязала ему ленту вокруг шеи и повела его к себе в дом. По простоте и робости оборотня она тотчас отгадала, кто он таков. Введя его в пустую клеть, она накормила его, чем могла, и постлала ему в углу свежей соломы; потом начала его журить за безрассудную его неосторожность. Бедный Артем жалким и вместе смешным образом сморщил волчье свое рыло, слезы капали из мутно-красных его глаз, и он, верно бы, заревел как малый ребенок, если бы не побоялся завыть по-волчьи и снова взбудоражить всю деревню. Девушка заперла его замком в клети и оставила его отдыхать и горевать на свободе.

Вечером Акулина Тимофевна пошла к старику Ермолаю, кинулась ему в ноги, рассказала ему, что сама знала, и сняла всю вину на себя. Старый колдун уже знал обо всем, сердился на Артема и твердил: «Ништо ему, пусть-ка погуляет в волчьей коже!» Но просьбы и слезы печальной красавицы были так убедительны и красноречивы, что старик и сам почти от них растаял. Он заткнул за пояс известный уже нам ножик с медным черенком, взял жестяной фонарик под полу и пошел с девушкой. Вошедши в клеть, прежде всего порядком выдрал уши мнимому волку, который в это время делал такие кривлянья, каких ни зверю, ни человеку не удавалось никогда делать, и выл так звонко и пронзительно, что чуть не оглушил и старика, и девушку, и всю деревню. Вслед за сим наказанием колдун обошел трижды около оборотня и что-то шептал себе под нос; потом растянул его на все четыре лапы и колдовским своим ножиком прорезал у него кожу накрест, от затылка до хвоста и вполперек спины. Распоротый балахон упал на солому, и в тот же миг Артем вскочил на ноги, с открытым своим ртом, простодушным взглядом и очень, очень красными ушами. Отряхнувшись и потершись плечами о стену, он со всех ног повалился на землю перед нареченным своим отцом и, всхлипывая, кричал жалким голосом: «Виноват, батюшка! прости». Старик отечески потазал его снова, пожурил — да и простил.

Акулина Тимофевна очень полюбилась старому Ермолаю:

он заметил в ней природный ум и расчел в мыслях, что лучше всего дать такую умную жену его приемышу, который, после его смерти, живучи с нею, по крайней мере не растратит того, что старому сребролюбцу досталось такою дорогою ценою — то есть накопленных им за грехи свои червончиков и рублевичков.

Короче: дня через три вся деревня пировала на свадьбе Артема Ермолаевича с Акулиной Тимофевной; и хотя все знали, что старик Ермолай злой колдун, но от пьяной его браги и сладкого меду немногие отказывались. Скоро после того Ермолай продал свою избу и поле и перешел вместе с молодыми, названым сыном и невесткою, в какую-то дальнюю деревню, где дотоле и слыхом про него не слыхали. Сказывают, что он провел остальные годы своей жизни честно и смирно, делал добро и помогал бедным, зато умер тихо и похоронен как добрый на кладбище с прочею усопшею братией. Сказывают также, что Артем, пожив несколько лет с умною и сметливою женою, сделался вполовину меньше прежнего прост и даже в степенных летах был выбран в сельские старосты. Каково он судил-рядил, не знаю; а только в деревне все в один голос трубили, что Акулина Тимофевна была челышко изо всех умных баб.

ЭПИЛОГ

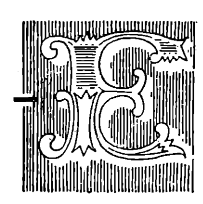
Многие той веры, что после всякой сказки, басни или побасенки должно непременно следовать нравоучение; что всякое повествование должно иметь нравственную цель и что все печатное должно служить для общества самым спасительным антидотом от пороков. Как вы думаете об этом, любезные мои читатели, и какое нравоучение присудите мне прибрать к этой истинной или, по крайней мере, очень правдоподобной повести? Что до меня касается — я ничего не умел к ней придумать, кроме следующего наставления: *что тот, у кого нет волчьей повадки, не должен наряжаться волком.* Нравоучение близкое и ясное, и кажется — если, впрочем, самолюбие меня не обманывает,— оно ничем не хуже того, которое покойник Ломоносов, вечно-лирической памяти, прибрал к своей басне «Волк пастух»[1].

---

[1] Я басню всю коротким толком
Хочу вам, господа, сказать:
Кто в свете сем родился волком,
Тому лисицей не бывать.

СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ УКРОМЕ-ТАБУНЩИКЕ

Картина из русских народных сказок



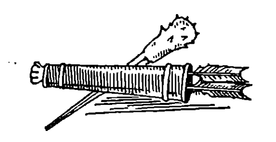
сть ли у нас на Руси богатырь, кто бы вышел силой со мною померяться и на булатных мечах переведаться?

Так перед ратью половецкою кричал великан Баклан-богатырь. А у того Баклана голова была, что пивной котел; брови, что щетина; борода, что камыш: ветер в нее дунет — инда свист пробежит. В руке у него был меч-кладенец, такой широкий, что на нем хоть блины пеки; а всех его доспехов ратных, когда он их снимал с себя и складывал на телегу, три пары волов и с места не могли тронуть.

— Что ж, или нет бойца со мною переведаться? — крикнул-гаркнул Баклан-богатырь громче прежнего. Все князья и воеводы и храбрые могучие витязи приумолкли и дух притаили: все знали нечеловечью силу бакланову и слыхали про него молву, что он-де одним пальцем до смерти бы-

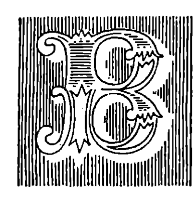
ка пришибает. Вот и выискался из обоза Укрома-табунщик, стал перед князьями и воеводами и повел к ним слово: «Государи князья и воеводы! не велите казнить, а дозвольте мне речь говорить. В прежние годы бывалые важивалась и у меня силишка: случалось, медведишка ли, другой ли косматый зверь повстречается — мне его сломать, как за ухом почесать. Благословите, государи князья и воеводы, и на этого дикого зверя руку поднять». Вот князья и воеводы и сильные могучие витязи пожали плечами и ответили Укроме-табунщику, что если он на белом свете нажился и богу во грехах своих покаялся, то они ему на вольную смерть идти не мешают. И пошел Укрома-табунщик на великана; Баклан же богатырь только его завидел — и засмеялся молодецким хохотом, инда у воевод и витязей в ушах затрещало: «Что-де это за бойца на меня высылаете? мне таких полдюжины и под одну пяту мало!» — «Не чванься, бритая башка половецкая,— молвил ему Укрома-табунщик.— Добрые люди говорят: *не сбил — не хвались*. Хочешь ли со мною переведаться рука на руку? так вот кинь свое посечище: у моего батюшки много такого лому, только им у нас не храбрые витязи дерутся, а на ночь ворота запирают».— «Будь по-твоему»,— отвечал Баклан-богатырь и бросил свой меч-кладенец на сыру землю. «А это что на тебе? — сказал ему Укрома.— У моего батюшки из такого чугунного черепья собак кормят, а не храбрых витязей в него наряжают».— «И это сниму, когда тебе не любо»,— со смехом промолвил Баклан-богатырь и снял с себя высокбулатный шелом. «А это что на тебе? — опять ему говорил Укрома.— У моего батюшки малые дети в такие сетки мелких пташек ловят, а не храбрых витязей в них наряжают».— «Пожалуй, и это сниму, коли ты боишься запутаться, как синица»,— с тем же смехом отвечал великан и скинул с себя стальную кольчугу переборчатую. Так Укрома-табунщик расценил на великане все доспехи ратные: не оставил ни щита, ни рукавиц, ни поножей, ни поручей железных, все было им на смех поднято; а Баклан-богатырь снимал с себя доспех за доспехом и все смеялся злым хохотом, смекая себе на уме: «Я-де и без этого раздавлю тебя, как мошку!» Вот и крикнули-гаркнули оба бойца и бросились друг на друга, словно два дикие зверя. Великан схватил Укрому в охапку, сжал его и хотел задушить; только Укрома был крепок, словно мельничный жернов: как ни бился с ним великан, у него ребра не подавались; наш табунщик только пыхтел да пожимался. Сам же он впился в Баклана, как паук, уцепился за него обеими руками подмышки, за-

пустил пальцы, рванул и выхватил два клока мяса. Великан заревел от боли как бешеный и руки опустил, а Укрома стал на ноги, как ни в чем не бывал, и, не дав великану опомниться и с силою справиться, схватил его за обе ноги, тряхнул и повалил, как овсяный сноп. Вся дружина православная вскликнула от радости, а рать-сила половецкая завопила, словно душа с телом разлучилася. Укрома-табунщик дослужил свою службу князьям и воеводам: он схватил великанов меч-кладенец и одним махом отсек Баклану-богатырю буйную голову. Тогда рать-сила басурманская дрогнула и побежала с поля, инда земля застонала; а русские князья и воеводы три дня пировали на месте побоища, честили да выхваляли Укрому-табунщика, снарядили его доспехами богатырскими и нарекли сильным могучим витязем Укромою, русских сердец потехою, а половецких угрозою.



СКАЗКА О МЕДВЕДЕ КОСТОЛОМЕ И ОБ ИВАНЕ, КУПЕЦКОМ СЫНЕ

Посвящается баронессе С. М. Дельвиг



старые годы, в молодые дни, не за нашею памятью, а при наших дедах да прапрадедах жил-был в дремучих лесах во муромских страшный медведь, а звали его Костолом. Такой он страх задал люду православному, что ни душа человеческая, бывало, не поедет в лес за дровами, а молодые молодки и малые дети давным-давно отвыкли туда ходить по грибы аль по малину. Нападет, бывало, супостат-медведь на лошадь ли, на корову ли, на прохожего ли оплошалого — и давай ломить тяжелою своею лапою по бокам да в голову, инда гул идет по лесу и по всем околоткам; череп свернет, мозг выест, кровь выпьет, а белые кости огложет, истрощит да и в кучку сложит: оттого и прозвали его *Костоломом*. Добрые люди ума не могли приложить, что это было за диво. Иные говорили: это-де божье попущение, другие смекали, что то был колдун-обо-

ротень, третьи, что леший прикинулся медведем, а четвертые, что это сам лукавый в медвежьей шкуре. Как бы то ни было, только хоть никто из живых не видал его, а все были той веры, что когда Костолом по лесу идет — то с лесом равен, а в траве ползет — с травою равен. Горевали бедные крестьяне по соседним селам; туго им приходилось: ни самим нельзя стало выезжать в поле на работы, страха ради медвежьего, ни стада выгонять на пастьбу. Сильных могучих богатырей, Ильи Муромца да Добрыни Никитича, не было уже тогда на белом свете, и косточки их давно уже сотлели; а мечи их кладенцы, сбруи ратные и копья булатные позаржавели: так избавить крестьян от беды и очистить муромский лес от медведя Костолома было некому.

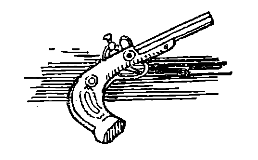
Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Прошло неведомо сколько времени, а медведь Костолом все попрежнему буянил в лесу муромском. Вот забрел в одно ближнее к лесу селение высокий и дюжий парень, статен, бел, румян, белокур, лицо полно и пригоже, словно красное солнышко. Все девицы и молодицы на него загляделися, а молодые парни от зависти кусали себе губы. За́ плечами у прихожего была большая связка с товарами, а в руках тяжелый железный аршин, которым он, от скуки, помахивал, как павлинным перышком. «Здравствуй, добрый молодец,— повел с ним речь Вавила, сельский староста,— издалека ли идешь, куда путь держишь?» — «Не больно издалека, дядя: города я Коврова, села Хворостова, прихода Рождества Христова; а путь держу к Макарьеву на ярманку».— «А с какими товарами, не во гнев тебе будь сказано?» — «Да с разными крестьянскими потребами и бабьими затеями: ино платки да кумачи, ино серьги да перстеньки».— «А как величать тебя, торговый гость?» — «Зовут меня: Иван, купецкий сын».— «И ты не боишься один ходить по белу свету с товарами?» — «Чего бояться, дядя? на дикого зверя есть у меня вот этот аршин, а с лихим человеком я и просто своими руками справлюсь».— «Зверь зверю не чета, удалый молодец. Вот, недалеко сказать, и у нас завелась экая причина в муромском лесу: медведь Костолом дерет у нас и людей, и всякий крупный и мелкий скот».— «Подавайте мне его! — вскрикнул Иван, купецкий сын, засуча рукава красной александрийской своей рубашки.— Я с ним слажу, будь хоть он семи пядей во лбу. Давно уже слышу я слухи про этого медведя, а хотел бы видеть от него виды. Меня сильно берет охота с ним переведаться... Что же вы распустили горло, зубоскалы? — примолвил он с сердцем, оборотясь к молодым

парням, которые смеялись до пологу, потому что сочли его за хвастуна.— Ну вот отведайте-ка сил со мною: не поодиночке, такого из вас, вижу, не сыщется, а ухватитесь сколько можете больше за обе мои руки». Вот и налегли ему на каждую руку по четыре человека, и держались изо всех сил. Иван, купецкий сын, встряхнулся — и все попадали как угорелые мухи. «Это вам еще цветики, а вот будут и ягодки,— сказал Иван, купецкий сын,— кто из вас хочет померяться моим аршином? Возьмите». Только кто ни брался за аршин, не мог и приподнять его обеими руками. «И не диво,— проговорил Иван, купецкий сын,— в нем двенадцать пуд счетных. Теперь смотрите же».— Он взял аршин в правую руку, размахнул им, инда по воздуху зажужжало, и бросил вверх так, что аршин из глаз ушел, а после с свистом полетел вниз и впился в землю на полсажени. Иван, купецкий сын, подошел к тому месту, выхватил аршин из земли как морковку и, поглядя на насмешников таким взглядом, что у каждого из них во рту пересохло, молвил: «Смейтесь же, удальцы! или вы только языком горы ворочаете?.. Ну, смелее, дайте окрик на самохвала».— «Молодец! силач!» — крикнули в один голос и старый, и малый. Староста Вавила повел Ивана, купецкого сына, в свой дом, истопил баню для дорогого гостя, накормил его, напоил и спать уложил.

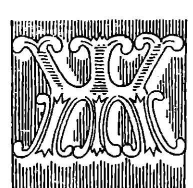
Вот на другой день, еще черти в кулачки не бились, Иван, купецкий сын, встал, умылся, богу помолился и, оставя связку с товарами в доме у старосты, взял только свой аршин и пошел к лесу. Близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли ходил он — мы не станем переливать из пустого в порожнее: скажем только, что все крестьяне не пошли в тот день на работу, а сошлись на площади перед церковью, молились богу за Ивана и за то, чтоб он одолел медведя Костолома, и забыли о еде и питье. Щи выкипели в горшках у баб, каша перепарилась, и хлебы в печи пригорели, а никто и не думал идти обедать. Ждать-пождать — Ивана нет как нет! Вот и солнышко пошло на закат; все крестьяне, осмелясь, вышли из деревни, стали около огородов и не сводя глаз смотрели к лесу; жалели о купецком сыне, думали, что он на беду свою расхрабрился; а красные девушки и вздыхали тайком в кумачные рукава свои — не ведаю, об Иване или о медвежьей шкуре: не время было тогда выпытывать. Вдруг послышался из лесу такой страшный рев, что у всех от него головы пошли ходенем. Смотрят — из лесу бежит большой-пребольшой черный медведь, а на нем сидит верхом Иван, купецкий сын, держит медведя руками за уши и толкает под

бока каблуками, которые подбиты были тяжелыми железными подковами; аршин Иванов висит у него за поясом и от медвежьей рыси болтается да тоже постукивает по медведю. Спустя малое время медведь с седоком своим прибежал прямо к деревне и упал замертво у самого того места, где собрались крестьяне. Иван, купецкий сын, успел соскочить вовремя, схватил свой аршин и единым махом раскроил череп медведю. «Вот вам, добрые люди, живите да радуйтесь,— молвил купецкий сын крестьянам,— видите ли, у вашего Костолома теперь и у самого кости переломаны». После того зашел он к старосте, выпил чару другую зелена вина, наелся чем бог послал, сказал спасибо хозяину и, вскинув связку за плеча, пожелал всему сельскому миру всего доброго. «Чем же мы тебе поплатимся за твою послугу?» — спрашивали крестьяне. «Добрым словом да вашими молитвами»,— отвечал Иван, купецкий сын. «А шкура-то медвежья? ведь она твоя!» — вэговорили ему крестьяне. «Пусть она при вас останется: берегите ее у себя в деревне да вспоминайте про Ивана, купецкого сына!» За сим поклон — и был таков.

Крестьяне пировали три дня и три ночи по уходе Ивана, купецкого сына, на радостях о своей избаве от медведя Костолома. И я там был, мед-пиво пил: по усам текло, а в рот не попало... А к этой сказке вместо присловья любезной нашей имениннице желаю доброго здоровья: дай ей бог жить да поживать, худа не знать, а добро наживать да пиры пировать!



СКАЗКИ О КЛАДАХ



ители С...го уезда и теперь, я думаю, помнят одного из тамошних помещиков, отставного гусарского майора Максима Кирилловича Нешпету. Он жил в степной деревушке, верстах в тридцати от уездного города, и был очень известен в тамошнем околотке как самый хлебосольный пан и самый неутомимый охотник. Нимврод и король Дагоберт едва ль не уступили бы ему в беспощадной вражде к черной и красной дичи и в нежной привязанности к собакам. Привязанность эта до того доходила, что собаки съедали у него весь годовой запас овса и ячменя; а чего не съедали собаки, то помогали докончить добрые соседи, большие охотники порыскать в поле с гончими и борзыми и еще больше охотники поесть и попить сами и покормить скотов своих на чужой счет.

При таком хозяйственном распорядке, мудрено ли, что

небогатый годовой доход от тридцати душ крестьян и небольшого участка земли был ежегодно съеден в самом буквальном смысле. Этого мало: добрый майор, из жалости, никогда не раздавал щенков в чужие руки, а псарня его плодилась на диво; с умножением псарни должны были поневоле умножиться и расходы. Прибавьте к тому, что шесть самых видных и дюжих парней из его деревушки переряжены были в псарей; что при таком обширном охотничьем заведении необходимо было иметь несколько лошадей лишних как для самого майора, так и для псарей его, а часто еще для одного или двоих из добрых приятелей, у которых собственные лошади всегда находили средство или расковаться, или вывихнуть себе ноги. Полевые работы шли плохо, потому что шестеро псарей в осень и в зиму день при дне скакали за зайцами и лисицами, а остальную часть года или отдыхали, или ухаживали за собаками, следовательно, вовсе оторваны были от барщины и от домов своих; а потеря дюжины здоровых рук в небольшом сельском хозяйстве есть потеря весьма значительная. Так, год от года, псарня доброго майора плодилась, расходы умножались, доходы уменьшались, а долги нарастали и чрез несколько лет сделались, по его состоянию, почти неоплатными. Это бы все ничего, если бы майор был сам своею головою; но у него было два сына и дочь, молодая и прелестная Ганнуся, расцветшая со всею свежестью красавицы малороссийской. Она составляла главную заботу бедного и неосторожного отца. Сыновья учились в губернском городе; и майор говаривал, что с божьею помощию и своим рассудком они вступят со временем в службу и будут людьми; но Ганнуся была уже невеста: где ей найти жениха, без приданого, и как ей оставаться сиротою после смерти отца, без хлеба насущного?

Такие мысли почти неотступно тревожили доброго майора; он сделался уныл и задумчив. Часто тяжкая дума садилась к нему на седло, шпорила или сдерживала невпопад коня его, заставляла пропускать дичь мимо глаз или метила ружьем его в кость, вместо зайца. Часто, в долгую зимнюю ночь, злодейка-грусть закрадывалась к нему под подушку, накликала бессонницу и с нею все сбыточные и несбыточные страхи. То слышался ему звонкий колокольчик: вот едут судовые описывать имение и продавать с молотка; то чудилось, что он лежит в гробу под тяжелою могильною насыпью, и между тем бедная Ганнуся, сиротою и в чужих людях, горькими слезами обливает горький кусок хлеба. Голова его пылала, в глазах светились искры; скоро эти искры превра-

щались в пожар... ему казалось, что дом в огне, в ушах отзывался звон набата... он вскакивал; и хотя страшные мечты исчезали, но биение сердца и тревоги душевные гнали его с постели. Он скорыми, неровными шагами ходил по комнате, пока усталость, а не дремота, снова укладывала его на жгущие подушки.

В одну из таких бессонных ночей, лежа и ворочаясь на кровати, выискивал он в голове своей, чем бы разбить свою тоску и рассеять мрачные думы. Ему вспало на мысль пересмотреть старинные бумаги, со времени еще деда майорова уложенные в крепкий дубовый сундук и хранившиеся у старика под кроватью, по смерти же его, отцом майоровым, со всякою другою ненужною рухлядью, отправленные в том же сундуке на бессрочный отдых в темном углу чердака. Сам майор, никогда не читая за недосугом, оставлял их в полное распоряжение моли и сырости; а люди, зная, что тут нечем поживиться, очень равнодушно проходили мимо сундука и даже на него не взглядывали. Чего не придет в голову с тоски и скуки! Теперь майор будит своих *хлопцев*, посылает их с фонарем на чердак и ждет не дождется, чтоб они принесли к нему сундук. Наконец, четверо хлопцев насилу его втащили: он был обит широкими полосами листового железа, замкнут большим висячим замком и сверх того в несколько рядов перевязан когда-то крепкими веревками, от которых протянуты были бичевки, припечатанные дедовскою печатью на крышке и под нею. Хлопцы с стуком опустили сундук на землю; перегнившие веревки отскочили сами собою, и пыль, наслоившаяся на нем за несколько десятков лет, столбом взвивалась от крышки. Майор еще прежде отыскал ключ, вложил его в замок и сильно повернул, но труд этот был излишний: язычок замка перержавел от сырости и отпал при первом прикосновении ключа, дужка отвалилась, и замок упал на пол. То же было и с крышкою, у которой ржа переела железные петли.

Тяжелый запах от спершейся в бумагах сырости не удержал майора: он бодро приступил к делу. Хлопцы, уважая грамотность своего пана и дивясь небывалому дотоле в нем припадку любочтения, почтительно отступили за дверь и молча пожелали ему столько ж удовольствия от кипы пыльных бумаг, сколько сами надеялись найти на жестких своих постелях. Между тем майор вынимал один по одному большие *свитки*, или бумаги, склеенные между собою в виде длинной ленты и скатанные в трубку. То были старинные купчие крепости, записи, отказные и проч. на поместья и усадь-

бы, давно уже распроданные его предками или перешедшие в чужой род; два или три гетманские универсала, на которых «*имярек* гетман, божиею милостию, *такой-то*», подписал *рукою властною*. Все это мало удовлетворяло любопытству майора, пока наконец не попались ему на глаза несколько тетрадей старой уставчатой рукописи, где, между сказками о Соловье-разбойнике, о Семи мудрецах и о Юноше и тому подобными, одна небольшая, полусотлевшая тетрадка обратила на себя особенное его внимание. Она была исписана мелким письмом, без всякого заглавия, но когда майор пробежал несколько строк, то уже не мог с нею расстаться. И вправду, волшебство этой рукописи было непреодолимо. Вот как она начиналась[1]:

«Попутчик Сагайдачного Шляха[2] берет от Трех Курганов поворот к Долгой Могиле. Там останавливается он на холме, откуда в день шестого августа, за час до солнечного заката, человеческая тень ложится на полверсты по равнине, идет к тому месту, где тень оканчивается, начинает рыть землю и, докопавшись на сажень, находит битый кирпич, черепья глиняной посуды и слой угольев. Под ними лежит большой сундук, в котором Худояр[3] спрятал три большие серебряные стопы, тридцать ниток крупного жемчуга, множество золотых перстней, ожерелий и серег с дорогими каменьями и шесть тысяч польских злотых в кожаном мешке...»

Словом, это было *Сказание о кладах*, зарытых в разных местах Малороссии и Украины. Чем далее читал Максим Кириллович, тем более дивился, что он живет на такой земле, где стоит только порыться на сажень в глубину, чтоб быть в золоте по самое горло: так, по словам этой рукописи, страна сия была усеяна подспудными сокровищами. Как не отведать счастия поисками этих сокровищ? Дело, казалось, такое легкое, а добыча такая богатая. Одно только не допускало майора на другой же день приступить к сим поискам: тогда была зима, поля покрыты были глубоким снегом; трудно было рыться под ним, еще труднее отыскивать заметки, положенные в разных урочищах над закопанными кладами. Но должно было покориться необходимости: русской зимы не пересилишь — это уже не раз было доказано, особливо чужеземным врагам народа русского. Так и майор принужден был отложить до весны свои подземные исследования и на этот раз был богат только надеждою. Однако ж он не вовсе оставался без дела: рукопись была написана нечеткою старинною рукою и под титлами, т. е. с надстрочными сокращениями слов, майор учен был русской грамоте,

как говорится, на медные деньги, и можно смело сказать, что никакому археологу не было столько труда от чтения и пояснения древних рукописей геркуланских, сколько нашему Максиму Кирилловичу от разбиранья любопытной его находки. Наконец он принял отчаянные меры: заперся в своей комнате и самым четким по возможности своим почерком начал переписывать тетрадку, надеясь, что сим способом он добьется в ней до настоящего смысла. Псовая охота не приходила уже ему и в голову, борзые и гончие выли со скуки под окнами, а псари от безделья почти не выходили из шинка. Так проходили целые недели, и не мудрено: с непривычки к чистописанию, майор писал очень медленно; при том же часто, пропустя или переинача какое-либо слово или не разобрав его в подлиннике, он не доискивался толку в своем списке и с досады раздирал по нескольку страниц; должно было приниматься снова за старое, и от того-то дело его подвигалось вперед черепашьим шагом. Надобно сказать, что вместо отдыха от письменных своих подвигов он, из благодарности к сундуку, прибил к нему своими руками новые петли и пробой, уложил по-прежнему вынутые из него бумаги, запер его крепким замком и едва не надсадился, подкачивая его под свою кровать. Домашние майоровы согласно думали, что он пишет свою духовную. Особливо Ганнусю это крайне печалило: бедная девушка воображала, что отец ее, предчувствуя близкую свою кончину, желал устроить будущее состояние детей своих и делал нужные для того распоряжения. Быв скромна и почтительна, она не смела явно спросить о том у отца, а пробраться тайком в его комнату не было возможности: майор почти беспрестанно сидел там, а когда выходил, то запирал дверь на замок и уносил ключ с собою. Соседи майоровы почти совсем перестали посещать его и поделом! он не выезжал уже до рассвета с своими псами и псарями на охоту; к тому же, сидя на заперти в своей комнате, не мог по-прежнему беседовать с гостями и потчевать их пуншем с персиковою водкою, а добрые соседи не хотели даром терять пороши или выслушивать рассказы о майоровых походах на свежую голову. Были люди, которые не только его не покинули, но еще стали навещать чаще прежнего: это его заимодавцы, купцы из города, у которых он забирал в долг товары, и честные евреи, поставщики всякой всячины. Эти люди ничем не скучают, когда дело идет о получении денег, и за каждый рубль готовы отмерять до сотни тысяч шагов полным счетом.

Однако ж у майора был один — не скажу истинный друг,

а прямо добрый приятель. Истинный друг, по словам одного мудреца, есть такое существо, которого воля сливается с вашею волею и у которого нет других желаний, кроме ваших; а майор Максим Кириллович Нешпета и старый войсковый писарь Спирид Гордиевич Прямченко никогда не хотели одного, не соглашались почти в двух словах и поминутно спорили дозарезу. Несмотря на то, когда майору случалась нужда в деньгах или в чем другом,— а эти случаи очень были нередки,— войсковый писарь никогда ему не отказывал, если только у самого было что-либо за душою; он же сочинял все бумаги по судным майоровым делам, прибавляя к тому полезные советы — и на одном только этом пункте у них не было споров; ибо майор, будучи сам не великий делец, слепо доверял войсковому писарю, тем больше что никогда не был обманут в своем доверии. Однако же в теперешнем случае майор не смел или не хотел ввериться войсковому писарю, которого называл *вольнодумцем* за то, что сей, учившись когда-то в киевской академии, не верил киевским ведьмам, мертвецам и кладам и часто смеивался над предрассудками и суевериями простодушных земляков своих. Майор, который, по его словам, почти сам видел, как однажды ведьма бросалась и фыркала кошкою на одного гусара, его сослуживца, часто с криком и досадою опровергал доказательства своего соседа и предрекал ему, что *будет худо;* но это худо не приходило к войсковому писарю, хотя они спорили об этих важных предметах лет двадцать почти при каждом свидании.

Отсторонив от себя этого советчика, майор обратился к другому. Это был его однополчанин, отставной гусарский капрал Федор Покутич, которого майор принял в свой дом, давал ему, как называл, *паек* от своего стола и очень достаточную *порцию* водки, покоил его и во всяком случае стоял за него горою. Из благодарности старый капрал присматривал в летнее время за садом и пчельником майоровым, а в осеннее и зимнее — за исправностью псарей и охотничьей сбруи. Сверх того он лечил майоровых лошадей и собак, почитал себя большим знатоком во всех этих делах и весьма нужным лицом в домашнем быту своего патрона. Старый капрал (такое название давали ему все от мала до велика) был по рождению серб и чуть ли еще не в семилетнюю войну вступил в русскую службу. Высокий рост, широкие плечи и грудь, смуглое лицо с крупными, резко обозначенными чертами, рубец на безволосом теме, другой на правой щеке, а третий за левым ухом, простреленная нога, длинные, седые усы, густой, отрывистый бас его голоса, богатырские

ухватки и три медали на груди — внушали к нему почтение не только в крестьян майорских и в других поселян, но даже и в соседних мелкопоместных панков. Он ходил всегда в форменной солдатской шинели, на которую нашиты были его медали, закручивал в завитки уцелевшие на висках два пасма волос, а седины своего затылка туго-натуго обвивал черною лентою, крайне порыжевшею от долголетнего употребления. Осенью и зимою, когда майор почему-либо рано возвращался с охоты и когда не было у него гостей, призывал он старого капрала, вспоминал с ним про давние свои походы и молодечество или заставлял его рассказывать всякие были и небылицы; а на это капрал был и мастер и охотник. Между тем как майор отдыхал на лежанке, старый его сослуживец, растирая табак в глиняном горшке и почасту прихлебывая из сулеи вечернюю свою порцию, пересказывал ему в сотый раз казарменные прибаутки, сказки и страшные были, со всеми прикрасами сербско-малороссийского своего красноречия. К суевериям и предрассудкам своей родины, залегшим смолоду в его памяти, прибавил он порядочный запас поверий и небылиц, выдаваемых за правду в Малороссии и Украине: по сему можно судить, как занимательна была его беседа для любителей чудесного; а добрый наш майор был из числа самых жарких любителей всего такого.

Разумеется, что в этом запасе старого капрала сказки о кладах занимали не последнее место. Мудрено ли, что майор, зная обширные его сведения и предполагая в нем, на веру его же слов, большую опытность по сей части, решился с ним советоваться насчет будущих своих поисков? Чтоб не откладывать вдаль исполнения этой благой мысли, тотчас послал он одного из хлопцев отыскивать капрала, который, дивясь и жалея, что старый его командир *сбился с ступи* — так называл он замеченную им перемену в привычках майоровых,— скучал и наедине потягивал свою порцию.

Приказ командирский был для него законом. Старый капрал пригладил усы, закрутил виски, осмотрелся, все ли на нем исправно и пошел, соблюдая приличную вытяжку и стараясь как можно меньше прихрамывать раненою ногою. Войдя в дверь, он выпрямился, нанес правую руку на лоб и твердым голосом проговорил:

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!

— Здравствуй, капрал! каково поживаешь? Я давно не видал тебя.

— Гм, ваше высокоблагородие! не моя вина; я всегда готов на смотр по первому приказу.

— Верю и знаю; да мне было не до того... Садись, старый служивый, да поговорим...

— Не о старине ли?.. Я думаю, ваше высокоблагородие совсем о ней забыли.

— Нет; старину свою отложим мы до будущей зимы, когда у нас от сердца отляжет. Теперь потолкуем о деле.

— Извольте, ваше высокоблагородие!

И капрал, который, между прочими делами по дому, произвольно взял на себя обязанность каждый день докладывать майору о сельских работах и вообще о хозяйстве, пустился вычислять все, что сделано было в доме, на винокурне и в мельнице, с тех пор как майор вовсе перестал заниматься домовыми своими делами. Это вычисление не скоро бы кончилось, если б майор не перебил его.

— Все это очень хорошо, да все не то,— вскрикнул нетерпеливый майор.— Помнишь ли, ты не раз мне рассказывал о кладах? Без дальнего внимания, при таких рассказах я или дремал, или слушал вполуха. Одно только у меня осталось на памяти: что над кладами, из любви к сокровищам, всегда сторожит *недобрый* в том виде, в каком человек, зарывший клад, положил на него зарок являться.

— Да: и собакой, и кошкой, и курицей, только не петухом. Иногда сидит он диким зверем: медведем, волком, обезьяною с огненными глазами и крысьим хвостом; иногда чудовищем, Змеем Горыничем о семи головах; иногда даже и человеком, не в нашу меру будь сказано.

— У меня есть на примете кое-какие кладишки, и можно бы за ними порыться... Об этом расскажу тебе после. А теперь хотел бы снова услышать повнимательнее о прежде найденных кладах, чтобы в пору и во время примениться к тому, как добрые люди поступали в таких случаях.

— А вот видите ли, ваше высокоблагородие! (таков был обыкновенный приступ всех рассказов старого капрала). Я не служил еще в том полку, в котором находился под командою вашего высокоблагородия; шли мы в глубокую осень из дальнего похода, и нашему полку расписаны были зимние квартиры в К....ском повете. Наш эскадрон поставлен был в одном селении, а в том числе мне отведена была квартира у одной доброй старушки. Хата ее чуть не вертелась на курьих ножках: низка, ветха и стены только что не валились; толкни в угол коленом — она бы и вдосталь рассыпалась; а дом как полная чаша, и в золотой казне, по приметам, у старой не было недостатка. Мне было у нее не житье, а масленица; чего хочешь, того просишь: пить, есть, всего по гор-

ло. Ну, словом сказать, она наделяла и покоила меня, как родного сына, и часто даже называла меня *сынку*[4]. Дивились и я и мои товарищи такой доброте старушкиной; дивились и тому, что у нее, под этою ветхою кровлею, такое во всем благословение божие. Стали наведываться о ней у соседей, и те нам сказывали, что у хозяйки моей был один сын, как порох в глазу, и того, по бедности, сельский атаман[5] отдал в рекруты, что с тех пор не было о нем ни слуху, ни духу и что старушка, расставшись с ним, долго и неутешно плакала. Не было у ней подпоры и помоги, некому было обрабатывать поля и смотреть за домом; скудость ее одолела, она пошла по миру и многие годы бродила из селения в селение, по ярмаркам и богомольям, питаясь мирским подаянием; как за три года до нашего квартированья вдруг разбогатела. Откуда что взялось: и теплая опрятная одежда вместо нищенского рубища, и лакомый кусок вместо черствых крох милостынных[6]. Домишка хотя она и не перестраивала, да о том и не горевала: добрые соседи, за ее хлеб-соль и ласку, а пуще за чистые деньги, возили ей на зиму столько дров, что и порядочную винокурню можно бы без оглядки отапливать круглый год. Со всем тем, она никого не принимала на житье и даже по крайней только нужде впускала к себе в дом любопытных соседей; когда же уходила из дому, то двумя большими замками запирала двери. В селении пошли о ней разные толки, и еще в нашу бытность соседи старушкины натрое толковали о скорой ее разживе: одни думали, что она, во время своего нищенства, искусилась лестью врага нечистого и сделалась ведьмою; другие, что она спозналась с подорожною челядью и в ночную пору давала у себя притон разбойникам, за что будто бы они ее наделяли; третьи же, люди рассудчивые, видя, что она по-прежнему богомольна и прибежна к церкви божией и что у нее никогда не видали ни души посторонней и не слыхали по ночам ни шуму, ни шороха,— говорили, что она нашла клад; а как и где — никто о том не знал, не ведал.

Признаться, у меня не полегчало на душе от всех таких рассказов. Если хозяйка моя колдунья, думал я, то жить под одной кровлей с ведьмою вовсе мне не по нутру. В какую силу она меня прикармливает да привечает? Почему знать, может быть, ей нужна моя кровь или жир, чтоб летать из трубы на шабаш. Вот я и стал за нею подмечать: ночи, бывало, не сплю, все слушаю, а не заметил за нею никакого бесовского художества. Старушка моя спит, не шелохнется, а если, бывало, и пробудится, то вздохнет и вслух сотворит

молитву. Это меня поуспокоило, только не совсем: я стал приглядывать и обыскивать в доме. Надобно вам сказать, что старуха во всем мне верила: уйдет, бывало, и оставит на мои руки свой домишка со всею рухлядью. Вот однажды, когда она уходила надолго, я давай шарить да искать по всей избе. В переднем углу, под липовою лавкою, стоял сундук с платьем и другим скарбом; веря моей совести, старушка ушла, не замкнув его. Я выдвинул его, пересмотрел в нем все до последней нитки; ничего не было в нем такого, над чем бы можно закусить губы и посомниться. Я уже начал его вдвигать, как вдруг сундук, став на свое место, стукнул обо что-то так громко, что гул пошел по комнате. Я опять его отодвинул; ощупал руками место — там были доски; я разобрал их; под досками врыт был в землю медный котел ведра в два, а в котле, снизу доверху, все серебряные деньги, и крупные, и мелкие, начиная от крестовиков до старинных копеечек. У меня, сказать правду, глаза распрыгались на такое богатство; только, во-первых, от самого детства никогда рука моя не поднималась на чужое добро; а во-вторых, знал ли я, где и кто чеканил все эти круглевики? Может быть — бродило тогда у меня в голове — если я до них дотронусь, то они рассыплются золою у меня в руке. Я убрал все по-прежнему, поставил сундук на свое место и дожидался старухи как ни в чем не бывало.

За ужином я вздумал от нее самой выведать правду, хоть обиняками. Для этого я завел сперва речь о ее сыне; старуха моя расплакалась горькими слезами и призналась, что положила на себя обещание всякого военного человека, которого бог заведет к ней, поить, кормить и покоить, как родного сына. «От этого,— прибавила она,— верно, и моему сынку будет лучше на чужой стороне, а если бог послал по его душу, легче в сырой земле. Сам ты видишь, служивый, твердо ли я держу свое обещание». Такие старухины речи и меня чуть не до слез разжалобили; я почти уже каялся в своих подозрениях, однако ж все хотел допытаться, отчего она разбогатела. «Мне сказывали, бабушка, ты прежде была в нужде и горе,— молвил я,— расскажи мне, как тебя бог наделил своею милостию?» Старуха смутилась и призадумалась от моего вопроса, однако ж ненадолго; помолчав минуты с две, рассказала она мне все дело таким порядком:

— Жила я, *сынку*, как ты уже слышал, в горе и бедности, бродила по миру и питалась подаянием. Хлеб милостынный не горек, но труден; ноги у меня были изъязвлены и почти не служили от многой ходьбы и усталости. Однажды я сдела-

лась нездорова и осталась дома; запасу было у меня дни на три, так я и не боялась, что умру с голоду. Тогда была поздняя осень; в долгий вечер, зажегши лучину, сидела я и чинила ветхое свое лохмотье. Вдруг откуда ни возьмись белая курица с светлыми глазами, ходит у меня по полу и поклохтывает. Я удивилась; у меня не было в заводе ни кур, ни другой какой живности; соседние тоже не могли забрести: им нечем было бы у меня поживиться. Курица обошла трижды кругом по хате и мигом пропала из виду. Мне стало жутко; я перекрестилась, сотворила молитву и думала, что мне так померещилось. Когда же легла спать, мне приснился старичок, низенький, дряхлый и седенький, с длинною, белою бородою и в белой *свите*. Он мне сказал: «Раба божия! тебе дается счастие в руки, умей его захватить». И с этими словами как не бывал; только легкое облачко, вьючись, понеслось кверху. На другой вечер, и в ту же пору, опять курица трижды прошлась кругом по хате и проклохтала, и также исчезла; я заметила только, что она ушла в передний угол. Ночью тот же старичок явился мне снова и сказал мне: «Раба божия! эй, не упусти своего счастия; будешь на себя плакаться, да поздно. Еще однажды только ему суждено тебе явиться». Я осмелилась и спросила его: «Скажи, мой отец, как же мне добыть это счастье?» — «Возьми палку,— отвечал старик,— и когда оно покажется тебе снова, то помни: на третьем его обходе вкруг хаты ударь по нем, да меть по самому гребню; а после живи да поживай, славь бога и делай добро». Проснувшись утром, я нетерпеливо ждала, чтобы день прошел поскорее, а между тем припоминала и твердила слова старика. Вот наступил и вечер; я взяла в руки палку и глаз не отводила от пола; вдруг выбежала моя курица и поскакала по хате; она была крупнее прежнего и клохтала чаще и громче; высокий гребень на ней светился, а глаза горели, как уголья. Положив на себя крестное знамение, чтобы, какова не мера, не поддаться вражьему искушению, я подняла палку и стерегла курицу на третьем обороте; лишь только она поравнялась со мною, я ударила ее изо всей силы вдоль головы, по самому гребню; курицы не стало, а передо мною рассыпались крупные и мелкие серебряные деньги...

— Все это так,— молвил майор, перервав повесть капрала,— да дело у нас идет не о таком кладе, который сам является, а о таком, который надобно отыскивать под землею.

— За мною дело не станет, ваше высокоблагородие; вся сила в том, как положен клад, с заговором или без заговора?

— Почему ж я это знаю? А надобно готовым быть на всякий случай. Так положим, что наш клад заговорили, когда зарывали в землю.

— И тут я могу пригодиться вашему высокоблагородию. Лишь была бы у нас *разрыв-трава* или папоротниковый цвет.

— Вот то-то и беда, что нет ни того, ни другого. Скажи мне по крайней мере, где водится разрыв-трава и как добывается папоротниковый цвет?

— Разрыв-трава водится на топких болотах, и человеку самому никак не найти ее, потому что к ней нет следа и примет ее не отличишь от всякого другого зелья. Надобно найти гнездо кукушки в дупле, о той поре как она выведет детей, и забить дупло наглухо деревянным клином, после притаиться в засаде и ждать, когда прилетит кукушка. Нашедши детенышей своих взаперти, она пустится на болото, отыщет разрыв-траву и принесет в своем носике; чуть приложит она траву к дуплу, клин выскочит вон, как будто вышибен обухом; в это время надобно стрелять в кукушку, иначе она проглотит траву, чтоб люди ее не подняли. Папоротниковый цвет добывать еще труднее; он цветет в одну только пору: летом, под Иванов день, в глухую полночь[7]. Если ваше высокоблагородие не поскучаете, я расскажу вам, что слышал от одного сослуживца, гусара, который сам, с отцом своим и братом, когда-то искал этого цвета в молодости, еще до службы.

— Рассказывай смело; я рад тебя слушать хоть до рассвета.

— Помните ли, ваше высокоблагородие, нашего полку гусара, Ивана Прытченка? Он был лихой детина: высок ростом, статен, силен и смел,— хоть на медведя готов один идти... Смелостью и в могилу пошел. В первую Турецкую войну, помнится, под Браиловым, один басурманский наездник выскочил из крепости, вихрем пронесся по нашему фронту, выстрелил из обоих пистолетов и стал под крепостными стенами; там, беснуясь на своем *аргамаке*, браня нас и подразнивая, он вызывал молодца переведаться. Прытченко стоял подле меня; видно было, что его взорвало басурманово самохвальство: он горячил своего коня и вертелся в седле, как на проволоке. Вдруг, оборотясь ко мне, он вскрикнул: «Благослови, товарищ»,— и не успел я дать ответ, уж вижу, наш Прытченко летит стрелою на басурмана, доскакал и давай саблею крошить неверного. С третьего удара, смотрим — турок как сноп на землю, а удалый наш товарищ, схватя его коня за повода, оборотился назад... и в то же время — паф!

Турецкие собаки пустили в него ружейный огонь со стены. Добрый конь вынес его из этого адского огня, добежал до фронта, хотел стать на место — и упал. Тогда только мы заприметили, что конь и ездок были изранены. Я соскочил с седла, хотел подать помощь бедному товарищу и вынести его за фронт... Поздно! он уже выбыл из списка! Славный, храбрый был гусар и добрый товарищ: последними крохами, бывало, поделится с своим братом! Упокой, господи, его душу!..

Капрал вздохнул и поднял глаза кверху. Голос его изменился к концу рассказа, и блеск свечи бегло мелькнул на влажных его ресницах. Старый служивый отер глаза, хлебнул глоток своей порции и продолжал:

— Простите, ваше высокоблагородие! Я для того только припомнил об этом случае, чтобы показать вам, что такой молодец не струсил бы от пустяков. Вот что он мне рассказывал однажды в тот же поход, и незадолго перед своею смертью, когда мы, отставши ночью вдвоем от товарищей, тихим шагом ехали с фуражировки. Ночь была свежа и темна, хоть глаз выколи, нам нечем было согреться и отвести душу: походные наши сулеи были высосаны до капельки; притом же нас холодили и нерадостные думы: вот как-нибудь наткнемся на турецкую засаду. Мне не то чтобы страшно, а было жутко; я промолвился об этом Прытченкову. «Товарищ! — отвечал он.— Такую ли ночь я помню с молодых своих лет? Чего нам тут бояться? Турецких собак? Бритые их головы и бока их басурманские отзовутся под нашими саблями: а там, где не видишь и не зацепишь неприятеля и где он вьется у тебя над головою, свищет в уши и пугает из-под земли и сверху криками и гарканьем,— вот там-то настоящий страх, и я его изведал на своем веку».— «Расскажи мне об этом, товарищ, чтобы скоротать нам дорогу»,— молвил я. «Хорошо,— отвечал он,— слушай же. Нас было трое у отца и матери, три сына, как ясные соколы, молодец к молодцу: я был меньший. Отец наш был когда-то человек зажиточный: посылывал десять пар волов с *чумаками*[8] за солью и за рыбою; хлеба в скирдах и в закромах, вина в амбарах и другого прочего было у него столько, что весь бы наш полк было чем прокормить в круглый год; лошадей целый табун, а овец, бывало, рассыплется у нас на пастбище — видимо-невидимо. Да, знать, за какие тяжкие отцовские или дедовские грехи было на нас божеское попущение: в один год как метлою все вымело. Крымские татары отбили у нас весь обоз: и волы, и соль, и рыба — все там село; чумаки наши

пришли домой с одними *батогами*[9]. В летнюю пору, когда все мы ночевали в поле на сенокосе, вдруг набежали гайдамаки на наше село, заграбили у отца моего все деньги и домашнюю рухлядь и увели всех лошадей; в ту же осень и дом наш, со всем добром, с житницами и хлебом в овинах и скирдах, сгорел дотла, так что мы остались только в том, в чем успели выскочить. На беду еще случился скотский падеж, и изо всего нашего рогатого скота не осталось и десятой доли. Горевал мой отец на старости, сделавшись вдруг из самого богатого обывателя чуть не нищим; кое-как, сбыв за бесценок остальной свой скот и большую часть поля, построил он домишко и в нем, что называется, бился как рыба об лед. На свете таково: кто раз приучился к приволью и роскоши, тому трудно в целый век от них отвыкнуть; мой отец беспрестанно вспоминал о прошлом своем житье, тосковал и жаловался, даже говаривал, что за один день такого житья отдал бы остального своего полвека. Часто отец Герасим, приходский наш священник, который один из целой деревни не оставил нас при бедности, прихаживал к моему отцу, уговаривал его не печалиться и толковал ему, что богатство — прах. Тут обыкновенно он рассказывал нам об одном святом человеке, который, как и мой отец, лишился всего своего несметного богатства; и, мало того, похоронил всех детей и сам был болен какою-то тяжкою немощью; но при всякой новой беде не роптал и еще благословлял имя божие. Отец слушал все это, и у него от сердца отлегало; когда же, бывало, священник долго не придет, то отец мой снова разгорюется и опять за прежнее: все ему и спалось и виделось пожить так, как до черного своего года.

Вот прошел у нас в околотке слух об одном славном *знахаре*[10], который жил от нас верст за шестьдесят, одинок, в глуши, середи темного леса. Рассказывали, что он заговаривал змей, огонь и воду, лечил от всякой порчи, от укушения бешеных собак и даже прогонял нечистого духа; ну, словом, каждую людскую беду как рукой снимал. Отец мой тихонько подговорил меня, и, не сказавшись никому, мы отправились вдвоем к знахарю, потому что отец боялся идти к нему один. Долго ли, коротко ли шли мы, не стану рассказывать; скажу только, что под конец отыскали в лесу узкую тропинку между чащею и валежником, пустились по ней и пришли к высокому плетневому забору, которым обнесена была хата знахаря. Мы постучались у ворот; вдруг раздался лай, и вой, и рев; спустя мало страшный старик отпер нам ворота. Он был высокого роста, широкоплеч, с большою голо-

вою, с виду бодр, хотя и очень стар; длинные, густые волосы с проседью сбились у него войлоком на голове и в бороде; сквозь распахнутую рубашку видна была косматая грудь; в руках у него была толстая суковатая дубина. Взгляд у него был суров и дик; под широкими, навислыми бровями бегали и сверкали большие черные глаза. Они пятились изо лба, как у вола, и страшно было видеть, как он ворочал белками, по которым вдоль и вполерек бороздили кровавые жилы. «Что надобно?» — отрывисто проворчал он сиповатым голосом, и лай, и вой, и рев раздались сильнее прежнего. Я вздрогнул и обозрелся кругом: смотрю, по одну сторону ворот прикована пребольшая черная собака, а по другую — черный медведь, такой ужасный, каких я сроду не видывал. Старик грозно на них прикрикнул, и медведь, глухо мурча, попятился в берлогу, а собака, с визгом поджавши хвост, поползла в свою конуру. Отец мой, немного оправясь от страха, поклонился старику и сказал, что хочет поговорить с ним о деле. «Так пойдем в хату!» — пробормотал знахарь сквозь зубы и пошел вперед. Мы вошли в хату; отец мой, помолясь богу, поставил на стол, покрытый скатертью, хлеб и соль, старик тотчас взял нож, прошептал, кажется, молитву и нарезал на верхней коре хлеба большой крест. «Садитесь!» — сказал нам старик и сам сел в углу, на верхнее место, а мы в конце стола; перед колдуном лежала большая черная книга: видно было, что она очень ветха, хотя все листы в ней были целы и нисколько не истерты. Старик развернул книгу и смотрел в нее. В это время мой отец начал ему рассказывать свою беду, старик не дал ему докончить. «На что лишние слова? — проворчал он отрывисто.— Эта книга мне лучше рассказала все дело; ты был богат, обеднел и хочешь снова разбогатеть. Сказать тебе: «Трудись»,— ты молвишь в ответ, что века твоего не станет. Ну так ищи папоротникова цвета».— «Что же мне прибудет, дедушка, если я отыщу папоротниковый цвет?» — «Носи его в ладонке, на груди: тогда все клады и все подземные богатства на том месте, где будешь стоять или ходить, будут перед тобой как на ладони; а захочешь их взять, приложи только папоротниковый цвет — сами дадутся. Все пойдет тебе в руку, и будешь богаче прежнего».— «Научи же меня, дедушка, как добывать папоротниковый цвет?» — «Некогда мне с тобою толковать: в этот миг дошла до меня весть, что ко мне едут гости, богатый купец с женою. Их испортили: муж воет волком, а жена кричит кукушкой, и им никак не должно с вами здесь встретиться. Ступайте отсюда и по дороге зайдите в Трирецкий

хутор: там у первого встречного спросите о бесноватой девушке, ее всякий знает. Она вас научит что делать; а я теперь же пошлю к *нему* приказ». Сказав это, он взял лоскуток бумаги, написал на нем что-то острым концом ножа и положил на открытое окно. День был тихий и красный, солнце пекло, и ни листок не шелохнулся; но только старик пошевелил губами — вдруг набежало облачко, закрутился вихорь, завыл, засвистал и сыпал искры, подхватил бумажку и умчал ее невесть куда. И мигом облачка как не бывало, на дворе стало ясно и тихо по-прежнему, ни листок на дереве не шелохнулся, только меня с отцом дрожь колотила, как в лихорадке. Поскорее положа полтинник на стол колдуну и отдав ему по поклону, мы без оглядки вон из дверей и за ворота: медведь заревел и собака завыла; а мы, не помня себя, бегом пустились по старому следу и не прежде остановились, как выбравшись из лесу, в котором жил страшный старик. Напугавшись тем, что видели у колдуна, мы и не думали заходить в хутор: нас и без того мороз по коже драл от бесовщины, и рады-рады мы были, когда подобру-поздорову добрались до дому. Однако же дня через три отец сказал мне: «Иван! умный человек ничего не делает вполовину: у нас стало духу на одно, попытаемся ж и на другое; ходили мы к колдуну, пойдем же и к бесноватой. Ты самый смелый из моих сыновей; ну-ка, благословясь, пустимся опять в дорогу». Стыдно и совестно мне было отказаться, хотя правду сказать, и не было охоты идти на новую попытку. Мы пришли в хутор, где нам тотчас указали дом бесноватой. Входим. На широкой лавке лежит девушка лет двадцати, худая, бледная как смерть; около ее сидят родные и три или четыре старухи посторонних; она, казалось, спала или дремала от сильного утомления. Нам сказали, что она уже три дня нас ждала, тосковала, металась, как будто бы пришел ее последний час; теперь же немного поуспокоилась: видно, злой дух на время ее оставил. Вдруг она встрепенулась, вскочила и с криком и бранью бросилась на моего отца. Глаза ее страшно крутились и сверкали, губы посинели и дрожали, и в судорожном ее коверканье заметно было крайнее бешенство. Если б я не успел схватить ее за руки и несколько человек из семьи не подоспело ко мне на подмогу, то, верно бы, она задушила отца моего, как цыпленка. Заскрежетав зубами, она кричала ему не своим голосом: «Гнусный червь! ты довел меня до муки: по твоей милости, я не *мог* до сих пор выполнить данного мне приказания, и оттого трое суток палило меня огнем нестерпимым. Слушай же скорее и убирайся, по-

ка я не *свернул* тебе шею: под Иванов день, около полуночи, ступай сам-третий в лес, в самую глушь. Чтоб вы ни видели, ни слышали — будьте как без глаз и без ушей: бегите бегом вперед, не оглядывайтесь назад, не слушайте ничего и не откликайтесь на зов. Вас станут манить — не глядите; вам станут грозить — не робейте: все вперед, да вперед, пока не увидите, что в глуши светится; тогда один из вас должен бежать прямо на это светлое, рвануть изо всей силы и крепко зажать его в руке. После все вы трое должны бежать назад, так же не останавливаясь, не оглядываясь и не откликаясь. Теперь вон отсюда: желаю вам всем троим сломить там головы!» Девушка упала без чувств на пол, а мы, не дожидаясь другого грозного привета, дали, что могли, ее родителям и поскорее отправились домой. Все это было на *зеленой неделе*[11]; до Иванова дня срок оставался короткий; отец мой часто призадумывался; меня также как змея сосала за сердце: страшно было и подумать! Вот настал и *Купалов день*[12] Отец мой постился с самого утра, у меня тоже каждый кусок останавливался в горле, как камень. К вечеру отец сказал домашним, что пойдет ночевать в поле и стеречь лошадей, которые выгнаны были на пастбище; взял меня, старшего моего брата, и, когда смерклось, мы втроем отправились. Вышед за селение, мы залегли под плетнем и ждали полуночи. День перед тем был жаркий, и даже вечером было душно, однако ж меня мороз подирал по коже. Здесь только, и то потихоньку, почти что шепотом, отец мой рассказал брату, куда и за чем мы шли. Ему, кажется, стало не легче моего от этого рассказа: он поминутно приподнимал голову, оглядывался и прислушивался. В это время на поляне за селением вдруг запылали костры; к нам доносились напевы купаловых песен, и видно было, как черные тени мелькали над кострами: то были молодые парни и девушки, которые праздновали Купалов вечер и прыгали через огонь. Эти протяжные и заунывные напевы отзывались каким-то жалобным завываньем у нас в ушах и холодили мне душу, как будто бы они вещевали нам что-то недоброе. Вот напевы стихли, костры погасли, и скоро в селении не слышно стало никакого шуму. «Теперь пора!» — вскрикнул мой отец, вскочил — и мы за ним. Мы пошли к лесу. Ночь становилась темнее и темнее; казалось, черные тучи налегли по всему околотку и как будто бы густой пар туманил нам глаза и отсекал у нас дорогу. И вот мы добрались, почти ощупью, до опушки леса, коекак отыскали глухую тропинку и пустились по ней. Только что мы вступили в лес — вдруг поднялись и крик, и вой, и

рев, и свисты: то будто гром прокатывался по лесу, то рассыпной грохот раздавался из конца в конец, то слышался детский крик и плач, то глухие, отрывистые стоны, словно человека перед смертным часом, то протяжный, зычный визг, словно тысячи пил бегали и резали лес на пильной мельнице. Чем далее шли мы по лесу, тем слышнее становились все эти крики, и стоны, и визг, и свисты; мало-помалу смешались они в нескладный шум, который поминутно становился громче и громче, слился в один гул, и гул этот, нарастая, перешел в беспрерывный, резкий рев, от которого было больно ушам и кружилась голова. В глазах у нас то мелькали светлые полосы, то как будто с неба сыпались звездочки, то вдруг яркая искра светилась вдали, неслась к нам ближе и ближе, росла больше и больше, бросали лучи в разные стороны и, наконец, почти перед нами, разлеталась как дым. У нас от страха занимало дух, по всему телу пробегали мурашки; мы щурили глаза, зажимали уши... Все напрасно! Гул или рев, становясь все сильнее и сильнее, вдруг зарокотал у нас в слухе с таким треском, как будто бы тысячи громов, тысячи пушек и тысячи тысяч барабанов и труб приударили вместе... Земля под нами ходенем заходила, деревья зашатались и чуть не попадали вверх кореньями... Признаюсь, мы не выдержали, страх перемог: схватясь за руки, мы повернули назад, и давай бог ноги из лесу! Над нами все ревело и трещало, и когда мы выбежали на поле, то за нами по всему лесу раздался такой страшный хохот, что даже и теперь у меня становятся от него волосы дыбом. Мы попадали на землю. Что дальше с нами было — не помню и не знаю; когда же я очнулся, то увидел, что утренняя заря уже занималась; отец и брат лежали подле меня, в поле, близ опушки леса. Я перекрестился и встал; подхожу к отцу, зову его — нет ответа; беру за руки — они окостенели; за голову — она холодна и тяжела как свинец. Я взвыл и бросился к брату, начал его поворачивать и бить по ладоням; насилу он опомнился, взглянул на меня мутными глазами и, как будто не проспавшись от хмеля, молчал и сидел на одном месте не двигаясь. Трудно мне было растолковать ему, что бог послал по душу нашего отца и что нам должно перенести его в селение, если не хотим оставить его тело в добычу волкам...»

— Так они не отыскали папоротникова цвету? — подхватил нетерпеливый майор, перебив рассказ словоохотного капрала.

— Нет, ваше высокоблагородие; Прытченко мне рассказывал, что с тех пор ему и в ум не приходило искать кладов,

особливо после того, как отец Герасим, на похоронах отца его, говорил мирянам поучение, в котором доказывал, что старый Прытченко сам наискался на смерть, послушавшись козней лукавого; и что бог всегда попускает наказания на людей, которые добиваются того, что им не суждено от его святой воли. Скоро молодого Прытченка взяли в солдаты, и каждый год, по совету отца Герасима, он ходил в Иванов день к обедне, молился усердно за упокой души своего отца и постился целые сутки за старые свои грехи.

— Поэтому, капрал, нечего и думать о папоротниковом цвете,— сказал майор,— мне жизнь еще не совсем надоела и нет охоты набиваться на беду или копить грехи под старость.

— Точно так, ваше высокоблагородие! Злой дух иногда подольстится к нам, как лукавый переметчик: сулит невесть что, и победу и добычу, а послушайся его — глядишь, и наведет на скрытую засаду; тут и попал, как кур во щи! Между этими двумя врагами только и разницы, что лживый переметчик погубит одно наше тело, а проклятый бес с одного хватка подцепит и тело и душу.

— Правда твоя, капрал, правда; так оставим эти затеи. Может быть, наши клады положены без заговора и сами нам дадутся без дальних хлопот. После опять поговорим об этом. Прощай! Утро мудренее вечера.

Капрал допил свою порцию, встал, выпрямился снова, отдал честь по-военному и, проговоря: «Добрая ночь вашему высокоблагородию!», побрел в свою светлицу. Там, утомленный длинными своими рассказами и согретый нескудною порцией, скоро уснул он таким сном, каким поэты усыпляют чистую совесть, хотя, кажется, сей олицетворенной добродетели и должно б было спать очень чутко.

Майор также почувствовал благотворное действие рассказов капраловых: давно уже он не спал так спокойно, как в эту ночь. Не знаю, что виделось капралу: он никогда о том не рассказывал; но майора убаюкивали разные сновидения, и все они предвещали ему что-то хорошее. То в руках у него был золотой цветок, от которого все, на что майор ни взглядывал, превращалось в груды золота; то стоял он у решетчатой двери какого-то подземелья, сквозь которую видны были несметные сокровища: ему стоило только просунуть руку, чтобы черпать оттуда полными горстями. То снова был он на охоте: псари его, со стаей борзых и гончих, гнались за белым зайцем; но майор, на лихом коне своем, всех опередил, и псарей, и борзых, и гончих; уже он налегал на зайца, уже

гнался за ним по пятам; вот настиг, вот замахнулся арапником, ударил — и заяц рассыпался перед ним полновесными рублевиками. Такие сны целую ночь беспрестанно сменялись в воображении майоровом, и когда он проснулся поутру, то был довольнее и веселее обыкновенного, к великой радости доброй Ганнуси.

Зима проходила; майор в это время собирал все возможные сказки о кладах, соображал, сличал их и составлял будущих своих действий против сатаны и его когорты; исчислял в уме богатые свои добычи, покупал поместье за поместьем и распоряжал доходами. Ганнусю выдавал он то за какого-нибудь миллионщика, то за пышного вельможу; сыновей выводил в чины и в знать, женил на княжнах и графинях и таким образом роднился с самыми знатными домами в русском царстве. Эти воздушные замки, за неимением лучшего дела, по крайней мере, занимали доброго майора, отвлекали его думы от грустной существенности и веселили его в чаянии будущих благ.

Наступил март месяц, снег от самой масляницы начинал уже таять, а на последних неделях великого поста полились с гор и высоких мест быстрые потоки мутной воды, увлекавшие с собою чернозем, глину и песок. Речки и ручьи порывисто понеслись в берегах своих от прибылой воды; мосты и плотины во многих местах были уже снесены или размыты. Деревушка или, правильнее сказать, хутор майоров стоял при реке, на которой устроена была мельница, приносившая помещику посильный доход. Плотина сей мельницы покамест на этот раз уцелела, более по счастью или от того, что напор воды в реке не был еще во всей своей силе, нежели по собственной прочности; ибо сельский механик, строивший ее, небольшой был мастер своего дела, и редкий год половодье проходило, не размыв части этой плотины, или, как говорится в Малороссии, не сделав *прорвы*. В вербное воскресенье набожная Ганнуся поехала в отцовской *тарадайке*[13] к заутрене в казенное село за пять верст от их хутора: ближе того не было церкви в их околотке. Дорога, ведущая из хутора в селение, лежала через плотину. Чтобы застать начало заутрени, Ганнуся отправилась в путь еще до рассвета; переезжая плотину, она почувствовала некоторый страх: плотина дрожала на зыбком своем основании, как будто бы ее подмывало водою. Дочь майорова решилась, однако ж, ехать далее, поспела к первой благовести, простояла всю заутреню с потупленными в землю глазами и молилась очень усердно. К концу заутрени, когда должно было идти для получения освя-

щенной вербы, она заметила, что перед нею шел человек в военном мундире, разводил народ в обе стороны и очищал ей дорогу. Дошед до того места, где стоял священник с вербами, он сам посторонился, поклонился ей и учтиво подал знак идти вперед. Тут только решилась она взглянуть на незнакомца: это был молодой офицер; лицо у него было бледно, но очень приятно и выразительно; большие, голубые глаза его горели огнем молодости и отваги; ростом он был высок и статен, левая рука его покоилась на черном шелковом платке, и от беглого взора молодой девушки не ускользнуло и то, что рукав мундира около сей руки был разрезан и завязан ленточками. Скромно, даже застенчиво поклонясь ему, Ганнуся закраснелась и снова опустила черные свои ресницы к помосту; несколько секунд оставалась она в этом положении; но мысль, что на нее все смотрят, а особливо молодой офицер, вывела ее из забывчивости: она подошла к священнику, приняла благословение и вербу и снова стала на прежнее свое место. Офицер, подойдя вслед за нею к вербам, отступил потом в ту сторону, где стояла Ганнуся, остановился в некотором от нее расстоянии и часто на нее посматривал. Но девушка не смела более на него взглянуть: она чувствовала, что лицо ее горело, и потому она почти не сводила глаз с своей вербы, ощипывала на ней веточки, которые, видно, казались ей лишними, или молилась еще усерднее прежнего и по временам вздыхала — конечно, не о грехах своих. Заутреня кончилась скоро, слишком скоро для Ганнуси, а может быть, и еще скорее для молодого офицера. При выходе из церкви он снова явился подле дочери майоровой, сводил ее по ступеням паперти и посадил в таратайку. Лошади тронулись почти в тот же миг; Ганнуся едва успела поклоном отблагодарить услужливого офицера. Проехав немного, она, по какому-то невольному движению, мельком обернулась назад: офицер все стоял на том же месте и смотрел вслед за нею. Весьма естественное и даже простительное самолюбие шепнуло ей, что она приглянулась молодому воину; и почему же не так? Она, как и все девушки ее лет, находила себя по крайней мере не дурною; а складное ее зеркальце, в часы одиноких, безмолвных ее с ним совещаний, часто доказывало ей весьма утвердительным образом, что она красавица, и на этот раз нельзя сказать, чтобы зеркало льстило бессовестно. Ганнусе было осьмнадцать лет; при среднем росте, она имела весьма стройный стан: аравийский поэт сравнил бы ее с юною, пустынною пальмой. Правильные черты лица оживлялись в ней тем свежим, здоровым румянцем, который со-

общается только чистым воздухом полей, умеренным движением и простым, безмятежным образом жизни, но которого не в силах заменить все затеи моды, все пособия искусства. Черные, большие глаза, в которых тихо светился огонь чувствительности, и черные, лоснящиеся волосы прекрасно оттеняли белизну лица и шеи; а скромность и стыдливость — *лучшее ожерелье девиц*, по русской пословице — еще более возвышали прелести этой сельской красавицы. Из всех знакомых майора сердце Ганнусино ни за кого еще ей не говорило: теперь оно впервые забилось сильнее обыкновенного. Что, если этот молодой офицер, пригожий и вежливый, недаром так часто и пристально на нее посматривал? Что, если в нем бог посылает ей суженого? Такие и другие мечты (а кто может перечесть, сколько их промелькнет в голове молодой девушки?) занимали Ганнусю во всю дорогу, до самой плотины отцовского хутора.

Пасмурное утро уже сменило сумрак ночной, когда дочь майорова подъехала к плотине; воздух был густ и влажен; дымчатые облака застилали лазурь небесную. Человек с десять крестьян стояли на берегу и с малороссийскою беззаботливостью смотрели, как вода подымала плотину, протачивалась сквозь фашинник, отрывала и выносила целые глыбы земли. За плотиной низовье мельницы было почти совсем затоплено водою, которая с шумом и ревом неслась в новых своих берегах, сносила плетни и крутилась подобно водовороту около кустов ивняка, росших по лугу. Мельничные колеса остановились, а плотина дрожала еще сильнее прежнего: видно было, как она поднималась и опускалась.

— Не опасно ли переезжать? — спросил кучер ганнусин у крестьян.

— А бог знает! — был равнодушный их ответ.

Из предосторожности Ганнуся сошла с тарадайки и велела кучеру ехать вперед. Сама она хотела идти пешком, рассчитывая, что где повозка с парою лошадей может проехать, там ей самой безопасно будет перейти. Кучер, не дожидаясь вторичного приказания, погнал лошадей и скоро очутился на другом конце плотины.

Перекрестясь, Ганнуся пошла вслед за повозкой, ноги ее подгибались, сердце трепетало; однако ж она вооружилась решимостью и шла далее. Но едва ступила она на самое шаткое место — вдруг плотина под нею затрещала, поднялась вверх и стала почти боком. Ганнуся упала на колена. Громкий вопль крестьян с берега поздно известил ее об опасности. Снова раздался треск, снова вскрикнули крестьяне — и та

часть плотины, где находилась тогда бедная девушка, была сорвана и снесена вниз. «Кто в бога верует, спасайте!»[14] — закричали крестьяне и побежали вниз по течению, куда водою снесло несчастную Ганнусю. Кучер, ожидавший ее перехода, поскакал в господский дом и по дороге кричал всем встречным, что барышня их утонула и чтобы все шли вытаскивать ее из воды. Не прошло десяти минут — уже на правый берег реки, где стоял хутор майоров, стеклась толпа крестьян, жен их и детей. Мужчины с беспокойством бегали взад и вперед по берегу и смотрели в воду, женщины ломали себе руки и с плачем выкрикивали свои жалобы о потере доброй своей барышни; а мягкосердечные дети, видя матерей своих в горе, плакали вслед за ними.

Между тем крестьяне, бежавшие по левому берегу, заметили, что в понятых водою ивовых кустах как будто бы что-то зацепилось; но вода неслась так быстро, так порывисто, что никто из них не отваживался пуститься вплавь. «Лодку, лодку!» — кричали они на другой берег; но рев воды, с напором стремившейся сквозь промоину плотины, заглушал их голос.

— На что лодку? что случилось? — спросил их некто повелительным голосом.

Крестьяне оглянулись и увидели, что подле них остановился человек, верхом на лошади и в офицерском мундире.

— Там в волнах наша барышня, дочь майора...

— Смотрите, смотрите! — вскрикнул один молодой крестьянин.— Вот около ивовых кустов всплыло наверх что-то белое... Это платок, это платок нашей барышни!

— Лодку, лодку! — снова закричали крестьяне; но офицер, не дожидаясь более, вдруг пришпорил своего донского коня, направил его прямо в воду, и послушный, бодрый конь бросился с берега, забил ногами в воде, которая заклокотала и запенилась вокруг него. Крестьяне, пораженные такою нежданною отвагой, снова вскрикнули; им отвечали таким же криком с другого берега. Долго бился офицер в волнах, долго боролся он с стремлением воды, которая сносила его вниз по течению; наконец сильный конь, покорный поводу и привычный к таким переправам, доплыл до ивовых кустов. Офицер наклонился, опустил правую свою руку в воду, но не нашел ничего; три раза, несмотря на все опасности, объезжал он вокруг кустов, искал в разных местах: но все попытки его были напрасны. Решась на последнее средство, он привязал наскоро повод к своей портупее, бросился с коня вниз и исчез под водою. Крестьяне думали, что он погиб;

конь бился, рвался и силился выплыть. В эту минуту майор бледный как смерть и с отчаянием в лице, явился на берегу поддерживаемый своими хлопцами. Вдруг увидели, что офицер, хватаясь за ветви ив, всплыл на поверхность; повязка на которой носил он левую свою руку, поддерживала недвижное, бездыханное тело Ганнуси. Вот он хватается рукою за повода, тащит к себе коня, силится взлезть на него; но тяжелая ноша тянет его ко дну... Вот он уцепился за гриву, всплыл снова, быстрым движением вскинул ношу свою на седло и сам успел вскочить на него... Вот уже он, поддерживая левою, больною рукою голову Ганнуси у своей груди, правит к тому берегу, где стоит майор; конь, из последних сил, бьется и борется с волнами... Расстояние здесь не так далеко: авось-либо спасутся... Вот доплыл до берега, вот истомленный конь хватается передними копытами за вязкую, глинистую землю, уцепился, скакнул — и все бросились к нему навстречу. Майор упал на колена; женщины, видя посинелое лицо и закостенелые члены своей барышни, которой влажные волосы в беспорядке были разметаны по девственным ее грудям, завыли громче прежнего. Но офицер, казалось, ничего не видел и не понимал вокруг себя; он только спросил слабым голосом: «Куда дорога?» — и погнал коня своего к дому майорову, все еще держа перед собою Ганнусю в том самом положении, в каком вынес ее из воды.

От движения во время сего переезда вода хлынула из утопшей; но охладелое тело ее все еще не показывало ни малейших признаков жизни. Сбежавшиеся женщины наполняли весь дом плачем и рыданием; майор стоял, как громом пораженный, сложа руки и устремя неподвижные глаза на дочь свою. Один капрал соблюл присутствие духа: он вывел майора, велел выйти из комнаты всем лишним и, оставя утопшую на руках женщин, дал им наставление, каким образом подавать ей помощь. По совету капрала, с нее сняли мокрое платье и укутали все тело шубами. В то же время старый служивый разослал хлопцев за лекарями и за войсковым писарем. Добрый Спирид Гордеевич, узнав о несчастии своего соседа, тотчас прискакал к нему, утешал его, уговаривал и наконец успел поселить в нем надежду. Старания двух лекарей еще более подкрепили сию надежду: у больной оказывался пульс и замечено было легкое дыхание. Мало-помалу дыхание становилось ощутительнее, пульс начинал биться сильнее, и в теле пробуждалась теплота. Все признаки жизни постепенно оказывались, но лекаря опасались, чтобы больной, от потрясения всех жизненных сил, не приключилась горяч-

ка. Наконец Ганнуся открыла глаза, но скоро опять их закрыла: ощущения жизни медленно и еще неявственно в ней развивались.

Чрез несколько уже часов она совсем очувствовалась. Здесь только майор, перейдя от сильной горести к безвременной радости, вспомнил об избавителе своей дочери. Он расспрашивал всех домашних своих об офицере, и одна из женщин сказала ему, что незнакомый господин, отдав их барышню на руки им и капралу, стоял несколько минут молча у изголовья Ганнусина и печально смотрел на неподвижное, посинелое лицо девушки до тех пор, когда капрал выслал всех мужчин из комнаты. Люди, бывшие в это время на дворе, сказывали, что офицер торопливо выбежал из комнат, бросился на своего коня и пустился со двора так скоро, как только мог бежать утомленный конь его: иной бы подумал, прибавили крестьяне, что он боялся за собой погони.

Стараниями лекарей Ганнуся чувствовала себя гораздо лучше на другой день поутру, хотя жар и слабость во всем теле еще не вовсе успокоивали окружавших ее. Однако ж отец ее, пришедший в себя от первых движений страха и счастливый своею надеждою, казалось, не предвидел более никакой опасности. Он радовался, как ребенок, которого нога соскользнула было в глубокий колодец и который, удачно спасшись от смерти, все еще стоит на срубе колодца и весело смотрит на темную, гладкую поверхность воды. Сидя у постели Ганнусиной вместе с лекарями и добрым своим соседом Спиридом Гордеевичем, майор разговаривал с ними о минувшем несчастии, когда один из хлопцев пришел ему доложить, что в передней дожидался человек, одетый денщиком и приехавший узнать о здоровье барышни. Майор и войсковый писарь тотчас догадались, что это был посланный от ее избавителя. Оба они вышли в переднюю.

— Кто таков твой господин? — спросил нетерпеливый майор, не дождавшись еще ни слова от посланного.

— Поручик Левчинский, — отвечал сей последний.

— А, знаю: это сын бедной больной вдовы Левчинской, которая живет в маленьком хуторке, в осьми верстах отсюда; не так ли?

— Точно так, ваше высокоблагородие!

— Скажи своему поручику, что я очень, очень благодарю его за спасение моей дочери, которой жизнь для меня дороже моей собственной... Скажи ему это и проси его пожаловать к нам.

— Слушаю, ваше высокоблагородие. Поручик, верно, будет у вас, когда выздоровеет.

— Как, разве он болен?

— Да, со вчерашнего дня, ваше высокоблагородие. Он приехал домой весь мокрый и окостенелый от холода; рана у него на левой руке только что было начала подживать, а теперь снова открылась и разболелась, так что он не может руки приподнять. Всю ночь он не уснул ни на волос: не жаловался и не охал, а только все бредил в жару. Бедная старушка, матушка его, совсем с ног сбилась. А сегодня утром, только что поручик немножко очнулся, тотчас позвал меня и велел скорее скакать сюда и узнать о здоровье барышни.

— Скажи, что дочери моей легче...

— Погоди на минуту, друг мой,— сказал денщику войсковый писарь, перебив речь майорову.— Барину твоему нужна помощь; я сейчас еду туда с лекарем. Ты будешь показывать нам дорогу.— И мигом Спирид Гордеевич велел закладывать свою коляску, а сам, вошед в комнату больной, отозвал в сторону одного из лекарей, взяв предосторожность, чтобы не встревожить Ганнусю, и просил его ехать с ним к благородному, отважному воину, который великодушным своим самопожертвованием подвергнул опасности собственную жизнь. Лекарь охотно согласился оказывать ему все возможные пособия своего искусства.

Они застали Левчинского в сильном жару горячки. Положение молодого человека было гораздо опаснее Ганнусина, и лекарь надеялся только на молодость и крепость сил больного. Мать его, почтенная женщина, старая и хилая, сидя у постели страдальца, горько плакала и печально покачивала головою. «Он не вынесет этой болезни,— твердила она сквозь слезы,— он умрет, мое сокровище... а за ним и я слягу в могилу!»

Предчувствия старушки, к счастию, не сбылись. Твердое сложение сына ее и деятельные пособия врача переломили болезнь почти в самом ее начале; но выздоровление Левчинского было медленно, особливо рука его долго приводила в сомнение лекаря, который не раз видел себя в печальной необходимости лишить больного сей части тела, столь драгоценной для всякого человека, тем более для молодого воина. Наконец, счастливые следствия здоровой, неиспорченной крови и здесь оказали спасительное свое действие: не скоро, но все-таки рука Левчинского получила прежнее движение, и рана ее совершенно затянулась.

Между тем Ганнуся выздоравливала гораздо скорее. Она уже знала, кто спас ее от неизбежной почти смерти, и с благодарными слезами вспоминала о своем избавителе. Каждый день посылала она наведываться о состоянии его здоровья и нетерпеливо ждала совершенного его выздоровления, чтобы во всей полноте чувства высказать ему благодарность, которую питала к нему в своем сердце... Бедная девушка! Она еще сама не смела взглянуть попристальнее в свое сердце, не смела отдать себе отчета в том, что с благодарностью совокуплялось другое чувство, гораздо нежнейшее... Образ ее избавителя был почти неотлучно в ее воображении, наполнял каждую мысль, каждую мечту ее: то видела она его в церкви, с его благородным, осанливым видом, то снова встречала последний взор его, которым он безмолвно прощался с нею по выходе из церкви. Раз по десяти на день принималась она расспрашивать своих женщин о подробностях своего избавления, и с лицом, светлевшим какою-то детскою радостью, с каким-то невинным самолюбием думала: «На это он отважился только для меня... для меня одной! Он не жалел своей жизни, бросился в страшный омут, чтоб избавить меня от смерти или хоть раз еще взглянуть на меня мертвую!» Тут живо представлялась ей та минута, когда Левчинский, по одному только ее имени, слышанному от крестьян, понесся без всякого размышления в мутные, клокочущие волны; или та, когда он выносил ее на руках своих из гибельной хляби: тогда она видела в нем какое-то существо высшее, которому ни в чем не было препон и которого твердой, решимой воле все уступало, даже самые грозные силы природы. Может быть, невинная, простосердечная дочь майорова не в этих самых выражениях объясняла себе, как она понимала нравственную силу и подвиг самопожертвования молодого воина; но тем не менее таковы были ее понятия о Левчинском, и мы просим извинения у читателей, что не умели передать сих понятий проще и естественнее. Чтобы сколько-нибудь приблизиться к истине, скажем, что милая девушка чувствовала почти суеверное уважение к своему избавителю.

Во все время болезни Ганнусиной майор был при ней почти беспрестанно; и если порою отлучался часа на два, особливо когда дочери его приметно становилось легче, то в сии отлучки посещал он Левчинского. Тогда, сев на своего доброго коня, Максим Кириллович летел, по охотничьей своей привычке, самою кратчайшею дорогой, то есть прямиком через горы и долы, в уединенный хуторок, входил на не-

сколько минут в маленький, скудный домик Левчинского, спрашивал о здоровье поручика, с искренним, прямым чувством высказывал ему в сотый раз свою благодарность — и тотчас снова на коня и скакал в обратный путь, к милой своей Ганнусе. В эти две недели, протекшие до совершенного ее выздоровления, майор почти и не подумал о своих планах обогащения, о поисках за кладами и обо всем, что относилось к любимой мечте его.

Между тем весна наступила; посевы зазеленелись, *пролески*[15] зацвели по лесам, и вешние синички защебетали в сени развивающихся деревьев. По совету лекарей, нашедших чистый, свежий весенний воздух полезным для здоровья Ганнуси, она начала прохаживаться в саду; и майор как будто бы только этого и ждал. Мысль о кладах снова в нем пробудилась; он чаще прежнего призывал к себе капрала на тайные совещания; рукопись была снова переписана, сколько можно яснее и безошибочнее, и майор твердил ее наизусть, как молодой школьник свой урок из грамматики. Недовольный еще обширными сведениями капрала по части кладознания, Максим Кириллович начал прилежно посещать свою мельницу, которой плотина была поправлена механиком-жидом, выдавшим себя за отличного искусника в строении плотин и в разных таких хозяйственных делах, при коих простодушные малороссияне предполагают отчасти сверхъестественные знания. Так, например, знающий мельник, строитель плотин, *пасечник*, или пчеловодец, и некоторые другие подобные им лица почитаются малороссийским простолюдием за знахарей или колдунов.

Мельница в малороссийской деревушке есть род сельского клуба порядочных людей; ибо местом сборища для молодежи бывают *вечерницы*[16], а для гуляк всякого возраста шинок. Кроме тех, которые приезжают с мешками зерна для помола муки, сходятся в мельничный амбар все пожилые поселяне, которым дома нечего делать или которые улучили досужное время; а такого времени, благодаря закоренелой склонности к лени, у добрых малороссиян всегда найдется довольно, особливо в промежутках от посева до собирания хлеба или когда пора полевых работ еще не наступила. В этом *сельском клубе* толкуют они обо всем: о домашних делах своих, о новостях, которые удалось им слышать, о деревенских или семейных приключениях, о злых панах и *судовых*[17], о ведьмах, мертвецах, кладах и тому подобных диковинках, разнообразящих простой, не богатый происшествиями сельский быт сих добрых людей. Сметливый мельник ста-

рается сам заводить такие сходбища и, подобно трактирщику какого-нибудь немецкого местечка, бывает обыкновенно первым рассказчиком и балагуром. Это делает он и для того, чтобы приманить на свою мельницу большее число помольников, и для того, что на мельнице обыкновенно происходят все крестьянские сделки: продажа друг другу скота или иной какой-либо из статей сельского хозяйства, наем земли, работников и т. п.; а все сии сделки непременно кончаются *магарычом*[18], который запивать приглашается и сам мельник.

Надобно сказать, что жид Ицка Хопылевич *Немеровский*[19], которому посчастливилось укрепить плотину мельницы майоровой, сделал сей опыт глубоких своих познаний в механике, или (скажу в угоду добрых моих земляков, малороссиян) — опыт своего искусства в тайной науке чародейства,— не даром, а на весьма выгодных для него условиях. Он знал, что хорошею денежною платою от майора поживиться ему было нельзя, потому что сам Максим Кириллович давно уже не видал у себя лишней копейки; для сего честный еврей, с обыкновенными жидовскими уловками и оговорками, сделал следующее предложение: вместо денег получать от майора — безделицу, как говорил Ицка Хопылевич — третью мерку хлеба, получаемого за помол, и это в продолжение двух лет; да безденежное позволение содержать шинок на майоровой земле и подле самой мельницы, тоже на два года с тем, что Ицка нигде, кроме майоровой винокурни, не будет покупать вина, а Максим Кириллович будет ему делать на каждом ведре вина тоже незначительную, по еврейскому смыслу, уступку. Предложение сие заключено было сильными клятвенными уверениями, что он, Ицка Хопылевич Немеровский, поднял при починке плотины такие тяжкие труды, каких и предки его, библейской памяти, не поднимали на земляной работе египетской, и что теперь плотину, по прочности укрепления и по заговору[20], который положил на нее этот честный еврей, не размыло бы и новым всемирным потопом. Добрый майор, человек самого сговорчивого и неподозрительного нрава, притом же небольшой знаток в делах, требующих соображений и расчетливости,— согласился на все, что предлагал ему честный еврей Ицка Хопылевич Немеровский.

Разумеется, что жид как участник в мельничном походе и ближний сосед мельницы почти безвыходно бывал там; в шинке же была у него правая рука: жена его Лейка[21], молодая, проворная и лукавая жидовка, которая с сладкими своими речами, с вкрадчивыми взглядами и усмешкой и с

низкими, вежливыми поклонами весьма ловко обмеривала добрых поселян и приписывала на них лишние деньги. Сидя в мельничном амбаре на груде мешков и заложа руки в карманы черного, долгополого своего платья, запыленного мукою, жид Ицка Хопылевич рассказывал собиравшимся в мельницу обывателям всякие чудеса, виденные или слышанные им по свету; учил их лечить рогатый скот такими лекарствами, о которых знал, что от них не может быть ни худа, ни добра; уверял, что умеет заговаривать змей, отшептывать от укушения бешеной собаки и добывать клады... Мудрено ли, что все это дошло до чуткого уха майорова? Капрал, по старой своей привычке, заглядывал иногда в мельницу и, там однажды подслушав сии речи жида, пересказал их майору. Вот причина, по которой Максим Кириллович стал учащать своими прогулками на мельницу, где, под видом хозяйственного присмотра, часто он просиживал по целым часам и разными окольными путями старался выведать у жида тайну добывания кладов. Но догадливый Ицка, вероятно, смекнув делом, основал свои расчеты на слабости помещика, о которой, станется, и прежде уже знал он; посему и говорил о любимом коньке майоровом с возможною осторожностию и давал заметить, что тайна его не дается даром.

Майор, которого природная нетерпеливость еще более к старости усилилась охотничьими его привычками, досадовал на упорное молчание жида; но видел, что увертливого Ицку нельзя было довести до открытия своей тайны никакими затейливыми околичностями. Посему Максим Кириллович решился наконец пойти прямою дорогой; но прямая дорога к сердцу жида — есть деньги, а их-то и не было у нашего майора. Что делать? за неимением денег, он пустился на обещания, даже доходил до того, что предлагал Ицке Хопылевичу третью долю из всех добытых кладов. Но жид, с которым он имел дело, был прямой жид; любимые его поговорки были: *из обещаний не шубу шить*, и *не сули журавля в небе, а дай синицу в руки*. Эти пословицы тверже всего он знал и даже лучше всего выговаривал на польско-малороссийском своем наречии. К ним вдобавок он очень благоразумно представлял майору, что третья доля сама по себе, а не худо иметь что-либо вперед; тем больше-де, что клады доставить — не плотину строить: что при таком деле и вдосталь измучишься в борьбе с лукавым, который силится отстоять свое сокровище,— и за то-де ему надобно поступиться коечем. Максим Кириллович подумал, подумал — и уступил

Ицке безнадежно тридцать ведер вина, да подарил ему пару коз с козлятами, что обыкновенно составляет сельское хозяйство жида. Дело было слажено: Ицка Хопылевич объявил майору, что ему нужно сделать приготовительные заклинания, и для того просил две недели сроку. Майор на все согласился, ожидая верного успеха от знахаря-жида, которого чародейскую силу видел он уже на опыте, то есть при укреплении мельничной плотины.

Дворня всякого помещика, самого мелкопоместного, есть в малом виде образчик того, что делается в большом и, скажу более, в огромнейшем размере. Домашняя челядь всегда и везде сметлива: она старается вызнать склонности, слабости, самые странности своего господина, умеет льстить им и чрез то подбиться в доверие и милость. Так было и в доме Максима Кирилловича Нешпеты. После старого капрала, ближний двор его составляли хлопцы, или псари, и пользовались особым благорасположением своего пана. Но как нельзя же быть шести любимцам вдруг, то каждый из них, наперерыв перед другими, старался прислуживаться своему господину, угодничать любимому коньку его и увиваться ужом перед всем, что усмехается будущею милостию. Один из хлопцев, Ридько[22], будучи проворнее других и подслушав под дверью разговоры своего пана с капралом, скорее всех доведался, о чем теперь хлопотал Максим Кириллович. Ридько начал усердно расспрашивать обо всем, что только можно было в селении и в околотке узнать о кладах; и мало еще того: сам начал бродить по ночам вокруг дома, близ пустырей или старых строений, в *леваде*[23] и в саду майоровом, и подмечать, не окажется ли там каких признаков скрытого в земле клада. В сих ночных поисках заметил он однажды в саду, под старою, дупловатою липой, что-то белое, свернувшееся клубком; ночь была темна, и Ридько не мог рассмотреть издали; он стал подходить поближе, и белый клуб как будто бы приподнялся от земли: Ридько ясно увидел две светлые точки, которые горели беловатым огнем, как восковые свечи,— и мигом белого клубка и светлых точек как не бывало. Это клад: чему же быть иначе? но клад, который не давался в руки Ридьку, потому что он не знал никаких заговоров. Еще не вполне доверяя самому себе, Ридько решился дожидаться следующей ночи, и когда она наступила, новый искатель кладов пошел на то же место — и опять увидел он белый клубок, и опять две светлые точки как будто бросили на него две искры; но вслед за тем снова все исчезло. Теперь не оставалось уже Ридьку ни

малейшего сомнения; он нетерпеливо ждал утра, чтоб объявить майору о своем открытии. Майор удивился и обрадовался, что ему не нужно было дальних исканий, когда клад у него был, так сказать, под рукою; но зная из рассказов, что клад иногда является только по три ночи, не хотел он терять времени и выпустить из рук предполагаемую находку. Посему он немедленно созвал свой тайный совет, состоявший из капрала Федора Покутича и жида Ицки Хопылевича; Ридько как человек, оказавший важную услугу и от которого нужно было отобрать подробные справки об отыскиваемом кладе, также допущен был в это совещание. Капрал предложил майору разбить клад с молитвой, по примеру старухи нищей, о которой он рассказывал; но жид, с лукавою улыбкой, пожимая плечами и потряхивая длинными кудрявыми своими пейсиками, заметил, что этим средством много что добудешь один клад, а скорее отпугаешь все другие, которые с того времени перестанут показываться искателю. Майор убедился этим сильным доводом и счел за лучшее во всем положиться на жида. Хитрый Ицка обещал научить майора какому-то заклинанию и для того, отведя его в сторону, проговорил ему слов с десяток на неведомом языке; однако же майор ни за что не хотел их вытвердить, потому что эти слова, как он весьма основательно думал, были еврейские и могли заключать в себе или богохуление, или заклятие на душу говорящего их,— и, почему знать? может быть, формальную присягу служить сатане верою и правдою! Несмотря на все убеждения и клятвы жида, добрый Максим Кириллович остался тверд в своем упрямстве, и жид, за лишний десяток ведер вина, уступленных ему майором, договорился твердить сам свое заклинание в то время, когда майор станет бить по кладу. Сим окончилось совещание.

Товарищи Ридька, завидуя новому любимцу их пана, хотели допытаться, чем он вкрался в милость Максима Кирилловича. Подойдя на цыпочках и приложа ухо к дверям, они жадно ловили каждое слово, сказанное в светлице майоровой, и узнали все дело почти с такою ж подробностию, как и мы теперь его знаем. Любопытство и болтливость — два главнейшие порока слуг: в минуту вся дворня майорова узнала, что в саду их пана является клад и что в этот самый вечер будут добывать его; и каждый из дворовых людей, от первого до последнего, положил у себя на сердце тайком прокрасться в сад и высматривать из-за кустов и деревьев, что там будет делаться.

Целый день прошел в какой-то суматохе. Нетерпеливость и беспокойство ясно выказывались на лице и в поступках майора; капрал беспрестанно бродил то по двору, то по саду, то заглядывал в комнаты; жид, согнувшись и напустя пейсики себе на лицо (может быть, для того, чтоб на лице его не могли прочесть его мыслей), ровным и скорым шагом каждый час переходил то с мельницы на господский двор, то с господского двора на мельницу; Ридько суетился, чтобы придать себе больше важности в глазах своих товарищей, и не отвечал на лукавые двусмысленные их вопросы; хлопцы переглядывались между собою, перешептывались по углам, а остальная дворня любопытно присматривалась ко всему, что делалось, и вслушивалась во все, что было сказано. Одна Ганнуся ни о чем не знала и не примечала ничего: она, пожелав доброго утра отцу своему, после завтрака села за работу в своей комнате, которой окно было на проселочную дорогу к хутору Левчинского, задумалась о нем, печалилась, что он долго не выздоравливал; игла быстро вертелась в руках ее, работа, можно сказать, горела, часы летели, и милая девушка не приметила, как время пронеслось до обеда; тем больше не приметила она, что вокруг нее все было в каком-то суетливом волнении. Сердце молодой красавицы, в минуты уединенной задумчивости, создает в самом себе мир отдельный, мир фантазии: ему нет тогда дела до мира внешнего, вещественного.

Наступил вечер; когда стемнело на дворе, все дворовые люди майоровы, начиная от хлопцев до *рички*, или коровницы, Гапки[24], тихонько забрались в сад, залегли в разных местах, чтоб их не приметили, и, не смея переводить дух в своих засадах, украдкой оттуда выглядывали. Около одиннадцати часов ночи Ридько вбежал опрометью в комнату майора, где капрал и жид, чинно стоя по углам и не сводя глаз с господина, ожидали условленной вести. Майор вскочил с своего места, взял большую, тяжелую палку, которую капрал для него приготовил, и скорым шагом отправился в сад; за ним, прихрамывая, но с надлежащей вытяжкой, шел капрал; рядом с сим последним подбегал жид, припрыгивая и твердя вполголоса: «*Зух Раббин, Каин, Абель!*» Ридько заключал это ночное шествие, неся на плечах два большие порожние мешка. Майор приостановился, увидя перед собою, шагах в двадцати, что-то белое, свернувшееся в комок. Он осторожно занес палицу свою навзмашь, притая дух, подкрался к белому привидению — и в тот миг, когда жид громко вскрикнул: «*Зух!*», майор изо всей силы хлопнул... Прон-

зительное, оглушающее «мяу!» раздалось по саду вслед за ударом — и белый комок, не рассыпаясь серебряными рублевиками, растянулся без жизни и движения. Домашняя челядь майорова не утерпела и сбежалась отовсюду из засад своих, услыша столь необыкновенный крик; толстая, приземистая и плосколицая Гапка явилась туда из первых...

— Ох! горе мне бедной[25]! Пан убил мою Малашку! — вскрикнула Гапка и взвыла таким голосом, каким мать плачет по своей дочери.

— Кой черт! Что ты мелешь, старая дура? — торопливо и сердито проговорил майор.

— Да, вам легко говорить! Пускай я мелю, пускай я старая дура; а бедную мою Малашку ухохлили: уж ее теперь ничем не оживишь! — выкрикивала Гапка и заголосила пуще прежнего.

— Да скажешь ли ты мне, — с нетерпением вскрикнул майор, схватя коровницу за плечо и стряхнув ее изо всей силы, — какую Малашку?

— Какую? вестимо, что мою Малашку!.. Кто теперь будет у меня ловить крыс, кто будет от них очищать ледник?..

— Провались ты, негодная дура, и с проклятою своею кошкой! — бранчивым голосом сказал майор и резко махнул рукою по воздуху.

— Ох! горе мне, бедной сироте! — навзрыд твердила Гапка, припала к земле, подняла убитую кошку и с вытьем понесла ее в свою хату.

Люди майоровы, каждый смеясь себе под нос, разбрелись по своим углам; явно зубоскалить никто из них не смел: все знали, что рука их пана тяжела и что гнев его, вспыхивая как порох, иногда и оставлял по себе такие же явные следы, как это губительное вещество. На сей раз, однако же, для гнева майорова довольно было и одной жертвы, т. е. кошки, которая жизнью поплатилась за свой неумышленный обман; Ридько, столь же неумышленная причина ее смерти, отделался одним страхом. Максим Кириллович скорее прежнего пошел в свою комнату, заперся в ней и наедине переваривал свою досаду; капрал, с горя от неудачи своего старого командира, к которому был он искренне привязан, побрел в свою каморку и принялся за вечернюю порцию; жид отправился в свой шинок, а Ридько, повеся нос, тихо поплелся на свой ночлег. Там, укутав голову, чтоб не слышать злых насмешек, которыми его осыпали товарищи, он шептал молитвы и поручал свою душу святым угодникам, считая все случившееся с ним бесовским наваждением.

На другой день майор поздно вышел из своей комнаты; на лице его было написано уныние, и на все вопросы Ганнуси об его здоровье отвечал он отрывисто и неохотно. Заметно было, что он боялся или стыдился напоминания о минувшей ночи; усердный капрал прочел это в душе его и потому строго подтвердил хлопцам и всем дворовым людям не разглашать ничего о том, что было накануне, а более всего остерегаться, чтоб не промолвиться как-нибудь об этом перед их господином. Все знали, что пан и капрал шутить не любили, и тайна минувшей ночи замерла на болтливых языках домашней челяди. В скромности жида капрал и без того был уверен, ибо Ицка Хопылевич был молчаливее рыбы, когда чувствовал, что на хранении тайны основывались для него корыстные виды.

Новое лицо развлекло задумчивость майора и даже развеселило его. Это был поручик Левчинский, выехавший в тот день впервые после болезни и поспешивший изъявить благодарность свою Максиму Кирилловичу и милой его дочери за оказанное ему участие. С ним приехал и Спирид Гордеевич, который во все время болезни Левчинского принимал о нем отеческие попечения и полюбил его как родного сына: это чувствование было ново для доброго старика, потому что сам он не имел детей и, похоронив за три года перед тем подругу преклонных своих лет, был совершенно одинок.

Ганнуся, услышав о приезде Левчинского, смутилась и не могла ни на что решиться. Сердце влекло ее навстречу долгожданному гостю; но природная стыдливость и привычная застенчивость малороссийской панны останавливали милую девушку в ее комнате. И здесь ее состояние было почти лихорадочное: то вдруг чувствовала она легкую дрожь, то жаркий румянец вспыхивал у нее в щеках и даже пробегал по челу, высокая грудь ее волновалась, глаза покрывались тонкою, теплою влагой... В таком состоянии борьбы провела она более получаса, пока отец не кликнул ее из другой комнаты. Тогда, собрав всю бодрость девического своего сердца, она вышла к гостям; но приближение и первый звук голоса ее избавителя снова вызвали ту же краску на ее лице и тот же легкий, электрический трепет по всему ее телу. Не скоро могла она прийти в себя и отвечать полусловами на приветствия и выражения благодарности, сказанные ей Левчинским, который, может быть, в душе своей был не более спокоен, хотя, привыкнув во время службы к светскому обращению, более умел владеть собою. Наконец, крупные слезы скатились с длинных черных ресниц Ганнуси, и она облегчила свое

сердце тем, что высказала с своей стороны молодому поручику — правда, с крайним усилием и в несвязных словах — благодарность свою за спасение ей жизни.

Когда холодный порядок разговора несколько восстановился и Максим Кириллович завел с Левчинским речь о старых и новых служивых, о походах и битвах, тогда Ганнуся, тихо сидевшая в отдалении с сложенными руками, по обычаю малороссийских девиц, оправилась и начала дышать вольнее. Она украдкою начала уже всматриваться в лицо своего избавителя, замечала каждую его черту, каждое движение и часто, опустя голову, вылетавшими из уст ее вздохами нагревала прелестную грудь свою.

За обедом Левчинскому случайно пришлось сидеть подле Ганнуси. Спирид Гордеевич первый это заметил; и, понял ли сей сметливый старик зарождавшуюся в молодых людях взаимную любовь или просто хотел над ними пошутить по врожденной веселости малороссиян, он громко пожелал поручику с Анной Максимовной сидеть чаще вместе, как пара голубков. Эта малороссийская аллегория означала, что он желал их видеть четою молодых супругов. Глаза поручика заблистали каким-то новым блеском, когда он поднял их на старого своего друга, как будто бы с вопросом, сбыточное ли это желание, и тотчас опустились на стол. Стыдливая соседка его зарделась, как юная роза от первых, утренних лучей солнца, и казалось, искала глазами, нет ли какого пятнышка на ее тарелке; а старый майор поморщился и старался переменить разговор, по-видимому, не весьма для него приятный.

Впрочем, добрый Максим Кириллович уже и прежде искренне полюбил поручика; а теперь, слушая жаркие его рассказы о военных делах и умные суждения о разных предметах, еще более полюбил его и звал как можно чаще к себе в дом, прибавляя, что он и дочь его всегда рады его видеть. С этих пор Левчинский сделался почти ежедневным гостем майоровым. Часто случалось ему быть глаз на глаз с милою Ганнусей; часто рука об руку прохаживались они по саду и по окрестностям, и не раз поручик имел случай облегчить свое сердце признанием в любви; но природная его скромность, недоверчивость к своим достоинствам и горькое сознание бедности, которую б должна была делить с ним будущая подруга его жизни, удерживали его и заставляли таить в душе то чувство, которое он питал к дочери майоровой.

Миновал срок, выпрошенный евреем для чародейских его приготовлений, и мало-помалу испарилась из головы майора

досада от первой, неудачной его попытки искании кладов. Мысль обогащения подспудными сокровищами опять в нем пробудилась с новою силой. Тетрадь, заключающая в себе сказание о кладах, ни на минуту не выходила из широкого кармана охотничьей майоровой куртки, хотя Максим Кириллович давно уже знал наизуст все содержание любопытной сей рукописи и мог пересказать все упомянутые в ней урочища с зарытыми в них кладами гораздо безошибочнее, нежели сыновья его положение и богатство разных европейских государств на экзамене из географии. Наконец, день поисков был назначен. Еще до рассвета майор с капралом, евреем и Ридьком отправились на двух повозках; но куда? Этого никто не знал. Ганнуся, с восходом солнца встав с постели и не найдя отца своего дома, крайне удивилась. Ей не показалось бы странным такое раннее отсутствие, если б это было зимою: она знала, что в прежние годы отец ее никогда не упускал пороши, и могла бы подумать, что старинная страсть снова им овладела; но тогда было лето; куда же мог он уехать так рано, не сказав ей, да еще и с такою необыкновенною свитой, как жид и капрал; ибо седой инвалид, за ранами, был вовсе уволен от *опустошительных набегов* охотничьих. Целое утро Ганнуся дожидалась отца своего — и все понапрасну. Левчинский приехал около полудня, времени, в которое майор обыкновенно обедал; но хозяина еще не было. Ганнуся не таила от поручика своего беспокойства: нежной дочери казалось, что с отцом ее случилось какое-либо несчастие. Она поминутно выглядывала в окна, выбегала на крыльцо, смотрела на все стороны; раз двадцать выходила она с Левчинским на большую дорогу, расспрашивала на мельнице и у всех встречных, не видел ли кто отца ее в этот день? Никто, однако ж, его не видел, никто не знал, куда и зачем он отправился.

Солнце прокатилось по всему дневному пути своему, но встревоженная девушка и не думала об обеде; гостю ее, принимавшему живейшее участие в ее беспокойстве, также не приходила мысль о подкреплении себя пищею; и мог ли молодой, влюбленный офицер думать о таких ничтожных, вещественных потребах, когда он находился вместе с тою, которую любил, и притом должен был стараться ее развлекать и успокаивать? Наконец, когда солнце уже стало западать, вдруг пыль поднялась по дороге, послышался стук колес, и, спустя несколько минут, две повозки поспешно въехали в ворота. Ганнуся полетела птичкой навстречу отцу своему. Погодя немного майор вошел в комнату. На лице его написано

было какое-то унылое раздумье. Поцеловав дочь свою, он выговаривал ей слегка за ее напрасные тревоги и объявил, что, желая получше узнать все свои поля, он ездил по разным урочищам и замечал рубежи своих угодий; что с этого дня он должен несколько времени, и может быть целое лето, употребить на сие хозяйственное обозрение; и что жид Ицка Хопылевич как человек, разумеющий отчасти землемерское дело, необходим ему при таких разъездах.

Добрая девушка тотчас поверила отцу своему; но поручик хотя и ничего не сказал, однако ж ясно видел, что для осмотра угодий не нужно было выезжать майору до рассвета и что размежевание земель и означение рубежей не могло производиться без наряжаемых на сей конец чиновников. Левчинский не имел повода подозревать что-нибудь худое, но он успел уже отчасти узнать простосердечие и крайнюю доверчивость майора; а слышав от него, что в этом деле замешан был жид, он тотчас догадался, что здесь было не без обмана и что хитрый еврей основывал корыстные свои виды на какой-либо слабости майора. Для сего Левчинский твердо решился проникнуть в эту тайну, а до времени молчать и не наводить никаких сомнений Максиму Кирилловичу.

Каждый день майор уезжал еще до зари, и каждое утро Левчинский являлся у Ганнуси, чтобы развлекать ее в скучном ее одиночестве. Милая девушка уже не была с ним застенчива и, успокоясь насчет отлучек отца своего, радостно встречала молодого своего собеседника. Весело проводили они время в разговорах, прогулках и других невинных занятиях; они еще не сказали друг другу: «люблю!», но уже знали или, по крайней мере, понимали взаимные свои чувствования. Скромные их удовольствия перерывались только возвращением майора, который со дня на день становился мрачнее и задумчивее, как человек, теряющий последнюю надежду. Это сокрушало бедную Ганнусю: она не могла вообразить, что было причиною такой печали отца ее, и не смела спросить его о том, ибо майор сделался крайне молчалив и даже угрюм. Этой перемены не могла она приписывать неудовольствию на частые посещения Левчинского, которому майор оказывал прежнюю приязнь и радушие; какая же грусть нарушала спокойствие нежно любимого ею родителя? Она терялась в догадках и, наконец, решилась поговорить об этом Левчинскому.

Поручик уверил ее, что принимал живейшее участие в ее родителе, и обещал ей дознаться, какое несчастие грозило ему или какая печаль его тревожила. Случай к тому скоро

представился. Вечером, когда майор возвратился, Левчинский, простясь с ним и с Ганнусей, велел подвести верхового коня своего. Ридько, по рассчетливой угодливости, побежал на конюшню; между тем поручик, сошед с крыльца, сказал, что хочет пройтись пешком, и велел Ридьку вести лошадь вслед за ним. Когда они вышли за деревню, поручик, дотоле молчавший, завел разговор с своим проводником.

— Пан твой очень печалится. Не от того ли, что у вас худы посевы и не обещают хорошего урожая?

— О, нет, грешно сказать! Наши посевы хоть куда; и теперь, когда озимые хлеба уже выколосились, можно ждать, что урожай будет на диво.

— Так, может быть, посторонние завладели какими-нибудь его землями?

— Оборони бог! у нас нет лихих соседей.

— О чем же он так грустит?

— Да так; видно, худой ветер подул... не все то говорится, что знается...

— Послушай, Ридько! вот тебе на водку.— При сих словах Левчинский сунул ему в руку серебряный полтинник и, помолчав с минуту, продолжал: — Ты знаешь, что я люблю твоего пана и желаю ему добра. Вижу, что он почти болен от какой-то грусти, вижу, что милая, добрая ваша панянка тоскует и сохнет, глядя на отца своего, и не знаю, как помочь их горю. Пособи мне в этом: скажи, зачем майор уезжает каждое утро и в чем и какая ему неудача?

— Сказал бы вам... Да вы никому об этом не промолвитесь?

— Вот тебе мое честное слово...

— Верю: вы не из тех панов, которые обещают и не держат слова; вы даже прежде даете на водку, чем обещаете... Только... как вы думаете: пан мой не узнает об этом?

— Как же он может узнать, если я не скажу? А я уж дал тебе слово молчать.

— Не вы, а этот проклятый жид: он может отгадать по звездам и по воде, что я проговорился об этом деле.

— Небось, не отгадает; у меня есть на это свой заговор, против которого жид не устоит со всем его колдовством.

— Право?.. Так мне и бояться нечего. Только вы не будете нам мешать в нашем деле?

— Нисколько; а напротив, еще буду помогать твоему пану, когда в деле этом нет ничего худого.

— И, какое тут худо! Ведь, кажется, нет греха выкапы-

вать клады, зарытые в земле и у которых нет хозяина, кроме иногда — наше место свято! — кроме лукавого. А вырвать у него добычу, не погубя души своей, мне кажется, не грех, а доброе дело.

— Точно. Так майор ищет кладов?.. Да нашел ли он хоть один из них?

— Ну, до сей поры мы не видали еще ничего, кроме земли да подчас старых черепьев и обломков того-сего; а мы перерыли уже добрых десятка три мест в разных урочищах, которые записаны в тетрадке у моего пана.

— Какая ж это тетрадка?

— В ней, видите, как по пальцам высчитаны все груды золота и серебра, закопанные разбойниками и колдунами в нашем краю. Да, видно, эти колдуны были посмышленее нашего жида: сколько он ни кудесит, а все мало проку от его заговоров и ворожбы. Чуть ли он не морочит и нас, и нашего пана.

Этих известий было достаточно для Левчинского. Теперь он ясно видел, что догадки его насчет легковерности простодушного Максима Кирилловича были основательны. Сев на коня своего, поручик отпустил Ридька и тихо поехал домой, рассуждая о слышанном и сожалея о странном заблуждении доброго своего соседа. Вдруг ему пришло на мысль, подделаться к любимому коньку майорову для двух причин: во-первых, чтобы сим способом еще более приобресть дружбу и доверие Максима Кирилловича и чрез то заготовить себе дорогу к его сердцу, когда дело дойдет до искания руки Ганнусиной; а во-вторых, чтобы, если можно, излечить майора от суетной мечты обогащения кладами, показав ему на деле несбыточность этой мечты. План Левчинского тотчас был составлен и одобрен собственным его умом: помощь жида в этом случае была необходима; и поручик, знав по опыту, приобретенному им в походах и квартировании по разным местам Польши и Литвы, — знав, сколько сии всесветные торгаши падки к деньгам, решился подкупить Ицку Хопылевича и тем склонить его на свою сторону. Это не трудно было сделать: Левчинский, по приезде домой, тотчас отправил своего Власа в шинок еврея, чтобы позвать Ицку в хутор и сулить ему хорошее награждение.

Влас, человек Левчинского, тот самый, которого мы уже видели на минуту в доме майоровом, был молодой, видный и проворный детина, усердный к своему господину и готовый по одному знаку исполнять его приказания, хотя бы в этом видел для себя опасность. В платье денщика он как будто бы

переродился: из тихого, робкого малороссийского хлопца сделался в короткое время развязным и лихим офицерским слугою, перенял все ухватки солдатские и гордился тем, что считал себя военным человеком. Он знал по пальцам все замашки и плутни евреев и радовался душевно, если удавалось ему перехитрить жида или сделать опыт полувоинской своей сметливости, не поддавшись в обман. Привыкнув к этой игре ловкости ума, к этой, так сказать, междоусобной войне хитростей, обыкновенно ведущейся у постояльца-солдата с хозяином-жидом, Влас очень обрадовался поручению, которое дано ему было от господина, предполагая, что ему опять удастся провести жида. Бездействие однообразной жизни в уединенном хуторе уже наскучило нашему молодцу: он давно искал случая снова развернуть свои природные и приобретенные способности ума, которых он никогда не изведывал над своим господином, может быть оттого, что не видал к сему никакого повода; или мы охотнее согласны думать, что Влас не хотел нарушать честности и верности, которые питал в душе к своему барину.

Не расседлывая поручикова коня, Влас мигом вскочил на него и полетел по дороге к шинку Ицки Хопылевича. Он вошел в шинок как такой человек, которому местности подобных заведений и употребительные в них приемы знакомы как нельзя более, сел на первое место и проговорил громко и бойко: «Здорово, еврей!»

— Кланяюсь униженно вашей чести, господин служивый! — отвечал Ицка польским приветствием своего перевода, исподлобья поглядывая на приезжего и как будто бы из глаз его стараясь выведать причину столь позднего и неожиданного посещения.

— Мне надобно с тобою переговорить,— сказал Влас тем же голосом.— Эй, ты, смазливая жидовочка! вынеси этим землякам кружки и чарки в клеть или куда хочешь, только чтоб никого здесь не было. А вы,— продолжал он, обратясь к запоздалым гулякам,— проворней отсюда за порог, не дожидаясь другого-прочего.

Все мигом выскочили за дверь, потому что малороссияне не любят или, правду сказать, не смеют спорить с *москалем* — так они называют всякого военного человека, особенно пехотных полков. Оставшись наедине с евреем, который в нерешимости и с тайным страхом ожидал первых слов своего собеседника, Влас в одну минуту сделал свои стратегические соображения. Он видел ясно, что ничего нельзя было от Ицки получить без важных посулов, и потому решился

сделать свою попытку привычным своим средством в таких случаях, т. е. угрозой!

— Слушай, жид,— сказал он строгим голосом.— Я приехал к тебе не бражничать, как эти ленивцы, которых отсюда выпроводил. Мне нужно не вино твое, а ты сам...

— Как? — боязливо промолвил Ицка, дрожа как осиновый лист.

— Да, ты сам; готовься сейчас ехать со мною: иначе — ты знаешь...

— Ваша честь, господин служивый! Я человек невольный, я в услугах моего пана, который поминутно меня требует, и без его ведома не смею отлучаться... дайте мне час времени! Я пойду на панский двор и спрошу позволения...

— Вздор, приятель, не рассказывай мне пустяков! Я знаю, что старый майор теперь спит, так же как и вся его дворня; а мне нельзя терять ни минуты. Сейчас же на коня и со мною...

— Да моя лошаденка теперь пасется в поле...

— А! ну, так беги пешком, только поспевай за моею лошадью; не то... Я шутить не люблю!

— Воля ваша, господин служивый! у меня ноги болят: не поспею.

— Так слушай же: я привяжу тебя на аркан и буду тащить за собою, как горцы таскают своих пленных. Согласен ли ты?

— Нет, уж позвольте мне лучше поискать лошаденки: может статься, какая-нибудь из соседских стоит у меня под навесом, может статься, и мою еще не угнали на пастьбу...

— Хорошо! только не думай, что можешь меня провести и улизнуть отсюда: я старый воробей, меня на мякине не обманешь. Я сам иду с тобой и ни на миг не выпущу тебя из виду. В том моя нагайка тебе порукой.

Они вышли. Жид, видя, что все покушения к побегу были бы не только напрасны, но еще и накладны для его спины, решился облегчить неведомую, но вероятно горькую свою участь совершенною покорностию. Грозный Влас шел у него по пятам, помахивая, как будто от нечего делать, ременною своею нагайкой. Под навесом нашли они лошадь еврееву. Ицка хотел было идти за седлом, все еще надеясь как-нибудь ускользнуть от своего вожатого; но Влас не дал ему и договорить своих представлений: он велел жиду скинуть верхний его плащ и набросить его на лошадь вместо попоны, сам посадил его верхом, схватил повода его лошади и, сев на свою, помчался с ним во весь дух. Все это сделано было с та-

кою поспешностию, что жена Ицки не успела опомниться: ни она, и никто из посторонних не видели и не знали, куда исчезли и сам Ицка, и страшный, сердитый *москаль*. Лейка, не нашед своего мужа в шинке и не докликавшись его по двору, всплеснула руками, взвыла и закричала, что его унес Хапун[26], явившийся в виде солдата.

Между тем Ицка, у которого, может быть, также бродила в голове подобная мысль, скакал по дороге с неизвестным своим спутником, не зная и не понимая, куда везли его. Он никогда еще не видал Власа, потому что Левчинский приезжал в дом майора всегда верхом и без проводника; никто из людей, случившихся на тот раз в шинке, также не знал нашего удальца. Дорогою Влас попеременно то делал жиду сомнительные, наводящие страх намеки, то наводил его на мысль о значительной награде и старался ему внушить, что не всякий тот беден, кто кажется бедным по виду и о ком идет такая молва. Несчастного Ицку порою пронимала дрожь, несмотря на духоту летней украинской ночи; иногда же кровь, отхлынув от сердца, мучительным огнем протекала по всем его членам, и окружающий воздух казался ему жарче раскаленной печи. Таково было его положение до самой той минуты, когда они подъехали к дому Левчинского. Влас немедленно ввел еврея в комнату своего господина, и жид, увидя знакомое лицо офицера, о котором наслышался много доброго, несколько ободрился и почувствовал, что как будто бы гора спала у него с плеч. Однако же, напуганный Власом и от природы недоверчивый, он все еще не был совершенно спокоен.

Поручик решил наконец его сомнения, заведя речь о майоре и разными околичностями весьма искусно доведя ее до кладов. Не трудно было Левчинскому получить желаемое от еврея: Влас такой задал ему страх, что он и безо всего согласился бы на всякие условия, а пара червонцев, данных ему поручиком, совершенно оживила упадший дух Ицки и подкупила его в пользу молодого офицера. И вот на чем они положились: честный еврей Ицка Хопылевич должен был уверить майора, что поручик Левчинский узнал от одного колдуна в Польше тайну находить и вырывать из земли самые упорные клады, если только они не были вырыты кем-либо прежде. За это Левчинский обещался наградить еврея еще более, и они расстались, быв оба весьма довольны. Поручик — тем, что предположения его принимали желаемый оборот; а жид — двумя червонцами и надеждою получить еще вдвое за свою услугу. Жид поехал домой уже не в та-

ком расположении духа, как выехал оттуда, и только боялся, чтобы Влас не вздумал провожать его: хоть мысли сего честного иудея насчет его посольства и переменились, но все он думал, что для него было гораздо надежнее подале быть от этого удальца, у которого, по мнению Ицки, самому лукавому еврею ничего нельзя было выторговать, а только можно было вконец проторговаться.

Все исполнилось по желанию поручика. Ицка Хопылевич сплел майору весьма замысловатую сказку о колдуне, который, бегав оборотнем и быв пойман в виде волка, избавлен был от смерти поручиком Левчинским и, в благодарность за такое одолжение, научил Левчинского трем словам, с помощию которых он мог узнавать, в каких местах клады скрыты под землею; но колдун взял страшную клятву с поручика, чтоб этих слов никому не передавать и вслух не говорить. «Все это узнал я,— прибавил жид,— от поручичьего денщика Власа, подпоив его и разговорившись с ним под добрый час, и прошу вас, вельможный пан, держать это у себя на душе и не сказывать пану Левчинскому: иначе будет худо и мне, и нескромному денщику». Майор нисколько не подозревал обмана и принял за чистые деньги все, что жид ему рассказывал. Он обещался плутоватому еврею не говорить об этом с Левчинским и между тем твердо положил у себя на уме воспользоваться этою чудною способностью Левчинского и, если невозможно было выведать у него таинственных слов, то, по крайней мере, задобрить его всеми средствами и заманить в свои планы обогащения: т. е. склонить его вместе отыскивать клады по указанию известной тетрадки.

В первое свидание с Левчинским Максим Кириллович завел обиняками речь о том, какие богатства скрывает в себе земля украинская. Поручик, притворно не поняв его слов, отвечал, что земля сия точно богата своим плодородием и счастливым климатом; что на ней родятся многие нежные плоды, местами даже виноград, абрикосы и проч. и что если бы не природная лень малороссиян, которые мало заботятся о полях своих и вообще плохие землепашцы, то можно б было ожидать, что плоды земные в несравненно большей степени вознаграждали бы труд поселянина. В продолжение сей речи, в которой Левчинский хотел явить опыт своего красноречия и силу убедительных доводов, Максим Кириллович оказывал явные знаки нетерпеливости: он то морщился, то пожимал плечами, то с ужимкою потирал себе руки; наконец, не в состоянии быв выдерживать долее, он вдруг вскочил с места, подошел к поручику и, поспешно перебив его

речь, проговорил голосом, изъявлявшим, что собеседник худо понял его намерение:

— Не о том речь, Алексей Иванович! вы, молодые люди, подчас на лету слова ловите, зато часто и осекаетесь, и выдумываете за других, чего они вовсе не думали. Что мне до пашней и посевов? Это идет своим чередом, и не нам переиначивать то, что прежде нас было налажено... Тут совсем другое дело: я знаю, что хотя в нашем краю доныне не отыскивалось ни золотой, ни серебряной руды, а золота и серебра от того не меньше кроется под землею. Просто сказать, здесь живали и разбойники, и богачи-колдуны; все же они прятали любезные свои денежки и драгоценные вещи по разным похоронкам, в урочищах, которые мне сведомы. Если б бог послал мне человека, который бы знал, как эти клады из земли доставать, то я отдал бы на святую его церковь десятую долю изо всего, что добудется, другую десятую долю раздал бы нищей братии, а остальным поделился бы с моим товарищем... А ведь есть на свете такие люди, которым открывается то, что другим не дается. Есть такие *секреты* и заговоры, что от них никакой клад не улежит под землею и никакой злой дух не усидит над ним. Иногда два-три слова — да от них больше чудес, чем от всех колдовских затей самого могучего кудесника...

— За двумя-тремя словами не постояло бы дело,— промолвил Левчинский с видом таинственным,— но как узнать, что клад прежде не был кем-либо добыт? Силу слов истратишь понапрасну, а пользы никакой не соберешь.

— Вот теперь ты говоришь, Алексей Иванович, как истинно умный человек! — радостно вскричал майор и бросился его обнимать.— Ну, когда на то пошло, так я выставлю тебе напоказ все мои сокровища. Смотри и любуйся!

После сих слов Максим Кириллович поспешно ушел в свою комнату, схватил известную тетрадь, вынес ее и подал Левчинскому.

Поручик, едва удержавшись от смеха при сей выходке майора насчет мечтательного своего богатства, с вынужденною важностию принял от него тетрадь и пробежал ее наскоро.

— А это что за отметки? — спросил он у майора, указав на крестики, начерченные свинцовым грифелем, которым старик заменял карандаш.

— Это, сказать тебе правду, Алексей Иванович, обозначены те места, на которых я пытался уже искать кладов...

— И нашли сколько-нибудь? — подхватил поручик.

— Ну, покамест еще ничего не нашел,— отвечал Максим Кириллович с некоторым замешательством, потупя глаза в землю...— Теперь же,— продолжал он, приподняв голову,— с божией помощию и твоим пособием, надеюсь лучшего успеха.

— От души желаю вам его и готов с моей стороны служить вам всем, чем могу,— отвечал Левчинский.

— По рукам, Алексей Иванович! — вскрикнул майор вне себя от удовольствия.— Мне как-то сердце говорит, будто бы ты по скромности не все о себе высказываешь, а знаешь многое! Ну, милости прошу завтра пожаловать ко мне до рассвета: мы вместе отправимся на поиски к *Кудрявой могиле*[27]. Посмотри-ка, что там!

Майор указал в тетрадке на сокровища, по сказанию о кладах, зарытые в помянутом урочище. Левчинский прочел потихоньку и как бы обдумывал что-то. Спустя несколько минут, они расстались.

Едва занялась утренняя заря, а наши искатели приключений были уже на половине дороги. Число их теперь умножилось еще двумя, потому что поручик взял с собою Власа, предупредив майора, что этот человек, быв отлично искусен в отыскивании жидовских похоронок фуража и провизии на постоях, без сомнения, покажет ту же самую сметливость и в искании кладов. «Притом же,— прибавил поручик,— он сам знает кое-что». С новою надеждою в душе остановился майор у подножия *Кудрявой могилы*. Это была довольно высокая, круглая и островерхая насыпь, принявшая от времени вид самородного холма и покрытая терновником и другими кустарниками, почему и получила она название *кудрявой*. Влас, соскочив с повозки, взял белый ивовый прутик с каким-то черным камнем на черном снурке и начал потихоньку подаваться на вершину холма, держа прутик параллельно к земле; майор с поручиком, а позади капрал с евреем и Ридьком в молчании шли за Власом и не спускали глаз с волшебного прутика. Вдруг на половине холма, между кустарниками и мелким валежником, Влас остановился и вскричал: «Смотрите, господа!» Все обступили вокруг и увидели, что прутик начал тихо клониться вниз и гнулся до тех пор, пока черный камень совсем лег на землю. Все вскрикнули от удивления, и майор едва не вспрыгнул от радости. Сам еврей, не веривший и, может быть, имевший причину не верить знанию Власа, стоял в немом изумлении, с глазами, бессменно устремленными на прутик. Наконец Влас объявил, что не в силах долее держать прутика, который сде-

лался необыкновенно тяжел, и выронил его из руки. Все кинулись разгребать валежник; Влас схватил заступ и принялся рыть землю. На аршин в глубину показался слой угольев и золы, как бы смоченной водою, далее черепья, битый кирпич и песок. Майор взглянул на поручика, и в эту минуту Левчинский, тоже пристально смотревший на майора, несколько раз пошевелил губами. Вдруг что-то звякнуло, и заступ уперся в какое-то твердое тело. Мигом все было разгребено, и открылся небольшой чугунный котел, худой и ржавый. Ицка не вытерпел: бросился к котлу, схватил его обеими руками, рванул — и из котла высыпалась небольшая кучка серебряных денег да пять-шесть червонцев. Жид проворно схватил все это и начал считать; но Влас, оттолкнув его, собрал деньги и поднес их майору, который, отойдя в сторону с Левчинским, принялся рассматривать и пересчитывать свою добычу. Ицка Хопылевич подошел к своему пану и с униженным видом, весьма несвободным голосом начал представлять, что третья доля всей находки, по условию, принадлежит ему. В это время Влас, как бы поверявший в уме счет майора, вдруг обернулся и сильною рукою дал Ицке пощечину, от которой два или три червонца и несколько мелких серебряных монет выскочили изо рта его. Без дальних оговорок разгорячившийся Влас начал обеими руками трясти Ицку, приговаривая:

— Тому, кто положил клад, и в голову не приходило набивать им карманы вашей братье!

— Так этот клад положен недавно? — вскричал майор, как будто бы поймав какую-то светлую мысль.

— Не верьте болтанью этого сумасброда! — отвечал Левчинский в смущении.

— Скажи, Алексей Иванович,— подхватил майор с чувством, но голосом, в котором прорывалась нетерпеливость,— скажи мне всю правду...

— Поедемте,— перервал речь его поручик,— я сам буду править на вашей повозке, больше с нами никого не нужно... Здесь уже нам нечего делать. Влас! собери деньги и, по приезде, вручи их Максиму Кирилловичу.— При сих словах он взял майора под руку и почти насильно увел его к повозке.

— Тут что-то не просто,— вполголоса говорил капрал, покручивая седые свои усы,— тут что-то не просто!

— Я тебе все расскажу, старая служба! — отвечал ему Влас и, отведя его в сторону, продолжал:— Вот видишь ли, помещик твой небогат и доедает последние свои крохи: ищет кладов, а об хозяйстве и не думает — хоть трава не рас-

ти. Виданое ль это дело, запускать поля и пашни, которые наши истинные кормилицы, а рыться по-пустому в земле для того, что какому-то проказнику вздумалось подшутить над добрыми людьми и обещать им золотые горы там, где, кроме черепья да песку, ничего не бывало? Сам ты, умная голова, рассуди!

— Правда, правда! — промолвил капрал, как бы одумавшись.

— Барин мой видел, что майору скоро придется пить горькую чашу, — продолжал Влас, — для того-то он и зарыл здесь ввечеру все то, что сберег в походах и что старушка его скопила трудами своими и бережливостью лет десятка за два. Жаль было старой барыне расстаться с потовыми своими денежками, да, видишь, она сыну своему ни в чем не отказывает. Всего набралось рублей сотни две: этим поручик думал сколько-нибудь помочь майору, хоть до осени, пока хлеб уберется с поля. Он знал, что майор иначе не принял бы от него денег, из барской спеси, и для того придумал эту хитрость.

Почти то же, но с разными обиняками и возможною тонкостию, рассказывал дорогою майору Левчинский, во всем сознавшийся. Добрый Максим Кириллович сперва было посердился, приняв это за дурную шутку; но после, вполне выразумев намерение молодого офицера, глубоко был тронут благородным его поступком, и сам уже извинял его в душе своей за этот затейливый способ снабдить своими деньгами соседа. Однако же, несмотря на все убеждения Левчинского, майор решительно отказался взять эти деньги, даже и в виде займа. После долгих и жарких переговоров они перестали наконец говорить об этом деле и приехали в дом майоров оба в задумчивости.

С этого дня майор все более и более упадал духом. Мечты обогащения в нем замерли; Левчинский столь верно, столь живо представил ему всю несбыточность их, что, вместо прежней лелеявшей его надежды, в нем поселились раскаяние и безотрадное уныние. Уже он не выезжал до рассвета, но бессонница опять начала его мучить. Наступила осень. Поля майоровы, оставленные без присмотра и небрежно возделанные ленивыми его крестьянами, принесли весьма малый запас хлеба; а другие и вовсе были без посева. К тому же докуки заимодавцев час от часу становились чаще, состояние домашних дел еще более расстроилось... Майор почти приходил в отчаяние: ни советы войскового писаря, ни утешения Левчинского и Ганнуси — ничто не помогало. Часто по

целым ночам ходил он взад и вперед по своей комнате... и вот однажды снова вспало ему на мысль, для развлечения, пересмотреть остальные бумаги в дедовском сундуке. Ночью, чтобы прогнать свою бессонницу и убаюкать себя хотя, попрежнему, новыми мечтами и надеждами, он опять выдвинул с крайним усилием сундук, отпер его и начал выкладывать из него бумаги. Дошед до того места, где попалась ему известная рукопись, он приостановился и задумался. Тяжкий вздох окончил его печальные размышления; он начал рыться далее в пыльных и пожелтелых бумагах, но, к удивлению своему, находил только белые листы. Он рассудил за лучшее разом вынуть всю кипу и пересмотреть, нет ли между нею чего-либо особенного. Каковы же были его изумление и радость, когда, приподняв сии бумаги, он увидел под ними несколько длинных узких мешков из *пестряди* (полосатого тика) и четыре кожаные кошелька, плотно завязанные и запечатанные! «Так вот где клад!» — громко вскрикнул майор, не в силах быв владеть собою. Тотчас он схватил один мешок, потянул его — слегшийся и перегнивший тик разорвался, и из него посыпались серебряные рубли. Нетерпеливый старик схватил другой мешок — из него также зазвенели рубли; в третьем и четвертом было то же; в трех остальных было мелкое серебро: гривенники, пятачки, копеечки. Майор был вне себя от такого неожиданного богатства: он остановился и несколько минут смотрел на него тупыми глазами. Потом, когда первые движения изумления и радости утихли, он начал рассуждать: сперва ему пришло в голову, не снова ли мечта шутит над ним и не было ли это действием горячки, приключившейся от бессонницы; далее — не искушал ли его лукавый своим наваждением? Майор перекрестился, сотворил молитву и с болезненным чувством ожидал, что мнимый клад рассыплется прахом... но клад не рассыпался. Тогда майор с большею уверенностию, перекрестясь еще однажды, принялся за кожаные кошельки, которые уцелели еще от времени. Снурки отвалились вместе с печатями, и — новый восторг для нашего Максима Кирилловича! Из кошельков высыпал он на стол целую груду червонцев. Некогда было и думать обо сне: майор принялся прежде всего считать червонцы: их было ровно тысяча. Между ними майор заметил выпавшую из одного мешка бумажку: он развернул ее и прочел следующие слова, написанные самым старинным почерком, на малороссийском наречии: «Сии деньги заложил аз, грешный раб божий, хорунжий Яким Нешпета, от избытков моих, на пользу и про нужду того из моих наслед-

ников, кому бог положит на сердце сберечь родовые свои документы. Не полагаю никакого на них зарока; но желаю от глубины души моей, чтобы деньги сии достались не моту, не гуляке, а человеку, терпящему недостаток, от чего, однако же, да спасет господь бог род мой и племя на долгие веки!» Этот хорунжий был дед майоров, человек богатый и бережливый, и умер лет за сорок до того времени, в которое наш майор отыскал эти деньги. Добрый Максим Кириллович совершенно успокоился в совести насчет законности своего приобретения и безопасности владения оным.

Пересчитав свое золото, майор принялся за серебро. Вся ночь протекла в этом занятии, которого следствия были самые удовлетворительные и утешительные: майор нашел в мешках двенадцать тысяч серебряных рублей и на восемь тысяч мелкого серебра полным счетом. Этого было слишком достаточно для теперешних его желаний, которые, со времени напрасных его поисков, сделались гораздо умереннее. Оставалось одно затруднение: куда припрятать эти деньги, чтоб укрыть их от зорких глаз и неосторожного болтанья *хлопцев*, от алчного чутья воров и от завистливой докучливости соседей, которые поминутно стали бы просить взаймы у нового богача-соседа? Майор решился дожидаться утра, чтобы посоветоваться с единственным поверенным всех своих тайн, старым капралом, и, оставя дела в том порядке, в каком мы их видели, запер изнутри дверь своей комнаты на замок и лег в постелю, не для того, чтобы уснуть, но чтобы насладиться в полноте новым своим счастием и спокоить волнение чувств, крайне встревоженных такою радостною нечаянностию. Груды денег, лежавшие перед ним, казалось ему, будто бы поминутно росли и наконец наполнили собою всю комнату, в которой он, от тесноты, почти не мог перевести дыхания. Не скоро мог он вздохнуть свободнее и забыться впервые после очень долгого времени сладкою дремотой.

— Кто там? — вскричал майор, услышав поутру легкий стук у двери.

— Я, ваше высокоблагородие! — раздался голос старого капрала. Майор отпер дверь, и капрал вошел.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — сказал он и остановился, остолбенев от удивления.

— Молчать, старый товарищ! — ласково молвил ему вполголоса Максим Кириллович, потрепав его по плечу.— Вот что бог посылает нам на старость.

Капрал уставил глаза на золото и серебро и не скоро мог

опомниться. «Так ваше высокоблагородие все же нашли клад»,— проговорил он наконец, как будто бы не вполне еще веря тому, что видел.

— Не клад, а старинное, родовое наследство, капрал!— отвечал Максим Кириллович и в коротких словах объяснил все дело прежнему своему сослуживцу.

— Велик бог милостью, ваше высокоблагородие! Он утешил вас за долгое терпение! — проговорил капрал с облегчающим вздохом, которым он как будто бы перевел дыхание после продолжительного, тяжкого труда.

— Правда, правда, капрал,— отвечал майор,— и мы сегодня же отслужим благодарственный молебен с акафистом Николаю Чудотворцу, скорому помощнику в бедах. А теперь пособи ты мне советом: куда припрятать эти деньги?

— Да туда же, ваше высокоблагородие, на прежнее место. Сундук этот крепок: смотрите, как он плотно окован. Мы прибьем к нему новые полосы железа, свежие петли да два-три лишних пробоя с замками, так пусть-ка попытаются в него забраться; а утащить его никто не может: эдакой тяжести под мышкой не унесешь! Комнату станете вы тоже запирать двойным замком; а что нужно из денег для обиходу, отложите в железную шкатулку...

— Дельно, умная голова! — отвечал ему майор.— Так, благословясь, примемся же за дело. Принеси все, что нужно, а я, между тем, отсчитаю деньги...

Целое утро майор с капралом работали над сундуком, запершись в комнате. Хлопцы слышали стук, но не могли догадаться, что там делалось. За час до обеда майор вышел и послал за священником. Ганнуся с неописанною радостью увидела веселое лицо отца своего. Все домашние, собравшись к молебну, дивились и не могли понять, за какой счастливый случай пан их так усердно благодарил бога? Но Ганнусе не нужно было знать ничего более: она видела отца своего довольным, и милая девушка, с теплыми слезами стоя на коленях, благодарила все силы небесные за избавление его от тяжкой душевной болезни.

В эту самую минуту вошли Спирид Гордеевич и Левчинский. Они стали с молящимися, и поручик, заметно было, молился с великим усердием. По окончании молебна войсковый писарь вызвал майора в другую комнату и сказал ему без околичностей, что приехал с женихом к его дочери.

— С каким женихом? — спросил майор несколько надменно.

— Сосед! — отвечал ему Спирид Гордеевич.— Мы с то-

бою в таких летах, в которые ничего не пропускают мимо глаз; и ты, верно, заметил, что Алексей Иванович Левчинский и моя крестница Анна Максимовна давно любят друг друга.

— Любят! этого мало. Хорошо любить, да было бы чем жить. Куда он приведет мою дочь? У него только и есть, что ветхая хатка, которая скоро от ветра повалится.

— Откуда такая спесь, любезный кум? Сказать ли тебе всю правду: ведь ты сам немногим чем его богаче...

— Ну, бог весть! — перервал его речь майор, приосанившись и потирая себе руки.

— Но пусть и богаче,— подхватил войсковый писарь,— в чужом кармане считать я не умею и не охотник. Дай бог тебе разбогатеть; тебе же лучше. Худо только то, что ты не помнишь добра, которое тебе сделано: ты позабыл уже, что Левчинский жизнью своею купил себе невесту, что для твоей дочери бросался он на верную почти смерть...

— Полно, полно, Спирид Гордеевич! — вскрикнул растроганный майор.— Вот тебе рука, что сватовство твое не пошло на ветер. Быть так! пусть Ганнуся будет женою Левчинского. Видно, на их счастье... Скажу тебе, дорогой мой кум,— продолжал он, понизив голос,— что нынешнюю ночь бог послал мне...

— Клад? — вскрикнул войсковый писарь с лукавою улыбкой.

— Пропадай они, эти проклятые клады! — отвечал майор.—Нет, друг мой, этого грех назвать кладом: я отыскал дедовское наследство.— Тут майор снова рассказал о своей находке и подал найденную им записку войсковому писарю.

— Подлинно, в этом виден перст божий! — молвил Спирид Гордеевич, пробегая записку.— Сам бог благословляет наших молодых людей и посылает тебе это неожиданное счастье, чтоб не было больше никакого препятствия их союзу. Правда, и без того они богаты не были б, а сыты были б. Ты знаешь, у меня нет ближней родни, а дальняя богаче меня вдесятеро и спесивее всотеро: ни один из этих родичей на меня и смотреть не хочет. Имение мое не родовое, а трудовое; я властен им располагать, как хочу...

— Что же ты из него хочешь сделать? — подхватил майор с обыкновенною своею нетерпеливостию.

— Я разделю его на две части,— отвечал Спирид Гордеевич,— одну при жизни еще уступаю Левчинскому, нареченному моему сыну; а другую по смерти моей завещаю своей крестнице, будущей жене его...

— Добрый, добрый сосед! милый, дорогой кум! — повторял Максим Кириллович в сильном движении души, крепко сжимая в дружеских объятиях своего соседа.

— Пойдем же благословить наших детей,— отвечал сей последний, тихо вырываясь из его объятий,— зачем томить их долее мучительною неизвестностию!

Они вышли, держа друг друга за руки, и застали молодых людей в робком ожидании. Ганнуся сидела в углу, повеся голову; Левчинский стоял подле печки, сложа руки и устремя глаза на синие изразцы, как будто бы хотел срисовывать все вычурные фигуры, которыми они были изукрашены.

— Вот, Максим Кириллович, прошу принять нареченного моего сына к себе в зятья,— сказал войсковый писарь церемониальным голосом, взяв Левчинского за руку и подведя его к майору.

— Рад хорошему человеку,— отвечал майор таким же тоном,— и уверен, что дочь моя будет с ним счастлива.

Через две недели все соседство пировало свадьбу Левчинского и Ганнуси. Брачные пиры продолжались несколько дней, и даже Спирид Гордеевич отбросил на время расчетливую свою бережливость: он, по тогдашнему понятию, пышно угостил созванных им соседних панов. Старый капрал, в день свадьбы доброй своей панянки, одевшись по-праздничному, бодро притопывал здоровою своею ногою под веселую музыку *мятелицы*, *журавля* и других плясовых малороссийских песен; а еврей Ицка Хопылевич как человек на все способный и всегда готовый угождать своему помещику явился с своими цимбалами подыгрывать гуслисту и двум скрипачам, которых выписали из города.

Несмотря на все старания Максима Кирилловича, слух о быстром его обогащении скоро разнесся по всему околотку. Все узнали, что у него проявилось много денег, не узнали только, откуда он взял их. Стали доведываться у хлопцев, и те проболтались, что пан долгое время искал кладов. Ясное дело: он разжился найденными в земле сокровищами! Много нашлось охотников обогатиться этим легким способом; но все они не так счастливо кончили, как старый наш майор: не у всякого был такой добрый и предусмотрительный дедушка!

Заимодавцы майоровы снова явились к нему, уже не с криком и угрозами, а с поздравлениями и низкими покло-

нами. Все они получили сполна свои деньги и от души пожелали другим своим должникам, в *состоятельности* коих не были уверены, так же счастливо поискать кладу.

Ицка Хопылевич также явился однажды с своею *претензиею*, как говорил он. Честный еврей расчел, что, по условию, ему следовала третья доля из находки майоровой; но Левчинский с смехом вызывал его отгадать посредством своей науки, где Максим Кириллович нашел свой клад; а Влас, случившийся тут же, советовал Ицке лучше прятать третью долю, которую отсчитает ему майор, нежели то серебро, которое он хотел утаить на Кудрявой могиле. «Иначе,— примолвил насмешливый Влас,— щеки твои опять рассыплются кладом. Ты знаешь, приятель, что и я отчасти смышлен в колдовстве и без волшебного прутика знаю, где отыскивать серебро».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Почти подлинные слова одной старинной рукописи, которую сочинитель сей повести, назад тому лет двадцать, видел у одного украинского помещика. Древность и ветхость бумаги, почерк руки и крайне полинявшие чернила, особливо старинный язык ее, смесь русского с малороссийским и польским,— все доказывало, что рукопись сия не поддельная.

[2] Сагайдачный *шлях*, т. е. дорога, есть одна из самых старинных дорог в Малороссии. Она проходит по губерниям Полтавской, Слободско-Украинской и Черниговской и теряется, как полагают, на пределах Волыни. Название *Сагайдачного шляха* получила сия дорога, по мнению одних, от имени храброго казачьего полковника Сагайдачного, который, будто бы, вел войско сею дорогой; а по мнению других, от дуги, которую дорога сия описывает в пролегаемом ею краю и которая изгибается в виде лука (*сагайдака*).

[3] Худояр, славный разбойник в Малороссии, живший, как думают, около половины XVII столетия. Предания о нем темны или и вовсе потеряны. Говорят только, что он закапывал в разных местах Малороссии богатые свои добычи. В этом же смысле о нем упоминается и в старинной рукописи о кладах. (См. примеч. 1).

[4] Звательный падеж в малороссийском наречии слова: сынок.

[5] *Атаман*, или, как в других местах Малороссии называют, *войт*, есть сельский выборный, или староста.

[6] Примеры нищих, которые, почти целый век бродив по миру, под конец своей жизни бросали это ремесло и жили безбедно, иногда даже и в обилии, вымоленными деньгами, не редки в Украине. Сочинитель сей повести часто слыхал об одном нищем, жившем в Б... Слепец сей более сорока лет жил на счет доброхотных дателей и, наконец, одряхлев, перестал ходить с сумою и посохом, поселился в маленьком уютном домике и прожил остальные свои лета хотя не роскошно, но в довольстве по крестьянскому понятию. Трех своих дочерей выдал он за порядочных людей и за каждою из них дал в приданое по тысяче рублей серебром: такая сумма в тогдашние времена (лет за сорок пред сим) почиталась очень

значительною, даже и не для крестьянина. Должно думать, что и здесь старуха разбогатела сим же способом, но совестясь признаться в том или боясь, что ей не поверят, выдумала сказку, весьма правдоподобную для простодушных земляков своих.

[7] Читатели, конечно, поняли цель сей повести собрать сколько можно более народных преданий и поверий, распространенных в Малороссии и Украйне между простым народом, дабы оные не вовсе были потеряны для будущих археологов и поэтов. И теперь уже многие из них позабыты; другие, по смутным рассказам старых людей, еще удерживаются в памяти простодушных сельских жителей. С распространением просвещения они и вовсе исчезнут. Сочинитель, знакомый с нравами и обычаями тамошнего края, собрал, сколько мог, сих народных рассказов и, не желая составлять из них особого словаря, решился рассеять их в разных повестях. У других просвещенных народов Европы много было писано о таковых предметах: они, у каждого из сих народов, составляют запас для народной поэзии, равно как и для исследований о первобытных нравах и обычаях их предков.

[8] *Чумаками* в Малороссии называются погонщики волов, ходящие с обозами и нанимающиеся для перевоза тяжестей. Они ходят с волами не только в разные далекие края России, но даже и за границу, как-то: в Силезию, Саксонию и пр. Места сии называют они по-своему, например: Шлёнек (Силезия), Береслав (Бреславль) и Липск (Лейпциг).

[9] *Батог* — бич или плеть на длинной палке; ею чумаки погоняют волов.

[10] *Знахарь* — колдун.

[11] *Зеленою неделей* называется в Малороссии семик, или седьмая неделя после светлого праздника. Троицын день также называется *зеленою неделей*, принимая в сем последнем случае название *неделя* за воскресенье; ибо под словом неделя в Малороссии обыкновенно разумеется воскресный день. Таким образом, встречаемое в малороссийских песнях выражение: *в недилю рано*, значит: в *воскресенье поутру*, а не *чрез неделю*.

[12] *Купаловым днем* в Малороссии называется день Св. Агриппины, накануне Иванова дня (23 июня). Летописцы говорят, что во времена язычества славянских народов в этот день приносились жертвы богу Купалу.

[13] Малороссийская тарадайка есть открытая повозка на четырех колесах, сделанная красивее обыкновенных телег, часто с вычурною резьбою на досках и выкрашенная разными красками, коих резкое смешение составляет собою странную пестроту. Это экипаж небогатых панков, мелких купцов и зажиточных обывателей.

[14] *Хто в бога вирує, ратуйте!* Таков крик малороссиян, когда они, находясь сами или видя других в опасности, просят о помощи.

[15] *Пролески* — род *подснежника*, первые весенние цветки в Малороссии. Это маленькие голубые колокольчики, видом похожие на яцинты; растут они от луковиц, на низких и тонких стебельках. Весною, когда снег растает, леса и сады в Малороссии покрываются темно-голубыми коврами сих цветков, которые весьма нравятся взору и ласкают обоняние приятным медовым запахом.

[16] *Вечерницы* — вечерние собрания молодых людей обоего пола. Такие собрания бывают иногда не вовсе невинны.

[17] *Судовые*, т. е. чиновники земской полиции или уездного суда, иногда и прочих губернских и уездных присутственных мест.

[18] *Магарыч* — попойка, которою заключаются все домашние сделки малороссийских поселян. Такие *магарычи* нередко уносят все деньги, вырученные за проданную вещь.

[19] Польские жиды в Малороссии обыкновенно прикладывают к имени и прозванию своему еще другое прозвище, от имени польского города или

места, к еврейскому обществу коего принадлежат они. Таким образом, между ними бывают, например, Иосель Лейбович *Бердычовский*, Абрам Израилевич *Бродский*.

[20] *Заговор* принимается здесь в смысле заклинания.

[21] Уменьшительное имени *Леа*, или *Лия*.

[22] *Ридько* — Иродион.

[23] *Левада* — рощица, иногда небольшое угодье с сенокосом, обнесенное плетнем.

[24] *Гапка* — уменьшительное имени Агафия.

[25] По-малороссийски: *Ох, лихо менi тяжке*!

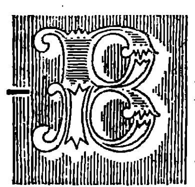
[26] Некоторые из суеверных польских евреев думают, что одного из них каждый год уносит какое-то неведомое и незримое существо, которое называют они *хапун* (т. е. *хватун*, или *похититель*). Они думают, что в течение года одному из них непременно должно пропасть без вести; но не знают или не умеют растолковать, злой ли дух есть этот *хапун*, и куда он заносит похищенных евреев, и что с ними делает. Похищение сие, по мнению их, чаще всего случается во время их праздника, называемого *судный день*. Никто из них не знает, на кого должен пасть сей бедственный жребий; но каждый боится за самого себя.

[27] *Могилами* в Малороссии называются курганы, или высокие насыпи, часто встречающиеся посреди полей и степей. Это, вероятно, были укрепления или подзорные высоты, сделанные во времена набегов татарских.



КИКИМОРА

Рассказ русского крестьянина на большой дороге



от видите ли, батюшка барин, было тому давно, я еще бегивал босиком да играл в бабки... А сказать правду, я был мастер играть: бывало, что на кону ни стоит, все как рукой сниму...

— Ты беспрестанно отбиваешься от своего рассказа, любезный Фаддей! Держись одного, не припутывай ничего стороннего, или, чтобы тебе было понятнее: правь по большой дороге, не сворачивай на сторону и не режь колесами новой тропы по целику и пашне.

— Виноват, батюшка барин!.. Ну дружней, голубчики, с горки на горку: барин даст на водку... Да о чем бишь мы говорили, батюшка барин?

— Вот уже добрые полчаса, как ты мне обещаешь что-то рассказать о Кикиморе, а до сих пор мы еще не дошли до дела.

— Воистину так, батюшка барин; сам вижу, что мой грех. Изволь же слушать, милостивец!

Как я молвил глупое мое слово вашей милости; в те поры был я еще мальчишкой, не больно велик, годов о двенадцати. Жил тогда в нашем селе старый крестьянин, Панкрат Пантелеев, с женою, тоже старухою, Марфою Емельяновною. Жили они как у бога за печкой, всего было довольно: лошадей, коров и овец — видимо-невидимо; а разной рухляди да богатели и с сором не выметешь. Двор у них был как город: две избы со светелками на улицу, а клетей, амбаров и хлебных закромов столько, что стало бы на обывателей целого приселка. И то правда, что у них своя семья была большая: двое сыновей, да трое внуков женатых, да двое внуков подростков, да маленькая внучка, любимица бабушки, которая ее нежила, холила да лелеяла, так что и синь пороху не даст, бывало, пасть на нее. Все шло им в руку; а все крестьяне в селении готовы были за них положить любой перст на уголья, что ни за стариками, ни за молодыми никакого худа не важивалось. Вся семья была добрая и к богу прибежная, хаживала в церковь божию, говела по дважды в год, работала, что называется, изо всех жил, наделяла нищую братию и помогала в нужде соседям. Сами хозяева дивились своей удаче и благодарили господа бога за его божье милосердие.

Надобно вам сказать, барин, что хотя они и прежде были людьми зажиточными, только не всегда им была такая удача, как в ту пору: а та пора началась от рождения внучки, любимицы бабушкиной. Внучка эта, маленькая Варя, спала всегда с старою Марфой, в особой светелке. Вот когда Варе исполнилось семь лет, бабушка стала замечать диковинку невиданную: с вечера, бывало, уложит ребенка спать, как малютка умается играя, с растрепанными волосами, с запыленным лицом; поутру старуха посмотрит — лицо у Вари чистехонько, бело и румяно как кровь с молоком, волосы причесаны и приглажены, инда лоск от них, словно теплым квасом смочены; сорочка вымыта белым-бело, а перина и изголовье взбиты как лебяжий пух. Дивились старики такому чуду и между собою тишком толковали, что тут-де что-то не гладко. Перед тем еще старуха не раз слыхала по ночам, как вертится веретено и нитка жужжит в потемках; а утром, бывало, посмотрит — у нее пряжи прибавилось вдвое против вчерашнего. Вот и стали они подмечать: засветят, бывало, ночник с вечера и сговорятся целою семьею сидеть у постели Вариной всю ночь напролет... Не тут-то бы-

ло! незадолго до первых петухов сон их одолеет, и все уснут кто где сидел; а поутру, бывало, смех поглядеть на них: иной храпит, ущемя нос между коленами; другой хотел почесать у себя за ухом, да так и закачался сонный, а палец и ходит взад и вперед по воздуху, словно маятник в больших барских часах; третий зевнул до ушей, когда нашла на него дрема, не закрыл еще рта — и закоченел со сна; четвертый, раскачавшись, упал под лавку, да там и проспал до пробуду. А в те часы, как они спали, холенье и убиранье Вари шло своим чередом: к утру она была обшита и обмыта, причесана и приглажена как куколка.

Стали допытываться от самой Вари, не видала ли она чего по ночам? Однако ж Варя божилась, что спала каждую ночь без просыпу; а только чудились ей во сне то сады с золотыми яблочками, то заморские птички с разноцветными перышками, которые отливались радугой, то большие светлые палаты с разными диковинками, которые горели как жар и отовсюду сыпали искры. Днем же Варюша видала, когда ей доводилось быть одной в большой избе, что подле светелки — превеликую и претолстую кошку, крупнее самого ражего барана, серую, с мелкими белыми крапинами, с большою уродливою головою, с яркими глазами, которые светились как уголья, с короткими толстыми ушами и с длинным пушистым хвостом, который как плеть обвивался трижды вокруг туловища. Кошка эта, по словам Варюши, бессменно сидела за печкой, в большой печуре, и когда Варе случалось проходить мимо ее, то кошка умильно на нее поглядывала, поводила усами, скалила зубы, помахивала хвостом около шеи и протягивала к девочке длинную, мохнатую свою лапу с страшными железными когтями, которые как серпы высовывались из-под пальцев. Малютка Варя признавалась, что, несмотря на величину и уродливость этой кошки, она вовсе не боялась ее и сама иногда протягивала к ней ручонку и брала ее за лапу, которая, сдавалось Варе, была холодна как лед.

Старики ахнули и смекнули делом, что у них в доме поселилась Кикимора; и хотя не видели от нее никакого зла, а все только доброе, однако же, как люди набожные не хотели терпеть у себя в дому никакой нечисти. У нас был тогда в деревне священник, отец Савелий, вечная ему память. Нечего сказать, хороший был человек: исправлял все требы как нельзя лучше и никогда не требовал за них лишнего, а еще и своим готов был поступиться, когда видел кого при недостатках; каждое воскресенье и каждый праздник просто и внятно говаривал он проповеди и научал прихожан своих, как быть

добрыми христианами, хорошими домоводцами, исправно платить подати государю и оброк помещику; сам он был человек трезвенный и крестьян уговаривал отходить подальше от кабака, словно от огня. Одно в нем было худо: человек он был учёный, знал много и все толковал по-своему:

— А разве крестьяне ему не верили?

— Ну, верили, да не во всем, батюшка барин. Бывало, расскажут ему, что ведьма в белом саване доит коров в таком-то доме, что там-то видели оборотня, который прикинулся волком либо собакой; что в такой-то двор, к молодице, летает по ночам огненный змей; а батька Савелий, бывало, и смеется, и учнет толковать, что огненный змей — не змей, а... не припомню, как он величал его: что-то похоже на *мухамор;* что это-де воздушные огни, а не сила нечистая; напротив-де того, эти огни очищают воздух; ну, словом, разные такие затеи, что и в голову не лезет. Это и взорвет прихожан; они и твердят между собою: батька-де наш от ученья ума рехнулся.

— Глупцы же были ваши крестьяне, друг Фаддей!

— Было всякого, милосердый господин: ум на ум не приходит; были между ними и глупые люди, были и себе на уме. Все же они держались старой поговорки: отцы-де наши не глупее нас были, когда этому верили и нам передали свою старую веру.

— Вижу, что благомыслящий священник не скоро еще вобьет вам в голову, чему верить и чему не верить. Об этом надобно б было толковать сельским ребятам с тех лет, когда у них еще молоко на губах не обсохло; а старым бабам запретить, чтоб они не рассевали в народе вздорных и вредных суеверий.

— Как вашей милости угодно,— проворчал Фаддей и молча начал потрогивать вожжами.

— Что ж ты замолчал? рассказывай дальше.

— Да, может быть, мои простые речи не под стать вашей милости, и у вас от них, как говорится, уши вянут?.. Мы, крестьяне, всегда спроста соврем что-нибудь такое, что барам придется не по нутру.

— И, полно, приятель: видишь, я тебя охотно слушаю, и ты славно рассказываешь. Неужели ты доброю волею отступишься от гривенника на водку, который я тебе обещал?

— Ин быть по-вашему, батюшка барин,— промолвил Фаддей, веселее и бодрее прежнего.— Вот видите ли, старики и взмолились отцу Савелью, чтоб он отмолил дом их от Кикиморы. А отец Савелий и давай их журить: толковал

им, что и старикам, и девочке, и всей семье только мерещилось то, чему они будто бы сдуру верили; что Кикимор нет и не бывало на свете и что те попы, которые из своей корысти потворствуют бабьим сказкам и народным поверьям, тяжко грешат перед богом и недостойны сана священнического. Старики, повеся нос, побрели от священника и не могли ума приложить, как бы им выжить от себя Кикимору.

В селении у нас был тогда управитель, не ведаю, немец или француз, из Митавы. Звали его по имени и по отчеству *Вот-он* Иванович, а прозвища его и вовсе пересказать не умею. Земский наш Елисей, что был тогда на конторе, в барском доме, называл его еще *господин фон-барон*. Этот *фон-барон* был великий балагур: когда, бывало, отдыхаем после работы на барщине, то он и пустится в россказни: о заморских людях, ростом с локоть, на козьих ножках, о заколдованных башнях, о мертвецах, которые бродят в них по ночам без голов, светят глазами, щелкают зубами и свистом пугают прохожих, о жар-птице, о больших морских раках, у которых каждая клешня по полуверсте длиною и которых он сам видал на краю света... Да мало ли чего он нам рассказывал: всего не складешь и в три короба. Говорил он по-русски не больно хорошо: иного в речах его, хоть лоб взрежь, никак не выразумеешь; а начнет, бывало, рассказывать — так и сыплет речами: инда уши развесишь и о работе забудешь; да он и сам на тот раз не скоро, бывало, о ней вспомнит. Крестьяне были той веры, что у *Вот-он* Ивановича было *много в носу;* что до меня, я ничего не заметил, кроме табаку, который он большими напойками набивал себе в нос из старой, закоптелой тавлинки. Он, правда, выдумывал на барском дворе какие-то машины для посева и для молотьбы хлеба; только молотильня его чуть было самому ему не размолотила головы, и сколько ни бились над нею человек двенадцать — ни одного снопа не могли околотить; а сеяльная машина на одной борозде высеяла столько, сколько на целую десятину в нее было засыпано. Однако же крестьяне все по-прежнему думали, что в нем сидит бесовщина и что его недостанет только на путное дело. К нему-то на воскресной мирской сходке присоветовали старому Панкрату идти с поклоном и просьбою, чтоб он избавил его дом от вражьего наваждения.

Пантелеич с старухою пустились в барский двор, где жил тогда *Вот-он* Иванович, и принесли ему, как водится, на поклон барашка в бумажке, да того-сего прочего, примером сказать, рублей десятка на два. Наш иноземец было и за-

знался: «Сотна рублоф, менши ни копейка». Насилу усовестили его взять за труды беленькую, и то еще — отдай ему деньги вперед. Да велел он старикам купить три бутылки красного вина: его-де Кикиморы боятся; да штоф рому и голову сахару — опрыскивать и окуривать избу с наговором. Нечего было делать; старик отправил самого проворного из своих внуков на лихой тройке за покупками, и к вечеру как тут все явилось. Пошли с докладом к *Вот-он* Ивановичу, он и приплелся в дом к Панкрату, весь в черном. Сперва начал отведывать вино, велел согреть воды, отколол большой кусок сахару, положил в кипяток и долил ромом; и это все он отведывал, чтоб узнать, годятся ли снадобья для нашептыванья. Вот как выпил он бутылку виноградного да осушил целую чашку раствору из рому с сахаром,— и разобрала его колдовская сила. Как начал он петь, как начал кричать на каком-то неведомом языке,— ну, хоть святых вон неси! Велел подать четыре сковороды с горячими угольями, всыпал в каждую по щепотке мелкого сахару и расставил по всем четырем углам; после того шептал что-то над бутылками и штофом, взял глоток рому в рот, пустился бегать по избе да прыскать на стены, ломаться да коверкаться, кричать изо всей силы, инда у всех волосы дыбом стали. Так он принимался до трех раз; после сказал, что все нашептанные снадобья должно вынесть из дому в новой скатерти и никогда ничего этого не вносить снова в дом; что с ними-де вынесется из дому Кикимора; велел подать скатерть, положил в ее бутылки, штоф и сахар, поздравил хозяев с избавлением от Кикиморы и понес скатерть с собою, шатаясь с боку на бок, надобно думать, от усталости.

— Что же, Кикимора больше не оставалась в доме Панкратовом?

— Вот то-то и беда, сударь, что вышло наоборот. Видно, что колдовство нашего фон-барона было не в добрый час, или он кудесник только курам на смех, или просто хотел надуть добрых людей и полакомиться на чужой счет; только вышло, как я вам сказал, наоборот. Доселе Кикимора делала только добро: холила ребенка и пряла на хозяйку, никто ее за тем ни видал, ни слыхал; а с этих пор, видно ее раздразнили шептаньем да колдовством, она стала по ночам делать всякие проказы. То вдруг загремит и затрещит на потолке, словно вся изба рушится; то впотьмах подкатится клубом кому-либо из семьян под ноги и собьет его как овсяный сноп; то, когда все уснут, ходит по избе, урчит, ревет и сопит как медвежонок; то середь ночи запрыгает по полу синими огоньками...

Словом, что ночь, то новые проказы, то новый испуг для семьи. Одну только маленькую Варю она и не трогала; и ту перестала обмывать и чесать, а часто на рассвете находили, что ребенок спал головою вниз, а ногами на подушках.

Так билась бедная семья круглый год. В один день пришла к ним в дом старушка нищая, вся в лохмотьях, и лицо у нее сжалось и сморщилось, словно сушеная груша или прошлогоднее яблоко от морозу. Тетка Емельяновна, как вы уже слышали, сударь, была старуха добрая и любила наделять нищую братию. Посадила она божью странницу за стол, накормила, напоила, дала ей денег алтын пять и наделила ее платьишком. Вот нищая и начала молить бога за всю семью; а после молвила: «Вижу, православные христиане, что господь бог наградил вас своею милостью: дом у вас как полная чаша; только не все у вас в дому здорово».— «Ох! так-то нездорово, что и не приведи бог! — отвечала тетка Марфа.— Посадили к нам, знать недобрые люди из зависти, окаянную Кикимору; она у нас по ночам все вверх дном и ворочает».— «Этому горю можно помочь; у вас не без старателей. Молитесь только богу да сделайте то, что я вам скажу: все как рукою снимет».— «Матушка ты наша родная! — взмолилась ей Емельяновна.— Чем хочешь поступимся, лишь бы эту нечисть выжить из дому».— «Слушайте ж, добрые люди! Сегодня у нас воскресенье. В среду на этой неделе, ровно в полдень, запрягите вы дровни... Да, дровни; не дивитесь тому, что нынче лето; этому так быть надобно... Запрягите вы дровни четом, да не парой...» — «Как же этому можно быть, бабушка? — спросил середний внук Панкратов, молодой парень лет семнадцати и, к слову сказать, большой зубоскал.— Ведь что чет, что пара — все равно!» — «Велик, парень, вырос, да ума не вынес,— отвечала ему старуха нищая,— не дашь домолвить, а слова властно с дуба рвешь. Вот как люди запрягают четом, да не парой: в корень впрягут лошадь, а на пристяжку корову, или наоборот: корову в корень, а лошадь на пристяжку. Сделайте же так, как я вам говорю, и подвезите дровни вплоть к сеням; расстелите на дровнях шубу шерстью вверх. Возьмите старую метлу, метите ею в избе, в светлице, в сенях, на потолке под крышей и приговаривайте до трех раз: «Честен дом, святые углы! отметайтеся вы от летающего, от плавающего, от ходящего, от ползущего, от всякого врага, во дни и в ночи, во всякий час, во всякое время, на бесконечные лета, отныне и до века. Вон, окаянный!» Да трижды перебросьте горсть земли чрез плечо из сеней к дровням, да трижды сплюньте; после того

свезите дровни этою ж самою упряжью в лес и оставьте там и дровни, и шубу: увидите, что с этой поры вашего врага и в помине больше не будет».— Старики поблагодарили нищую, наделили ее вдесятеро больше прежнего и отпустили с богом.

В эти трое суток, от воскресенья до середы, Кикимора, видно почуяв, что ей не ужиться дольше в том доме, шалила и проказила пуще прежнего. То посуду столкнет с полок, то навалится на кого в ночи и давит, то лапти все соберет в кучу и приплетет их одни к другим бичевками так плотно, что их сам бес не распутает; то хлебное зерно перетаскает из сушила на ледник, а лед из ледника на сушило. В последний день и того хуже: целое утро даже не было никому покою. Весь домашний скарб был переворочен вверх дном, и во всем доме не осталось ни кринки, ни кувшина неразбитого. Страшнее же всего было вот что: вдруг увидели, что маленькая Варя, которая играла на дворе, остановилась середи двора, размахнув ручонками, смотрела долго на кровлю, как будто бы там кто манил ее, и, не спуская глаз с кровли, бросилась к стене, начала карабкаться на нее как котенок, взобралась на самый гребень кровли и стала, сложа ручонки, словно к смерти приговоренная. У всей семьи опустились руки; все, не смигивая, смотрели на малютку, когда она, подняв глаза к небу, стояла как вкопанная на самой верхушке, бледна как полотно, и духу не переводила. Судите же, батюшка барин, каково было ее родным видеть, что малютка Варя вдруг стремглав полетела с крыши, как будто бы кто из пушки ею выстрелил! Все бросились к малютке: в ней не было ни дыхания, ни жизни; тело было холодно как лед и закостенело; ни кровинки в лице и по всем составам; а никакого пятна или ушиба заметно не было. Старуха бабушка с воем понесла ее в избу и положила под святыми; отец и мать так и бились над нею; а старик Панкрат, погоревав малую толику, тотчас хватился за ум, чтоб им доле не терпеть от дьявольского наваждения. Велел внукам поскорее запрягать дровни, как им заказывала нищая, и подвезти к сеням; а сам приготовил все, как было велено, и ждал назначенного часа. На старика и внуков его, бывших тогда на дворе, сыпались черепья, иверни кирпичей и мелкие каменья; а женщин в избе беспрестанно пугал то рев, то гул, то вой, то страшное урчанье и мяуканье, словно со всего света кошки сбежались под одну крышу. То потолок начинал дрожать: так и перебирало всеми половицами и сквозь них на голову сеяло песком и золою. Все бабы, лепясь одна к другой, сжались около тела маленькой

Вари и дух притаили. Так прошло не ведаю сколько часов. Вот на барском дворе зазвонили в колокол. Это бывало всегда ровно в полдень, когда садовых работников сзывали к обеду. Пантелеич опрометью кинулся в избу, схватил метлу — и давай выметать да твердить заговор, которому нищая его научила. Проказы унялись; только мяуканье, и фырканье, и детский плач, и бабий вой раздавались по всем углам. Скоро и этого не стало слышно: обе избы, светлицы, потолки и сени были выметены; старик трижды бросил через плечо землю горстями, трижды плюнул и велел двоим внукам взять лошадь и корову под уздцы да вести их с дровнями со двора, вон из деревни, через выгон и к лесу. На дворе и по улице столпились крестьяне целой деревни, все, от мала до велика, и провожали Кикимору до самого леса...

— И ты был тут же?

— Как не быть, батюшка барин. И теперь помню, что меня в жаркую пору такой холод пронял со страху, что зуб на зуб не попадал; а за ушами так и жало, словно кто стягивал у меня кожу со всей головы.

— Да видел ли ты Кикимору?

— Нет, грех сказать, не видал. Видел только дровни, а на них тулуп овчиной вверх; больше ничего.

— Кто ж ее видел?

— Да бог весть! Сказывала мне, правда, тетка Афимья, спустя после того годов с десяток, будто она слышала от соседки, а та от своей золовки, что была у нас тогда в селе одна старуха, про которую шла слава, что она мороковала колдовством и часто видала то, чего другие не видели; и что эта-де старуха видела на дровнях большую-пребольшую серую кошку с белыми крапинами; что кошка эта сидела на тулупе, сложа все четыре лапы вместе и ощетиня шерсть, сверкала глазами и страшно скалила зубы во все стороны. Как бы то ни было, только с сей поры ни в Панкратовом доме, ни в целой деревне и слыхом не слыхали больше про Кикимору.

— Радуюсь и поздравляю вашу деревню... А что ж было с малюткою Варей?

— Бедняжка все лежала как мертвая. Старики и вся семья поплакали над нею и хотели ее похоронить. Позвали отца Савелья. Он посмотрел на тело и сказал, что малютке сделался младенческий припадок, словно от испугу, и ни за что не хотел ее хоронить до трех суток. Через три дня, в воскресенье, та же старушка нищая постучалась у окна в Панкратовом доме; ее впустили. Емельяновна рассказала ей всю подноготную и повела ее в светлицу, где лежало тело

Варюши. Нищая велела его переложить со стола на лавку, поставила икону подле изголовья, затеплила свечку, села сама у изголовья, положила голову ребенка к себе на колени и обхватила ее обеими руками. После того выслала она всю семью из светлицы, и даже вон из избы. Что она делала над ребенком, она только сама знает; а через несколько часов Варя очнулась как встрепанная и к вечеру играла уже с другими детьми на улице.

— Ну, что же далее?

— Да больше ничего, сударь. Все пошло с тех пор подобру-поздорову.

— Благодарствую, друг мой, за сказку: она очень забавна.

— Гм! какая вам, сударь, сказка; а бедной-то семье вовсе было не забавно во время этой передряги.

— Но послушай, приятель: ведь ты сам не видал Кикиморы?

— Нет. Я уж об этом докладывал вашей милости.

— И Петр, и Яков, и все крестьяне вашей деревни тоже ее не видали?

— Вестимо, так!

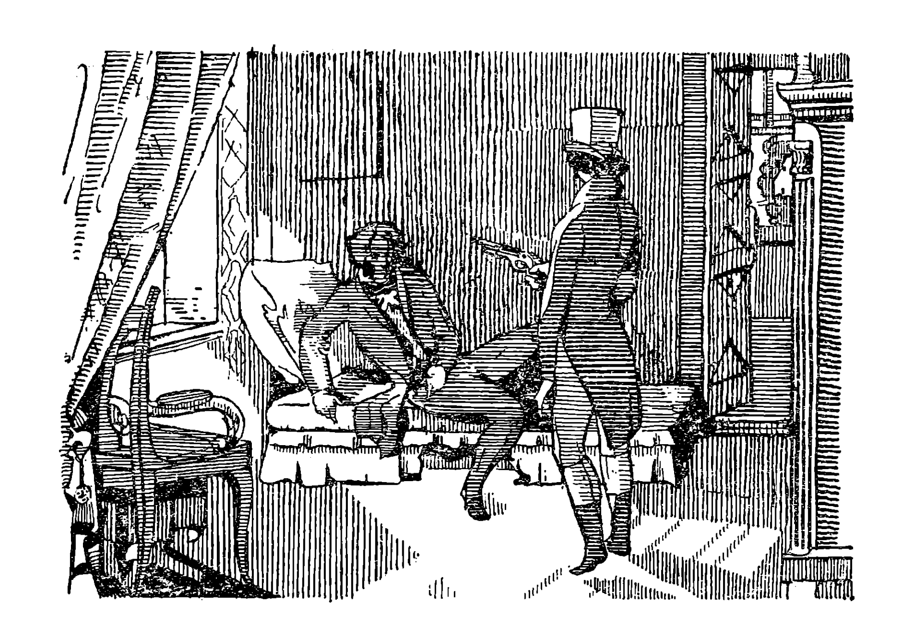
— Что же рассказывал о ней сам старик Панкрат?

— Ничего, до гробовой своей доски. Еще, бывало, и осердится, старый хрен, как поведут об этом слово, и вскинется с бранью: «Вздор-де вы, ребята, мелете, только на мой дом позор кладете!» И детям и внукам, видно, заказал об этом говорить: ни от кого из них, бывало, не добьешься толку... Так она, проклятая, напугала старика.

— Так я тебе объясню все дело; слушай. Старые бабы или завистники Панкратовы взвели на дом его небылицу, потому что на семью его нельзя было выдумать какой-либо клеветы. Эту небылицу разнесли они по всей деревне; вам показалось то, чего вы на самом деле не видели, а поверили чужим словам. Молва эта удержалась у вас в селении; старухи твердят ее малым ребятам, и, таким образом, она переходит от старшего к младшему... Вот и вся история твоей Кикиморы.

— Моей, сударь? Упаси меня бог от нее...

Тут Фаддей перекрестился и вслед за тем прикрикнул на лошадей, замахал кнутом и помчал во весь дух. Со всем моим старанием я не мог от него добиться более ни слова. В таком упрямом молчании довез он меня до следующей станции, где так же молчаливо поблагодарил меня поклоном, когда я отдал ему условленные сверх прогонов деньги.



СТРАННЫЙ ПОЕДИНОК

Рассказ путешественника

В дилижансе сидело нас четверо: молодой французский офицер с широким пластырем на левой щеке; какой-то низенький, плотный и проворный человек в поношенном рединготе горохового цвета; некто г. Жермансе, степенный человек лет сорока пяти, и я.

Низенький человек в рединготе горохового цвета был самый безустальный говорун, охотник знакомиться и отчаянный расспросчик. Еще не успели мы выехать за заставу, как он уже успел объявить нам, что едет в Сент-Мену, где имеет собственный участок земли, что он cultivateur proprietaire*, что зовут его дю Вивье, что приезжал он в Мес для получения какого-то старого долга, что у него есть жена и две прекрасные дочери и пр. и пр. Вслед

* Земледелец, обрабатывающий собственную землю *(фр.)*.

за этим пустился он расспрашивать каждого из нас: кто он? куда, зачем едет? Я отвечал ему, что я русский путешественник. Тут посыпались вопросы о России, о зиме, которая, по мнению этого доброго человека, никогда у нас не сходит; о городах, построенных на сугробах снегу; о подземных печах, которыми русские растапливают лед в Азовском море, когда им надобно спускать корабли на воду; о способности казаков разводить огонь зубами[1]: словом, обо всех таких диковинках, которыми многие из французов и доныне еще украшают топографические свои сведения о России. Это меня забавляло, и я охотно взялся вывести доброго дю Вивье из заблуждения насчет нашего отечества. Как же я удивился, когда он принял мое доброе намерение за *мистификацию*, отвечал мне сначала несколькими междометиями сомнения и, наконец, сказал наотрез, что он больше верит своему куму, которого двоюродный брат слышал все помянутые диковинки от своей соседки, а та слышала их от одного тамбур мажора большой армии, бывшей в походе 1812 года.

Оставя меня, дю Вивье обратился с вопросами к г-ну Жермансе, который отвечал ему коротко и сухо. Оставался ему один офицер; но сей так важно прислонился к углу дилижанса, так гордо посматривал на всех через свои длинные черно-бурые усы, что отбивал всю охоту у расспросчика. Наконец, нетерпеливая жажда разговоров и новостей, томившая бедного дю Вивье, перемогла все его опасения. Не смея, однако ж, прямо завести разговоров с офицером, он начал обиняками делать намеки о дуэлях; об опасностях, которым военных людей подвергает их звание и высокие понятия о чести. Офицер посматривал искоса на красноречивого заступника воинской чести — и молчал.

— Кстати о дуэлях,— сказал молчаливый г-н Жермансе, как бы в минутном вдохновении.— Не угодно ли, я расскажу вам об одном странном поединке?

Офицер взглянул на него и все-таки молчал, дю Вивье рассыпался в просьбах и в изъявлениях благодарности; а я, поняв отчасти мысль г-на Жермансе, скромно поблагодарил его улыбкою. Мне казалось, что, по добродушию ли, или

---

[1] В примечаниях к одной поэме о походе Наполеона в Россию, изданной в 1814 году в Париже и посвященной покойному королю Людовику XVIII, находится следующее замечательное место: «Les Français ignoraient sans doute la faculté dont les Cosaques sont doués, celle d'attiser le feu avec leurs dents» То есть: «Французы, верно, не ведали о способности, которою одарены казаки: *разводить огонь зубами*».

из эгоизма, он хотел избавить навязчивого дю Вивье от какой-нибудь неприятности со стороны спесивого и, может быть, задорного офицера, а нас от неприятности — быть свидетелями междоусобия в тесном пространстве почтовой кареты.

Г. Жермансе, заметно, был человек молчаливый и любящий покой. По приготовительным его приемам можно было заключить, что он приносил нам, своим спутникам, весьма важную жертву и делал себе крайнее насилие, пускаясь в длинный рассказ. Он то вертел табакерку между пальцами, то понюхивал табак, медленно всасывая по маленьким щепоткам, как будто бы брал его на пробу и хотел вызнать его силу и запах; то вынимал платок, то складывал весьма старательно и снова прятал его в карман с таким видом, как будто бы боялся его выронить; то призадумывался, то покашливал. Наконец он начал свой рассказ; но тут по многословию его и по охоте рассказывать длинно и со всеми подробностями тотчас можно было увидеть, что для него, вследствие французской поговорки, *труден был только один шаг*[1]. Если б я не боялся обидеть его сравнением, то сказал бы, что он похож на тех лошадей, которые весьма лениво и неохотно трогаются с места, но после их не скоро остановишь и удержишь вожжами.

Не берусь передать вам этого анекдота со всеми подробностями, со всеми отступлениями и ораторскими украшениями слога, коими красноречивый г-н Жермансе старался блеснуть в нем перед своими слушателями; но содержание анекдота и главные черты его к вашим услугам. Угодно ли выслушать?

Генерал Даранвиль был человек отличной храбрости. От берегов Нила до берегов Москвы прошел он, служа в разных чинах, и нигде не робел ни перед саблями мамелюков, ни перед пулями и штыками русских. Молодость генерала была самая буйная: он начал службу почти с детских лет и в самое разгульное время Французской революции. Мудрено ли, что при общем ослаблении всех правил он увлечен был потоком? Раны, полученные им в сражении — а их было много — едва ли равнялись числом с теми, кои получил он на поединках. Чрез это заслужил он в армии славу самого сильного бойца на шпагах и самого искусного стрелка из пистолета. Пока страсти в нем бушевали, он старался поддерживать эту славу тем, что затрагивал и задирал почти всякого

[1] C'est le premier pas qui coûte.

встречного; но когда лишний десяток лет и лишние дуэльные кровопускания отчасти охолодили в нем кровь, тогда он сделался верховным судьею всяких ссор и споров, грозою и карою забияк.

При перемене обстоятельств генерал был уволен от службы с половинным жалованьем. Этой пенсии и накопившегося в большой книге государственного долга жалованья его, не выданного в разные времена, было весьма достаточно для умеренных желаний генерала. Даранвиль был человек образованный, и врожденные его наклонности были хорошие: сердце его не вовсе было испорчено заблуждениями тогдашнего времени и худыми примерами. Еще несколько лишних лет на плечах и полный досуг, которым он в то время пользовался, заставили его одуматься и пробежать в памяти прошедшее. Рассматривая прежнюю жизнь свою, он ужаснулся, увидев, что суетность и ложные понятия о делах и вещах были доселе одними его руководителями. Это сознание совсем переменило нрав его и поведение: уж он более не наискивался на ссоры и даже не мешался в них иначе, как в качестве примирителя, вел себя весьма кротко, сделался другом молодых людей и часто давал им умные, полезные советы. От прежнего его молодечества осталось ему только имя славного дуэлиста.

Из молодых своих друзей Даранвиль больше всех любил Эрнеста де Люссона, прекрасного двадцатидвухлетнего юношу, с добрым сердцем и хорошими правилами, с пылкою любовью ко всему изящному и доброму. Но все эти бесценные качества перевешивались иногда в нем непомерною заносчивостью, вспыльчивостью и ветреностью, почти неизбежными пороками молодых лет. Генералу многого труда стоило умерять и укрощать эту вредную наклонность — и часто он радовался успеху своих советов и наставлений.

У Эрнеста был, кроме генерала, и еще друг, или человек, которого он считал себе другом. Леон Вердак, молодой гасконец, хитрый, вкрадчивый, самолюбивый и хвастливый, таил под заманчивыми качествами приятного и веселого товарища самые коварные виды исключительного своекорыстия. Богатство Эрнеста манило к себе дальновидного Вердака: он надеялся осторожно и мало-помалу покорить себе волю и все желания молодого де Люссона и после — как водится у таких людей — черпать из его кошелька, будто как из своего. Вердак любил игру и шумное общество молодых весельчаков; но, будучи сам не богат, часто должен был себе отказывать в этих невинных удовольствиях. Поэтому генерал

Даранвиль был у него как бельмо на глазу: власть ума, которую он приобрел над Эрнестом, препятствовала корыстным видам Вердака. Коварный гасконец расчел, что ему непременно должно для своих замыслов удалить Даранвиля от Эрнеста, а этого нельзя было сделать, не поссоря их, и потому он решился выжидать удобного случая.

Всякий раз, когда ему удавалось отлучить на время де Люссона от генерала, он старался окружать своего молодого приятеля шумными и веселыми своими знакомцами, которые заранее им были настроены, чтобы всячески внушениями своими поколебать доверие Эрнеста к Даранвилю. Многие из них, как будто между разговором, изъявляли свое удивление, что такой умный, рассудительный и образованный молодой человек слепо вверился старому брюзге. Это льстило самолюбию Эрнеста; однако ж он сначала жарко спорил за генерала с молодыми своими приятелями; после споры его стали слабее; после он и вовсе перестал спорить и кончил тем, что самодовольною улыбкой показывал согласие с мнением своих знакомцев. Доверенность его к генералу была ослаблена; однако ж вовсе нельзя было еще оторвать его от сего почтенного человека. Между тем Вердак всегда молчал, не придерживался ни той, ни другой стороны и был при таких спорах всегда как бы лицом страдательным.

Однажды Эрнест угощал обедом Вердака и с полдюжины других весельчаков, его приятелей, в ресторации Вери. Случайно генерал Даранвиль вошел туда же; волею и неволею, его должно было пригласить к их столу. В комнате, где они обедали, за особливым небольшим столиком сидели два провинциала, один человек уже пожилой, другой юноша около двадцати лет возраста. Странный, стародавней моды наряд сих провинциалов, их неловкость и застенчивость сначала привлекали на себя внимание и шутки молодых остряков. Но когда они услышали, что провинциалы называли трактирного слугу господином (monsieur) и невпопад спрашивали кушанья по печатной карте; когда заметили лукавую улыбку и ироническую вежливость ловкого слуги — тогда шуткам их и смеху не было ни меры, ни конца. Особливо Эрнест отличался перед всеми громким хохотом и остротами: не довольствуясь сим и видя одобрительные улыбки своих приятелей, он встал из-за стола, подошел к провинциалам, советовал им потребовать устриц к десерту, а бульону вместо кофе — словом, говорил им все глупости, какие тогда приходили ему в голову. Сомнительные и робкие взгляды бедных заезжих, беспрерывный хохот молодых его товарищей и знаки неудовольствия

на лице Даранвиля еще более подстрекали де Люссона. Наконец стал он просить у младшего из провинциалов платья его, на показ своему портному, говоря, что хочет нарядиться также ловко и щеголевато, чтобы понравиться девяностолетней своей прабабушке; стоя за стулом, вымеривал его талию, даже позволил себе хватать его за плечи и играть пальцами с его прической. Это вывело из терпения старшего: он встал и, бросив на стол золотую монету в сорок франков, сказал младшему: «Пойдем, сын мой, видишь, что мы здесь не у места». Молодой человек также встал и, кинув на забавников смущенный страждущий взгляд, вышел вместе с отцом своим. Обидный хохот провожал их далеко за дверьми ресторации.

До сих пор генерал Даранвиль молчал; не улыбка, а негодование было написано на лице его. Но когда отец с сыном вышли, он встал и, подошедши к Эрнесту, начал тихо, но с чувством и жаром представлять ему неприличие такого поступка. Ответом ему был новый смех Эрнеста и его товарищей. Генерал обернулся, окинул молодых шалунов пылающим, грозным взором, и мигом все замолкли. Все знали, каково с ним иметь дело! Один Эрнест, по короткому знакомству своему с генералом, старался оборотить все это в шутку, даже подтрунивал над ним самим, говоря, что не может удержаться от смеха, вспомня давешнюю стоическую его важность при общем хохоте и видя теперешний катоновский его *ригоризм*. «Послушайте, почтенный мой друг,— прибавил он,— вы так часто наделяли меня вашими советами, что мне, право, совестно всегда оставаться у вас в долгу; пора хоть раз с вами поквитаться. Вот небольшая уплата в счет долга: не всегда, любезный генерал, самые лучшие советы бывают приличны: всему место и время...» — «В таком случае,— с жаром отвечал Даранвиль,— и я здесь также не у места, как и те бедные провинциалы».

Он взял шляпу и, не поклонясь никому из своих собеседников, вышел.

— Что значит, любезный Эрнест, эта отеческая заботливость о твоей нравственности? — сказал один из молодых повес, когда генерал был уже далеко за дверью.

— Мне кажется,— прибавил другой,— что его превосходительство наложил на себя покаяние за прежние свои грехи и для того вздумал обращать на путь спасения неопытных юношей.

— Неопытных? — воскликнул Эрнест.— Не ко мне ли это относится, сударь? Прошу объясниться.

— Не горячись, мой друг; это не мои слова; я только повторяю слышанное. Помнишь ли, с неделю тому назад сидели мы — генерал, ты, я и еще какой-то старый усач, его сослуживец — в Тюльерийском саду, против террасы Фёльян? Помнишь ли, ты встал, подошел к какому-то из своих знакомых и вместе с ним пошел вдоль по террасе? Я оставался в это время на скамье. Знакомец нашего генерала спросил у него о тебе. «Это,— отвечал Даранвиль,— молодой шалун, который не глуп, но слишком еще зелен; умишко у него вертится еще как кубарь и не знает, где и на чем остановиться. Я взялся переродить его, и с моею помощью, надеюсь, он будет когда-то человеком». Не сердись так, милый Эрнест, и не кусай себе губы... Это, право, не мои слова! Благодари за эту рекомендацию доброго твоего друга генерала.

— Ха, ха, ха! вы знаете эту молодую ветреницу маркизу де Кремпан? — подхватил третий.— На днях я был у ней в ложе, в театре Фейдо. Злоязычница пересудила всех, кого только видела в ложах и на балконе. «Смотрите, смотрите,— лепетала она, оскаля белые свои зубки,— вот молодой де Люссон с своим дядькою, генералом Даранвилем. Кажется, дядька дерет его за уши, за то что он сел боком к партеру. Хорошо иметь и в эти лета такого строгого наставника: он обещался сделать из него образцового молодого человека, самой милой скромности и самого благопристойного поведения.

— Она осмелилась это сказать? — воскликнул Эрнест, ходивший широкими, скорыми шагами по комнате...— Так я ж ей докажу!

— Не ей, милый Эрнест, должен ты доказать: можно ли затевать ссору с молодою пригожею болтушкой?.. Ты знаешь, что твой генерал к ней вхож...

— Мой генерал! черт его возьми и возьмет, когда я исполню то, что у меня вертится теперь в голове.

— Потише, потише, де Люссон! — подхватил четвертый собеседник.— Ты чуть было не проговорился сгоряча о поединке; а ты знаешь, как добрым твоим друзьям тяжело будет расстаться с тобою...

— Расстаться! Ты уж и похоронил меня! кто тебе сказал, что я-то непременно упасть должен? Пуля дело неверное.

— Нет, друг мой! ты, видно, позабыл, с кем хочешь иметь дело? У Даранвиля пуля верно попадает.

— Хорошо! вот мы увидим, каково-то он будет стоять на трех шагах барьера и дожидаться жеребья... Да нет, сей же

час бегу к нему и кончу все с ним глаз на глаз, в комнате.

— Ха, ха, ха! в комнате! — завопили вместе несколько голосов.— Так ты думаешь, что тебе удастся с ним подраться в комнате, глаз на глаз? Как же худо ты и его и самого себя знаешь!

— А почему ж не удастся?

— Да потому,— отвечал четвертый,— что он, *глаз на глаз*, надеясь на свою власть над твоим умом, начнет увещевать тебя — и кончится тем, что ты же станешь просить у него прощения.

— Так вы увидите... или услышите через час, не долее. При сих словах Эрнест схватил свою шляпу.

— Стой, друг мой! — сказал ему первый, удержав за руку.— Ты теперь не в том положении, чтобы мог драться хладнокровно. Ты разгорячен и гневом и нашими частыми жертвами Бахусу. Господа! упросите Эрнеста отложить это дело до утра. Неужели мы отдадим его сегодня на жертву этому дуэльному вампиру?

Все приступили к Эрнесту, особливо Вердак, и уговорили его ничего не делать до завтра.

— Эй, малый! еще дюжину шампанского! — закричал пятый из собеседников эрнестовых, дотоле молчавший.

— Здоровье той пули, Эрнест, которую ты влепишь в лоб запоздалому лицемеру! — продолжал он, наливая бокалы. Все встали и весело их осушили; Эрнест тоже хотел казаться веселым; но веселость его была похожа на зимнее солнце, которое холодно, без согревающих лучей, проглядывает из-под хмурых, снежных облаков.

Время быстро летело для приятелей эрнестовых, но для него передвигалось оно на свинцовых колесах. Настроенные Вердаком ветреники лукаво старались поддерживать в молодом де Люссоне расположение к поединку и жажду мщения то хитрыми намеками, то искусно подводимыми сомнениями насчет прославленной храбрости генерала, то замечаниями, что поединок с таким известным дуэлистом может всякому придать большой вес в общем мнении. Вердак или молчал, или с притворным сочувствием уговаривал Эрнеста. Другие умышленно и жарко ему противоречили, как будто бы говоря о постороннем деле. Таким образом в шуму разговоров и под звон бокалов просидели они до ночи. С тяжелою головою и тяжелым сердцем Эрнест возвратился домой.

На другой день, рано поутру, явился к нему Вердак с новыми увещаниями. Почти вслед за ним, и как бы нечаянно, пришли двое из вчерашних застольных приятелей, стали

утверждать противное, завели умышленный спор, разгорячили Эрнеста, который схватил шляпу и как бешеный побежал из комнаты.

Не помня себя, прибежал он к дверям Даранвиля; судорожною рукою схватил за снурок колокольчика, зазвонил что есть силы, и, когда слуга генералов отворил ему, он вбежал прямо в спальню.

Генерал был еще в постеле. «Что ты, Эрнест? Что с тобою сделалось?» — спросил он у молодого своего знакомца.

— Что?.. бешенство! сумасбродство! доверенность к такому человеку, который ее не стоил... и именно к вам, сударь!

— Опомнись! В своем ли ты уме? Откуда такая горячка?

— Горячка? Да, сударь: только все она легче той белой горячки, в которой я до сих пор бродил как слепой. Знал ли я, мог ли я предвидеть, что под такою степенною наружностью скрывается самая мелкая, самая низкая душишка?

— Не ко мне ли это относится?

— Можете, сударь, принять это прямо на свой счет... Сейчас вставайте и посчитайтесь со мною — не на словах: и не о них дело!.. Да, сударь, сейчас дайте мне отчет во всех тех дерзостях и наглостях, которые вы обо мне рассеваете.

— Если б я не видел вчерась тебя в добром здоровье, то подумал бы, что ты вырвался из Шарантона. О каких дерзостях и наглостях говоришь ты мне?

— Не знаете? А! вы ничего теперь не знаете! Видно, мне правду говорили о мнимой вашей храбрости. Милости прошу, сударь, встать и, взявши пистолеты, сей же час идти со мною.

— Нет, не прогневайся, любезный; не встану.

— Так я вас принужу встать.

— До этого я тебя не допущу. Скажи просто и ясно, чего ты от меня хочешь?

— Стреляться с вами.

— Стреляться? Зачем же мне для этого идти вон из комнаты? Вот, возьми!

При сих словах генерал снял со стены висевшие у него над головою два заряженные пистолета, подал один Эрнесту и положил другой к себе на подушку.

— Так вставайте ж! — сказал Эрнест изменившимся голосом.

— Я уж сказал, что не встану, — отвечал генерал спокойно, — стрелять я могу и лежа, да и тебе свободнее в меня метить. Стань у кровати, прямо против меня, и стреляй.

— Да как?..

— Не дожидайся, чтоб я назвал тебя трусом как такого человека, который бодрится на словах и у которого дрожат манжеты в решительную минуту. Стреляй!

Делать было нечего; Эрнест зашел слишком далеко, а последние слова генерала подлили масла на непотухший пыл его. Он взял пистолет, дрожащею рукою навел его на голову Даранвиля, спустил курок... Пуля влипла в подушку подле самой головы генерала; но сей последний не поморщился и не переменил положения.

— Теперь садитесь, сударь, на эти кресла,— сказал генерал строгим голосом.— Садитесь, говорю: я в вас теперь волен и вправе требовать от вас всякого удовлетворения.

Эрнест, ни жив ни мертв, опустился на кресла. Лицо его было бледно как полотно, все жилы бились с судорожным напряжением. Генерал, вовсе не трогаясь за пистолет и по-прежнему не переменяя положения, после минутного молчания начал говорить ему спокойным голосом:

— Г. де Люссон! теперешний ваш поступок таков, что должен разорвать всю связь между нами. Вам совестно будет видеть человека, которого вы хотели убить без всякой причины, да и мне, признаюсь, нельзя равнодушно смотреть на того, кто покушался на жизнь мою. Однако ж, желая, чтобы временное наше знакомство принесло вам какую-нибудь пользу, я расстаюсь с вами последним советом... Не вставайте с места, молчите и слушайте. Я всегда почитал вас умным молодым человеком: удивляюсь, как могли вы ввериться шайке негодяев, от которых я вас и прежде не раз остерегал. Этого Вердака своими глазами видал я, выбегавшего с расстроенным видом из картежных домов. Достойные его знакомцы — все таковы же: вчерась еще за обедом я подметил их перемигиванья, когда вы забавлялись над бедными и, верно, добрыми провинциалами. Слушайте ж: давно уже я видел очень ясно, что Вердак и другие повесы, его приятели, хотят вас отдалить от меня для своих видов. Вы богаты, а эта толпа гуляк бедна и бессовестна. Одни вы, по слепой в самом себе уверенности, того не замечали. Говорить о вас дурно или презрительно я не мог и не имел причины. Тем больше никто из них не мог от меня услышать ничего на это похожего, потому что я ни с кем из них и нигде не встречаюсь, кроме немногих случаев, когда видал их вместе с вами. Теперь расскажите мне, как было все дело и отчего в вас родилась такая против меня запальчивость? Видите ли, что я, прежде чем услышал от вас, узнал уже главных ее виновников?

Эрнест трепещущим голосом, но со всею откровенностию пересказал все как было. Генерал улыбнулся. «Так я и догадывался»,— сказал он. Молодой де Люссон вскочил, хотел бежать и вызывать всех прежних своих знакомцев; но Даранвиль советовал ему успокоиться и дослушать его речи.

— Давно уже я положил на себя обещание отводить молодых людей от поединков. Я слишком дорого для моей совести заплатил за проклятую суетность — прослыть самым грозным поединщиком. Благодарю небо, что оно ранами оставило мне тяжкую память о прежнем моем сумасбродстве.

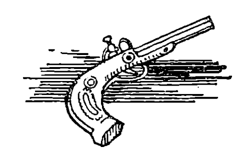
— Жестокий человек,— прервал его Эрнест,— для чего ж вы прежде не вывели меня из заблуждения? Для чего допустили меня стрелять в вас?

— Могли ли вы в то время слышать голос рассудка? Притом же, сказать ли вам откровенно? Во-первых, я твердо предположил себе не стрелять в вас; если ж бы вы по случаю меня убили, тогда я только поплатился бы за прежние мои поединки... Много их лежит у меня на душе! Одна только моя надежда — на благость божию. Во-вторых: мог ли я неуместною робостью изменить закоренелой своей привычке — ничего не бояться? Это, конечно, заблуждение; но есть заблуждения, основанные на понятиях о чести, с которыми трудно расстаться. Сто раз скорее бы я умер, нежели струсил наведенного на меня пистолета. Что касается до Вердака и его знакомцев, то вот последний мой совет: оставить их в покое и, если можно, вовсе с ними разознаться, но без шума и огласки. Стоют ли такие люди той чести, чтобы порядочный человек прилепил свое имя к их именам и сделался вместе с ними сказкою города? Теперь, сударь, желаю вам на свободе обдумать нынешний наш разговор и успокоиться. Что до меня, я буду молчать о сегодняшнем происшествии; в этом можете быть уверены... Прощайте!

Тут Эрнест бросился на грудь генералу, просил его, умолял о прощении. Долго Даранвиль колебался — наконец подал ему руку, примирился с ним, и с тех пор де Люссон во всем советовался с генералом и слушался его. Он сделался и точно примерным молодым человеком: избавился от ветрености, вовсе истребил свою заносчивость, и горячность осталась в нем только к хорошему и благородному. Опытность и познания Даранвиля были главною причиною сего нравственного усовершенствования; и генерал с удовольствием видел плоды своих советов,— видел, как Эрнест, на по-

прище человека и гражданина, приносил пользу отечеству и был другом и благотворителем несчастных, кои к нему прибегали.

Вердак и его товарищи, слыша отказ себе у дверей эрнестовых, догадались, какой оборот взяло это дело, и не решались более встречаться ни с Эрнестом, ни с генералом. Их как будто не стало в Париже, и уже чрез несколько лет де Люссон узнал, что Вердак умер в тюрьме Сент-Пелажи, куда был посажен за долги.

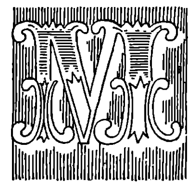


СВАТОВСТВО

Из воспоминаний старика о его молодости

Гей, гей! та нігде правди діти!..

Котляревский



не было двадцать лет, и уже преосвященнейший владыка нашей епархии назначал меня ставленником в диаконы; из милости к отцу моему и ко мне ожидал только хорошей вакансии, т. е. чтобы поставить меня диаконом в сытное место, где бы мне можно было со временем быть и священником. Проклятые каникулы все это расстроили; и теперь я, нижайший, состою в чине 9-го класса и буду состоять по конец дней моих; ибо

...чин асессорский, толико вожделенный,

как говорит один поэт, мой земляк, вечная ему память!.. сей чин асессорский, говорю, есть для меня *кислый виноград*, потому что достать его мне век не удастся. Скажете вы: «А экзамен?» — Да, экзамен! Нынешние ваши экзамены для

нас, стариков, *темна вода во облацех.* В старину, бывало, кто знал четко и правильно писать, смыслил, где должно поставить е и где ѣ, разумел четыре правила из первой части Руководства к арифметике да приметался к делам,— тот был куда знающий человек и ученый чиновник! А ныне у вас математики чистые, да прикладные, да *живые* языки, как вы их называете, да право римское, да то, другое, третье право... так что, право, от одного вычисления этих прав язык устанет. Где еще! знай-де словесность, умей писать ясно и красно!.. Что-то бы сказали об этом старые дельцы, которых вы, нынешняя молодежь, называете крючками, шпаргалистами, крапивным племенем и другими позорными именами? «Какое тут красноречие,— молвил бы из них любой,— где надобно сплеча валять: *приказали: понеже* и т. далее. И где тут добиться ясности, когда, например, самое дело перепутано как паутина?» Однако я с своим вопиющим горем отбился от настоящего дела. Простите, господа! всему виною лишний десяток лет за плечами да врожденная наша украинская привычка, по которой часом у нас и слова не выманишь, будто губы на замке; а часом, коли бог пошлет охоту язык почесать,— так и не остановишься: откуда слова берутся! Уж подлинно, *от избытка уста глаголют!*

Может быть, господа, вы дивитесь, переглядываетесь и перешептываетесь: «Кто-де с нами говорит? и какой-де след незнакомому человеку затрагивать незнакомых; жителю уездного городка говорить со столичными и простою речью дразнить наш слух, привыкший к отборным выражениям и затейливым приветствиям?.. Извольте, господа! донесу вам о себе все, что следует. Напомню вам только, что я сам был из ученых, и если бы не проклятые каникулы, то, может статься, и до сего дня не разознался бы с латынью. Как это было, о том следует ниже. Прошу прислушать.

Мне было двадцать лет,— как уже я имел честь донести вам,— я прошел философию и поступил в богословы. Июнь месяц приближался тогда к концу. Я отбыл свой экзамен и отправился в дом родительский, К*** повета в село Крохалиевку, где отец мой был единственным священником многолюдного прихода. Отец мой имел большой почет не только от казаков и мужиков, но и от мелкопоместных дворян, или панков, которых было душ десятка три в Крохалиевке. Правда, и было за что уважать отца Калистрата Сластёну: он сам из предков был дворянин, кроме церковной земли, имел десятин сорок собственной, еще и с лесом. Один сад с плодовыми деревьями был у нас такой большой, что уста-

нешь, бывало, покамест обойдешь его. Прибавьте же к этому еще пасеку, на которой было до тысячи ульев пчел, да славный доход от прихожан за требы мирские, за христославие, ходы с образами и пр. и пр.— и тогда вы не подивитесь, коли я вам скажу, что отец Калистрат Сластёна не только мог равняться со всеми крохалиевскими панками, но и был зажиточнее любого из них. Многие даже были ему должны немалые суммы денег. Бывало, как он идет в праздничный день по селению, в гродетуровой своей фиолетовой рясе, в светло-зеленом камчатном полукафтаньи, в пуховой шляпе с большими полями, держа в руке высокую камышовую трость с позолоченым набалдашником,— то все, от мала до велика, кланялись ему в пояс, изъявляя знаки глубочайшего уважения к его особе. Правда, он умел поддерживать сие высокое мнение о нем в прихожанах: вел себя с надлежащею важностию, не любил куликать на поминках, не любил запрашивать лишнего за требы и торговаться за венчанья и похороны; принимал всегда на себя вид степенный, особливо во время служения, читал молитвы внятно и с расстановкой, говорил медленно и величаво. Одна только молодежь крохалиевская не совсем была им довольна за то, что обедня у него обыкновенно шла очень долго и что он молодых парней побранивал иногда за шалости.

Казалось бы, что он как первенствующее лицо в своем приходе долженствовал быть полновластным господином своих желаний и действий; так нет, милостивые государи! нередко публичная власть сама бывает подвержена частному, домашнему господству. Это самое было и с моим родителем. Матушка моя нашла средство покорить себе волю своего супруга. Не думайте, однако ж, будто бы она достигла сего упрямством и настойчивостью: совсем нет! такие средства слишком были бы явны, и у отца Калистрата ничего бы ими не выторговал. Матушка моя проложила себе путь вернейший, хотя и околичный. Вот как она обыкновенно действовала: когда видела родителя моего в хорошем расположении духа, то приступала к нему с своею просьбой; и если он наотрез ей отказывал, то она умолкала и выжидала другого удобного случая; не унывая от новой неудачи, откладывала до третьей, четвертой попытки и так далее. Наконец, напав на отца моего под добрый стих, она выманивала у него желаемое согласие, руководствуясь в этом, как видно, пословицей: что *по капле вода и камень протачивает*. Таким образом, отец мой, быв в полной уверенности, что властвует один в своем доме, незаметно разделял свое господство с мо-

ею матерью и часто действовал по ее внушению, в противность собственной доброй воле.

Правда, мать моя не употребляла или не смела употребить во зло тайного своего владычества: весь круг ее действий ограничивался делами домашними или семейными; в глазах же обывателей и панков крохалиевских пользовалась она уважением второстепенным, яко второе лицо по отце моем. В частном быту своем была она домовитою хозяйкой: сушила впрок яблоки, груши, вишни и терн; солила грузди, делала вкусный грушевый квас, разные сладкие наливки; особливо ее рябиновка славилась по целому околотку. С отличным искусством разрисовывала к Велику-дню *писанки*[1] и непостижимым для меня чудом умела сберегать надолго от порчи огромные вороха крашеных яиц, приносимых священнику его прихожанами на поклон о святой неделе.

Но я давно уже отправился из города к отцу моему и все-таки, как изволите видеть, до сих пор туда не доехал. Причина тому самая простая: медленность движения; а почему? узнаете сию минуту. Мы, смиренные студенты философии или богословия, не летали, как городские ваши барычи, на лихих тройках: нет! в этом случае родители нас не баловали. Я уже думал, взяв посох пешехода, в поте лица измерять собственными ногами пространство от епархиального города до родимой Крохалиевки (пространство, мимоходом скажу, не менее осьмидесяти верст); но, по счастию, на городском рынке встретил одного крохалиевскаго обывателя, приехавшего туда на трех парах волов для продажи пшена, воску, пеньки и конопляного масла. Сим последним изделием отличался дом этого казака из рода в род; почему и прозвание предка: *Олия*[2] — осталось при потомках его как прозвание родовое, с небольшим изменением: *Олиенко*, показывающим и ремесло родоначальника, и то, что название сие служит как бы словесным гербовником, означающим давность и рода и ремесла его. *Панас*[3] *Олиенко*, увидев и узнав меня на рынке, подошел ко мне с почтительным поклоном и приветствием: «*Добрый день, пане поповичу!*». После некоторых расспросов я узнал от него, что на другой день собирался он в обратный путь, и он с охотой вызвался доставить меня в родительский дом, вменяя себе в великую честь, что ему представлялся случай оказать услугу *пан-отцу*[4].

Усевшись на передовом возу, запряженном парою крутогорогих, статных волов[5], я весело начал свое путешествие, во время которого не приключилось ничего особенного, кроме того разве, что, проезжая вечером чрез большой черный лес,

я и проводник мой с своим работником весьма нехладнокровно вслушивались в крик и завыванье филинов и сов, которые суеверными моими спутниками приняты были за ночные проказы леших; а как страх есть болезнь прилипчивая, то — нечего греха таить — и у меня внутренность обдавало холодом; да еще на одном ночлеге мы перетряслись как лист, оттого что над нами пролетела ярко-светлая полоса, которую добрые поселяне почитают за огненного змея, а вы, господа, называете метеором. Кто из вас прав, та или другая сторона — это решить не мое дело, тем более что таковые казусы никогда не поступали в инстанцию, по которой я имею честь состоять в числе штатных чиновников. Наконец, в третий день около полудня мы завидели с одного пригорка благословенное село Крохалиевку. Узрев высокую колокольню, на которую в бытность мою еще в родительском доме часто я лаживал поддирать голубиные гнезда или звонить на разные напевы о святой неделе,— я, признаюсь в моей слабости, прослезился от умиления. «Dulce fumus patriae!»* — твердил я, сидя на возу и погоняя батогом ленивых волов, тогда как взоры мои были устремлены на густой дым, подымавшийся столбом из винокурни одного крохалиевского панка. Панас Олиенко и работник его, думая, что я говорил *рацею*[6], благоговейно сняли шапки и перекрестились раза по три. С каждым медленным шагом волов сердце мое билось сильнее и сильнее. Одна только природная застенчивость, один только ложный стыд не позволяли мне вскочить с воза и, припав к земле, целовать родную пыль.

«Но всему есть свой предел»,— говаривал покойник мой батюшка, утешая назидательною беседой своих прихожан во время смертных случаев. Так и тихоступному шествию волов был же свой предел. Я встал с воза, в коротких словах отблагодарил Панаса Олиенко и скорым шагом пустился к дому отцовскому. Не берусь описывать минуту свидания: скрып пера слабо выразил бы визгливые излияния чувства и радостные всхлипывания доброй моей матери!

После первых родственных объятий и осведомлений о том и о другом беседа потекла у нас спокойнее, подобно реке, которая, прорвавшись сквозь кремнистые ущелья, начинает плавно течь в берегах своих. Батюшка расспрашивал меня об экзамене; матушка заговаривала о женитьбе. Это слово, не знаю сам почему, показалось мне на сей раз что-то страшно, как будто бы я впервые пристально заглянул в глубокий колодезь, в котором и дна не видно, и вода словно

* Сладок дым отечества (*лат.*).

подернута какою-то черною, непроницаемою для взора влагой.

Случай, который часто действует, как те назойливые услужники, кои некстати подвертываются к вам с своими угождениями,

И любят хлопотать, где их совсем не просят

случай удивительно помог моей матушке в брачных ее видах на счет мой: У нас в Крохалиевке завелась свадьба. Какой-то повытчик поветового суда из ближайшего городка вздумал жениться на одной из барышень, которыми обиловало наше селение, как сад моего отца в летнюю пору сладкими грушами и сочными вишнями. Отец мой говаривал, при урожае, что деревья в его саду так и ломятся от плодов; слава богу, что этой поговорки нельзя применить к улицам и красным девицам: иначе я был бы в сильном страхе, что нашей Крохалиевке не сдобровать от изобилия плодов земных и временных, коими в хорошую погоду красовались все лавки у ворот в панских домах благословенной и многоплодной Крохалиевки. У иного дома, право, можно было их насчитать от шести до осьми. На сей раз одному из этих плодов, по большей части зрелых, надлежало выбыть из общего счета. Батюшка мой, соблюдая приличие своего сана, никогда не хаживал на свадебные пиры; его и оставили в покое, зато к матушке моей и ко мне приступили со всею настойчивостию провинциального хлебосольства. «Будьте ласковы, таки пожалуйте, не побрезгайте нашею хлеб-солью». Но у матушки моей были также свои понятия о приличиях сана попадьи, яко помощницы и верной спутницы *пан-отца* на пути жизни. Она также решительно отказалась, утверждая, что духовному чину некстати быть на *весельях*[7] и мирских забавах. Оставался один я,— и признаюсь, не от чего иного, как от застенчивости, тоже сперва отказался; но на этот раз матушка моя приняла сторону гостеприимных пригласителей и доказывала мне, что молодому человеку, живущему в *большом свете* (т. е. *в бурсе*[8] епархиального города), стыдно уклоняться от честных увеселений, что я не жена, а только сын священника и доселе состою покамест еще в светском звании. Я, сказать правду, не вовсе был недоволен *аргументами* моей родительницы: мне самому хотелось понасмотреться вблизи, как веселятся паны; ибо до тех пор я видал их только издали.

Оставшись со мной наедине, матушка моя умела оживить мою бодрость. Она твердила мне, что я как житель губернского города и человек ученый могу везде иметь почетное

место; что сельские мелкопоместные панки люди незамысловатые, да и поезжаные с жениховой стороны тоже; ибо все они не больше, как неважные чиновники поветового городка, все они видели свет только из окна и что, наконец, я любого из них могу загонять красноречием и латынью. Это надмило мне душу честолюбивым желанием блеснуть умом, ученостью и светскою ловкостью в Крохалиевке. Настал желанный день, и я с самого утра начал заботиться о своем наряде и приготовлениях, чтобы как можно лучше явиться в большой крохалиевский свет. Опойковые свои сапоги, немного порыжелые, смочил я раствором из купороса, а после тщательно натер конопляным маслом с солью, что придало им необыкновенную черноту и даже некоторый лоск. Серый свой долгополый сюртук, сшитый мне родителем моим *на рост*, когда во мне было два аршина и девять вершков с половиною, вычистил я так, что на нем не осталось ни порошинки. К этому, чтоб больше блеснуть в глаза деревенских барышень яркостию красок и тонкостию вкуса, надел я алый камзол и застегнул его по самое горло позолоченными пуговками. Матушка ссудила меня шелковым платком оранжевого цвета, с волнисто-радужными коймами и серебряными цветами по углам; я повязал этот платок на шею, распустя длинные концы его так, что волнисто-радужные коймы и серебряные цветы приходились у меня на самой груди. Одевшись таким образом, я посмотрелся в зеркало: блеск ослепительный! красный цвет и оранжевый, радужные коймы и серебро платка, золото пуговиц — все это составляло чудную, изящную пестроту и спорило между собою о первенстве на одобрение вкуса самого разборчивого. Я вычесал *лавержет*[9] свой частым гребнем и намазал его самым свежим коровьим маслом. В таком убранстве я предстал на предварительный суд моей родительницы.

Матушка моя ахнула от изумления, видя такое великолепие и вместе изящество, соразмерность, стройность и вкус. «Пускай же,— говорила она,— эти городские панычи выхваляются перед тобою своим убранством; на них все: то черное, то белое, то синее, а на тебе все как жар горит!» Я и сам был того мнения, что городские моды скудны и однообразны, и считал, что мне как человеку просвещенному, живущему в центре губернской образованности и которому за латынью в карман не ходить,— что мне, словом, можно по праву быть оракулом моды в Крохалиевке. Являюсь в дом отца невесты — ровно в одиннадцать часов утра. Комнаты все полны гостей; девушки, молодые и пожилые, разряженные в пух

по самой последней моде, существовавшей тогда в Крохалиевке, либо сидят чинно по местам, ужимая губки и перебирая пальцами по обыкновенной привычке малороссийских *панянок*, либо вертятся

...як в окрипи муха[10],

по выражению одного поэта, тоже моего земляка, которому дай бог петь и здравствовать многие лета! Городские *панычи*, иные в черных либо синих фраках, другие в губернских мундирах, оскалили зубы при моем появлении. Я оторопел; однако ж, помня слова моей матушки и собственное сознание в щегольском моем наряде, молвил сам себе: зависть, зависть! Иному из них, может быть, и не из чего одеться, как я; вот они и принарядились в кургузые фрачки, чтобы меньше сукна выходило на платье. Мысль сия снова меня ободрила. Я раскланялся на все стороны и пустился искать хозяйку дома. Она подносила тогда своеручно гостям водку; я сунулся, чтобы поцеловать у ней руку, толкнул локтем большой поднос — графины, чарки зазвенели и повалились на бок, водка полилась на пол и на платье хозяйки; счастье еще, что она удержала поднос в дюжих руках своих! Однако же общий смех гостей — адский, скребущий по сердцу смех — раздался вокруг меня. Поцеловав руку хозяйки, я торопливо отдернулся назад в то самое время, когда она наклонилась, чтоб отдать мой поцелуй мне в голову... Новая беда! головою стукнул я ее в лицо так сильно, что искры посыпались у ней из глаз, а из носу чуть не брызнула кровь. Хозяйка вскрикнула невольно и захватила себе лицо левою рукою, в то время как один услужливый паныч поддержал у нее поднос и тем предостерег питейные снаряды от конечного разрушения. Признаюсь, тут я обомлел с испугу; не видел, где стоял, и чуть не бросился бежать опрометью вон из дому. Если бы не слова: «Ничего, ничего!», сказанные снисходительною хозяйкой, когда она опомнилась от удара, то я, верно, повершил бы свои подвиги быстрым побегом.

Милостивые государи! случалось ли вам когда купаться почти под самыми мельничными колесами? Нет? А мне так случалось. Какой шум! какой оглушающий рев! Вода то плещет на вас сверху широкими струями и прибивает вас ко дну, то подмывает снизу и выносит вас наверх; то, кажется, шум на минуту притихнет, то снова поскачут водяные валы с колеса и с грохотом и зыком обдают вас белою пеной... Голова закружится, дыхание захватывается, силы истощаются — и рад-рад бываешь, когда выберешься на берег. Вообра-

зите себе такой же гром и треск и раскаты и переливы хохота, который падает на вас, как тяжелые волны речные, тягчит, давит вас; и вот, кажется, затих,— и вот снова сыплется на вас дребезжащим громом... Вообразите себе все это и вообразите меня в этом положении!.. Кажется, рад бы провалиться сквозь землю, рад бы окаменеть, чтоб не видеть и не слышать этого буйного прилива веселости, от которого одному только горе, и этот один — именно я, я сам, несчастнейший изо всех семинаристов минувших, настоящих и будущих! Никогда насмешки резвых товарищей, никогда едкие шутки дерзких *чумаков*[11], предлагающих скромному пешеходу батог, чтобы погонять им природную пару, не казались мне столь обидными. Да и как не огорчаться, как не досадовать? С самого первого шага я сделался посмешищем того общества, которому хотел предписывать законы моды и приличий... О мать моя, как ты обманулась и как обманула бедного твоего сына!

— Все это не беда, препочтеннейший и вселюбезнейший! — сказал, подошед ко мне, какой-то старый, запачканный крохобор, приехавший из города в числе приятелей жениховых.— Вы здесь человек новый: я слышал, недавно приехали, и прямо из губернии. Мы не знаем тамошних ваших обычаев, а вы наших. Может быть, там от молодого человека требуют на первых порах чокнуться головою с хозяйкой дома и совершить водочное излияние, примером будучи, хоть бы в честь усопших родителей. Для нас, темных людей, это дико; но вы не унывайте и продолжайте так же, как и начали...

Чтоб тебе подавиться этими словами! думал я, смотря на бездушную, хладнокровную харю этого старого сыча и слыша возобновившийся хохот, между тем как мой краснобай стоял передо мною без малейшей улыбки и только рассматривал меня с ног до головы такими глазами, как будто бы хотел всего меня затвердить наизусть, дабы потом снять с меня заочно план с фасадом. Гнев кипел во мне; но что было делать? Если б это случилось на улице, то я, может быть, употребил бы argumentum baculinum[12], чтоб убедить этого окаянного старичишку в ложности его мнения обо мне и в неприличности его речей; но здесь, в многочисленном собрании, это значило бы выставить себя вполне сумасшедшим. Не знав, что начать, я стоял по-прежнему как вкопанный.

К счастию моему, хозяин и хозяйка подоспели ко мне на помощь. Им неприятно было, что сын человека, ими уважаемого, духовного их отца и (чтобы ничего не утаить) челове-

ка, которому они были должны, осмеян был в их доме. Хозяин, взяв меня за руку, повел знакомить со всеми своими гостями поодиночке. Уже не смех, а едкие улыбки мелькали передо мной посменно. Девушки, забыв малороссийскую скромность, захватывали себе лица белыми платочками при взгляде на меня и, казалось, все еще тишком хохотали. Одна только смотрела на меня с участием, укоризненно поглядывала на своих смешливых соседок, и когда меня подвели к ней, то она, закрасневшись, пролепетала мне какое-то приветствие — помнится, вопрос о здоровье моей матушки... Нет! самолюбие и благодарность меня не обманывали: она точно была прекраснее всех в этом обществе. Темно-голубые глаза ее смотрели так умильно, светились таким тихим, живительным огнем, что истинно сулили рай на земле. Свеженькое, кругленькое, беленькое личико ее озарялось тонким румянцем, который пристыдил бы алые персты древней Авроры. Прибавьте к этому кротость и доброту, живо написанные на лице красавицы и отражавшиеся во всех ее приемах, во всех ее движениях; невысокий, но стройный стан, милую круглоту форм, заявлявшую цветущее, сельское здоровье... Видите ли, господа, что и я сумею говорить по-вашему, когда чувство согрето во мне сладостным воспоминанием.

Короче, вид этой девушки помирил меня со всем свадебным обществом. Правда, меня потом оставили в покое, может быть в угоду хозяевам, которые явно оказывали мне свое внимание. Барышни все еще между собою перешептывались, оскаливая зубки; но мало ли о чем перешептываются малороссийские *панянки*? Это меня и не тревожило. Я сел в углу и оттуда выглядывал на собрание; чаще же всего и пристальнее посматривал на белокурую красавицу, которая отвела мне душу своим участием. Таким образом дело протянулось до обеда. Не знаю, по какой игре судьбы я очутился за столом как раз насупротив моей белокурой красавицы, и, с умыслом или без умыслу, насмешливый крохобор сел подле меня по левую сторону. «Вот истинный образ истязания души после смерти! — думал я.— Видишь рай вдали — и чувствуешь ад подле себя так близко, что, кажется, из него пышет на тебя поломя!» Сосед мой, по-видимому, понял неприязненное мое к нему расположение и потому всячески старался со мною заговаривать, начав обыкновенным провинциальным осведомлением: «Позвольте спросить, препочтеннейший, о вашем имени и отчестве?»

— Демид Калистратов сын Сластёна,— отвечал я отрывисто и неохотно.

— Воистину, так сказать, лакомое прозвание вы носите, препочтеннейший! — продолжал он. Я молчал.

— Не здешнего ли священника бог порадовал таким сынком? — был новый вопрос неотвязного соседа.

— Отгадали, — отвечал я по-прежнему.

— А! так вы сын здешнего священника, отца Калистрата? Радуюсь и поздравляю его и вас совокупно. Мы люди темные, неученые; однако же знаем, что у него дом как полная чаша, поля столько, что глазом не окинешь, с лесами, садами, сенокосами, пасечными местами и всякими угодьи. А пасека! обойти повета два-три, такой не сыщешь. Больше же всего благословение божие состоит у него в сундуках, лежачими. Правда ли, препочтеннейший, что у пан-отца наберется тысяч до двадцати целковыми?

— Я не считал отцовских денег, — молвил я с досадой.

— Мы тоже не считали, да слухом земля полнится, особливо судя по тому, что у батюшки вашего роздано в долг, сиречь займообразно, тысяч до десятка. Вот, недалеко сказать, и здешний хозяин должен ему чуть ли не пять или не шесть тысяч... Сколько именно, примером будучи?

— Не знаю, — отвечал я докучному расспросчику. Между тем мысль об известности и богатстве отца моего придала мне бодрости. Я стал уже веселее и вольнее поглядывать вокруг себя, смелее пересылался взорами с миловидною белянкой, которая тоже исподлобья на меня посматривала и, кажется, не вовсе не ласково. Частые приемы наливок, подносимых радушными хозяевами, довершили остальное: к концу стола и язык у меня развязался. Сосед мой, начавший со мною знакомство язвительною выходкой, теперь всячески старался угодливостью своею заглушить во мне неприятное впечатление первых речей его. Подметя частое мое переглядыванье через стол, он вдруг обратился ко мне с следующею речью:

— Вот поистине, так сказать, предостойная девица, примером будучи, хоть кому невеста: шестнадцать лет и семь месяцев от рождения, пригожа, статна и одна дочь у матери как порох в глазу. А матушка ее человек нескудный: есть свой хуторок, винокурня и того-сего прочего наберется не на одну тысячу. Да кому знать лучше, коли не вашим родителям? Матрона Якимовна также состоит им должною, то за хлеб для винокурни, то по другим счетам. Вот бы, думаю, она была рада-радехонька, когда бы долг ее уничтожился родственною сделкой. За сватами бы дело не стало; вот хоть бы, примером будучи, скажу о себе: не одну свадьбу удалось

мне сладить на своем веку, лишь бы предвиделась посильная благостыня...

Я сидел как на иголках в продолжение сей речи; притворялся, будто бы не слушаю назойливого соседа, а по совести, не проронил мимо ушей ни одного слова. Дивился я, каким образом этот запачканный человечек знал так подробно домашние дела наши и всех панов крохалиевских, и решился поплатиться с ним вопросом: «Позвольте спросить о вашем имени и отчестве?»

— Зовут меня Савелий Дементьевич Пересыпченко,— отвечал он без малейшей запинки как человек, издавна привыкший к подобным допросным пунктам.— Может быть, вам благоугодно также знать мое звание и занятия? — продолжал он.— На сие имею честь объявить, что я отставной канцелярист земского суда и ныне занимаюсь хождением по делам, да продажею движимых и недвижимых имений по доверенности, да свадебными и другими-прочими сделками. Спросите по целому повету о Савелии Дементьевиче Пересыпченке; все, от мала до велика, вам скажут: то-то делец! то-то честный и бескорыстный человек! с ним верите ли его как у бога за печкой; а уж свадьбу состряпать — его подавай: будь хоть отцы жениха и невесты смертельные враги между собою, он их помирит и умаслит так, что они сами не прочь обвенчаться.

Я молчал, заметя, к чему клонилась эта затейливая речь. Стол кончился; но наливки не переставали кружиться по собранию и кружить головы тех из гостей, которые не совсем были привычны к подобным попойкам. К числу таковых гостей принадлежал и я. В голове у меня порядочно стучало. Я обнимался и целовался со всяким, кого встречал, болтал почти без умолку и отпускал латинские фразы кстати и некстати. Скоро после обеда вошли в комнату гуслит и два скрыпача, за которыми жених нарочно посылал в город. Я начал притопывать ногою и приплясывать в ожидании, что музыканты заиграют *горлицу* либо *метелицу* — пляски, с которыми я не вовсе был не знаком. Судите же о моей досаде, когда они забренчали и заскрыпели какие-то заморские контратанцы, отроду мною неслыханные и невиданные. Городские *панычи*, подметя, что я прежде разминал ноги для пляски, настроили невесту, чтоб она пригласила меня танцевать... Я сперва отговаривался; но после подумал: ведь не боги ж горшки обжигают! взял какую-то дородную и пожилую девицу и стал в числе пар. Доходит очередь до меня; я выступаю как журавль, ноги мои гнутся, скользят то

вправо, то влево, путаются и — о верх несчастия! я падаю и увлекаю за собою дюжую мою даму... Можно вообразить ее гнев и смех целого собрания!.. Дама моя, с визгливой бранью и слезами на глазах, вскочила и убежала в другую комнату; но я — я не в силах уже был подняться. Жених и два или три *паныча* поставили меня на ноги и, видя, что голова у меня кружилась, отвели в особую каморку и уложили на постелю. Что было далее в этот бурный для меня день, я ничего не помню и не знаю...

Рано поутру я проснулся, когда еще по целому дому раздавалось громкое, единогласное храпенье гостей, от которого дрожали на потолке переборы. Голова у меня была тяжела как свинец; смутно припоминал я себе все, что случилось со мной накануне; когда же дошел в памяти до несчастного падения, которым повершил вчерашние свои подвиги, то вздрогнул, как убийца при воспоминании о предсмертном трепетаньи своей жертвы. Стыд, досада на себя и на других, страх новых насмешек, унижение в глазах миловидной белянки — все это возвратило мне силы, отнятые вчерашним перепоем. Я спехом оделся, как сумасшедший рванулся в дверь и побежал без оглядки к дому отцовскому. Там ожидали меня нежное участие матери и пасмурный вид отца, который встретил было меня строгим выговором за неумеренность, неприличную моему возрасту и будущему сану; но матушка приняла мою сторону и робко, тихим голосом (средства, кои всегда удавались ей с отцом моим) старалась меня оправдать. «Дело свадебное,— говорила она,— хозяева обиделись бы, когда б наш Демид не по полной выпивал за здоровье жениха с невестой и всего благословенного дома». Отец мой убедился сими доводами, и домашняя гроза пронеслась мимо меня без дальнейших следствий.

Из благодарности к моей матери я удовлетворил ее любопытство, когда мы остались с нею глаз на глаз, и рассказал ей подробно все — все, что помнил. Признаться, я скрасил немного темные пятна в моем рассказе, и виноваты у меня были другие, а не я; зато радужными цветами расписал белокурую красавицу, столь явно принимавшую во мне участие.

— Из слов твоих я догадываюсь, кто она такова,— сказала мне матушка,— пусть у меня язык отсохнет, если это не Настуся Опариевна, дочь Матроны Якимовны Опариихи[13].

— Точно так называл мне ее мать новый мой знакомец, Пересыпченко...

— Кому уж больше быть, как не ей! — подхватила ма-

тушка,— она знает, моя голубушка сизая, у ней сердце чует, что это был ее нареченный жених.

— Как нареченный жених? — вскрикнул я в каком-то страхе, смешанном с чувством радости.

— Да так: у меня это давно уже положено на сердце, и я не раз заговаривала с Настусей; не говорила только еще с ее матерью. Видишь, она такая неприступная, панья во всю губу, как будто и бог знает что!.. Ну, да его святая воля! а без сватов дело не обойдется.

За ними дело и не стало. Спустя дней пять вдруг послышался почтовый колокольчик на улице, звенел, звенел и утих перед самыми нашими воротами. Я выглянул в окно и увидел сходящего с повозки моего свадебного знакомца, Савелия Дементьевича Пересыпченка... Тогда так бывало в нашей безответной Малороссии: кто назовет себя капитан-исправником, заседателем, судьею, подсудком, словом сказать, кем-либо из судовых, их роднею, благоприятелем или просто погрозит их именем да привяжет к дуге колокольчик,— тому, бывало, безотговорочно дают по тройке с проводником из обывательских. Теперь это вывелось; а жаль! нашему брату не держать же своих лошадей или не платить прогонов, когда миром от селения до селения, от волости до волости могут нас довезти хоть на край света или, по крайней мере, из конца в конец по всей Малороссии. Скажете вы: по какому праву? И, отцы мои! да по тому праву, что в селах обыватели народ простой; а нас, каковы мы ни есть, все-таки величают панами.

Во время вышеупомянутого посещения сидел я в светлице и занимался сочинением проповеди, которую, по совету отца моего, намерен был сказать в следующее воскресенье, дабы блеснуть красноречием перед мирянами крохалиевскими и подать им высокое мнение о моих дарованиях и учености. Лишь только завидел я Савелия Дементьевича, у меня на сердце похолодело: проповедь, и ученость, и красноречие мигом испарились из головы моей. Отца моего не было дома: он уходил для каких-то треб; матушка тоже занималась хозяйством. Я один должен был встретить приезжего.

— Здравствуйте, препочтеннейший и вселюбезнейший Демид Калистратович! — сказал он, входя в комнату.— Я приехал к вам за важным делом, по поводу, примером будучи, Настасьи Петровны Опариевны. А чтобы *пан-отец*, какова не мера, не подумал, что я навязываюсь на такую услугу, которой он от меня не ждал и не просил, то у меня готовы и *сепаратные* пункты: хочу торговать у него мед и воск да

попросить взаймы денег для одного надежного человечка.

Я молчал; да и что мне было отвечать? Отказаться от его услуг — значило как будто бы показать холодность к милой Настусе и заставить навязчивого, всесветного свата подъехать с другим женихом. Он и принял мое молчание в таком виде, как ему хотелось, т. е. счел его знаком согласия; но как тонкий знаток провинциальных приличий искусно переменил разговор и повел бесконечную речь о городских новостях, о сплетнях, шашнях господ судовых и — право, всего не припомню.

К счастию моему, матушка скоро вошла в комнату. Дело между ею и Савелием Дементьевичем сладилось ко взаимному удовольствию: условились, чтобы хитрый сват подкрался к отцу моему с предложением, как бы нечаянно напав на эту мысль. Как сказано, так и сделано. Отец мой, выгодно продав свой мед и воск, стал мягок и уступчив; и хотя сначала неохотно слушал о родстве с Матроной Якимовной, осуждая ее за излишнюю спесь, но когда пан Пересыпченко напал на него всею силою деловой своей логики, то батюшка мой начал убеждаться его доводами. Обед и наливки угладили остальные затруднения.

Жребий был брошен; меня обрекли в женихи милой Настуси. Через неделю Савелий Дементьевич должен был приехать для большей важности с другим еще сватом, верным своим подручником, и отправиться к Матроне Якимовне. До этого времени, чтоб рассеять волновавшие меня мысли и сократить минуты ожидания, усерднее прежнего занялся я сочинением моей проповеди. Предметом оной было увещание к братской любви; я грозно восставал против презорства и кощунства мирского и текст выбрал следующий: *Блажен человек, иже и скоты милует.* Признаюсь, у меня лежал на душе обидный хохот, которым меня чуть не оглушили на свадьбе.

Проповедь кончена, пересмотрена, переписана набело, прочтена моему отцу, одобрена им и сказана мною в следующее воскресенье. Я надеялся произвести ею сильное впечатление в слушателях, особливо в барышнях крохалиевских: надеялся пробудить в них угрызения совести и заставить их внутренне сознаться в тяжком их грехе предо мною; и что же? Барышни перешептывались по своему обыкновению, набожные старушки поминутно клали земные поклоны, не вслушиваясь в порывы моего красноречия; а два-три старичка подремывали под шум моих возгласов. Одна только девушка слушала прилежно и, казалось, угадывала мое намерение;

нужно ли доказывать, что это была Настуся Опариевна? Досада моя на невнимательность всех прочих с избытком вознаграждалась ее вниманием, и я не напрасно метал бисер отборных метафор, синекдох и гипербол.

Впрочем, по окончании обедни все паны и паньи крохалиевские забросали моего отца поздравлениями и похвалами моему красноречию, уму и учености. Тут я понял, что с людьми темными и необразованными всегда возьмешь высокопарностью и напыщенным слогом: чем менее они поймут, тем более будут дивиться и расхваливать. Этому и теперь я вижу частые примеры, когда случается мне заглянуть в ваши нынешние журналы да вслушаться в толки наших провинциалов: чем бестолковее суждения и слог журналиста, тем больше предполагают они в его статье ума и глубины. В том-то, думают они, и мудрость: написать так, чтоб никто не понял; а слова подобрать и разместить таким образом, чтобы чтец на каждой строке запинался и переводил дух. Одна красная обертка журнала уже служит для них верною порукой за красноречие издателя.

Настал желанный четверток. В десять часов утра снова колокольчик зазвенел по улице и опять затих перед нашим домом. Погодя немного, вошли наши сваты: Савелий Дементьевич с каким-то приземистым, плотным и краснолицым человечком; оба они были навеселе. Около часа потолковав о деле, мы сели за ранний обед, и он для нетерпеливого жениха бог весть как долго протянулся в потчеваньи да в шутках и прибаутках, которыми рассыпались оба свата. Вышед из-за стола, они почувствовали, что язык их прилипал к гортани. Им отвели особую комнату, через сени, и они легли там отдохнуть, а я между тем занялся своим убранством. Уже я не решился надеть ни красного жилета, ни оранжевого платка на шею: за исключением бессменного моего долгополого сюртука, я старался нарядиться сколько можно ближе к тому, как одеты были городские панычи на свадьбе. Часа через два сваты мои встали как встрепанные. Отслушав вечерню и получа родительское благословение, отправился я с своими сватами в отцовской голубой тарадайке с желтыми и красными *мережками*[14] прямо к дому Матроны Якимовны Опариихи.

Приезжаем. Босоногая служанка с растрепанными волосами встречает нас и объявляет, что панья просит обождать. Сидим и ждем час и другой; а между тем из ближней комнаты раздаются громкие и бранчивые приказания Матроны Якимовны то тому, то другому из ее домашней челяди.

Я теряю терпение и бодрость; но сваты мои стараются снова ободрить меня своими побасенками и забавными замечаниями насчет всего, что видят в одной комнате и слышат из другой. Наконец является Матрона Якимовна, высокая дородная женщина со вздернутым носом, пухлыми щеками и чванливым взглядом. На голове у ней был шелковый платок, повязанный наколкой, как у городских мещанок; на ногах голубые шерстяные чулки и башмаки без задников, с высокими каблуками; прочий наряд ее составляли *шушун* и юбка ситцевые с большими разводами ярких цветов да клетчатый бумажный платок на шее. Несмотря на то, ни одна знатная дама, во всем блеске пышности и убранства, не приняла бы нас так сухо и спесиво, как Матрона Якимовна.

Старший сват, т. е. Савелий Дементьевич Пересыпченко, повел речь обиняками, чуть ли не от сотворения мира, и заключил ее сими замечательными словами: «От власти божией не уйдешь. Старое стареет и валится, а молодое цветет да молодится. Примером будучи, сказать вот и об вашей дочке: уж хоть куда невеста. Такой дорогой товар не залежится у матушки на руках. А вот у нас и купец находится: кланяемся вам и просим вашей ласки к нам и нашему жениху».

Матрона Якимовна сделала какую-то двусмысленную ужимку губами и молча указала нам на стулья; мы сели. Минуты две-три она как будто собиралась с мыслями; наконец начала говорить протяжным голосом и с длинными остановками, более как бы вслух рассуждая сама с собою: «Конечно, мне нечем укорить и сватов и жениха... Сваты люди хорошие, в офицерских чинах; бесчестья никому не сделают... Жених человек молодой и видный, имеет звонкий и явственный глас; я это слышала прошлое воскресенье в обедню... И дом очень достаточный; он же всему один наследник... Только можно ли тому быть, чтоб моя дочка, Анастасия Петровна Опариевна, сделалась попадькой!..»

— Почему же нельзя, матушка Матрона Якимовна?— спросил старший сват.

— Статочное ли дело! Дедушка ее, Гордий Афанасьевич, был Стародубского полка канцеляристом; батюшка ее, Петр Гордиевич, служил в генеральном суде регистратором. Сама я тоже не простого рода: покойные мои родители, с тех пор как свет стоит, слыли панами... А дочь мою стали бы величать попадькой!.. Нет! тому не бывать.

— Да ведь духовный чин тоже чин, препочтеннейшая Матрона Якимовна! Вспомните, что от начала веков люди

знатные выдавали дочерей своих за людей духовного звания. Лаван, примером будучи, был знатный господин, потому что у него были свои рабы, по-русски, так сказать, крестьяне; а Лаван выдал обеих дочерей своих за Иакова, который был, как Писание гласит, патриарх, следовательно, духовного звания.

— А я вам скажу,— отвечала Матрона Якимовна решительным тоном,— что хотя бы дочь мою сватал за себя патриарх цареградский, от которого в прошлом году бродил здесь какой-то греческий чернец и собирал вклады на церковь, то и этому патриарху отказала бы я и слова не сказала.

— Однако позвольте вам сказать, многомилостивая государыня Матрона Якимовна, что родитель нашего нарекаемого жениха, отец Калистрат, тоже дворянин и по силе реченного звания владеет землями и всякими угодьи...

— Да без крестьян. Какое уж это панство, когда и своих людей нет?

— Истинно так, препочтеннейшая Матрона Якимовна! Вот у вас, примером будучи, благодаря бога, душ пять-шесть ревизских наберется. Из них, помнится, двое в бегах, один умер, да еще один отдан в рекруты; а все-таки с подростками и малолетными можно будет насчитать душ восемь мужеска пола. У отца Калистрата, конечно, этого нет; зато у него есть другое благословение божие, из которого мог бы он купить порядочный хуторок, примером будучи, душ в пятьдесят наличными.

— Верю, что мог бы, когда бы сына своего повел не по духовному званию, а записал бы где-нибудь в статскую службу, особливо в губернском городе. Тогда и у нас пошло бы дело на лад: за дворянина в офицерском чине я просватаю свою дочку; а просто за поповича, не прогневайтесь, нет! велико слово, нет!

— Ну, коли это последнее ваше слово, матушка Матрона Якимовна, то делать нечего. Мы постараемся упросить да умолить отца Калистрата, чтоб он позволил Демиду Калистратовичу выйти из духовного звания и вступить в статскую службу; хотя, правду сказать, и не надеемся на успех. Обещайтесь же и вы, препочтеннейшая, что на случай, паче чаяния, согласия со стороны *пан-отца* вы ни за кого не отдадите своей дочки, пока Демид Калистратович не выйдет в чины.

— Обещаюсь, если ей не сыщется лучшего жениха.

— Нет, матушка Матрона Якимовна: коли дело пошло на условия, так подлежит оным быть в надлежащем и благонадежном порядке всенепременнейше...

— Ну, хорошо,— перервала Матрона Якимовна с прежнею двусмысленною ужимкою и как будто стараясь поскорее отделаться,— вот вам мое слово, что буду ждать до первого офицерского чина Демида Калистратовича.

Разговор на минуту перервался и завязался потом о предметах посторонних. Я молчал и с каким-то смутным ожиданием поглядывал на дверь, из которой вышла Матрона Якимовна. Погодя немного она оборотилась к этой двери и закричала богатырским голосом: «Анастасия Петровна! соорудите нам чаю[15]!»

Я думал, что теперь-то увижу Настусю; напрасно. Через полчаса времени чай, разлитый по чашкам, был принесен тою же босоногою служанкой, которая встретила нас у дверей. Сваты мои приветливо улыбнулись стоявшему на подносе графину с *кизлярскою водкой* домашней работы и бросились на него, как вороны на труп. Матрона Якимовна и меня потчевала *кушать* чай с водкой; но я не дотрагивался до графина, хотя, признаться, настойка из какой-то травы, названной как бы в насмешку чаем и смешанной с шафраном[16], почти не шла мне в горло. Что касается до самой хозяйки дома, то она *кушала* этот чай с водкой весьма охотно.

Мы посидели еще несколько времени. Сваты мои ревностно поддерживали свою двойную славу: записных гуляк и весельчаков малороссийских, исправно осушали чашку за чашкой, делая при каждой умышленное «ух!», т. е. подливая водки вдвое против чайной воды и сопровождая сию затейливую неловкость шутками и побасенками. Наконец мы уехали — сваты с шумливым весельем, а я с безмолвною печалью.

Отец мой, как и должно было ожидать, с негодованием отверг условия Матроны Якимовны. Что мне было делать? Я чувствовал, что любовь моя к Настусе, еще более подстрекаемая препятствием, усиливалась со дня на день. Но пособить горю было нечем. Отца моего в некоторых случаях невозможно было переспорить. Я начал задумываться, грустить и даже сохнуть. Уже ни ученье, ни будущий экзамен, ни столько льстившая мне прежде перспектива выгодного прихода не шли мне в ум. Одна только Настуся, с ее миловидным личиком, с ее румяными щечками, с ее белокурыми волосами, ежеминутно наполняла мое воображение. Короче, я любил так, как только любят в двадцать лет,— любил всеми силами души моей.

От нечего делать и чтоб рассеять мою тоску, бродил

я по таким местам, где реже мог встречаться с людьми, и почти всегда невольно выбирал для уединенных моих прогулок рощу, лежавшую за садом Матроны Якимовны. Мысль, что там я несколько поближе к Настусе, была для меня отрадой.

Однажды я подкрался к самому плетню, которым обнесен был сад г-жи Опариихи. Взглянув через плетень, я увидел, что по саду прохаживалась Настуся и задумчиво напевала какую-то заунывную песенку. Сердце во мне забилось, как щука в сетях. Я пригнулся за плетнем и посматривал сквозь просветы оного на милую девушку. Вот она, как будто по невольному влечению, идет прямо к тому месту, где я стою, вот ближе и ближе... Чтоб не напугать ее нечаянным моим появлением и не навлечь каких-либо предосудительных для меня подозрений, я прилег у плетня в густой высокой траве и притаил дух. Настасья Петровна между тем подошла к самому плетню, стала одной ножкой на переплет, другою выше, потом еще выше... Я лежал ни жив ни мертв от страха и радости: от страха, чтоб не быть замеченным, и от радости, что Настуся так близко... Покамест она взлезала на плетень, я старался наклонять над собою траву и успел в этом так, что меня вовсе не стало видно. Вот уже белокурая моя красавица на верху плетня, ветерок развевает ее шелковистые волосы, лицо ее горит одушевленным румянцем... Она озирается вокруг внимательным взором, подобно тем баснословным божествам Востока, которые слетали в наш мир, чтобы помогать страждущим, и с воздушных высот обозревали землю. Погодя немного мечта моя еще более осуществилась: Настуся точно слетела вниз, соскокнув с плетня, и упала своими маленькими красивыми ножками прямо мне на грудь... Как ни сладостна была для меня сия драгоценная ноша, однако я крякнул от боли. Настуся испугалась, оторопела, запуталась ногами в густой траве и упала на меня... круглые, зыбучие формы ее тела легли мне на лицо; голова свесилась в траву... Нечего было медлить: я обхватил восхитительный стан милой девушки, поспешно вскочил на ноги, держа ее на руках. Она вскрикнула от страха; но когда увидела меня, то застыдилась и, вырвавшись из моих рук, спустилась на землю.

— Ах, это вы, Демид Калистратович! — сказала она,— я, право, думала, что здесь в траве притаился медведь. Что вы тут делаете?

— Я... отдыхаю! — отвечал я, смутясь и не нашед приличнейшего ответа.

— Отдыхаете, в траве, под плетнем? Право, я что-то не верю! — подхватила она с усмешкой.— Нет ли тут какой-нибудь студенческой шутки?

Я не знал, как оправдаться, и решился лучше сказать всю правду. «Признаться,— молвил я с запинкой,— мне хотелось взглянуть на вас, Настасья Петровна!..»

— На меня? да что вам в этом? — сказала она весело.

— Душа моя так и следит за вами; а где душа, там и глаза! — отвечал я немного посмелее и даже с некоторым жаром.

Она потупила глаза и промолчала. Мы тихо пошли вместе по лесной тропинке, и когда уже садовый плетень скрылся у нас из виду за чащею дерев, тогда Настуся, как бы надумавшись или ободрясь, сказала мне с откровенною улыбкой: «Так вы не шутя меня любите, Демид Калистратович?»

— Ох! люблю так, как никто в свете не может любить вас! — вскричал я с живостию.

— Для чего же вы не хотите выполнить волю матушки моей? Она не хочет меня видеть попадьею; а по мне, признаюсь, все равно, в чем бы вы ни были: в рясе ли, во фраке ли, в губернском ли мундире.

— Как это понимать? — спросил я сомнительно,— это значит, кажется, что я равно вам не мил, во что бы ни оделся?

— О нет, совсем не то! — отвечала она простодушно.— Постарайтесь только уговорить вашего батюшку; а там — мы увидим.

Я поблагодарил милую девушку в несвязных, но жарких выражениях, не скрыл от нее препятствий и затруднений, предстоявших нам, и высказал ей, как умел, все, что было у меня на душе. Она краснела и смотрела в землю, как будто б искала грибов по дороге; но улыбалась очень умильно. Я не слышал под собою ног от радости, что мог говорить с нею наедине. Мы ходили с полчаса по самым глухим тропинкам, где не встречали не только человека, но даже никакого домашнего животного; при всем том ни одно преступное желание не закрадывалось в мое сердце: я любил эту милую девушку и уважал ее, как нечто святое. Наконец она, как будто очнувшись от забытья, вдруг сказала: «Ах, боже мой! я с вами и время позабыла! Матушка, верно, уж воротилась: она поехала версты за три, на винокурню. Беда мне, если она хватится меня и не отыщет в саду!» С сими словами она полетела как птичка вдоль по тропинке и скоро исчезла у меня из глаз, унеся с собою минутные мои радости.

Я остался опять один бродить по роще; поздно пришел я домой, грустнее и мрачнее прежнего. Это свидание с Настусей еще более открыло мне, какого сокровища я лишался; и от чего? от обоюдного упрямства наших родителей! Я сел в углу на лавке, сложа руки и опустя голову; не жаловался и даже не вздыхал; но, конечно, заметно было, что я страдал внутренне, ибо добрая мать моя смотрела на меня с тоскливым участием. Отец мой также давно уже заметил, что я очень похудел, что я, вопреки прежней моей хорошей привычке, почти ничего не ел, не принимался за книги и был молчалив как рыба. В этот раз, видно, сильнее прежнего пробудилось в нем родительское сострадание, и он приступил ко мне с расспросами:

— Здоров ли ты, Демид?

— Здоров,— отвечал я угрюмо и отрывисто.

— Что же с тобою делается? — спросил он немного построже.

— Ничего! — отвечал я по-прежнему.

— Ты не пьешь и не ешь, бродишь по целым дням бог знает где, молчишь, как немой. Ты совсем одичал: не показываешься добрым людям и смотришь каким-то юродивым... Ума не приложу, какая дурь забралась к тебе в голову!

Я молчал.

— Уж не молодая ли Опариевна сушит и крушит тебя? — продолжал он.— Ох, мне эти любовные бредни! Сколько — и по Священному писанию видно — мудрых и сильных мужей сбивалось от них с прямого пути. Довольно напомнить о мудрейших: Давиде и Соломоне, и о сильнейшем из смертных — Сампсоне. А все еще эти поучительные примеры не устрашают безрассудных человеков: имеют уши — и не слышат!

Я все молчал.

— Ну, быть так,— сказал отец мой после некоторой расстановки, смягчив свой голос.— Если только этим можно тебя спасти от сумасшествия или от сухотки, то благослови тебя господь, и вот тебе мое родительское благословение: иди в гражданскую службу.

Я вскочил, как пробужденный из мертвых, и бросился целовать руку моему отцу. Мать тоже не вытерпела: слезы полились у нее из глаз, и она хотела упасть в ноги перед своим мужем; но он удержал ее.

— Полно, полно! — сказал он растрогавшись,— благодарите бога, а меня благодарить не за что. Я и теперь соглашаюсь скрепя сердце; мне очень не хотелось бы, чтобы сын

мой пошел иным путем, нежели его отец и дед. Да уж видно, на то власть божия, ее же не преидешь.

Я совершенно ожил: стал и весел, и говорлив, начал и есть и пить по-прежнему. Можно было подумать, что сама природа требовала восстановления сил, как будто бы по выздоровлении тела от тяжкой болезни. Одного только я добивался: увидеться с Настусей еще однажды перед отъездом, и для того по-прежнему посещал я рощу за садом Матроны Якимовны. Об учебных книгах мне уже не для чего было думать; их заменил у меня Овидий старинного издания, без начала и конца, купленный мною на рынке за 30 копеек, да том эклог Сумарокова, не знаю какими судьбами закравшийся в число книг моего отца.

На третий день я увиделся с Настусей, объявил ей о счастливой перемене моих обстоятельств и просил ее подождать до тех пор, пока офицерский чин даст мне право на получение руки ее. Матушка моя приняла на себя уведомить о том же Матрону Якимовну и взять с нее слово. Дела мои шли по желанию: надежда меня оживляла. Весело простился я с Настусей, и через несколько дней я и отец мой были уже на пути в губернский город.

Не трудно было отцу Калистрату склонить преосвященнейшего владыку на увольнение меня из духовного звания; еще легче было ему определить меня в статскую службу. Священник, покровительствуемый архиереем, протодиаконом и другими значительными духовными лицами, предъявляющий сверх того предварительные и ясные свидетельства своей благодарности, не мог быть отвергнутым просителем в таком деле, которое обещало и впредь господам членам присутствия вышереченные знаки благодарности. Меня определили копиистом в уголовную палату. Я переменил образ жизни, приемы и привычки и повел себя соответственно новому моему званию, по пословице: *с волками вой.*

Прошел год, и другой уже приближался к концу. Уже я, в силу доказательств об отлично-ревностной и деятельной моей службе — доказательств, подкреплявшихся убедительными доводами из Крохалиевки,— подписывался твердою и размашистою рукою: «Канцелярист Демид Сластёна». В это время постигло меня жестокое несчастие: почтенный родитель мой, отец Калистрат, скончался от сильной простуды, приключившейся ему, когда он в ненастную осеннюю погоду провожал одного из прихожан своих в место вечного успокоения. Мать моя звала меня к себе; я отправился в Крохалиевку, оплакал свежую могилу отца и сделал нужные распоряже-

ния. Как мы жили в собственном доме и не на церковной земле, то и оставил мать мою полною госпожою дома и всей нашей собственности и, сдав преемнику отца моего все то, чем покойник владел по своему званию, продал все лишнее из пожитков отцовских: его богатые рясы, трости, шубы и т. п., оставя себе на память только любимые его вещи. Устроив все таким образом, я возвратился в город и продолжал мою однообразную, но не вовсе бесполезную службу.

Протянулся еще год. Я был повышен чином, и губернский регистратор Демид Калистратович Сластёна мог уже представиться Матроне Якимовне Опариихе как достойный жених ее дочери. Я выпросил себе отпуск на довольно долгий срок — и отправился в Крохалиевку.

Лучше бы я не приезжал сюда!.. Я чуть не попал на свадьбу Настасьи Петровны с каким-то майором и застал добрую мать мою тяжко больною с печали. От нее узнал я следующие подробности.

Майор этот, уволенный (и едва ли по своей доброй воле) от службы, мимоездом очутился в Крохалиевке и почти с бою сам себе отвел квартиру в доме Матроны Якимовны. Молодец он был, видно, не промах: тотчас явился к хозяйке дома с извинениями, из которых самое убедительное было то, что он не привык останавливаться в крестьянских избах. Одаренный беглым языком и свойством ни от чего не краснеть и не запинаться, он умел пустить пыль в глаза Матроне Якимовне: уверил ее, что ему обещано место городничего в нашем городе и что у него есть хорошее поместье в одной из великороссийских губерний; но как сие последнее заверение должно было согласить с довольно поношенным его платьем и скудным дорожным скарбом, то он прибавил, что поместье находится под опекой, по причине тяжбы за оное с богатыми и алчными родственниками. Вероятно, он умел всем сим рассказам придать вид правдоподобия и убеждения, ибо Матрона Якимовна с первого раза поверила ему на слово. Майор был среднего роста, сухощав и прихрамывал одной ногою, о которой говорил, что прострелена была на сражении. Бог весть, правда ли это, ибо формулярного списка его я не видал. Густые черные бакенбарды с проседью закрывали пол-лица у этого отставного витязя и придавали ему вид богатырский, даже отчасти суровый. Он сказывал, что ему тридцать пять лет от рождения; но, судя по виду, можно бы смело придать ему еще десяток. Матрона Якимовна, которая во сне и наяву бредила людьми чиновными, была от него без памяти и уговорила его отдохнуть с дороги в ее доме,

сколько ему угодно. Майор того только и ждал. Мало-помалу он вкрался в дружбу и доверие к хозяйке своей и даже, говорят,— не знаю, правда ли, нет ли — вскружил голову Настасье Петровне. Сердце женское есть такая мудреная загадка, которой никогда не мог я разгадать. Короче, не прошло и двух недель, как уже в Крохалиевке заговорили о свадьбе. Еще неделя — и уже ее отпировали.

Мать моя, при первой вести об этой страшной помолвке, пошла к Матроне Якимовне и напомнила ей данное мне честное слово. «А разве я не сдержала его? — отвечала г-жа Опариха насмешливо.— Сами вы видели, что я не выдавала моей дочери замуж, пока сын ваш не вышел в чины. Теперь же, как он стал человеком чиновным, так и для ней пришел час воли божией. Милости просим на свадьбу!» — Что было отвечать на сей лукавый изворот? Матушка моя возвратилась домой с тем же, с чем и пошла, наплакалась досыта и даже слегла в постелю. Я застал ее в припадках томительной горячки.

Болезнь ее усиливалась со дня на день, и мне уже было не до Матроны Якимовны и не до Настуси... На двенадцатый день по приезде моем я шел за гробом доброй, чадолюбивой моей матушки.

С той поры Крохалиевка мне опостылела. Я продал отцовскую землю, мельницу и пасеку; оставил только, как бы по темному предчувствию, дом с садом и поместил в нем старого ослепшего дьячка с хилою его женою, на память по моем отце, которому сей дьячок с лишком тридцать лет сопутствовал на разные церковные службы и мирские требы. Этой же бедной чете предоставил я в полное распоряжение и сад мой, чтоб она могла чем-нибудь пропитаться на старости.

Вырученными за движимое и недвижимое имущество покойного моего отца и собранными с должников его деньгами мог я безбедно дотянуть свой век, хотя бы он продлился еще втрое; ибо я привык к умеренности и порядку. Изо всех моих должников одна только Матрона Якимовна была несостоятельною плательщицей: она откладывала уплату под разными предлогами, переписывала с году на год заемные письма и во всяком случае старалась что-нибудь да выторговать. Я мало об этом заботился, препоручил все хлопоты с нею бывшему свату моему Савелию Дементьевичу; но избегал случая встретиться с нею или с Настасьей Петровной и уехал в город, не видавшись ни с кем из них.

Через год, увидевшись с одним из панков крохалиевских, я узнал от него, что в доме Матроны Якимовны шел, как го-

ворится, дым коромыслом. Майор, как на поверку вышло, не имел не только поместья, но ни души, даже собственной, и сверх того был картежник и гуляка; он самовольно завладел имением своей тещи, проматывал его, дрался с нею и мучил бедную жену свою. Несчастная, как мне сказывали, страшно похудела, и глаза ее ни днем, ни ночью не осушались от слез.

Спустя еще около трех лет получил я письмо такого содержания:

«Матушка моя умерла от бедности и горя, муж мой лежит в параличе. Я и трое жалких детей моих нуждаемся в самом необходимом. Нас за долги выгоняют из дому. Сделайте милость, не взыскивайте с меня хотя до времени денег, должных вам покойницею матушкой, и пр... Настасья Прытицкая».

Сердце мое стеснилось от жалости и грустных воспоминаний. Я возвратил Настасье Петровне заемное письмо ее матери с распискою в получении долга; приложил к нему еще, что бог мне внушил послать ей; и как в это время ни старого дьячка, ни жены его не было уже на свете, то я укрепил дом мой в Крохалиевке и с садом за Настасьей Петровной и детьми ее. Там она по смерти мужа живет и теперь, хоть не богато, но безбедно. Бог печется о сирых и страждущих!

Что до меня, я уже больше не думал о женитьбе. Первые мечты моего счастия рассеялись как дым; и теперь я коротаю век мой старым, безродным бобылем. Хожу на службу, держусь во всей строгости моей присяги, равнодушно сношу ропот сочленов моих, разнящихся со мною во мнениях, вечером читаю, что бог послал, и от скуки веду свои записки. Не знаю, займут ли они вас, милостивые государи, столько же, как меня; во всяком случае, желаю вам удовольствия.

(Этот отрывок из записок Демида Калистратовича Сластёны был мне доставлен одним из его земляков. Мне, как издателю оных, оставалось только присовокупить к ним примечания для объяснения некоторых малороссийских слов, обычаев и т. п.)

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Писанки.* Яйца, расписанные разноцветными узорами с помощию медной трубочки и растопленного воска. Некоторые из сих *писанок* заслуживают внимание живостию красок и разнообразием узоров, в коих малороссийские художницы нередко отличаются тем своенравием воображения, которому столько мы удивляемся, смотря на коймы индийских шалей.

[2] *Олией* в Малороссии называется конопляное и вообще всякое постное масло.

[3] *Панас* — Афанасий.

[4] Т. е. священнику. *Пан-отец* по-малороссийски значит то же, что по-русски *государь-батюшка*.

[5] В Малороссии знатоки бывают весьма разборчивы при покупке волов, наблюдая условные стати их, подобно как охотники до лошадей разбирают стати верховых и упряжных скакунов, рысаков и пр.

[6] *Рацея* — испорченное латинское речение: oratio — слово или проповедь.

[7] *Весельем* в Малороссии называется свадьба.

[8] *Бурса* — дом, где живут семинаристы.

[9] La vergette* — некогда существовавшая мужская прическа головы; волосы, напереди остриженные очень низко.

[10] Т. е. как муха в кипятке. Стих из *Малороссийской Энеиды* Котляревского ⟨IV, 44⟩.

[11] *Чумаки*, т. е. погонщики волов в Малороссии, если увидят на большой дороге пешехода, порядочно одетого, то в насмешку предлагают ему купить *батог*, т. е. кнут, коим погоняют они волов своих.

[12] Т. е. палочное доказательство.

[13] В Малороссии часто прозвание жены, дочери и сына изменяется таким образом в окончании. Если, например, как здесь, муж прозывается *Опарий*, то жену его называют *Опарииха*, сына *Опариенко*, а дочь *Опариевна*.

[14] *Мережки* — городки, или узоры.

[15] Мелкопоместные малороссийские паны старого века нередко щеголяют странностию выражений, желая тем отличиться от простого народа. Выражение: *соорудите нам чаю* сочинитель сам слышал из уст одной пожилой паньи.

[16] Лет за двадцать перед сим во многих домах деревенских панков подавали чай с шафраном. Может быть, обыкновение сие и теперь еще существует в некоторых степных деревушках.

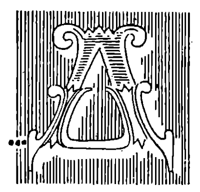
---

* Метелка *(фр.)*.



ПОЧТОВЫЙ ДОМ В ШАТО-ТЬЕРРИ

Из рассказов путешественника



Дорожная моя коляска изломалась, по милости почтальона, которому обещано было лишнее на водку. Подъезжая к Шато-Тьерри, этот проворный и говорливый француз вообразил себе, что здесь-то ему и надобно было отличиться: захлопал бичом, погнал лошадей; а между тем поминутно оглядывался ко мне в коляску и рассказывал мне о достопамятностях городка Шато-Тьерри, о том, что он был родиной Лафонтеня (de ce bon Mr. de La Fontaine)*, о числе его жителей, о торговле хлебом и мельничными жерновами и пр. и пр. В таких рассказах он без оглядки взлетел на маленький мостик, зацепился колесом за каменные перилы — и ось затрещала и переломилась, подобно как в Ипполитовой колеснице. Я, впро-

---

* Славного господина Лафонтена *(фр.)*.

чем, был счастливее сего мифологического героя и успел вовремя выскочить из коляски; но верный мой Терамен, или просто русский служитель, отлетел в сторону и немного ушибся. Нечего было делать. Я оставил моего Терамена присматривать за поклажей и помогать почтальону кое-как приладить колесо, чтобы довезти коляску до Шато-Тьерри; а сам пошел вперед, ибо до городка было уже недалеко.

Я пришел прямо в почтовый дом и просил у содержателя почты позволения остаться тут до прибытия моей коляски. Хозяин, высокий, статный мужчина лет тридцати пяти, с резкими, но довольно приятными чертами лица и огромными бакенбардами, принял меня с холодной вежливостью. На нем были куртка и панталоны из бумажного канифаса с синими, узкими полосками — платье, в каком мы нередко видим в Петербурге французских моряков, на купеческих судах; на голове круглая лакированная фуражка, надетая с какою-то воинской щеголеватостью. Он сказал мне, что в доме его нет трактира и комнат для проезжих; но что он просит меня войти в комнаты, занимаемые им и его семейством. Я пошел за ним.

В большой комнате, куда он ввел меня, сидел у стола почтенный старик лет семидесяти и завтракал; молодая, пригожая девушка, в легком утреннем платье и с свежестью в лице и улыбкой ясного майского утра, ему прислуживала. Другая женщина, немногим ее постарее, сидела на тюфяке, разостланном середи пола, и занималась каким-то рукодельем; подле нее играл ребенок, с небольшим году, здоровенький, полненький, прелестный, как ангел. На поклон мой все отвечали поклоном, и молодая женщина, сидевшая на полу, встала. Вообразите себе высокую, стройную красавицу, с тонкими, нежными чертами лица отменно белого, с тонким, нежным румянцем в щеках, с большими голубыми глазами! Фиолетовая кофта, ловко застегнутая поверх зеленой юбки, прекрасно обрисовывала легкий, воздушный стан красавицы; на голове цветной кисейный платок, повязанный à la Créole*, был ей совершенно к лицу, которого оттенял он белизну и придавал какой-то блеск белокурым локонам, струившимся из-под сей наколки и падавшим вокруг шеи. Этот утренний головной убор молодой француженки всегда мне нравился своею незатейливою миловидностью; но здесь я еще более почувствовал ему цену. Я остановился в безмолвном удивлении перед молодой женщиной, как бы очарованный сладост-

* на креольский манер (*фр.*).

ным выражением и тихим огнем этих больших голубых глаз. Из этого минутного забытья был я выведен голосом введшего меня хозяина, который в отрывистых словах знакомил меня с членами своего семейства. «Это отец мой,— сказал он,— это сестра, а это жена и сын мой».

Мне показалось, что все они с какою-то недоверчивостию смотрели на меня. И в самом деле, человек, пришедший пешком и объявляющий о своем изломанном, может быть небывалом экипаже, мог поселить некоторое подозрение на большой столичной дороге, где, конечно, подобные явления нередки и где бродяги, выдавая себя за порядочных путешественников, не раз, конечно, старались воспользоваться доверчивостию хозяев, хотя по крайней мере для того, чтобы пообедать на чужой счет или выпросить лошадь и кабриолет до следующей станции, с твердою решимостью найти способ не заплатить за них. Мысль о таком подозрении была мне досадна. Без всякой нужды в звонкой монете, я спросил у хозяина, где мог бы я разменять банковый билет на золото? и он отвечал мне, что охотно сам услужит мне этим. Я вынул из кармана мой бумажник, развернул, как бы нечаянно, лежавший в нем паспорт мой, засвидетельствованный российским посольством в Париже; засим начал я медленно перебирать несколько банковых билетов в пятьсот и тысячу франков, подал один из них хозяину и просил его сделать мне обещанное одолжение. Он бегло взглянул на билет, удостоверился в его подлинности и передал его сестре своей, сказав: «Милая Леония, потрудись отсчитать этому господину двадцатифранковых монет, на пятьсот ливров».— Девушка вышла в другую комнату, а я остался с молчаливыми моими хозяевами. От нечего делать я начал играть с прелестным ребенком прелестной хозяйки. Дитя охотно приняло мои ласки, улыбалось мне и само заигрывало со мной, бросаясь ко мне на руки и подняв вверх красивую свою головку с выражением ангельской приветливости. Мать его умильно смотрела на нашу игру и заметно радовалась тому, что чужой, незнакомый человек любовался ее малюткой и находил удовольствие в детских его резвостях. Старый дедушка и даже сам отец малютки, показавшийся мне почти нелюдимом, веселее взглянули на меня, и легкое облако сомнения, подернувшее лица сего семейства при моем вступлении в дом, скоро совсем исчезло; все уже смотрели на меня ясным взором доброжелательства.

Ничто не располагает столько в пользу человека незнакомого, как его ласковость и внимание к маленьким детям.

Люди всегда склонны иметь доброе мнение о том, кто находит удовольствие в невинных играх детства, всегда готовы в нем признавать чистую совесть и мир души; но всегда ли безошибочно — не знаю и не хочу исследовать; ибо сие почти всеобщее, доброе предубеждение льстило на этот раз моему самолюбию.

Я сказал не помню какое приветствие молодой женщине; она закраснелась; что-то непонятное для меня выразилось в ее взоре, который она вдруг отвела от меня и обратила на своего мужа, как будто бы о чем-то его умоляя. Мне показалось это странным. Первая мысль, родившаяся в голове моей, была та, что этот муж был ревнивый тиран своей прелестной жены; что, может быть, из безумной ревности и меня он принял так неприветливо. Отгадал ли он эту мысль по глазам моим, или, может быть, из побуждения более чистого, но он поспешил разрешить мои сомнения.

— Не примите за неучтивость молчание жены моей или не припишите его недостатку воспитания либо ума,— сказал он голосом, выражавшим какое-то чувство нежного сострадания.— Жена моя лишена дара слова: она глухонемая.

— Право? — вскричал я по невольному движению удивления.

— Так точно, сударь! Она только языком знаков передает те ощущения, которые, может быть, действуют на нее еще сильнее, нежели на нас, владеющих языком звуков, те чувствования, для которых всегда раскрыта прекрасная душа ее, наконец, те мысли, коими столь богато ее безмолвное созерцание.

Признаюсь, я покушался уже дать волю врожденному моему любопытству и под благовидным предлогом самого искреннего соучастия выведать приключения жизни сей занимательной четы; уже я наскоро соображал мои планы нападения на чувствительную сторону души моего хозяина... Но сперва приход сестры его, заставившей меня пересчитать 25 *наполеондоров*, а потом приезд моей коляски, толки с кузнецами и пр. отвлекли меня на полчаса от сих планов и желаний. Наконец, я условился с ремесленником, взявшимся починить мою коляску; ее отвезли к кузнице, и она могла быть готова не ближе вечера, следовательно, до той поры мне не было возможности выехать из Шато-Тьерри. Но как оставаться долее в доме содержателя почты, который сам объявил мне, что не содержит гостиницы? Притом же, надобно обедать, а для этого в каждом французском городке есть

порядочные трактиры. Это разрушало все мои планы; и сколько я ни ломал себе голову, не мог ничего придумать. К счастью, сам хозяин одним словом разорвал сей гордиев узел. Когда я оставался середи двора еще в нерешимости и раздумьи, он подошел ко мне и сказал: «Семейство мое посылает меня к вам парламентером. Все мы убедительно просим вас не отказать нам в одном одолжении: отобедать сегодня с нами. Вы, конечно, найдете у нас нероскошный стол сельских жителей; но вам как путешественнику, верно, не раз случалось обедать *чем бог послал* (á la fortune du pot). Мы просим вас наперед, сударь, принять нашу искренность и радушие взамен пышного угощения».

Я отвечал поклоном; хотел прибавить к тому оговорку, не буду ли я в тягость этому доброму, любезному семейству, но хозяин дома не дал мне договорить ее и продолжал: «Жена моя хочет с вами познакомиться покороче, *поговорить* с вами... Да, сударь, поговорить! Если вам незнаком разговор на пальцах, изобретенный для глухонемых незабвенными нашими аббатами де л'Эпé и Сикаром, то аспидная доска и грифель к вашим услугам».

Здесь уж я не находил более или, лучше сказать, не имел духу найти какую-либо оговорку. Я поблагодарил доброго моего хозяина за сей знак внимания и за гостеприимство, столь редко встречаемое на больших дорогах.

— Гостеприимство наше,— отвечал он,— может быть, показалось вам сомнительным с первого приема; но вы привязали нас к себе ласками нашему маленькому сыну и потому имеете полное право на мою откровенность. Жена моя всегда страдает, когда видит кого-либо из посторонних, особливо человека незнакомого, когда видит, что с нею начинают говорить,— и не может отвечать изустно! Ей так огорчительно возбуждать к себе сожаление! ибо, находясь в кругу одного нашего семейства, она почитает себя совершенно счастливою и позабывает о том жестоком лишении, на которое природа или случай ее осудили. Посему-то мы редко принимаем у себя посторонних людей, и знакомство наше в городе ограничивается небольшим числом коротких приятелей. Но вы в несколько минут совершенно приобрели дружеское расположение к себе жены моей. От нее не ускользнуло то искреннее, душевное удовольствие, с каким вы забавляли нашего малютку: ибо эти существа, лишенные способности слышать речи других и сообщать свои мысли живым голосом, глухонемые, одарены взамен того отменною способнос-

тию читать в душе человека по выражению лица и глаз его. Так и жена моя прочла из вашей добродушной улыбки, из выражавшегося в глазах ваших чувства нежности, что удовольствие ваше было непритворно. Ее понятия о свете и людях, несмотря на многие горькие опыты, сохраняют еще всю чистоту души невинной: она верит добру и сим гораздо счастливее многих из нас, говорящих.

Голос сего доброго человека, твердый и отчасти отрывистый в обыкновенном разговоре, смягчался и принимал какое-то особенное выражение нежности, когда он говорил о жене своей. По всему видно было, что он любил ее страстно; и этим он еще более приковывал к себе мое душевное расположение и — признаюсь — еще более поджигал мое любопытство.

Мы вошли снова в комнату; и хозяин подвел меня к жене своей. Я не мог без умиления смотреть на это милое, прелестное существо, которое еще больше привлекало меня с тех пор, как я узнал причину его вечной, неотразимой молчаливости. Хозяин подал мне небольшую аспидную доску с грифелем, и я написал: «Вы, верно, счастливы вашим положением: супруг ваш обожает вас, родные любят нежно; вы мать прелестного дитяти».

Я подал доску глухонемой красавице; она бегло взглянула на нее и мигом написала мне ответ: «Вы правы. Если есть на земле счастие, то я вполне им наслаждаюсь. С тех пор, как я принадлежу моему другу, каждый день являет мне нить приятнейших мечтаний, и эти же мечтания каждую ночь веселят меня в сновидениях».

Я написал ей новый вопрос: «И конечно, вы никогда не жалеете о том, что не можете слышать?» — «О, как не жалеть! — был ответ ее. — У меня отнята возможность слышать голос милого моего друга и детский лепет моего сына».— «Зато сколько ничтожных речей, сколько злых речей вы не слышите», — возразил я. «Это правда, — отвечала она. — Но мой слух теперь — одно воображение; и мне кажется, что в голосе человеческом есть такая сладость, что я охотно бы простила все прочее, лишь бы что-нибудь услышать».

На лице ее отразилось какое-то печальное ощущение, когда она писала сии слова. Я счел за лучшее прекратить на время сей тягостный для чувствительности ее разговор; и потому, положа в сторону ответ ее, сказал ее мужу: «Супруга ваша выражается весьма свободно и правописание наблюдает в совершенстве...»

— Это не должно вас удивлять,— подхватил он.— Глухонемые всегда бывают отличными орфографами. Они не могут себе вообразить, чтоб мысль была правильно выражена, когда в словах не соблюдено правописание во всей строгости. По большей части они даже краснописцы, ибо думают, что для понятности мысли должно изображать ее на письме четкими и красивыми знаками.

— По всему видно, что супруга ваша воспитывалась в Парижском училище глухонемых, под надзором почтенного аббата Сикара?

— О, нет! мы сами воспитывали ее у себя в доме, и для того жила у нас одна питомица Парижского училища, окончившая курс. Недавно мы выдали ее в замужество за одного порядочного человека, живущего в здешнем городе. Жена моя каждый день с нею видится.

— Так поэтому супруга ваша с малолетства взросла в вашем доме?

— Нет; я привез ее с собою из Германии, когда кончилась последняя наша война с целою почти Европой... Вижу, что я моими ответами только более возбуждаю ваше любопытство, любопытство весьма естественное и даже законное, по новости предметов, которые редко могут встретиться... Чтобы отвечать разом на все вопросы, к которым они могли бы подать повод, я охотно расскажу вам ту часть происшествий моей жизни, которая касается собственно до знакомства моего с Вильгельминой и женитьбы моей. Мы обедаем поздно. До того времени не угодно ли вам прогуляться со мною в нашем саду; там я расскажу вам мою повесть.

Само по себе разумеется, что я от этого не отказался. Мы пошли в сад, и там, посадя меня на скамью в беседке из виноградных лоз и сев подле меня, хозяин мой рассказал мне следующее.

— Кажется, лишнее было бы вам рассказывать, что я родился в здешнем городе и в этом доме. Отец мой, которого вы видели, дед мой и прадед были содержателями почтового дома, и может быть, я никогда бы не изведал другого состояния жизни, если бы сильные политические наши потрясения и следовавшее за тем правление Наполеона не преобратили порядка многих вещей, не говоря уже о незаметном существовании человека частного.

Я воспитывался в одном из Парижских училищ, когда наступила моя очередь по конскрипции идти в военную службу. Я был один сын у моих родителей; отец мой печа-

лился, мать умерла с тоски скоро по вступлении моем в ряды воинов.

О службе моей скажу вам только, что я был в ней довольно счастлив. Два или три дела, в которых удалось мне отличиться, доставили мне скоро офицерский чин и орден почетного Легиона. С этим уже готовым запасом для будущих успехов отправился я в поход 1812 года.

Когда счастье развелось с военною славой Наполеона, то есть когда мы ушли из России и беспрестанно почти отступали по Германии, мне случилось тогда стоять в одной небольшой деревушке близ Люцена. Я был уже капитаном. Квартира отведена мне была в доме мельника, на выезде из селения и несколько поодаль от прочего жилья; всякий день я ходил к нашему полковнику, жившему на другом конце селения; и всякий день видел под окном одного опрятного домика прекрасную белокурую девушку лет пятнадцати, с большими голубыми глазами, с умильным, простодушным взором. Я всегда кланялся этой молодой красавице, и она с улыбкой мне откланивалась. Не зная почти ни слова по-немецки, я не мог говорить с нею, и знакомство наше ограничивалось одними поклонами. Однажды шел я поздно вечером от полковника; было очень темно; я переходил полое пространство, лежавшее между селением и моей квартирой. Вдруг послышался в стороне дикий, пронзительный крик, почти не похожий на голос человеческий. Я бросился в ту сторону и при помощи потайного фонаря, который всегда носил я по ночам, увидел двух солдат нашего полка, тащивших какую-то женщину. Вы знаете, сударь, что при Наполеоне французские солдаты многое себе позволяли в военное время, особливо в отношении к мирным жителям занимаемых ими мест в чужих государствах, и что офицеры должны были отчасти смотреть на это сквозь пальцы; но я всегда старался удерживать наших солдат от подобных беспорядков, особливо от грубых поступков с женщинами. Так и в этот раз я подошел с обнаженною саблей к двум нашим повесам и говорил им, что изрублю их, если они не отпустят бедную, испуганную женщину. Негодяи покинули ее и убежали, а я навел фонарик на женщину, которая стояла передо мной, сложа руки и потупя глаза в землю, и дрожала всеми членами. Я подошел к ней поближе; она взглянула на меня... Вообразите себе мое удивление и радость! Это была та милая девушка, с которой я каждый день менялся поклонами. Я хотел ободрить ее, заговорил с нею, ломал кое-как слова на немецкий лад; но она, казалось, ничего не понимала, хотя

из умильных ее взглядов и заметно было, что она желала б изъявить мне свою благодарность за ее избавление от этих грубиянов. Я приписывал ее молчание страху; подав ей руку, я повел ее на мою квартиру, и она пошла со мною без всякой недоверчивости. Мы вошли в комнату, и там, разглядев мое лицо и узнав меня, девушка бросилась целовать мою руку; я снова начал с нею говорить, но она отвечала мне только голосом без слов и указывала на свои уши и рот, давая тем знать, что она глуха и нема. Я ласкал ее, играл с ее прекрасными светло-русыми кудрями, и она доверчиво, как дитя, прислонила голову к груди моей. В эту минуту никакая порочная мысль не кружила мне голову; чистота души этой милой девушки, ее невинные ласки доставляли мне такое же тихое наслаждение, независимое от всякого постороннего чувства, какое вам, сударь, как мне кажется, доставляли игры и ласки нашего дитяти. Наконец я вышел из этого самозабвения; спрашивал знаками у безмолвной моей собеседницы, куда ее отвести, и она указала на селение; но вместе с сим выражением лица и движениями тела изъясняла страх, чтобы солдаты снова на нее не напали. Я позвал находившегося при мне солдата, велел ему взять ружье и фонарь, сам взял пару заряженных пистолетов, и мы вдвоем провели девушку до самых дверей того дома, у окон которого я видал ее. Она поблагодарила меня поклоном и дружеским пожатием руки, простилась со мною посланным издали поцелуем и как птичка порхнула в калитку.

Возвратясь домой, я лег в постелю, но долго не мог заснуть. Образ белокурой красавицы, ее умильный взор, милая простота и необыкновенная приятность всех ее приемов долго не выходили у меня из головы. Даже эта странность ее положения, этот жалкий природный недостаток имели какую-то особенную для меня привлекательность. Тогда только я начал понимать, отчего голос ее был странен и резок. Вообще глухонемые, не слышав от рождения звуков разговора человеческого и не умея управлять голосом, издают дикие звуки, когда кричат. Поверите ли, сударь? даже эти самые дикие звуки на тот раз как-то особенно мне нравились! Наконец, утомленный бродившими во мне мыслями я заснул; но и в сонных мечтах беспрестанно являлся мне образ милой белокурой девушки: она, казалось, как ангел-хранитель стояла у моего изголовья, с улыбкой невинности колыхала надо мною ветку белых лилей и насылала мне отрадные, сладкие сны.

Проснувшись на другой день поутру, я оделся и ранее

обыкновенного пошел к полковнику. Мысль моя была та, чтобы зайти в дом милой девушки и узнать, каково она провела ночь. Меня встретила дряхлая старушка почтенного вида, говорившая изрядно по-французски. Это была вдова одного пастора в Люцене, переселившаяся в деревушку по смерти своего мужа и жившая отчасти своими трудами, отчасти доходом с небольшого участка земли, ею купленного. Я спросил ее о молодой девушке. «Как вы ее знаете?» — спросила старушка. Я пересказал ей случай, познакомивший меня накануне с этим прелестным существом. «Да, я сама виновата,— сказала пасторша.— Я послала ее вчерась вечером отыскивать забредшую куда-то нашу корову; бедное дитя не хотело, видно, возвратиться прежде, чем найдет ее, и от того запоздало. Эти сорванцы, конечно, давно уже подстерегали мою Вильгельмину и, быв рады случаю, схватили ее... Она что-то мне толковала об этом знаками; но я не все могла понять, а на беду мою Вильгельмина не учена грамоте.

— Она дочь ваша? — спросил я.

— Нет; покойный муж мой, возвращаясь однажды вечером в город, увидел на дороге осьмилетнюю девочку, в слезах. Это была Вильгельмина. Он начал ее расспрашивать, но девочка ничего не говорила и отвечала только знаками. Тогда муж мой догадался, что она глухонемая. Он привез ее в дом наш. Хотя на ней было платье маленькой поселянки, но по виду и приемам ее заметно было, что она рождена в другом звании. Муж мой несколько раз объявлял о ней в газетах; но никто не сыскивался для взятия обратно бедной малютки, и мы начали догадываться, что она с умыслом была оставлена какими-нибудь злонравными родственниками. Теперь она сирота в мире, подумали мы, и решились заступить ей место отца и матери, тем охотнее, что у нас не было своих детей. Муж мой принялся было обучать ее, но скоро скончался. По смерти его я была в беспрерывном горе и хлопотах, пока наконец сбилась с силами купить этот домик и клочок земли близ здешней деревушки. Быв принуждена беспрестанно заниматься работой и тем доставать себе пропитание, не могла я продолжать начатого моим мужем; но взамен того выучила Вильгельмину (так мы ее назвали) разным рукодельям и работам, необходимым в домашнем хозяйстве. Вот уже пять лет, как я живу с нею в здешней деревушке, и всякий день благодарю бога, что он послал мне эту милую, добрую дочь. Вы не поверите, как она заботлива о том, чтоб угождать мне и предупреждать всякое мое же-

лание; как она добра, тиха, понятлива и послушна. Вот и теперь, несмотря на вчерашний свой страх, она ранехонько побежала отыскивать мою корову... Да вот и она! — вскричала радостно старушка, посмотрев в окно.— Вот и корову отыскала, гонит ее во двор!

Погодя немного Вильгельмина вбежала в комнату с веселым лицом. Увидя постороннего человека, в офицерском мундире, она приостановилась и немного смешалась; но взглянув на меня пристальнее, она вскрикнула от радости, бросилась ко мне и, схватя мою руку, хотела снова целовать ее. Я не допустил ее до этого. Она всячески старалась выразить мне свою благодарность и между тем посматривала на свою нареченную мать, как будто бы выведывая, не будет ли она тем недовольна. Старушка кротким своим видом и ласковою улыбкой одобряла это чувство благодарности.

Я спросил у пасторши, есть ли у нее в доме военный постой.

— К счастию, нет,— отвечала она,— добрые здешние обыватели, уважая память покойного моего мужа и зная мою бедность, приняли в свои домы всех солдат, которым отведена была у меня квартира. Иначе я была бы в беспрестанном страхе за Вильгельмину, которую люблю я больше своей жизни. Но все нынешнее мое положение ненадежно: могут прийти новые отряды ваших солдат, или, что еще ужаснее, необузданные преследователи Вильгельмины могут сюда ворваться ночью.

— Знаете ли, что мы сделаем? — сказал я.— У вас есть лишняя комната; я найму ее и переселюсь к вам, тогда, по крайней мере до тех пор, пока мы здесь останемся, никто не может к вам ни ворваться, ни дать нового постояльца.

Старушка призадумалась на минуту; потом сказала:

— Вчерашний ваш поступок заставляет меня верить, что намерения ваши чисты и что у вас нет никаких предосудительных видов на мою Вильгельмину. Переезжайте к нам и будьте ее защитником. За наем вам не нужно будет платить. Вы уже заплатили за него покровительством беззащитной моей дочери.

— О, нет,— отвечал я доброй старушке,— я не хочу быть вам в тягость; притом же я более, нежели вы, может быть, думаете, в состоянии заплатить за квартиру.— Сказав это, я высыпал на стол несколько золотых монет, в которых на тот раз не было у меня недостатка, благодаря предусмотри-

тельности доброго моего отца. Много труда мне стоило убедить старушку принять эти деньги в виде найма за квартиру. Наконец дело было слажено, и я в тот же день перебрался в дом ее со всею легкою походною поклажей молодого офицера.

С этого времени я всякий день по нескольку раз видался с Вильгельминой. Каждое утро она сама приносила мне завтрак и невинными своими ласками и простодушною своею доверенностию более и более привязывала меня к себе. Я привык наконец думать, что она необходима для моего счастия. Сколько раз, сидя с нею наедине и забываясь в сладостной неге сей безмолвной, но красноречивой мены взаимных чувствований, я имел случай оценить, в какой высокой степени врожденное тонкое чувство приличия господствовало в душе сего ангельского существа, несмотря на то, что понятия его о свете и предметах внешних заключены были в весьма тесном кругу. Мы научились уже друг друга понимать и разговаривали знаками; и чем более вникал я в душу Вильгельмины, тем более мне казалось, что она одна только достойна была назваться моею женою; что для меня одного она хранила бы свое сердце как святилище, недоступное для всякого другого. Сие сердце, сей чистейший сосуд чистейших чувствований, для меня одного было бы открыто: я один пробуждал бы в нем сладостнейшие биения, дотоле ему неведомые, я один читал бы его тайны, несообщимые никому, кроме меня.

В таких мечтах провел я несколько счастливых дней. Я позабыл и военное время, и шаткость тогдашнего нашего положения... Не дивитесь тому: мне было тогда двадцать семь лет. Между тем товарищи мои поговаривали о большом сражении, которое будто бы назначалось; но где? еще не знали. Наконец, наш полк получил повеление выступить и идти вперед. В короткое время мы собрались к походу; я едва успел проститься с Вильгельминой и доброю ее воспитательницей.

Вам, конечно, памятны тогдашние происшествия, и в числе их достопамятное Люценское дело. На тех равнинах, где за 180 лет Густав Адольф кровью своею запечатлел ревность свою к новому учению веры, мы отстаивали последние оплоты воинской нашей славы и плоды двадцатилетних побед.

В пылу битвы я думал уже только о Франции, о чести нашего оружия. Пуля прекратила на тот раз мои патриотические порывы. Я помню только, что, получа сильный удар в

правый бок, я едва удержался на седле и опустил повода. Лошадь моя дрогнула, понесла меня за фронт; долго я держался еще за ее гриву; наконец, истекши кровью, лишился памяти... Что после со мною было, не знаю; но когда я опамятовался, то почувствовал, что лежу у кого-то на коленях. Я с усилием открыл глаза, взглянул мутным взором — и увидел Вильгельмину. Она обрадовалась, вскрикнула и, наклонясь ко мне, поцеловала меня в лицо. Ненадолго была ее радость: я снова погрузился в прежнее беспамятство. Очнувшись в другой раз, я видел, что лежал уже на постеле, в той комнате, которую нанимал у старой пасторши. Вильгельмина сидела у моего изголовья и плакала. Около меня суетился низенький плотный человечек в черном платье. Это был лекарь из Люцена, перевязавший мне рану и старавшийся сохранить мне жизнь своими лекарствами.

После уже, когда Вильгельмина стала моею женою и когда ей даны были средства изъяснять мысли свои на письме, узнал я от нее, каким чудным образом она спасла меня. Когда наш полк ушел из селения, Вильгельмина тосковала обо мне. Не в состоянии быв вынести разлуки со мною, она отправилась на другой же день искать меня. Долго бродила она по окрестностям, забывая страх и голод; наконец случай или, справедливее сказать, сам промысел привел ее на ужасное место сражения. Вильгельмина и теперь еще вздрагивает, вспоминая тот ужас, с которым она увидела груды обезображенных, безжизненных трупов, тогда еще не разобранных и не погребенных. Преодолев свой страх и отвращение, она заглядывала в лица тех убитых и раненых, на которых видела мундир нашего полка. Наконец, по долгом и напрасном искании, увидя зоркими своими глазами приближавшуюся толпу живых людей, вероятно, посланных разбирать трупы, она ушла с сего кровавого поля и, ослабев от усталости, томимая голодом и жаждой, хотела отдохнуть в тени кустарника, который видела в некотором отдалении. Подходя к тому месту, она приметила еще одно тело, лежавшее середи поля; приблизилась к нему, взглянула... Это был я! Смертная бледность в лице, бесчувственность и недвижность всех моих членов и потоки запекшейся вокруг меня крови взволновали все жизненные силы бедной девушки: голова ее закружилась, дрожащие ноги подкосились... она упала подле бездыханного своего друга. Опомнившись, она приподняла меня и оттащила к тому кустарнику, под которым прежде сама хотела искать отдохновения. Там-то я, к радости Вильгельмины, впервые очувствовался, конечно от движения. Новое беспамятство

мое повергло ее в новую тоску. Наконец несколько крестьян, прокрадывавшихся неподалеку в разоренные свои жилища, были ею замечены, остановлены и, тронувшись ее слезами и безмолвными просьбами, решились отнести меня до ближнего жилья, откуда после, наняв других носильщиков, Вильгельмина перенесла меня в дом своей нареченной матери. Старушка, опечаленная отсутствием Вильгельмины, считала ее погибшею и во все время тосковала и плакала. Легко вообразить себе ее радость, когда она снова увидела милую свою питомицу. Почтенная сия женщина, видя слезы Вильгельмины и полюбя меня, по словам ее, как родного сына, тотчас послала в город за лекарем и заботилась о сохранении мне жизни.

Выздоровление мое было медленно. Я был в крайней слабости, и долго лекарь и добрая старушка отчаявались в моей жизни; но скрывали свои опасения от Вильгельмины, страшась, чтоб весть о моем опасном положении не убила чувствительную девушку. К счастию, она с доверием младенца надеялась, и провидение оправдало ее надежду. По какому-то счастливому стечению обстоятельств, союзные войска не проходили чрез ту деревушку, в которой я лежал. В полку моем, как после узнал я, считали меня в числе убитых.

Вильгельмина безотлучно находилась при мне во все продолжение моей болезни. Проснусь ли я ночью — бывало, вижу, что она сидит у моего изголовья, сторожит каждое мое движение, отгадывает каждое желание. В это время в ней нельзя было узнать той живой, цветущей девушки, которой пленительная свежесть и веселый вид привлекали взоры всякого, даже самого равнодушного человека: она сделалась худа, бледна и томна, но все еще была прелестна, и для меня еще прелестнее.

Новое горе поразило ее, когда я начинал уже выздоравливать. Почтенная воспитательница ее, пасторша, которой силы давно уже видимо истощались, наконец занемогла и чрез три дня скончалась. Едва встав на ноги, я шел за гробом доброй сей старушки и проводил ее до места последнего ее успокоения. Вильгельмина едва не пришла в отчаяние. Безмолвная тоска ее и неосушавшиеся потоки слез жгли мне душу. Чтобы рассеять ее печаль, я вздумал учить ее французской грамоте. В тогдашнее военное время нигде не мог я отыскать превосходных книг, изданных аббатом Сикаром и его питомцами для обучения глухонемых; но нежные старания учителя и природные способности, быстрая понятливость ученицы

облегчили труд, с первого взгляда почти непреодолимый. Вильгельмина понимала уже сочетания букв, начертание и даже смысл некоторых слов, хотя медленно, по неуменью и неопытности преподавателя. Так мы проводили дни, недели, месяцы,— время, в которое жил я только чистою любовью души и надеждою будущего блаженства. Невинность Вильгельмины и сродное ей девственное чувство стыдливости были для нее лучшею защитой от пылких, молодых лет моих.

По смерти старушки пасторши нашлись у нее родственники, наследники к оставшемуся после нее небогатому имуществу. Я нанял у них дом, в котором мы жили, и нетерпеливо ждал из Франции ответа на мои письма; но при тогдашних военных тревогах письма мои не доходили, и отец мой все еще оплакивал меня, считая убитым.

Русские уже вступили в Париж, когда я совершенно оправился. Не зная, чем кончится судьба моего отечества, я решился ехать наудачу во Францию; но как и на кого оставить Вильгельмину до моего возвращения? или как взять ее с собою в такое смутное время? Я чувствовал, что она не перенесла бы и кратковременной разлуки со мною, знал, что она скорее пустится на все труды и опасности, нежели согласится спокойно ждать меня. Должно было выйти из этого затруднительного, тяжкого для сердца моего положения. По долгом размышлении, остановился я на том, чтоб обвенчаться с Вильгельминой и везти ее с собою. Она поняла мою мысль и склонилась на мое желание. Один добрый пастор согласился обвенчать нас.

Счастие супружеской жизни красноречиво для сердца; но тихие наслаждения его полнее и возвышеннее, когда они вверены безмолвию такого существа, как моя Вильгельмина. Скажу вам просто: я был совершенно счастлив. К довершению моих желаний, в первые дни нашего брака я получил письмо от моего отца, до которого наконец дошло последнее из моих писем и который звал меня к себе в Шато-Тьерри, прибавя, что во Франции все тогда начинало успокаиваться с восстановлением Бурбонов.

Вильгельмина и я пошли впоследние проститься с могилою второй нашей матери. Юная моя подруга горько плакала, расставаясь навсегда с прахом своей благодетельницы; она взяла немного землицы с могилы и теперь носит ее на груди своей, как нечто священное. Наконец мы простились с мирною деревушкой, свидетельницею первой нашей любви, наших страданий и нашего счастия.

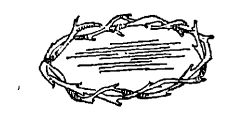
Не могу вам описать восторгов, которые рождала в душе Вильгельмины новость предметов. В молчаливом своем удивлении, подруга моя сообщала мне свою радость только быстрым, пламенным взором, живописным телодвижением и выразительным пожатием руки моей. Природа, как бы в вознаграждение за то чувство, которого не дала ей, с избытком наградила ее внутренним чувством изящного, чувством, оценяющим красоту и совершенство предметов видимых. Простое дитя природы — моя Вильгельмина всеми силами души влечется преимущественнее к красотам сей общей матери. Прелестное местоположение, быстрая река, светлое озеро, тенистая рощица, веселая лужайка, красивый цветок, пригоженькая птичка или бабочка несравненно более радуют ее, нежели пышность городов, великолепие зданий и внутренних украшений, роскошь нарядов и тому подобное.

Остальное в жизни моей, не весьма богатой приключениями, доскажу вам в коротких словах. Отец мой с восторгом встретил нас: сначала ему казался странным мой выбор жены; но скоро, узнав редкие душевные свойства ее и видя дочернюю нежность ее к нему, он примирился с тем, что почитал ее недостатком. Во время службы моей служила ему утешением и подпорой преклонных лет его сестра моя, которую вы видели и которая была еще почти дитятей, когда я оставил дом родительский. Леония с первой минуты нашего приезда подружилась с Вильгельминой, и с тех пор самая тесная, нежнейшая дружба связывает сии кроткие, добрые существа. Мы ездили в Париж и там, благодаря участию и попечениям добродетельного аббата Сикара, приняли к себе в дом ту воспитанницу Института глухонемых, о которой я прежде вам сказывал. Скоро Вильгельмина моя оказала неимоверные успехи в ученьи и теперь имеет столь же ясные понятия о предметах, доступных ей по чувствам или по уму и воображению, как и все люди, слышащие и говорящие.

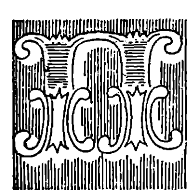
Мечты честолюбия давно меня оставили; я взял увольнение от службы и поселился здесь навеки. Последовавшие чрез несколько месяцев новые и, к счастию, кратковременные политические тревоги с шумом пронеслись мимо нас, не нарушив нашего спокойствия. За полтора года пред сим были мы обрадованы рождением моего сына; и теперь живем по большей части в небольшом семейном кругу нашем, счастливы, довольны, веселы, и благословляем небо за наше счастие.

Повествователь мой умолк и, с довольным видом приняв

искреннее мое желание о продолжении над его семейством сего благополучия, дружески взял меня за руку, пожал ее и повел меня в комнаты. Обед наш одушевлялся откровенностью, взаимным доверием и чистосердечною веселостью. Мы долго просидели за столом, хотя не круговая чаша, а доска и грифель переходили из рук в руки. Милая Вильгельмина или давала остроумные ответы, или делала замысловатые вопросы, показывавшие наблюдательный ее ум и быстроту соображения. Когда мы встали из-за стола, коляска моя была уже готова и бич почтальона, громко хлопая по воздуху, вызывал меня в дорогу. Простясь с добрыми моими хозяевами и засев в угол моей коляски, я долго мечтал об этом любезном семействе, о тихом его счастии, особливо же о милой, прелестной Вильгельмине.



АЛКИД В КОЛЫБЕЛИ



рекрасный младенец Алкмены лежал в колыбели. Бодрый, крепкий, спокойный — он уже показывал в себе будущего героя. Все детские движения его запечатлены были силою; в самом крике его было нечто повелительное.

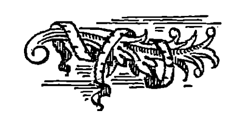
Но вот: шипя и извиваясь, два ужасные змия ползут в колыбель его; вот уже кровавые, пересохшие пасти их зияют, чуя верную добычу. Уже они обвились кольцами вокруг тела младенцева: еще миг — и юные кости его затрещат в их убийственных извивах. Но младенец привстал, мощными руками сжал обоих змиев, разорвал их и подбросил к горнему Олимпу, как бы посмеиваясь завистливой Юноне, с наслаждением взиравшей на чаемую гибель дитяти, ей ненавистного.

Таков был Алкид в колыбели! Уже в нем виден был грядущий сокрушитель гидры Лернейской и Льва Немейского,

победитель разбойника Какуса и смиритель адского пса Цербера.

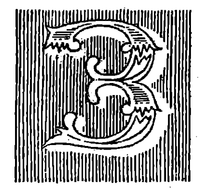
Отечество мое! Россия! твою судьбу предрекала сия замысловатая басня древности. Еще в колыбели ты растерзало змиев злобы и зависти; мощными руками разорвало тяжкие, удушающие кольца оков Ордынских... Кто ныне в тебе не узнает Алкида возмужалого? И Лев смирен тобою, и многозевный Цербер — гордый владыка, мечтавший покорить весь мир — пал под твоими ударами, и толпы какусов разноплеменных исчезли от руки твоей, и гидра крамол стоглавая издыхает под твоею пятою.

Не останавливайся на распутии, подобно Алкиду древнему, Отечество мое, Россия прекрасная! иди прямым путем, путем просвещения истинного, гражданственности нешаткой, незыблемой; презирай вой твоих буйных завистников и вознеси чело твое над странами мира как символ искупления, символ благости неба к сынам земли!



РОМАН В ДВУХ ПИСЬМАХ

I



дравствуй, любезный Александр! Весело ли проводишь ты свое время в Петербурге? Резвый мотылек, по-прежнему ль летаешь с дачи на дачу и от сердца к сердцу? Здоровы ли наши plantes exotiques*, как ты называл этих милых провинциалочек, с их украинским произношением и огнедышащими взорами, бросаемыми исподлобья? Что до меня... но ты, верно, потребуешь от меня полной исповеди. Помню, очень помню, что перед отъездом я погрозил тебе длинным, предлинным письмом; пора выполнить угрозу и доконать тебя сим тяжеловесным посланием.

Сюда прибыл я в самую лучшую пору, в половине мая, когда все здесь цвело: сады, леса, луга и щеки сельских кра-

---

* Экзотические растения *(фр.)*.

савиц. Смеешься ты и говоришь, что я делаюсь буколическим поэтом? Пожалуй, смейся; а я тебе докажу, что выражение мое точно как нельзя больше: лица поселянок именно цвели тогда — веснушками и вешним загаром. К пенатам моим приехал я не на радость: дом ветх и скучен, сад заглох крапивой, а в деревушке едва осталось душ тридцать налицо по последней ревизии. Мне грустно было там оставаться. Отслужив панихиду над могилами отца и матери, я тем же следом отправился верст за пятьдесят к дяде моему, принимавшему на себя родственное попечение о небольшом моем именьице во все четыре года, которые провел я за границей и в Петербурге по смерти отца моего. Дядя и все его семейство приняли меня с открытыми объятиями; а меньшие дети его — сказать правду — даже измучили меня своими поцелуями и ласками в первый вечер. Впрочем, в этот первый вечер все шло хорошо. Меня забросали вопросами о чужих краях, о новых модах, о том, с прикупкой или с вистом играют в бостон в Париже. Одна добрая старушка, родственница моей тетки, спрашивала, не заезжал ли я мимоездом в Иерусалим или на Афонскую гору? Я отвечал на все обстоятельно и благоразумно и за то удостоен был, особливо от тетки моей и доброй старушки, ее тетушки, названия человека степенного, *солидного*. Но на другой день лист совсем перевернулся: oui, mon cher, j'ai fait crier au scandale*! И знаешь ли чем? Тем, что поутру вместо чаю потребовал стакан молока, а вместо сдобных сладких крендельков, которыми пекарня моей тетки славится за 20 верст в окружности,— кусок черного хлеба. «Можно ли! — вскрикнули в один голос моя тетушка, ее тетушка и четырнадцатилетняя моя кузинка,— можно ли в порядочном доме требовать себе мужицкого завтрака? Разве вы думаете, прости господи, что у нас и лакомого куска не сыщется про дорогого гостя?» Напрасно я извинялся закоренелою странническою моею привычкой: меня непременно посадили бы на *сладкоядение*, когда бы дядя не подоспел ко мне на помощь и не выручил меня объявлением, что я в его доме могу жить как у себя, есть и пить, что мне вздумается.

Хочешь ли знать ежедневные мои занятия? В пять часов утра я встаю и отправляюсь к реке купаться. В полверсте от дома, под навесом ив, есть прекрасное приволье для любителей купанья. Ты знаешь, что с тех пор, как сиамец Лаури учил меня плаванью, я не уступлю в этом искусстве ни од-

---

* Да, мой дорогой, я довел до скандала *(фр.)*.

ному островитянину Тихого океана. Река, протекающая в деревне моего дяди, глубока, быстра и довольно широка: ежедневно я совершаю на ней байроновский подвиг и сряду по нескольку раз переплываю этот стосаженный Геллеспонт. Жаль, что ни на одном берегу нет прекрасной Геро, которая ждала бы верного и раннего своего Леандра; или что по крайней мере, подобно Байрону, не могу я похвалиться в пленительных стихах моим удальством и простудной лихорадкой. После купанья часа два или три брожу я по рощам и полям и в ожидании Петрова дня натравливаю моего четвероногого Мельмота на крупных и мелких птичек. Молодой этот питомец так послушен и переимчив, что, когда я после иду с ним по деревне, он не оставляет без порядочной угонки ни одной курицы, ни одного цыпленка; и на днях еще старая Акулина, птичница моего дяди, всенародно приносила мне жалобу, что Мельмот, резвясь, задушил пары две утят и распугал весь утиный табор, вверенный главному ее начальству. Я смеялся и оправдывал Мельмота молодостью и глупостью; но тетке моей, кажется, это оправдание было не по сердцу: она заметила мне, что такую негодную собаку должно держать или взаперти, или на привязи.— Перескочи, если хочешь, через это отступление и читай далее.— В восемь часов являюсь я к завтраку, принимаюсь за свой черный хлеб с молоком и прехладнокровно выслушиваю неблагосклонные намеки моей тетушки и ее тетушки насчет моего вкуса или блестки сельского остроумия молоденькой кузинки, которая, будучи рада случаю, не хочет оставаться в долгу на мои шутки над ее заученною чувствительностью, или, как у нас когда-то говаривали, *сентиментальностью*, и над ее провинциально-жеманным полудетским кокетством. После завтрака дядя водит меня по саду или по другим хозяйственным заведениям; толкует мне то и другое: я слушаю обоими ушами, хотя, признаться, ничто из хозяйственных наставлений дядюшки в них не залегает. Кажется, бог не создал меня ни агрономом, ни садоводцем, ни прочим и прочим, в чем полагается главное и существенное достоинство сельского помещика; да, кажется, я и не готовлю себя в члены их деятельного и трудолюбивого общества. Так время уплывает до обеда. В час мы садимся за стол. После обеда и неизбежного кофе с густыми сливками три главы домочадцев уходят отдыхать, кузина мечтать за работой, дети бегать по саду, слуги дремать в передней либо шушукать с горничными; а я, взяв Мельмота и травнический мой посох — суковатую палку, снова пускаюсь бродить по окрестностям, иногда с книгой...

Не дивись и не бойся за меня: не думай, будто бы я, наперекор с молью, роюсь в старинной наследственной библиотеке дяди. Нет, мой друг! Я взял с собою из Петербурга порядочный запас разноязычных новостей всякого рода и когда устаю от прогулок, то, бросившись где-нибудь под тень дерева, прочитываю по нескольку страничек из книги, которую своевольная судьба подсунет мне в руки. Сам я нарочно не выбираю и нахожу, что это гораздо лучше, ибо доставляет мне удовольствие неожиданности. Под вечер я возвращаюсь домой. Иногда застаю гостей, иногда не застаю даже и хозяев, которые уезжают посещать своих соседей. Тут, на свободе, начинаю резвиться с маленькими двоюродными моими братьями, выдумываю для них новые игры, делаю огромных бумажных змеев, спускаю их, кричу, шумлю не меньше детей,— а время течет да течет.

В половине десятого мы ужинаем, а через час беспечный друг твой спит уже сном праведника.

Ты легко поймешь, что такая однообразная жизнь скоро приелась бы мне, как le pâté d'anguilles* доброго Лафонтеня; но, по счастию, у тетушки моей было наготове запасное средство против угрожавшей мне скуки и нравственной оскомины. Тетушка сама призналась мне, что давно уже, именно с тех пор, как узнала о моем желании побывать в здешнем краю,— она имела на меня виды: то есть сговорилась с одною своею соседкой и задушевною приятельницей женить меня на ее племяннице, семнадцатилетней девушке, по ее рассказам, прекрасной, благовоспитанной и единственной наследнице трехсот душ родового имения, да ста тысяч рублей от одной бабушки, да двадцати тысяч с порядочным поместьем — от другой; да к этому еще приданое, да безнаследные родственники, от которых к ней же должно все перейти со временем... Короче, итог этих наследств, надежд на родственные похороны и тому подобного составляет порядочную сумму, от которой бы у иного жениха, à l'irlandaise**.

Запрыгали глаза и зубы разгорелись;

но я,— ты меня знаешь: я не стяжателен. Притом же *благовоспитанная* невеста, живущая в восьмистах верстах от ближайшей столицы... Ох! Эти мне благовоспитанные сельские девушки! Того и жди, что на пальчиках ее подметишь копоть кухонной кастрюли, а на ногах — экономические башмаки, сшитые домашним сапожником, учившимся своему

* Паштет из угрей (*фр.*).

** На ирландский манер (*фр.*).

ремеслу подобно Тришке. Того и жди, что эта нимфа полей и огородов, запрятав подбородок в свою шейную косынку, станет отсмеиваться в платочек вместо всякого ответа на нежности вежливого жениха! Да и красота ее, мне кажется, est une chose sujette à caution*: тетушка моя не великий знаток в этом деле, если судить по тому, что она считает красавицею свою Вареньку — бледную, бесцветную девушку, с тупыми глазками и волосами неопределенного цвета...

Да, мой друг! Так я писал к тебе, так я думал за три недели... Не знаю, какими судьбами позабыл я отправить письмо мое в город на почту; оно завалялось на письменном столе моем — и вообрази вчерашнее мое удивление! Нахожу это не совсем доконченное письмо (вероятно, сон помешал мне дописать его) на своем письменном столике. Не решился, однако же, послать его к тебе в прежнем виде — оно было бы анахронизмом чувств и понятий моих о некоторых предметах; ни вовсе истребить его — во-первых, из самолюбия, в силу которого я оправдываю, применяя к себе, русскую пословицу: «что написано пером, того не вырубишь топором»; а во-вторых, и для того, чтобы ты в полном историческом очерке видел все похождения твоего друга, тогдашний и нынешний образ его мыслей.

Вот тебе короткий отчет за последние три недели здешней моей жизни. Тетушка чаще и чаще начала ко мне приставать с своими предложениями о сватовстве; я отшучивался — и нередко приводил в досаду эту добрую родственницу либо гордыми моими надеждами, либо умышленным уничижением, которое казалось ей *паче гордости*. «И, племянничек! — возражала она.— У тебя, право, семь пятниц на неделе: часом и принцесса вавилонская тебе еще неровня; а в иное время ты готов божиться, что не смеешь и подумать о сельской дворяночке, у которой каких-нибудь тысяч десяток годового доходу. Чем ты не жених хоть бы какой невесте? И молод, и пригож (тут, разумеется, я усмехаюсь и охорашиваюсь), и в чинах, и в почестях: благодаря бога, уж надворный советник, имеешь Владимира в петличке... Бывал и в чужих краях; говоришь по-французски и по-немецки, да и еще, может быть, на каких языках; танцуешь так, что у нас никому и во сне не приснится... Право, ты хоть кому партия». Что против этого возражать? Тетушка, по своей провинциально-женской политике, так ловко умасливала мое самолюбие, что я, волей и неволей, дал ей слово посмотреть невесту,

---

* Нечто сомнительное *(фр.)*.

живущую отсюда верст за двадцать; выпросил только себе, по возможности, самый долгий срок до этого смотра, именно до июля месяца.

Он был, однако ж, не за горами. Прошел и столько желанный мною Петров день. Я осмотрел любимое мое кухенрейтерское ружье — добычу карточной сделки с неугомонным нашим шалуном Клюнкеровским,— взял Мельмота с собою и пустился кружить по рекам, лугам и болотам. Первый мой выход был очень удачен. Я, правда, не застрелил ни мошки, дал десятка два *пуделей*[1] на ветер; зато свел предорогое знакомство. Вообрази себе: иду по одному болоту — и вдруг вижу, в нем барахтается какое-то животное, отчасти похожее на человека. Подхожу ближе — точно: огромная голова с плоским лицом, забрызганным болотною грязью, и с волосами, на которых буйные движения тела и самовольство ветра поставили самую забавную прическу,— эта голова билась вверх и вниз на широких плечах, кои до половины уже уходили в топкую тину. Нечего было церемониться: я остановился подле, на большой и твердой кочке, ухватил обеими руками голову за волосы и потянул вверх изо всей силы. Голова пыхтела, кряхтела и, вероятно, делала самые странные рожи, ибо Мельмот, присевший на другой кочке, прямо против лица ее, в продолжение геройских моих усилий выл во все горло, как перед смертным часом. Наконец напряженные мои усилия увенчались желаемым успехом: я вытащил человеческую фигуру самого огромного размера — почти в сажень, с атлетическими формами, которые под густыми слоями облепившей их тины казались еще тучнее и несвязнее. Признаюсь, я, в заключение доброго моего дела, чуть не захохотал под нос этому живому подобию египетских термов, когда оно, выпрямившись передо мною, испустило такой вздох, от которого гул пошел по всему болоту, и потом, думав обтереть себе лицо, принялось еще больше марать его грязными своими руками. К счастию, мысль, что оба мы стояли на самом зыбком подножии, потому что кочка начала уже колебаться от двойной ноши,— эта мысль в самую пору промелькнула в моей голове. Я подал знак моему *болотному мужичку* — и мы давай переступать с кочки на кочку, пока совсем не выбрались из болота. Тут мы оба растянулись отдыхать на одном береговом холмике, однако же в почтительном расстоянии друг от друга. Через несколько минут *болотный мужичок* натеребил травы и принялся обтирать с себя

[1] *Пуделями* у охотников называются промахи из ружья, выстрелы без повала дичи.

тину, а Мельмот около него прыгать и лаять. Сколько безмолвный мой незнакомец ни покушался снять с себя платье — все было напрасно: оно, пропитавшись насквозь вязкою грязью, как будто бы приросло к его телу. Новое явление! Новая потеха мне и новые хлопоты Мельмоту, qui faisait la mouche du coche dans tout le cours de cette affaire*: *болотный мужичок*, чтоб освободить свою спину от грязи, начал кататься по траве, как бочонок, а Мельмот лаять и прыгать, а я — я не вытерпел и захохотал от полноты нежданного удовольствия. Этим еще не кончилось: мой знакомый незнакомец сбежал с пригорка вниз, зачерпнул полугрязной воды в болотной луже, умыл себе руки и лицо, обтер их травою — и сделался полосатым... да, полосатым! По сероватому полю несмытой грязи явились у него на лице зеленые полосы от травяного соку. Кто бы не подумал, что это истинно *болотный мужичок*, то есть дух, вылезший из самого дна тины?

В таком виде предстал он перед мои *светлые очи* (говоря языком наших летописей), и тут впервые разверзлись уста его для изъявления мне благодарности. Вот тебе слово в слово этот образчик тинного красноречия:

— Хоть я не имею чести знать вас, батюшка, а все же не меньше того покорнейше вас благодарю за то, что вызволили меня из этого омута... Такая беда! Нелегкая занесла меня в болото, глядь — ан тут куличок перебегает да перелетывает с кочки на кочку; я за ним — он дальше и дальше. Зло меня взяло, не отстаю от него; вот и подкрался, ступил, кажись бы, на твердое место и попал на трясину; ноги-то мои и стали уходить в топь. Ах ты, проклятый! — молвил я с сердцов и хвать из ружья по куличку; он улетел — а подо мною все так ходенем и заходило, я и врютился по пояс. Ну, давай биться, возиться: думал ружьем достать до дна, чтоб оттолкнуться, — куда тебе! И ружье ушло в тартарары, чертям на потеху... А жаль! Ружье-то было Лазаря Лазаринова и досталось мне по наследству еще от покойника дедушки. Кабы в нем не расстрел да не раковины — и цены б ему не было: промаху бы не дал! Да уж, видно, так ему на роду написано: не лезть же мне за ним в омут! Благодаря бога, есть еще и кроме этого у меня дома дробовиков да винтовок с полдюжины, побольше... Ну, так я погоревал, да и снова принялся выбиваться из тины; не тут-то было! Я чтобы вон, — а меня словно лукавый тянет за ноги, все глубже да

* Который суетился без толку в продолжение всего этого дела (*фр.*).

глубже... Не насуньтесь вы — так бы меня поминай как звали!

— А как вас звали и зовут? — спросил я, чтобы положить предел этому потоку красноречия.

— Авдей Гаврилов сын Кочевалкин, сударь, к вашим услугам: так меня зовут добрые люди,— отвечал он.

— Послушайте, почтенный Авдей Гаврилович! Вам надобно поскорее добраться до своего дома, переменить платье и белье, вытереться ромом или одеколонью и успокоиться...

— Где у нас, батюшка, тратить ром на такую дрянь? А об *ладиколони*-то мы слышать — слыхивали, только, признаться, в глаза-то не видывали. Вот я велю истопить баню да вытрусь тройником, настоенным на стручковом перце,— так все как с гуся вода.

— Хорошо, только пойдем. Я вас проведу до самых ваших ворот; боюсь, чтобы вы после такого купанья не занемогли или не ослабели дорогой.

— И! Не в том сила, батюшка! А все-таки пойдемте-с. Вы мой благодетель, так сказать, попросту, спасли мне жизнь, и я хочу вас угостить на славу.

Любопытство подстрекнуло меня узнать покороче моего чудака, его житье-бытье и угощение на славу: я не отговаривался и пошел с ним. Признаться, и голод начинал со мной заговаривать; я зашел верст за пятнадцать от дома моего дяди, а на часах было уже около половины третьего. Через час времени мы подошли к роще; тут мой вожатый признался мне, что ему совестно было идти селом в этом виде, и потому он взялся провести меня к себе в дом околицей и огородами. Мы побрели по узенькой лесной тропинке. Вдруг навстречу нам с перекрестной дорожки порхнула, как птичка, молоденькая девушка в ситцевом платьице цвета Robin-des-bois*, с разгоревшимся от бега лицом и разметанными черными, как смоль, локонами, с черными глазками и быстрым взором. Миловидное личико ее с каким-то лукавым выражением обратилось на бедного моего спутника, и глаза ее впились в его разноцветное подобье. Красавица, как видно было, узнала в моем *болотном мужичке* своего деревенского соседа — и не могла удержаться от смеха, обнаружившего ряд прекрасных зубов, ровных и белых, как нитка отборного жемчугу. Потом она взглянула на меня, смешалась, закраснелась еще больше и потупила глаза. Тут только, по милости Мельмота, я заметил, что девушка была не одна:

---

* Лесной Робин (*фр.*).

она вела на голубой ленте маленькую белую козочку. Мельмот, натравленный на дичь, вероятно, счел и эту козочку доброю добычей и бросился было за нею; но я закричал на него, толкнул его прикладом, и он, поджавши хвост, поплелся назад.

В эту минуту девушка одумалась, поклонилась нам, почти не поднимая глаз,—и улетела от нас, как легкий весенний ветерок. Во все это время спутник мой стоял как окаменелый: стыд, что миловидная резвушка увидела его в таком непоказном состоянии, убил все другие ощущения души его и оковал все движения тела. Уже не прежде, как чрез несколько минут после быстрого побега красавицы, он очнулся, будто от тяжкого сна, и, безгласен как рыба, пошел со мною далее. Мы перелезли бог весть сколько плетней и наконец вошли в сад и в дом моего чудака.

— Тимошка! Сенька! Тишка! Где вы, уроды? — раздалось громогласное воззвание моего спутника к его домочадцам.

На сей звучный призыв сбежались, разиня рот, трое ощипанных холопей с самыми глупыми рожами.

— Ну, раздевать меня, чучелы; да смотрите, не жалеть ничего, рвать как попало, только скорее. Извините, батюшка! — примолвил он, оборотясь ко мне, и с этим словом скрылся в боковую дверь.

Я остался один и от нечего делать начал рассматривать комнату, в которой находился. Мебели в ней были самого старинного покроя. Пыль, плотно слегшаяся на столах и шкафах, свидетельствовала, что опрятность никогда не была одною из домашних добродетелей хозяина и слуг его. В комнате безвыводно господствовал запах самого грубого курительного табаку. На одной стене висело овальное зеркало с деревянными розетками вокруг рам, некогда позолоченных; к другой стене прибит большой олений рог, по ветвям коего развешаны ружья, винтовки, охотничьи ножи, пороховые рожки и прочие доспехи Нимвродов нашего века. Сквозь разбитые стекла одного шкафа я увидел — что бы ты подумал, Александр? — полки с книгами! Судя по приемам и обращению хозяина, можно было тотчас заметить, что он человек не слишком книжный. И когда он, обмывшись и переодевшись, вошел ко мне с лицом, полным и красным, как наше петербургское солнце без лучей в знойную пору, то я не вытерпел и спросил у него: откуда к нему зашла такая излишняя домашняя утварь?

— И правда, что лишняя,— отвечал он,— да пусть их

тут остаются; места не простоят. Вот видите, батюшка: у меня был дядя, книгочей, старый холостяк; от него-то по наследству и досталась мне эта рухлядь. Да я в них не больно заглядываю! Разве в зимнюю пору, когда на дворе подымется вьюга так, что света божьего не видно, и ни на охоту, ни в гости, ни к себе ждать гостей нельзя; так я, ради скуки, и роюсь в письмовнике. Вот книга-то препотешная! Каких там нет россказней да прибауток; а песен-то, песен! Уж спасибо тому, кто ее написал: мастер был своего дела, нечего сказать!

Нечего было и спрашивать далее. Погодя немного один из подщипанных слуг явился и прокричал таким голосом, каким псари окликают собак: «Кушанье готово!» Не стану тебе описывать ни обеда, более сытного, нежели вкусного, ни крепких наливок, которые сожгли мне всю внутренность, ни пустого разговора, который усыпил было меня к концу стола. Я рассеянно спросил сперва у моего хозяина:

— Какое это селение?

— Село Жижморово,— отвечал он.

— А кто такова эта девушка, которая встретилась с нами в роще?

Лицо моего Амфитриона вспыхнуло, глаза сжались, как у калмыка, и покрылись какою-то тусклою влагой. Однако ж он скоро оправился и отвечал:

— Девушка эта, сударь, дочка Сергея Тихоновича и Пелагеи Михайловны Бедринцовых, Надежда Сергеевна...

Вообрази себе, Александр, мое удивление! Но ты уже догадался, что это нареченная моя невеста. Да, точно она! Не правда ли, что встреча самая романическая?

Тотчас после обеда я простился с моим *болотным мужичком*, пошел из селения тою же дорогой, которою он вел меня; но не встретил никого, кроме маленькой пастушки — не из аркадских: нет, эта просто пасла индеек. Возвращаясь в дом моего дяди полевыми дорожками, я думал о приключениях дня, о чудных встречах,— и, сказать ли? образ Надежды Бедринцовой поминутно оживлялся в моих воспоминаниях.

До следующего письма. Прощай!

II

С последнего моего письма к тебе, друг Александр, много уплыло воды в моем жизненном потоке; много произошло перемен и во внутреннем моем мире и во внешнем, меня окру-

жающем. Но должно рассказ мой, как говорится, *начать с начала*.

Я сказал доброй моей тетке, что видел мимоходом, или, чтобы точнее выразиться, *мимолетом*, нареченную мою невесту. Я не утаил, что в этом милом существе, с первого беглого взгляда, понравилось мне все — начиная от заманчивой наружности до детской резвости.

— То ли еще ты скажешь, племянничек,— отвечала тетушка,— когда узнаешь ее покороче. В нашем околотке, думаю, не сыщется девушки, которая была бы так хорошо воспитана, как Надежда Сергеевна. Нечего сказать: спасибо родителям и бабушке, ничего не жалели для ее воспитания. Одной *мадаме*, француженке, платится и до сих пор чуть ли не по тысяче рублей, когда не больше. Да фортепианисту, старичку немцу, также все еще идет жалованье, по 800 рублей; это я знаю из верных рук, от кумы Стефаниды Васильевны; а ей как не знать, она ведь тетка Надежде Сергеевне. Уж о том нечего и говорить, что русская учительница, монастырка из Смольного, жила при ней с семилетнего возраста твоей будущей невесты, учила ее и по-русски, и чужеземным языкам, и рукодельям. Вот была девица предорогая: учена, степенна, добронравна! Скончалась, бедняжка, от чахотки года четыре тому; не случись это, уж я непременно бы переманила ее к себе обучать Вареньку и меньших детей; она же и насчет жалованья была незатейлива. Да! вот еще: я чуть не позабыла сказать, что по два года ездил к Бедринцовым каждую неделю танцмейстер от князя Драгольского, тот самый, что и княжон учил, и брал чуть ли не по 15 р. за вечер; да в своем экипаже должно было привозить и отвозить его. Видишь ли, друг мой, что в воспитании Надежды Сергеевны ничто не было упущено...

Подробности сии произвели во мне впечатление совершенно противное тому, которого ожидала добрая моя тетушка. Тот же демон, который прежде восставал во мне против *благовоспитанных* провинциалок, снова начал мне нашептывать свои злорадные внушения. Пусть она,— думал я,— мила и резва явилась передо мною в роще.

Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты;

но то было в роще, а не в гостиной. Там не ждала она посторонних глаз, и даже громкий, сердечный смех ее вызван был невольно чудовищною образиной моего *болотного мужичка*. То ли увижу я в гостиной? О, верно нет! Там безжалостный

корсет сжимает вместе с вольными формами тела и нравственные способности областной красавицы. Неуместное щегольство нарядов, их пестрота дурного вкуса, их странный покрой — жалкое, уродливое подражание неудачным картинкам мод, рассеваемым по провинциям московскими журналами,— все это отнимает свободу движений, подчиняет девиц какой-то жеманной церемониальности и наводит тоску на опытного наблюдателя, привыкшего в столицах видеть торжество вкуса и ловкости. Прибавим к этому разговор вынужденный, неохотный, тощий мыслями и даже остроумием; статуйное выражение лиц, неподвижные либо бессмысленно кочующие взоры, однообразную, неприятную ужимку губ; неразвязную походку... Горе, горе нашему брату, который попадется на бал или званый вечер сельских помещиков, когда притом еще затеются танцы! Это не торжество, а сущая пытка и конечное уничижение для деревенских барышень!

Скоро мне представился случай поверить очными наблюдениями сии размышления. Тетка моей нареченной невесты и задушевная приятельница моей тетушки, Стефанида Васильевна, вероятно сговорясь, с кем надлежало, на женском конгрессе, вздумала созвать к себе соседей на обед и вечеринку с танцами. Предлогом сего пиршества был храмовой праздник в ее приходе. Разумеется, я был в числе званых и, может быть, избранных. Нечего делать! Я отправился к ней со всею семьей моего дяди, в огромной линейке, величиной с петербургский *омнибус*... Впрочем, не ожидай от меня подробной картины сельского бала: прочти в пятой главе «Онегина» от 25 до 44-й станцы — и поверь мне на слово, что храмовой праздник в доме будущей моей тетушки Стефаниды Васильевны немногим отстал от именинного пира в доме Лариных. Тут все было в лицах:

Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей...

Тут были и Буяновы с усами, шпорами, в картузе с козырьком, и уездные франтики Петушковы, и пр., и пр.— всех не припомнишь. Не думай, чтоб я, по следам нашего любимца поэта, решился тебе рисовать карикатуру сельского бала: нет! оно точно так бывает и точно так было у Стефаниды Васильевны. Сельский бал есть настоящая выставка областных франтов, или (назову их именем, еще не увядшим в провинциальном словаре) *петиметров:* здесь они отлича-

ются, елико возможно. Люди степенные и неглупые здесь непоказны и незаметны: они скрытно сидят по углам и разговаривают вполголоса. Но пустоголовые щеголи вертятся по комнатам, часто с припрыжкой, *павлинятся*, шумят и сполна выказывают все свои мелкие претензии на ловкость, любезность, ум и тому подобное. Так именно было и здесь, и едва ли где бывает иначе, кроме нескольких знатных домов, поселившихся в деревнях и умеющих давать или поддерживать свой тон в кругу того общества, коим они, волей и неволей, должны были окружить себя за неимением лучшего.

При моем появлении поднялся шепот между знакомыми и незнакомыми мне лицами. Вслед за сим посыпались отовсюду рекомендации смешно разряженных франтов и добрых почтенных старичков, имеющих дела в Петербурге и воображающих, что надворный советник и кавалер, служащий или служивший в одном из министерств,— бог весть какое значительное и всеведущее лицо в Петербурге! Ты знаешь, что я отчасти люблю позабавиться насчет ближнего: в этом грехе принесу я чистосердечное и полное покаяние тогда, как мне стукнет за сорок лет. Как скоро выписанные из города музыканты заиграли польский, я подошел к будущей моей невесте, повел ее,— и все пары за мною. Я отпер двери, ведущие в сад, и повел мою даму по аллее из вишневых дерев,— и все пары за мною. Не подумай, однако же, чтоб это было впотьмах или чтобы для этого нужно было освещение: нет, мой друг! Бал открылся в шесть часов пополудни; а в июле, ты знаешь, в эту пору еще день на дворе. Я шел нарочно тихо и завел с моей дамой разговор по-французски. И что же? Ведь я жестоко отгадал! Только — oui или non*, едва выдохнутые из волнующейся груди и произнесенные робким голосом, были мне ответом. Я провел Надежду Сергеевну по всему саду, наговорил ей бездну так называемых des jolis riens**, приводил ее в поминутное смущение, слушал ее молчание или односложные ответы — и с тем отвел ее в комнаты. Тут-то пошла шепотня между старушками и молодыми, дамами и девицами, даже между уездными франтами! Кажется, все решили в один голос: быть делу так! По крайней мере это заметно было из лукавоубежденных взоров, бросаемых на меня и Надежду Сергеевну, которая попеременно бледнела, краснела и смущалась больше и больше. Я смотрел на все собрание с довольным,

* Да... нет (*фр.*).

** Милых пустячков (*фр.*).

отчасти насмешливым видом, comme si je leur disais: vous êtes bien dupes, messieurs, et vous serez bientôt penauds*. Сия наступательная осанка подействовала: все снова поглядывали на меня, но после уже не перешептывались.

Я подошел к музыкантам и велел им играть французскую кадриль. Они отрыли какую-то старинную, du temps du roi Dagobert**,— и смычки завизжали. Я поднял Надежду Сергеевну; боязливо и с запинкой — она, однако же, пошла со мною. Несколько самых неустрашимых франтов пустились *ангежировать* дам — как они говорят на степном своем наречии; но из девиц едва немногие, и то с крайнею в себе неуверенностию, отважились на сей подвиг. Кадриль насилу наполнилась. Ах, Александр! Для чего тебя со мною не было! Как бы ты полюбовался мною, когда я прехладнокровно выпускал балетные прыжки в этой кадрили и после в мазурке! С каким душевным удовольствием подслушал бы ты звуки удивления и восторга, раздававшиеся вокруг меня из толпы отовсюду сбежавшихся зрителей: «Черт знает!.. Чудо!.. Вот лихо-то!.. Вот как должно танцовать!..» Наконец, как бы ты порадовался, глядя на областных франтиков, когда они, стараясь подражать моим прыжкам (коим, par parenthèse***, придумывал я самые затейливые названия: pas de chamois, pas de gazelle, pas de bedouin****),— как эти франтики, говорю, переплетали ногами, путались и чуть не падали носом об пол!.. Этот вечер был истинно моим. Желание порезвиться и закружить головы уездных любезников было для меня вдохновением. Я болтал по-французски, говорил самые вычурные комплименты дамам, картавил, как *французик из Бордо*,— и достиг своей цели.

Между сею своенравною блажью я, однако же, весьма пристально посматривал на Надежду Бедринцову. Она, правда, тоже искоса на меня поглядывала, но робко, застенчиво и тотчас отводила глаза на сторону, как скоро они встречались с моими. В ней не было ни искры одушевления, и мечта моя погибла невозвратно. Вот *благовоспитанная* провинциалочка! — твердил я сам себе.— Она мила только одна, глаз на глаз с своею козочкой и заочно от маменьки, а еще больше от посторонних. Даже наряд ее, впрочем не имевший в себе ничего странного или резкого, мне не нравился. Это белое

---

* Как если бы я им говорил: вы здорово одурачены, господа, а скоро вы будете и сконфужены (*фр.*).

** Времен короля Дагобера (*фр.*).

*** В скобках (*фр.*).

**** Па верблюда, па газели, па бедуина (*фр.*).

платьице, щепетко надетое; эта затяжка, придающая непривычному к ней телу вид парижской модной куклы; эти варварские рукава *à l'imbécile**, окутывающие, как мешки, плечи и руки, верно круглые и полные; это *каньзу*, самая невыгодная для стройного стана выдумка причудливой моды — все это казалось мне докучным саваном, в который как будто бы завернуто было неодушевленное тело юной и прекрасной покойницы.

Короче, я был доволен и недоволен моим вечером. Доволен собою, потому что дурачился и других дурачил вволю,— и недоволен тем, что ни для ума, ни для воображения, ни для чувства моего не было здесь пищи. В речи провинциальных помещиков я не вмешивался:

Их разговор благоразумный
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне

грозил мне совершенным усыплением. К счастию, балы деревенские не то что столичные: в одиннадцать часов мы отужинали, а в первом все разъехались, кроме двух или трех дальних семейств, кои остались ночевать.

— Что, какова невеста? — спросила меня тетушка на другой день.

— Она такова, как я ожидал: деревенская барышня, жеманная, застенчивая — и только! — отвечал я убийственно решительным тоном.

— Ох вы, светские пересмешники! — возразила тетушка с досадой.— Коли уж это не милая и не достойная девица, так кого же вам надобно? В самом деле, княжон да графинь или французских ветрениц, что ли?

— Ни тех, ни других, а просто девушку, которая не сидела бы, как истукан бездушный, или в танцах не выпрыгивала бы, как *марионетка* в кукольной комедии.

— Мы не видывали ни ваших *марионеток*, ни кукольных комедий. Вы их знаете — вам и книги в руки. Мы знаем только то, что девушка, у которой десять тысяч наличного доходу, да впереди еще столько же; девушка, которая и не глупа (заметь это выражение: тетушка не смела уже предо мною сказать: умна), и хорошо воспитана, и пригожа, и рукодельна... ну, словом, такая девушка, как Надежда Сергеевна, хоть кому так невеста.

— Желаю ей сыскать себе достойного жениха. Что до меня, то, кажется, меня должно вычеркнуть из списка.

* По-дурацки *(фр.)*.

Тетушка промолчала и надулась, и мировая у нас была заключена не прежде, как тогда, когда я согласился ехать к Бердинцовым, которые звали обедать дядю со всем его семейством — и с *гостем.* У них я снова встретился с приятелем моим Авдеем Гавриловичем Кочевалкиным, но уже не в образе *болотного мужичка,* а во всем блеске сельского щеголя: в темно-сером фраке, ярко-планшевых панталонах, пестром бархатном жилете и черном шейном платке. Он подошел ко мне как старый знакомец, с распростертыми объятиями, и шепотом просил меня не намекать о недавней его *причине* (как он изъяснялся), прибавив, что он упросил и Надежду Сергеевну молчать о встрече в роще. Обед продолжался довольно чинно и безмолвно; но здесь Надежда Сергеевна обращалась со мною уже гораздо свободнее, нежели у своей тетки. После стола я просил ее показать мне сад; она согласилась, но взяла с собою кузину Вареньку и других детей моего дяди. Я умышленно начал ребячиться: бегать с детьми, болтать, и между тем заводил с Надеждою Сергеевной шутливый разговор, чтобы как-нибудь сблизиться с нею и приобресть ее доверие. Я напомнил ей анекдоты об уездных франтах, виденных нами на бале у Стефаниды Васильевны, передразнивал их коверканье, их неловкие скачки и признался, что я нарочно выдумывал небывалые *па* и самые затейливые фигуры, чтобы привести их в искушение и сбить совсем с толку. Она смеялась от души, сказала, что еще тогда отгадала мое намерение,—и разговор наш оживился, пошел веселее и веселее и, наконец, дошел до некоторой степени откровенности. Он был прерван самым забавным явлением. *Болотный* мой *мужичок,* пыхтя и шагая исполинскими своими шагами, спешил к нам и бросал на нас недоверчивые взгляды, в которых ясно отсвечивались подозрение и зависть. Я тотчас догадался, что это значило.

— Вы здесь прохаживаетесь, сударыня Надежда Сергеевна! — сказал Авдей Гаврилович, подошед к нам.— Конечно-с,— продолжал он, придавая словам своим какую-то глупую значительность,— погода распрекрасная-с, а сад такой большой, такой славный-с.

— У всякого свой вкус, Авдей Гаврилович,— отвечала она с заметным неудовольствием, может быть оттого, что сей простак перебил разговор, более для нее занимательный.— Если б я была на вашем месте,— примолвила она веселее прежнего,— то, может быть, выбрала бы себе для прогулки какое-нибудь поле либо топкое болото...

Проговорив эти слова, она бросила на Авдея такой

взгляд, что как ни прост мой *болотный мужичок*, однако понял ее намерение и тотчас закусил себе язык. Мы пошли далее; он от нас не отставал. Я начал говорить с Надеждою Сергеевной по-французски; Авдей Гаврилович, который, кроме провинциального своего русского наречия, не грешен ни в одном языке живом или мертвом, молча глотал свою досаду. Надежда Сергеевна становилась час от часу развязнее, час от часу милее. Что еще сказать тебе? Я был очарован ею; заметил в ней искры оригинального, отчасти колкого ума, заметил в ней чувствительность непритворную и еще одно свойство, которого давно ищу я в женщинах: неподдельную откровенность, легко пробуждаемую тем, к кому начинает она питать доверие. Прибавь к этому веселый нрав, живое воображение, какое-то увлекательное, детское добродушие в речах; прибавь к этому невысокий, но стройный стан, прекрасные черты лица, приятную улыбку, большие черные глаза с одушевленным, выразительным взором... Не довольно ли было всего этого, чтобы вскружить мне голову?

Решено: я женюсь на ней! Но неужели мне поддаться воле дядюшек и тетушек, жениться так, как женятся Иван и Яков и все имена провинциального списка?.. Нет, это было бы очень скучно! Церемонное сватовство, бесконечные переговоры о приданом, условия об отношениях к тому или другому из родни; далее: свадебные обеды, пиры, визиты — какой неистощимый запас скуки и принуждения! Надобно взяться за ум и устроить все по-своему.

Знакомство мое с домом Бедринцовых связывалось теснее со дня на день. Я часто уходил от дяди рано поутру, в щеголеватом моем охотничьем платье, с ружьем на плече и с верным моим спутником Мельмотом. Не думая ни о дичи, ни о лугах и болотах, я отправлялся ближайшими тропинками прямо в Жижморово, иногда прямо в сад Сергея Тихоновича и всегда заставал там Надежду в сиреневой беседке за рукодельем или с книгой. Я еще не намекал ей о любви; но мы без объяснений понимали уже друг друга. Однажды шутя навел я разговор на *болотного мужичка* и сказал Надежде, что, кажется, он влюблен в нее. Она усмехнулась; но не показывала никакого смущения. Тут я начал остриться насчет этого забавного воздыхателя; но Надежда Сергеевна не отвечала на мои шутки и, приняв на себя вид простодушно-степенный, сказала кротким голосом:

— Мне кажется, грех шутить над чувством даже такого человека, в пользу которого ничто не говорит: ни ум, ни воспитание. Чувство дело невольное; за что же делать по-

смешищем того, кто, по простоте своей, не умеет его ни выразить, ни утаить? Он жалок, а не смешон.

Я поцеловал руку милой моей собеседницы. Разговор, начатый мною отчасти с коварным намерением, вскоре превратился в пламенное излияние души. Между нами все еще не было ни слова о любви; но уже Надежде не оставалось более никакого сомнения в моих к ней чувствованиях; и с моей стороны в ее взорах, в голосе, в самом волнении ее груди читал я лестное для меня убеждение: она любит — и любит меня!

Спустя несколько дней шел я в Жижморово знакомыми тропинками; уже я пробирался рощею, как услышал позади себя шорох тяжелой походки. Я оглянулся — и в двух шагах от себя увидел Авдея Гавриловича. Заметно было, что он догонял меня. На плече у него лежало огромное ружье, не меньше семипядной пищали сподвижников Богдана Хмельницкого.

— Желаю здравствовать! — сказал мне чудак, поровнявшись со мною.— Куда бог несет? Ну да, правда, нечего и спрашивать: к Сергею Тихоновичу, или, еще вернее, к Надежде Сергеевне,— в добрый час молвить, в худой помолчать!

Мне не понравились ни неуместные допросы и догадки, ни голос моего зверовидного Нимврода. Я отвечал сухо:

— Иду куда мне вздумается. Верно, вам меньше всех обязан я отдавать в этом отчет! — С сими словами я пошел было далее.

— Постойте! — проговорил он, схватя меня за руку с явным смятением, выражавшимся в его голосе, взгляде и невольном трепете руки.— Погодите на минуту, батюшка Лев Константинович! Я... Мне бы хотелось перемолвить с вами... Дело такое, как покойник мой батюшка говаривал — *казусное*... что истинно не знаю, с чего и начать... Ну, да уж коли на то пошло! Я, грешный человек, каюсь, хотел было вас подстрелить из этого ружья...

— Вы? Меня застрелить? — вскрикнул я, громко засмеявшись.— Помилуйте, любезный Авдей Гаврилович! Я никак не ждал бы от вас такого душегубства.

— Да, так: видно, бог сохранил и вас и меня от напасти. Три дня ждал я вас на том болоте, что, знаете...

— И могли бы три года ждать понапрасну: я туда больше не хожу...

— А вот сегодня ждал и в роще,— подхватил он.— Сижу здесь спозаранку. Да такая тоска напала, что хоть самому в воду. Смотрю: вы идете — у меня и совсем руки опустились!

— Да за что же в вас поселилась такая ненависть ко мне? Кажется, я вам худа не желал и не сделал.

— А вот видите, батюшка: вы учащаете к Сергею Тихоновичу и Пелагее Михайловне, а пуще всего, я не раз подглядывал, как вы глаз на глаз ходите по саду либо сидите в беседке с Надеждою Сергеевной...

— Только-то? — перервал я со смехом.

— А разве этого мало? — подхватил мой чудак с необыкновенным жаром, которого бы я в нем и не подозревал.— Скажу вам, батюшка, что вот уж года полтора, как я сплю и вижу, чтоб жениться на Надежде Сергеевне; и нынче только ждал Покрова, чтобы заслать сватов к ее родителям... Да на беду мою тут вы подвернулись.

— Так вы не на шутку влюблены в вашу пригожую соседку?

— Да так, батюшка, что, истинно говорю, хоть от хлеба отступиться. Ни день, ни ночь покоя не вижу: все она в глазах мерещится.

— А любит ли она вас?

— Ну, бог весть! Лишь бы согласилась идти со мною под честной венец; а там — поживется, слюбится!

— Послушайте, любезный Авдей Гаврилович! — сказал я, переменив шутливый тон на важный.— Я вам скажу чистосердечно, что ни Надежда Сергеевна вам не невеста, ни вы ей не жених.

— А почему ж бы так?

— Потому, что она девица образованная, напитавшаяся из книг такими понятиями, которые вовсе вам незнакомы; она желает найти в будущем своем муже равного себе по воспитанию и понятиям человека, который ввел бы ее в свет и с которым ей не стыдно б было показаться в свете. Положим, что ее выдали бы за вас; но она не стала бы вас любить, смотрела бы на вас косо, даже с пренебрежением; ни одной добровольной ласки вы не могли бы получить от нее... А что за ласки, которые должно брать с бою?

— Ох! Правда...

— Слушайте далее. Вы сами согласитесь, что она вас умнее. Представьте же себе, какова была бы жизнь ее и ваша, когда ни по уму, ни по привычкам, ни по воспитанию вы не могли бы сказать двух слов в лад с своей женою? Вы приходите домой с охоты: жена ваша сидит в углу и хмурится; вечером она молчит, вы также, потому что вам не о чем говорить с нею; оба вы зеваете и не знаете, куда деваться от скуки. Ваше общество ей не по нраву; ее общество, если б

она могла выбрать его по своим мыслям, тоже было бы для вас тягостно: там говорили бы о таких предметах, которые вам непонятны. Словом, вы, муж и жена, были бы совершенно как чужие друг другу.

— Правда, правда, батюшка! — сказал Авдей Гаврилович с тяжелым вздохом.

— Скажу вам еще более: мне известно, что ни родители, ни родственники Надежды Сергеевны ни за что не выдали б ее за вас; об ней самой и говорить нечего: она ищет мужа по себе. Во всем этом могу вас уверить моею совестью; мне не раз случалось это слышать от них самих.

— Экая притча! Вот об этом-то я сперва и не подумал...

— Я все высказал, чтобы предостеречь вас от позднего раскаяния,— продолжал я, смотря ему прямо в глаза.— Теперь, не хотите ли? мы пойдем вместе в самую чащу этого леса — ну, словом, туда, куда почти никто не заглядывает: я стану у дерева, а вы приставьте мое ружье к моей груди или к сердцу и выстрелите... Никто не услышит выстрела, никто не увидит убийства, и если со временем отыщут мое тело, то подумают, что я сам застрелился по неосторожности.

— Что вы это, батюшка! — вскрикнул он, задрожав всем телом и уронив свое ружье; лицо его стало бледнее полотна.— Чтоб я принял такой грех на душу! И над кем? Над моим благодетелем, который вызволил меня от напрасной смерти! И из-за чего? Из сущих пустяков, из небывальщины, из-за такой невесты, которой бы мне не видать, как ушей своих! Сами же вы, отец мой, спасибо, меня надоумили.

— Да ведь вы хотели же меня застрелить?

— Ну, винюсь, батюшка: попутал было лукавый; да, видно, бог моим грехам терпит и не попустил на злое дело. Я того только и ждал.

— Точно так, любезный Авдей Гаврилович,— сказал я моему кающемуся убийце,— грех был бы тяжкий, а пользы для вас от него не было б; не лучше ли жить нам в миру, нежели ссориться, как вы говорите, из небывальщины? Знаете ли что? Добрый мир не бывает без взаимных услуг и подарков; вы жалели недавно о своем лазариновом ружье: вот вам мое кухенрейтерское: в Петербурге знатоки ценили его очень дорого; но мне оно теперь не нужно, а продать его я не намерен; лучше подарить доброму приятелю...

— Как же это, батюшка? Да ведь ваш Семен сказывал мне, что за это ружье вам давали шестьсот рублей и вы

не взяли. Воля ваша, за что мне принять такой дорогой подарок.

— Возьмите, если хотите меня одолжить. Я уж вам сказал, что не продаю его, а оно мне не нужно. В ваших руках оно лучше будет выполнять свое дело, чем у меня, вися на крючке.

Лицо моего Авдея прояснилось и осклабилось, по возможности, самою приятною улыбкой. Он принял от меня ружье и благодарил меня, как будто бог знает за какое благодеяние.

— Чем могу вам отслужить, мой милостивец, за все ваше ко мне доброжелательство?

— А вот чем: в тот день, который я назначу, соберите у себя человека три-четыре ваших приятелей, из дворян здешнего околотка, и ждите от меня вести... Я скажу, что вам делать.

— Готов за вас на жизнь и на смерть, милостивец. И как не служить вам верой и правдою? У меня бродили против вас так же шальные мысли; а вы не только не гневаетесь, да еще хотите мне добра и дарите меня таким дорогим ружьем, какого мне и во сне не снилось!

Мы расстались. Я пошел к Бедринцовым, а он, обременясь двойною ношей, пустился бродить по лугам и болотам.

Я позабыл тебе сказать, что, кроме родителей моей невесты, все в доме меня полюбили: старый учитель музыки, виртембергец, и гувернантка Надежды, швейцарка из Лозанны, сорокалетняя щеголиха и говорунья,— от меня без памяти. С первым говорю я о берегах Некара, о Штутгарте и его Anlage[1], о Гейслингенской долине: с другою — о прелестях Швейцарии, о Женевском озере, о Лозанне и ее окрестностях. Местные сведения и знакомства помогают мне в этом случае так, что я каждого из моих чужеземных собеседников переношу воображением на его родину.

Приязнь ко мне madame Frédon (имя швейцарки) и ее откровенность — а может быть, и просто болтливость — до того простираются, что она, без всяких с моей стороны расспросов, часто пересказывает мне все, что делалось и говорилось в моем отсутствии. Таким образом она мне открыла, между разговорами, когда Надежды не было с нами, что отец и мать моей невесты во время какого-то молебна в их доме уже говорили с священником о близкой свадьбе их дочери и наименовали меня будущим своим зятем. Это подало

* Расположение (*нем.*).

мне мысль сыграть шутку с ними и с хлопотливою моею тетушкой. Я молчал, как будто ничего не зная; отстранял всякие намеки о формальном сватовстве, ходил и ездил в дом Бедринцовых запросто, но все еще не в качестве записного жениха. Такие поступки мои приводили в крайнее недоумение стариков Бедринцовых и всю родню их и мою. Что касается до Надежды, она, кажется, всего ожидала от времени и от власти, которую видимо приобретала в моем сердце и которая не могла утаиться от взоров сметливой девушки.

Настал день ее именин (17 сентября). Нас позвали к Бедринцовым на семейный обед. Здесь мы застали почти всю их родню, но никого из посторонних. Казалось, все к чему-то готовились. После обеда я завел какой-то незначительный разговор с Надеждой; нас, как нарочно, все оставили вдвоем. Когда заблаговестили к вечерне, я сказал Надежде:

— Сегодня ваши именины, и на вас никто не может сердиться, чтобы круглый год вам не видеть никакого огорчения. Согласитесь на одну шутку, которою, верно, родные ваши не будут недовольны. Делайте только безоговорочно то, чему я буду подавать пример.

Она усмехнулась и в знак согласия подала мне руку. Мы пошли вместе в ту комнату, где сидели ее и мои родные. Я подвел Надежду к ее бабушке и с шутливой важностию просил ее благословить нас на брак. Надежда смешалась; старушка удивилась, однако же благословила нас. То же самое и таким же тоном повторил я, подводя по порядку невесту мою к ее родителям и к моим дяде и тетке, которых просил заступить для меня место отца и матери. Отказа ни от кого не было, но все удивлялись, поглядывали на нас отчасти недоверчиво, а Надежда изменялась в лице и дрожала. После сего обряда я сказал Надежде:

— Теперь мы можем идти — прогуляться,— накинул на нее шаль, подал ей руку и повел ее в сад.

Никто за нами не следовал, ибо такие наши одинокие прогулки были не в диковинку. Я отпер наружную садовую калитку и повел мою спутницу по селению мимо церкви.

— Зайдем в церковь и отслушаем вечерню,— сказал я Надежде.

Она безмолвно согласилась, но рука ее дрожала в моей. В церкви нашел я четырех приятелей моего *болотного мужичка*, с утра мною предуведомленного; но сам он не явился. Я оставил трепетную девушку, начинавшую нечто подозревать, середи церкви, а сам отправился в алтарь. Там всею

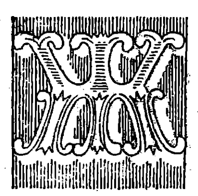
силою логики, риторики и других вспомогательных средств убедил я священника, знавшего, впрочем, что намерение мое не было противно родителям Надежды. Погодя немного дьячок вызвал поодиночке четырех дворянчиков — и все было готово. Вечерня между тем кончилась. Я подошел к Надежде и объявил ей, что нам теперь же должно обвенчаться, чтоб избавить родителей ее от лишних хлопот, а меня от докучных обязанностей. Сначала она было вспыхнула; но прочитав в глазах моих твердое намерение, чувствуя странность своего положения, боясь неприятной огласки и, может быть, разрыва со мною,— согласилась исполнить мое желание. Мы стали перед налоем. Двое из помянутых мною дворянчиков держали над нами венцы. Невеста моя дрожала, как листок розы, и плакала. Обряд кончился. Я поцеловал мою супругу, поблагодарил священника и свидетелей и повел Надежду в дом ее отца. Нас ждали там с какою-то подозрительною нетерпеливостью. Вошед в комнаты, мы бросились в ноги ее отцу, матери и бабушке. Все собрание откликнулось единогласным: «Ах, боже мой!» Но тут я начал ораторствовать, увлек моим красноречием всю родню и торжественно, как Цицерон, сошел с низменной моей трибуны. Нас снова благословили, мы снова поцеловались — и родственный пир зашумел!

Вот уже две недели, как я живу в доме моего тестя. В жене моей каждый день нахожу новые приманки, новые совершенства; и если это продолжится целый год, то надеюсь обогатить русский словарь такими именами достоинств прекрасной и милой женщины, что, верно, получу медаль за услуги, оказанные отечественному слову.

Твой верный друг и пр.

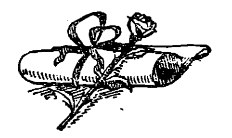
Нечаянно попались мне сии два письма Льва Константиновича... фамилии не знаю, ибо под обоими было подписано просто: Léon. Я не старался в них исправлять слога, отчасти небрежного, ни заменять русским переводом французских вставок, коими они испещрены. Подобной переписки наших светских молодых людей, пишущих нередко так, как они говорят, то есть по-русски пополам с французским, мог бы я набрать целые сто томов. Не знаю и не ручаюсь, было ли бы чтение сей переписки приятно или полезно. Эти два письма издаю в свет потому, что они заключают в себе если не занимательное, то, по крайней мере, полное происшествие.

В ПОЛЕ СЪЕЗЖАЮТСЯ, РОДОМ НЕ СЧИТАЮТСЯ

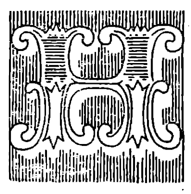
ил-был на святой Руси близ каменной Москвы мужичок богатенек, а норовом крутенек, звали его Сидором Пахомовым; а у того Сидора был работник Елеся, ходил губы развеся. Люди крещеные толковали, что Елеся был простоват; красные девушки над ним подсмеивались, и прослыл он по всему миру сельскому дурачком бессчетным. Вот однажды сбежали у хозяина его со двора кони, и послал он Елесю тех коней перенять и во двор пригнать. Вышел Елеся за село чуть на дворе рассвело, еще и красное солнышко не взошло; и видит Елеся: пасется за селом на выгоне клячонка попа Ерофея. И взмолвил Елеся: «Не прогневайся, поп Ероха, пешком идти доброму молодцу плохо: за борзыми конями не угоняешься, а только упреешь да умаешься». И взнуздал Елеся попову клячонку, сел на нее, едет да погоняет, да песенки попевает; и выехал

он на чистое поле, на широкое раздолье; трюх да трюх, скачет на волю божью куда глаза глядят. Взял он из дому пук веревок, чтобы стреножить хозяйских коней, коли отыщет; и те веревки повесил он себе на шею, топор заткнул за пояс, а косу перекинул через плечо. И вот едет да погоняет, да песенки попевает; и наехал он на такое место, откуда три дороги разбегались в три разные стороны: одна шла направо, другая налево, а третья посредине. И взяло раздумье доброго молодца: по какой путь-дороге ему пуститься? Думал, думал — и пустился по средней; едет да погоняет, да песенки попевает. Вот навстречу ему скачет и пылит, инда небо коптит басурман Калга Татарской; крикнул-гаркнул молодецким покриком: «Прочь с дороги, мужичишка серый! не то — у меня коротка расправа: хвачу тебя слева да справа, так и дух вон, и башка долой». И возговорил ему Елеся: «В поле съезжаются, родом не считаются. Коли ты богатырь, а не мыльный пузырь, так выходи со мной переведаться и силами помериться». И крикнул-гаркнул басурман Калга Татарской: «Ох ты серый мужичишка, глупый твой умишка! Когда такие дива бывали, чтоб крестьяне богатырей на бой вызывали? Да я тебя и саблей не уважу, одной нагайкой слажу». А Елеся ему на то ответил: «Ах ты неразумная бритая башка татарская! Идти на рать — не песню орать: хвались тогда, как сможешь; а бог даст, и сам буйную голову положишь». И взбесился сердитый Калга-богатырь, бровью моргнул, усом шевельнул и саблей взмахнул; а Елеся перекрестился, с клячонки на землю спустился, к басурману подскочил, косою по шее хватил, словно былинку скосил; и пал богатырь Калга на сыру-землю как овсяный сноп, а Елеся его как липку облупил и белое его тело под кустом схоронил; сам в басурманово платье оделся и на борзом калгином коне уселся; едет да погоняет, да песенки попевает. И видит: середи поля раскинуты шатры мурзовецкие и в тех шатрах ратьсила великая, а вокруг шатров пасутся коней табуны несметные. И крикнул-гаркнул Елеся молодецким покриком на всю рать-силу басурманскую: «Гой-еси вы, татаре ордынские! Я ваш воевода Калга-богатырь. Чтобы мигом-летом готово мне было что ни лучших коней три дюжины, со всею сбруей золоченою; а гнали бы их за мною два татарина в смирном платье, без доспехов богатырских». Вот поехал Елеся впереди, а татаре позади коней за ним гонят и перед ним буйные головы клонят. И привел их Елеся в свое село, в ту пору как мир крещеный шел от службы божией; и кликнул Елеся знакомых крестьян, своим именем сказался и честным крес-

том ограждался; и по его слову крестьяне тех двоих татар схватили, связали да в темный погреб посадили. А из добытых коней подарил Елеся тройку своему прежнему хозяину Сидору Пахомову, да пару попу Ерофею; остальных же и со всей сбруей продал в каменной Москве и на те деньги стал жить да поживать, худо сбывать, да добро наживать.



СКАЗКА О НИКИТЕ ВДОВИНИЧЕ


ачинается сказка от сивки, от бурки, от вещей каурки; рассказывается не сзади, а спереди, не как дядя Селиван тулуп надевал. А эта сказка мною не выдумана, из старых лык не выплетена и заново шелком не выстрочена: мне ее по летним дням да по осенним ночам рассказывал Савка-Журавка долгоног, железный нос.

Савка-Журавка по двору ходит, черным глазом поводит, с ноги на ногу переступает, долгую шею через плетень перегибает, острым носом друга и недруга допекает. А как крыльями встрепенется да звонким голосом озовется: «курлы-курлы!» — так у всякого и ушки на макушке, и слюнка изо рта потечет... Савка-Журавка голосную песню затягивает, умную речь заговаривает и такую сказку рассказывает... *«курлы-курлы!*

Во славном городе во Чухломе жила-была старушка горемычная, вдова человека посадского, а имя ей Улита Минеевна. Муж ее Авдей Федулов, не тем покойник-свет будь помянут! большой был гуляка: торг повести да на счетах раскинуть не его было дело; а пиры пировать, да именины справлять — его подавай. Так и все свои животы прогулял да пропил, а не в добрый час и его самого подняли мертвого в царевом кружале под лавкою. Бедная вдова после его смерти обливала горючими слезами не столько могилу своего друга сердечного, сколько свое вдовье платье и сиротские недоимки. Не было у нее, что называется, чем собаки из двора выманить; а которых крох не растерял покойный ее сожитель, и те пошли по его же душе, на похороны да на поминки. Худо быть человеку семейному горьким пьяницей: и перед богом грешит, и людей смешит, и чужой век заедает.

Не на радость остался и сынок бедной вдове горемычной, единое ее детище, Никита: и тот по отцу пошел. Пить не пришла еще ему пора, потому что после отца он остался молоденек, годов о двенадцати; зато к работе его, бывало, не присадишь. Мать бедная перебивалась кое-как своими трудами, из того кормила его и одевала; а он только с утра до ночи рыскал по улицам да играл в бабки с чужими ребятами. Этого дела, нечего сказать, был он мастер; а как, по пословице, *всякое дело мастера боится,* то и бабки словно его боялись и слушались. Не выискивалось еще молодца, кто б обыграл Никиту Вдовинича: такое в насмешку дали ему на улице прозвание вместо Никиты Авдеича.

Никитино уменье не полюбилось соседним ребятам, которых он день при дне дочиста обыгрывал, так что они не могли у себя напастись бабок. Не раз они щипали Вдовинича за его удачу и однажды стакнулись ворваться всей гурьбой к нему в дом и отъемом отнять у него все бабки. Шепнул ли кто Никите, сам ли он догадался,— только он как-то об этом спроведал. «Постой же! — молвил он сам про себя.— Я упрячу мои бабки в такое место, куда из этих сорванцов ни один не посмеет просунуть нос». Сказано и сделано: как наступила ночь, Никита Вдовинич собрал все свои бабки, склал их в запол и снес на кладбище. Там отыскал он могилу своего отца и принялся рыть в ней яму, чтобы туда спрятать любимую свою потеху до поры до времени. Видно, Никита, хоть и слыл дурачком и служил посмешищем всему соседнему миру, а был-таки себе на уме: небось не стал же рыться в чужой могиле! Он смекнул, что и после смерти *свой своему поневоле друг.*

Вот как он раскапывал землю, вдруг послышался ему голос из могилы: «Кто тут?» Никита не оробел и смело ответил: «Я, батюшка!» — «Сын мой любезный, дитя мое милое! тяжко мне под сырой землей! — простонал ему тот же голос.— А еще мне тяжеле оттого, что тебя с матерью, по грехам моим, покинул при недостатках. Слушай же: я знаю, что тебя вовсе не тянет к работе; ты весь в меня, и личиком и станком, и разумом и умом. Я тебе помогу, детище мое желанное, и вызволю тебя из бедности; только приходи по три ночи сюда, ко мне на могилу, в глухую полночь, за час — за два до первых петухов. Что бы здесь ни деялось, не робей; станут играть в бабки — играй, только старайся весь кон сбивать и все бабки к себе забирать. Теперь же покамест ступай себе с богом! прощай!»

Никита смекнул делом, в какую честную компанию звал его родной батюшка и с какими игроками должно ему было тянуться; однако ж как малой не трус он вздумал пойти наудалую и отведать своего счастья. Вот, пришедши домой, молвил он своей матери, Улите Минеевне: «Благослови, государыня матушка, на доброе дело: меня зовут лавочники по три ночи стеречь лавок, а сулят за то гривну медью, да хлеба вволю, да новые рукавицы». Улита Минеевна была рада-радешенька, что бог надоумил ее детище жить на белом свете трудовою копейкою; она чуть не прослезилась от доброй вести. Матери за благословеньем не в ларец ходить: не раздумывая, не разгадывая, благословила Улита Минеевна своего Никиту и отпустила его с крестом и молитвой. Только он, вместо лавок, поплелся на кладбище, раскидывая умом-разумом, что-то из этого будет.

Вот и прилег он на отцовой могилке, ни шкнет, ни чихнет и ни ухом поведет. Не спится ему, правду сказать: да ведь батюшка родимый не за сном же и звал его туда. Долго ли, коротко ли было дело, только вдруг подул и пронесся полуночный ветерок по кладбищу и запрыгали огоньки над могилами, словно клады из-под земли выскакивали морочить люд православный, либо затейник какой, стоя на кладбище, сеял по нем гнилушкой. Вдовиничу послышалось, что под землею мертвец мертвеца спросил: «Пора?», а тот ему ответил: «Пора!» И пошла трескотня по могилам: каждый мертвец упирался ногами и руками в гроб, сшибал долой крышку вместе с земляной насыпью и выходил на белый свет в белом саване. И все они сходились на поляну перед кладбищенской часовней, здоровались, кланялись друг другу, будто люди путные из миру крещеного. Никита Вдовинич

все лежал по-прежнему и смотрел на такие предивные диковинки; вдруг его невесть что-то отбросило: он скатился с могилы вместе с ворохом земли, и перед ним как лист перед травой очутился его батюшка Авдей Федулович. «Сын мой любезный, дитя мое милое! — возговорил он детищу своему желанному.— Слушай в оба, а не в полтора, что я тебе говорить буду. Наши честные покойники в эту пору встают да от скуки потешаются в бабки; не робей, играй с ними. Если в игре будешь удачлив, так и в житье будешь счастлив и талантлив; а нет — на себя пеняй. Помни же, сын мой любезный, дитя мое милое: что ни есть на кону — все сбивай, ничего не оставляй; особливо в третью ночь почтись и весь последний кон сорви,— не то с тебя сорвут твою буйную головушку. Пуще всего, не робей. Теперь пойдем, благословясь».

Не любо было Никите Вдовиничу слышать, какой был зарок на игре положен; да нечего делать: взявшись за гуж, не ворчи, что не дюж! Вот и пошли они к гурьбе покойников; а там крик, гам, беготня, толкотня, хохотня. Никиту мороз по коже подирал, когда он воззрился да вслушался, что там было. Иной мертвец, вытянув костлявую шею и выставя свой череп из-под савана, страшно скалил зубы и грохотал, как из пустой бочки; видно, по русской поговорке, он и на том свете чудак был покойник: умер, да зубы скалил. Другой — бледен как полотно, глаза как плошки, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, что-то с посвистом в себя втягивал так, как, не применно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвертый... Ну да бог им судья! все они были на ту же стать.

Вот и завопила вся гурьба покойников: «Давай в бабки!» Поставили на кон бабок видимо-невидимо, да у каждого было в заполе савана по целому вороху. Опять запрыгали огоньки на могилах, скок да скок — и столпились в два ряда вокруг поляны, что перед часовней, наподобие как, если кто видал из вас, люди добрые, зажигаются плошки для потешных огней по большим праздникам и ими, словно бисером да каменьями самоцветными, унизываются городские улицы и площади. Нашему Вдовиничу сызнова стало жутко, когда он с отцом вошел в середину сходбища. Все мертвецы заорали не своим голосом: «Чужой! чужой!» — как будто собаками на него уськали. Добро бы тем и кончилось; так нет! они косились на него глазами, моргали бровями, щелкали зубами, морщили носы, щетинили усы и кривляли рты, словно не

они, а он был покойником. Вот один и подкатился и молвил отцу Никитину: «А ты, дядя Авдей, что ж не играешь в бабки? поставил бы своего мальца на кон, авось бы мы его срезали».— «Где вам мякинникам, со мной тягаться! — ответил Авдей Федулов.— Вот гляди-ка на моего мальца: он, кажись, и невзрачен, и не нашего еще лесу кочерга, а дайте-ка ему бабки в руки — всех вас за пояс заткнет!» — «Хвастливого с богатым не распознаешь! — завопили мертвецы в один голос.— Не в похвале б сила, а в деле. Ну-ка, ин выпусти своего щенка на наших волков. Только, знаешь: уговор лучше денег. Его выигрыш — его и счастье, а проиграет — головой отвечает; да и ты на свою долю столько добудешь совков да пинков, что всех не уложишь к себе в могилу».— «Ладно! — сказал Авдей Федулов.— Грозите богатому, авось-либо копейку даст; а с меня-то вам взятки гладки».— «Ну-ну! пустого не болтать и делу не мешать! — крикнул-гаркнул один долговязый мертвец, который был у них в игре старостой и уставщиком.— Начинать так начинать; а то вы, пожалуй, и до петухов прокалякаете».— Тут он схватил Никиту за оба плеча, толкнул вперед, уткнул носом чуть не в землю, указал на груду бабок и примолвил: «Бери, да ставь, да заметывай!» — Никите не люба была такая грубая поведенция, он осерчал; однако прикусил язык, набрал бабок и пустился в игру. Хвать да хвать, глядишь — и весь кон сбил; поставили другой — и тот будто рукою снял; поставили третий — и того как не бывало: не дал мертвецам, что называется, ни росинки подобрать. Диковались покойники такой удаче и захлопали глазами да заскрыпели зубами пуще прежняго. Никите сдавалось, что ему не сдобровать; ан вот как тут по посаду раздалось: кукареку! Никита глядь — ни огоньков, ни мертвецов не стало, могилы заровнялись так, что не было ни следа, ни приметы; с той стороны, откуда солнышко всходит, занималась утренняя заря, и перед нашим Вдовиничем лежала груда сбитых им бабок, чуть не с головой его в уровень. Он подрылся под часовню и туда запрятал свои бабки; видно, отец-батюшка родимый шепнул ему, что тут-де ни мертвый, ни живой их тронуть не посмеет. Еще православные в городе глаз не продрали, а Никита приплелся домой, залез на полати и такую дал высыпку, что чуть обеда не проспал.

На другую ночь было ему поваднее идти на кладбище. Опять прилег он на отцовской могиле; опять чуть только повеял полуночный ветерок, заиграли огоньки на могилах и опять пошла трескотня и хлопотня по кладбищу. Батюшка

Никитин, Авдей Федулович, снова встал и повел его на сходбище разгульных покойников, а там по-вчерашнему — крик, гам, беготня, толкотня, хохотня; только уж на этот раз Вдовинич наш не робел и раскланивался что ни с самыми лихими мертвецами, будто со старыми знакомыми. Все вскрикнули, увидя его: «Подавай сюда молодца! подавай игрока!» — инда гул пошел по кладбищу; а Никита кинулся к своим вчерашним бабкам, набрал их сколько надо было и поставил на кон. Хвать да хвать — бабки валяются, инда пыль столбом идет; глядь-поглядь — трех конов как не бывало. Зашевелилось и загуло племя покойничье, зачесалась буйная головушка у Никиты Вдовинича; а петухи как тут: кукареку! Никита глядь — все по-прежнему: мертвецов не стало, огоньки потухли, могилы заровнялись, а перед ним опять бабок несметная сила. Никита убрал их в свою старую похоронку, под часовню; а сам был таков: прибежал домой, залез на полати и давай отхрапывать, инда бревенчатые переборы задрожали.

Вот наступила и третья ночь. Никита наш соколом полетел к погосту, и уж ему невтерпеж лежать на могиле: так ему слюбилось обыгрывать покойников. «Есть же простяки на том свете! — смекал он про себя.— Да мне их обыграть как пить дать...» Не успел он додумать своей думы про покойников и их простоту, как вдруг, вместо тихого полуночного ветерка, взвыла буря, закрутился вихорь, и пошел дым коромыслом по кладбищу. Благо, что на Никите не было шапки, да и не важивалось; а то бы ее занесло за тридевять земель; чуть и головы-то с него не сорвало. Огоньки лениво выпархивали из могил, и те такие тусклые, что чуть брезжились. Трескотня да возня поднялись по кладбищу, что хоть святых вон неси. Все мертвецы вскакивали как опаренные, встрепывались и бегом бежали на поляну, облизываясь, как кот перед куском мяса. Словно нехотя поднялся вдовиничев батюшка, Авдей Федулович, и повел такую речь с сынком своим: «Сын мой любезный, дитя мое милое! наши честные покойники на тебя зубы вострят и губы разминают, за то что ты в бабках с них спесь посбил. Смотри же, дитятко мое желанное! не положи охулки на руку. В эту ночь, а особливо за последним коном, будут тебе всякие помехи и страсти; только ты скрепись и не бойся: гляди зорко, бей метко и старайся пуще всего снять на последнем кону черную бабку; в ней-то вся сила. Кто этой бабкой завладеет, тот чего ни похочет — мигом все у него уродится; надо только знать, как с нею водиться. Коли ты эту бабку сшибешь да

к рукам приберешь, так тебе стóит только ударить ею о земь да приговаривать: «Бабка, бабка, черная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года, теперь послужи мне, доброму молодцу», а затем и примолвить, чего ты от ней добыть хочешь; вот оно и явится перед тобой как лист перед травой. Да смотри, береги эту бабку пуще своего глаза: у тебя будут ее выручать всякими хитростями, только ты не давайся в обман».— Тут Авдей Федулович взял сына за руку и повел на поляну. Загула вся ватага мертвецкая, что пчелы в улье: «Давай его, давай!» — а наш Вдовинич и ухом не ведет; набрал бабок, поставил на кон и начал пощелкивать. Только теперь было не по-прежнему: то гром прогремит, то дождь зашумит, то свист пробежит; огоньки чуть брезжутся и все тусклее да тусклее; а на Вдовинича выпустили игроков что ни самых удальцов. Никита все-таки не унывал; он прищуривался то с правого глаза, то с левого, приглядывался и прицеливался — и сбил два кона дочиста. За третьим стало еще хуже: поднялась метель; ветер так и рвал, и крутил, и сдувал огоньки на сторону; свету не было и настолько, чтобы доброму человеку ложку мимо рта не пронести, а снег хлопьями так глаза и залепливал. Никита взял догадку: он левою рукою сделал себе кровельку над глазами, выглядывал, высматривал — и заприметил на кону черную бабку, к самому левому краю. Давай в нее бить: раз, два... а буря-то пуще злится, а гром так и трещит, что словно небо расседается, а молния так и сверкает сзади и с боков, и сманивает глаз на сторону, чтобы смигнул, а снег так и застилает глаза... Это еще цветики, а ягодки будут впереди. Два раза промахнулся наш Вдовинич: приладился совсем, ему бы только ударить; ан тут гром и грянет, а молния да снег так и заслепят его очи ясные. За третьим разом показались ему разные страхи: то змеи Горынычи, то Полканы-богатыри с казачьими усами и конскими хвостами, то Чуда-Юда, железные зубы, то лешие, то водяные... ну, в добрый час молвить, в худой промолчать — вся нечисть подземная, вся тма кромешная. Никита оторвал клок рукава, расщипал и заткнул себе по охлопку в оба уха, правый глаз зажал, левую руку свернул в трубку и приставил к левому глазу, чтоб ему не слыхать никакого шуму и не видать ничего, кроме черной бабки. Тут он начал причитать в уме-разуме все посты и все заговенья, середы и пятницы, понедельники и честные сочельники, а родительскую субботу помянул чуть не трижды; навел на черную бабку глаз с левою рукою, приладился правою, за-

махнулся, хвать — и вдруг что-то хряснуло, инда нашему Вдовиничу небо с овчинку показалось. Он со всех ног бросился к кону: глядит, а перед ним черная бабка лежит, сбитая его метким молодецким ударом. Он за нее — и схватил в обе руки; а мертвецы к нему сыпнули всею гурьбою, а петухи как тут: кукареку! — и не стало ни мертвецов, ни огоньков, заровнялись могилы, и на погосте наступила тишь да гладь, да божья благодать. Никита Вдовинич зажал черную бабку у себя под мышкой, остальные пометал в свое упрятище под часовней, поклонился еще однажды батюшкиной могилке, пришел домой и улегся на полатях. «Теперь,— смекал он,— вольно мне спать вплоть до вечера; а захочу поесть, так найду кусок полакомее да посытнее матушкиных ленивых щей, где крупинка за крупинкой не угоняется. Они уж и так мне бока промыли!»

Никита Вдовинич был крепок на слово: он спал богатырским сном вплоть до вечера. Матушка его, Улита Минеевна, не будила его и к обеду: намаялся-де, сердечушко, на стороже, третью ночку не спал. В сумерки Вдовинич проснулся, встал, встрепенулся, умылся, богу помолился и опрометью вон из избы пустился; прибежал на огород, ударил бабкой о земь и приговаривал: «Бабка, бабка, черная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года; теперь послужи мне, доброму молодцу: дай мне с начинкой пирог в сажень длиной, да в охват толщиной».— Не успел он глазом смигнуть, а уж перед ним лежал пирог в сажень длиной и в охват толщиной. «Ладно! — молвил Никита.— Дело-то так, да сладить-то как?» Пытался он разломить пирог, так не под силу, а целиком донести до избы — и того пуще. Думал-думал наш Вдовинич и вздумал: отыскал под навесом старые дровнишки, прикатил их в огород; опять беда: как поднять пирог на дровни? «Эх ты, моя нечесаная башка! не разумна, хоть и велика! — вскрикнул Вдовинич, схватя свою буйную голову за кудри кольчатые и встряхнув их, как злая мачеха своего пасынка.— Ну что я стал в пень? Велико диво, как пирог снесть! Вот побольше того, коли одному его съесть».— Тут он, не разгадывая и не откладывая, ударил черною бабкой о земь, протвердил как зады свой заученный наговор: «Бабка, бабка, черная лодыжка!» — и примолвил: «Взвали мне пирог на дровни». Пирог очутился на дровнях, а Никита впрягся в оглобли и ну тащить изо всех жил, да не тут-то было! *тпрю* не едет и *ну* не везет. Опять принялся он за черную бабку: «Помоги-де мне пирог в избу привезти», и дров-

ни покатились сами собою; Никита чуть успевал бежать, чтоб они ему в сугорбок пинков не надавали. Прикатились к дверям, а двери-то узеньки да низеньки; только ведь у нас не по-вашему, хоть тресни, а полезай: двери расступились, дровни вкатились и свалили пирог на дубовый стол, а сами тем же следом назад, на попятный двор, под навес,— и опять все стало по-старому, по-бывалому. И возговорил Никита Вдовинич своей матушке, Улите Минеевне: «Вот тебе, государыня матушка, гостинец от гостей торговых; кушай себе на здоровье». Улита Минеевна, увидя пирог, от радости руками всплеснула и голосом взвыла, словно покойницу свекровь хоронила. «Ах они мои батюшки, купчики-голубчики! потешили меня, вдову горемычную! Пошли им, господи, втрое того за их добродетель». Тотчас взяли топор, разрубили пирог на куски и принялись вдвоем уписывать; куда! и сотой доли съесть не могли. Никита наелся так, что инда пить ему захотелось. Вот он выбежал в присенок, ударил бабкой о земь и сказал: «Бабка, бабка, черная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года, теперь послужи мне, доброму молодцу: дай мне браги ушат, чтобы стало со днем на неделю, пусти в него красный ковш и поставь здесь в уголку». Махом проявился в углу ушат браги, полнехонек и с краями ровнехонек, а посередине плавал гоголем красный ковшик. Опять Никита сказал своей матушке, что это купцы дали ему за добрую сторожу, и Улита Минеевна так обрадовалась, что всех купцов чухломских чуть заживо в угодники не причла. «А куда же ты, мое дитятко, девал свои новые рукавицы да гривну денег? — спросила она у Никиты.— Аль потерял да потратил?» — «Нет, государыня матушка, не потерял, не потратил, а в теплое местечко попрятал». Тут он опять выскочил в присенок и хватил бабкой о земь: «Чтобы, дескать, уродились мне рукавицы новые строченые да денег семь алтын с деньгой». Все это поспело как за ухом почесать. Рукавицы новые строченые, на них коймы золотые тисненые, сами наделись на руки, а семь алтын с деньгой, в цветной калите шелку шемаханского, висели у Вдовинича за поясом. Опять матушка его, вдова горемычная Улита Минеевна, диву дивовалась и дарами любовалась, да молила бога за своего сынка ненаглядного, который сам теперь стал ей кормильцем.

На другой день Улита Минеевна пошла звать старушонок-соседок да кумушек-голубушек попировать даровыми пирогом да брагой; а они, дело домышленное, лакомы на то, что

не на свой грош куплено: пили, ели, чуть не лопнули, а все еще пирога да браги осталось на добрую неделю.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Наш Никита Вдовинич, черной бабкой о земь постукивая да того-другого, прочего попрашивая, как сыр в масле катался и рос не по дням, по часам. Прошло семь лет с походом, и он стал таким молодцом взрачным да ражим, что все на него заглядывались: лицо кругло и полно, что светел месяц, бело и румяно, что твое наливное яблочко; а сила у него проявилась такая, что с одного щелчка между рог быка убивал. Двор у него был как город, изба как терем, и в ней всякой рухляди да богачества, что и в три года не счесть. Матушка его Улита Минеевна в одну ночь охнула, воздохнула, да и ножки протянула, обкушавшись на имянинах своего детища возлюбленного яств сахарных да опившись меду сладкого. И стал наш Никита Вдовинич сам себе старшим, сам себе хозяином, и вошел он в честь и славу великую, в те поры как Пошехонье поднялось войною на Чухлому. А той войне была такова вина: чухломский богатырь Куроцап Калинич напоил на молодецком разгулье пошехонского богатыря Анику Шибайловича сонным зельем да обрил ему половину головы, половину бороды и вытравил его заповедные луга своими конями богатырскими; вот и взорвало это пошехонцев, и вздумали они отсмеять насмешку чухломцам. Зашумела рать-сила несметная, началась битва кочережная, поднялась стрельба веретенная, наступили на твердыни крепкие, на жернова мукомольные. И взмолились чухломцы всею громадой Никите Вдовиничу, чтобы вступился за своих земляков-однокашников. Никита Вдовинич все дело разом порешил: как выехал он на борзом коне в полстяном колпаке да крикнул-гаркнул молодецким голосом, богатырским покриком на сильных могучих пошехонских витязей, Анику Шибайловича да Шелапая Селифонтьевича: «Что вы, мелкие сошки, сюда носы показали? много ли вас и на одну руку мне? Куда вы годитесь? вас бы только спаровать да черту подаровать!» Аника Шибайлович да Шелапай Селифонтьевич прогневались на такие речи обидные и бросились с двух сторон на Никиту Вдовинича; только он был не промах: одного взял за ус, другого за бороду и подбросил их выше лесу стоячего, ниже облака ходячего. Тут пошехонцы оробели, дрогнули, побежали и давай прятаться: кто в гору, кто в нору, а иные, поджав хвосты, в часты кусты.

В те поры жила-была в Чухломе дочь купецкая Макрида Макарьевна, красота ненаглядная; жила она в неге и в холе,

в девичьем раздолье, пока батюшка ее не проторговался дочиста. Добрые молодцы по дням не едали и по ночам не сыпали, заглядевшись на ее очи соколиныя, на ее уста кармазинныя; красные девицы завидовали ее русой косе, девичьей красе да ее парчевым шубейкам и золотым повязкам; а старые старухи поговаривали, что она спесива, причудлива и своеобычлива,— в пологу спать не ляжет, в терему шить не сядет: в пологу-де спать душно, в терему шить скучно. Полюбилась нашему Никите Вдовиничу дочь купецкая Макрида Макарьевна, красота ненаглядная, заслал он свах к ее батюшке, и те свахи наговаривали столько добра о Никите Вдовиниче, а пуще о его житье-бытье и богачестве, что отец и мать Макриды Макарьевны, да и сама невеста, рады-радешеньки были такому жениху. Никите Вдовиничу не пиво варить, не меды сластить: все мигом уродилось; так веселым пирком да и за свадебку. Вдовинич задал пир на весь мир; а после стал жить да поживать со своею молодой женой Макридою Макарьевной, красотой ненаглядною.

Скорая женитьба — видимый рок: наш Никита Вдовинич женился как на льду обломился. Солона пришлась ему жена, красавица ненаглядная; ни днем, ни ночью покоя не знай, все ей угождай. Уж ей ли не было неги и во всем потехи! да правда, что прихотливой и сварливой бабе сам черт не брат. Никита Вдовинич, сказать не солгать, из рук не выпускал черной бабки; извелся совсем, швыряя ее о земь на женины прихоти. Все было не по Макриде Макарьевне: то дом тесен — ставь хоромы; то углы не красны — завесь их коврами узорчатыми; то посуда не люба — подавай золотую да серебряную; то наряды не к лицу — подавай парчи золотые да камки дорогие. А даровал им бог детище желанное, сынка Иванушку,— так чтобы колыбель была диковинная, столбы точеные, на них маковки позолоченые. Ну не то, так другое; а бедному Вдовиничу не было ни льготы, ни покоя.

Так бился он с годом трижды три года; не раз заносил он черную бабку, чтобы стукнуть о земь да и сказать: «Бабка, бабка, черная лодыжка! унеси ты мою женушку в тартарары, во тму кромешную, чертям на беду, сатане на мученье», да всякий раз у него руки опускались и язык прилипал: жаль ему было жены, красавицы ненаглядной, хотя она и мучила его с утра до вечера; а пуще жаль ему было детище желанного, сынка Иванушки, чтоб он в сиротстве не натерпелся горя. Правду молвить, и сынок Иванушка пошел по батюшке да по дедушке: на дело не горазд, а все бы ему

гули да гули, все бы ему рыскать по улице да играть в бабки с соседними ребятишками.

Вот под конец Никита Вдовинич совсем из сил выбился от причуд и свар жениных. Вышел он на широкий двор, ударил бабкой о сыру землю и приговаривал: «Бабка, бабка, черная лодыжка! служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года; теперь послужи мне, доброму молодцу: чтоб у жены моей были полны ларцы золота и полны лари серебра; пусть ее тратит на что пожелает, только моего века не заедает. А мне чтоб было ровно на семь лет зелена вина да меду пьяного, запивать мое горе тяжкое!» — Сказано и сделано. Макрида Макарьевна почала без счету сыпать серебро и золото на свои затеи женские; а Никита Вдовинич с утра до вечера у себя в светлице посиживал, да хмельное потягивал, и втянулся так, что у него лицо раздулось как волынка, глаза стали красны, как у вора, и от него несло сивухой, как из винной бочки. Ведомо и знаемо, что русский человек напивается от двух причин: на радости да с горя; а есть у нас добрые люди, у которых что день — то радость, что день — то горе, либо день при дне радость и горе с перемежкою. У Никиты же Вдовинича было все горе, да горе, да при горе горе. Ни о чем он не хлопотал, не заботился, на все смотрел, спустя рукава. И то сказать, у горького пьяницы одна заботушка: напиться да выспаться, а после опохмелиться, чтобы снова напиться.

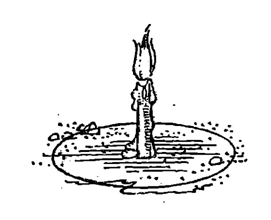
Женушка его ненаглядная, Макрида Макарьевна, тою порою творила свою волю и не думала о своем сожителе, а так про себя смекала: «Пусть его с пьянства околеет; мне же руки развяжет». — Детищу его желанному, сынку Иванушке, исполнилось двенадцать годков и пошел тринадцатый; он по-прежнему не знал себе иного дела, кроме того чтоб воробьев поддирать да в бабки играть. И нашел он однажды в батюшкиной светлице под лавкой черную бабку, которую Никита Вдовинич спьяна обронил, да и не спохватился: ведь пьяный свечи не поставит, а разве дюжину повалит. Иванушка рад был своей находке, побежал играть с соседними ребятишками и все, что на кону ни стояло, как рукой подгребал.

Спустя малое время проявился в Чухломе черненький мальчик. Он был черен как жук, лукав как паук, а сказывался Четом-Нечетом, бобылем безродным. Такого доки в бабки играть еще и не видывали: всех ребят дочиста обобрал. Вот и взяла Иванушку зависть: «Что-де за выскочка, что всех обыгрывает? Посмотрю, как-то он потянется против мо-

ей черной бабки!» И схватились они играть вдвоем, рука на руку. Черненький мальчик, Чет-Нечет, бобыль безродный, сперва проиграл Иванушке кона два-три; а после вынул красную бабку с золотой насечкой, так хорошо изукрашену, что, как свет стоит, такой бабки еще и во сне не видывали и слыхом о ней не слыхивали. Красная бабка как стекло лоснится, ярким цветом в глаза мечется, золотою насечкой как жар горит и всякого на себя поглядеть манит; а черненький мальчик, Чет-Нечет, бобыль безродный, Иванушку ею призаривает и такие речи заговаривает: «Ну-ка ты, Иванушка, буйная головушка, синяя шапка! посмотри, какова моя красная бабка? уж не твоей черной чета! Выиграй-ка ее у меня, так будешь молодец и на все удалец; а не выиграешь — будешь мерзлый баран, обгорелый чурбан. Лих тебе не видать ее, как ушей своих!» Иванушка озлился, чуть бобылю в черные кудри не вцепился и так на него забранился: «Ах ты, смоляная рожа, цыганское отродье, материн сын, отцов пасынок! Тебе ль со мной тягаться? я так тебя облуплю, что станут и куры смеяться».— «Ну, что будет, то будет,— молвил вполсмеха черненький мальчик,— ставь черную бабку, а я поставлю свою красную, да и померяемся, кому первому бить».— «Изволь, коли тебе не жаль своей красной бабки!»— отвечал Иванушка. Только он не в пору расхвастался. Поставили бабки, черную да красную, стали меряться на палочке — верх остался за черненьким мальчиком. Чет-Нечет, бобыль безродный, приладился, хвать — и снес обе бабки. «Моя!»— крикнул он таким голосом, что в ушах задребезжало, кинулся вперед, схватил черную — и мигом не стало ни его, ни черной, ни красной бабки. Иванушка с горя побрел домой; смотрит: отцовских хором как не бывало, а наместо их стоит лачужка, чуть углы держатся, и от ветра пошатывается. Матушка его Макрида Макарьевна сидит да плачет, голосом воет, жалобно причитает, уж не в золотой парче, не в дорогой камке, а просто-запросто в крестьянском сарафане; батюшка лежит пьяный под лавкою в смуром кафтане. Оглянулся Иванушка на себя — и на нем лохмотье да лапти! Не знал он, не ведал, отчего такая злая доля приключилась? а вся беда неминучая приключилась оттого, что он проиграл заветную черную бабку, а выиграл ее чертенок, который подослан был старшими чертями да проклятыми колдунами и сказывался Четом-Нечетом, бобылем безродным. Так-то от лукавого сатаны, да от сумбурщицы жены, да от сынка дурака, да от своего хмеля беспутного, беспросыпного Никита Вдовинич потерял все: и счастье, и богатство, и людской

почет, да и сам кончил свой живот, ни дать ни взять, как его батюшка, в кабаке под лавкой. Макрида Макарьевна чуть сама на себя руки не наложила и с горя да с бедности исчахла да изныла; а сынок их Иванушка пошел по миру с котомкой за то, что в пору да вовремя не набрался ума-разума.

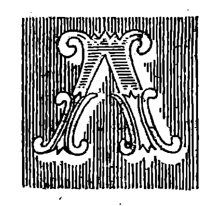
Вот вам сказка долгенька, а к ней присловье коротенько: избави боже от злой жены, нерассудливой и причудливой, от пьянства и буянства, от глупых детей и от демонских сетей. Всяк эту сказку читай, смекай да себе на ус мотай.



МАТУШКА И СЫНОК

Повесть

> ...В ребенке будет прок!
>
> *Хмельницкий*



Лет за тридцать тому, в деревне, вдали от губернского города и почти за две тысячи верст от столицы, родился Валерий Терентьевич Вышеглядов. Родитель его был совестный судья, который в свое время бессовестно грабил правого и виноватого и наконец таким (хотя и не вовсе невинным) ремеслом скопил себе, как обыкновенно говорят эти господа, *посильный капиталец* и купил на оный деревушку, приносившую годового дохода тысяч до десятка. Супруга его Маргарита Савишна была дочь Саввы Сидорыча Пудовесина, который из подрядчиков по торговой прогрессии дошел до звания именитого гражданина. И как еще в качестве подрядчика был он принят (чем всегда хваливался) в лучших домах, у графов и князей, и даже нередко вхаживал к ним в гостиные, хотя и никогда там не сиживал — то имел случай ко всему при-

глядеться, или, говоря собственным его выражением, *поднаторел*. Поэтому-то старался он дать своей дочери самое лучшее воспитание, т. е. как он понимал сию *статью* — позволяем себе другое выражение из торгового словаря г-на Пудовесина. Маргарита Савишна пробыла года три в пансионе у немки Мадамы и дошла до такого совершенства, что говорила без запинки *мон-киóр, ма-шер* и *ее сюперб* по-французски, наигрывала на фортепиано «Войди в чертог ко мне златой» и «Желанья наши совершились». Но высшею степенью своего образования была она обязана собственно себе и достигла оной тем, что читала без исключения все романы и повести, которыми матушка Москва уже около полустолетия снабжает самые отдаленные уголки Российской империи. Многие из жителей столицы, может быть, не знают, каким образом в дальних провинциях нашего отечества производится продовольствие сими умственными потребностями; таким имею честь донести, что в осеннюю и зимнюю пору заезжают к областным нашим помещикам разносчики с книгами, эстампами московской гравировки (носящими у них бессменно название картин), дурною помадой, мылом и шоколадом, который на вкус ничем не лучше мыла, одним словом, со всякими мелочами и безделками... Разумеется, последнее сказал я не о книгах: ибо иную из них и прочесть не безделка. Помещик велит подать себе реестр, в коем нечеткою рукою весьма неисправно написаны заглавия книг[1]; потом приказывает впустить разносчика в переднюю —

И книжного ума брадатый продавец

вносит полдюжины лубочных коробов с печатным и прочим товаром. Помещик отбирает «Повесть о двух турках», похождения маркиза Г***, Совездрала, Ваньки Каина, «Полночный колокол», «Пещеру смерти», романы и повести Коцебу и пр. и пр.; к этому иногда присовокупляет он Наставления о пчеловодстве, Конский лечебник, Повариху постную, иногда даже «Твердость духа», «Храм славы», «Путешествие в Малороссию», «Гамлета», пересозданного г-м Висковатовым,— словом, всякую рухлядь, завалявшуюся в московских книжных лавках и проданную коробами кочевому книгопродавцу. Тут начинается торг. Разносчик, как почти всегда водится, человек неграмотный, призывает письмённого своего *мальца* и заставляет его прокрикивать звание и цену книг по реестру тем же звонким, резким и однозвучным голосом,

[1] Например, «Повести Михайлы Садратьева», вместо Сервантеса; это мне самому случалось находить в сих реестрах.— *Соч.*

каким он в свободное время читает Бову Королевича и Еруслана Лазаревича. Помещик сбавляет цену, разносчик дорожится; наконец стакан водки делает его уступчивее — и торг заключается. Нередко помещик покупает весь печатный товар коробами, не заботясь о том, что в каждом из них положено по пяти или шести экземпляров одной книги[1]: он тем не менее расставляет их по полкам, подбирая, подобно Богатонову, большие к большим, а малые к малым.

Простите меня, милостивые государи, за длинное отступление: я хотел вам доказать, что и деревенские наши господа и госпожи не вовсе лишены благотворных лучей книжного света, хотя оные и доходят к ним сквозь тусклую призму затасканных переплетов московского изделия.

> Однако я клянусь моим Пермесским богом,
> Что буду продолжать обыкновенным слогом;
> Итак, дослушайте ж...

Маргарита Савишна читала без изъятия все романы и повести, переведенные или сочиненные на Руси долготерпеливой. Это давало г-же Вышеглядовой некоторый род преимущества между всеми соседними барынями, которые единогласно признавали ее самою умною и ученою дамой, хотя и не любили ее за надменный и жеманный тон, с каковым она их принимала, хотя и не понимали высокопарного разговора, коим она их потчевала. В молодых ее летах круг действий в деревенском околотке показался ей слишком ограниченным; даже уездный, даже губернский город все еще были тесны для ее растучневшего самолюбия. И как она приобрела некоторую силу ума над супругом своим, Терентием Ивановичем, —

> Du droit qu'un esprit vaste et ferme en ses desseins
> A sur l'esprit grossier des vulgaires humains* —

ибо сам Терентий Иванович называл ее умницею и твердо помнил, что она принесла за собой в приданое сто тысяч наличными, то однажды она уговорила его ехать в Москву. «Славны бубны за горами! — твердила она своим знакомым, возвратясь оттуда. — В Москве только и дела, что скачут да

---

[1] Это истина. Я сам слышал от одного такого разносчика в Малороссии о подобном торге, заключенном им с одним деревенским *паном*, который купил у него семь коробов с книгами, не заглядывая в них и не читав реестра. — *Соч.*

* То право, кое ум при твердости своей,
Над слабомыслием берет простых людей
(*фр.;* пер. П. С. Потемкина, опубл. в 1798 г.).

наряжаются; не с кем отвести душу, поговорить об *ученых материях*».— Так она думала или так говорила о Москве в отмщение за то, что ее сочли там смешною и странною провинциалкой.

Благополучный союз Терентия Ивановича с Маргаритою Савишной был наконец благословлен рождением сына, которому романическая маменька велела дать романическое имя Валерия, хотя батюшка и желал окрестить его по дедушке Иваном. Сельский дьячок, латинист, поэт и школьный учитель, воспел его рождение одою, которая ничем не была толковитее «Оды в громко-нежно-нелепо-новом вкусе», ибо в ней горы плясали, как говяда, и круглолицый месяц, уставя тускло-светлый зрак, с улыбкою любовной глядел на первенца Маргариты Савишны. Но как ода сия оканчивалась замысловатою игрою слов на латинском языке: «Vale, Valeri»*, с приличным истолкованием, и подписана была: «Грешный пиит и богомолец Евсей Вакулов», то грешному пииту и богомольцу выдано было из казны Терентия Ивановича полтина медью да из барской его житницы куль ржаной и две мерки пшеничной муки — щедрость, истинно меценатская и дотоле неслыханная в селе Закурихине!

Валерий Терентьевич рос до осьми лет, как деревце, или просто сказать, как избалованный сынок сельского помещика. Временем, а особливо в зимние вечера, когда нельзя было бегать по двору и поддирать воробьиные гнезда, матушка сажала его подле себя и рассказывала ему волшебные сказки из «Тысячи и одной ночи». Это заохотило Валерия Терентьевича самого читать книги, а чтобы читать, надобно учиться. И так, благословясь, на девятом году посадили его за грамоту. Дьячок-пиит, с указкою в руке, проходил с ним букварь; Маргарита Савишна часто сама на досуге прослушивала уроки — и в полгода ребенок научился читать по складам и по верхам. Курс его учения казался батюшке весьма полным, но матушке — женщине с высшими взглядами, по-тогдашнему — очень недостаточным; и она, не смея по родительской любви требовать, чтоб отослать сына по крайней мере в народное училище, сильно настояла на том, чтобы принять в дом учителя француза, который бы *показывал* ребенку французский язык, танцевание, рисование — словом, все, что входило в объем собственных ее понятий. Но Терентий Иванович упрямился. «И, матушка! — говаривал он.—

---

* Будь здрав, Валерий (*лат.*).

К чему набивать ребенку голову лишними затеями? да и как его поручить иноземному сорванцу? Ты сама у меня умница-разумница: у кого ж сыну и набраться ума и ученья, коли не у тебя!» Таковою тонкою лестью Терентий Иванович всегда достигал своей цели. Родительская любовь согласовалась в нем с хозяйственными расчетами: *не обременить голову ребенка* было на языке его в некотором смысле перевод тайного голоса его сердца: *не опорожнить своего кошелька.* Переупрямить его в сем случае было трудно, и Маргарита Савишна решилась последовать благородному назначению, о котором намекал ей супруг: быть самой воспитательницею своего сына, образовать юный ум его и сердце.

Милостивые государи, милостивые государыни! вы, конечно, читали в романах, в романах чувствительных, какое райское наслаждение для матери внушать первые впечатления, вдыхать первые понятия в душу ее питомца-сына. Вообразите же, что и Маргарита Савишна все это читала, что и она все это чувствовала, когда сажала своего Валеньку за «Тысячу и одну ночь» или за «Влюбленного Роланда». Как трепетало от радости материнское сердце ее, когда ребенок, с пламенеющим лицом, с жадным взором, взвизгивал чудесные приключения людей, превращенных в рыб, или невероятные побоища храбрых витязей с великанами и чародеями! Как воздымалась полная грудь ее (которую персидский поэт не напрасно уподобил бы двум холмам, подпирающим небо), когда вечером Валенька, вооружась деревянным мечом Смертодавом, сбивал в саду маковые головки или пробивал насквозь копьем — деревянным же — большие цветы подсолнечника, воображая их себе щитами заколдованных великанов! Когда изо всех сих подвигов выходил он здрав и невредим, благодаря очарованной броне, т. е. фуфайке, сшитой верными руками его нянюшки! О! эти первые наслаждения матери, предвкушение будущей ее гордости своим сыном, будущим героем, знаменитым министром, дипломатом, ученым, поэтом и пр. и пр. ...эти наслаждения ни с чем сравниться не могут!

Правда, и Валенька подавал о себе самые лестные надежды. В десять лет он читал почти без запинки, а в одиннадцать уже прочел все томы «Тысячи и одной ночи», всего «Влюбленного Роланда» и даже старинную «Историю о разорении Трои, столичного града Фригийского царства». Мало того: он даже рассуждал о прочитанном. Иногда находил он в голове своей некоторые сомнения о некоторых необыкновенных происшествиях, как, например, о людях, превращенных

в рыб и жарившихся на сковороде, которая, как он судил по сравнению с поваренною посудой батюшкиной кухни, все же не могла быть более аршина в поперечнике; или об ужасных ударах, от которых распадалась целая каменная гора, а не распадалась голова Роландова. Иногда же, сам стыдясь своей тупости, не понимал он *конского достоинства*, в которое жаловал древних витязей славяно-русский переводчик «Истории о разорении Трои». Но пылкое воображение юного чтеца чаще всего сглаживало шероховатую тропу сомнений или перескакивало через границы непонятного и несло Валерия на крыльях своих в очаровательный мир мечтаний.

Детский возраст не остается при одних мечтах: он требует действительности или, по крайней мере, деятельности. То же самое пылкое воображение олицетворяло и воплощало для Валерия все чудеса, созданные сказочниками арабскими и поэтами итальянскими. Ноги одиннадцатилетнего кандидата в рыцари были его Ипогрифом и носили его за облака, если позволят так назвать соломенный навес, служивший вместо сушильни. Оттуда глаза его обозревали неизмеримую даль — до самых крайних пределов огорода, в котором сушильня была поставлена. Мы уже видели, как победоносно юный витязь наш ратовал с маковыми головами Аграмантов, Сакрипантов и других неверных богатырей и с заколдованными щитами подручников их, злобных исполинов-подсолнечников.

Но детский возраст не вечен. Наступала для Валерия другая пора, пора юности пылкой, мечтательной, полной страстями. Батюшка его между тем слабел телом, но не духом, ибо все еще копил деньги и не давал их слишком тратить даже своей супруге... Даже своей супруге! легко сказать. Это она чувствовала и притом помнила, что большая часть имения принадлежит ей; что она вправе располагать, по крайней мере, наличными суммами по своей воле; что время ее Валеньки улетает; что ему пора узнать иностранные языки, пора учиться словесности и всему прочему; чувствовала, помнила — и поставила на своем, т. е. переупрямила своего сожителя. Терентий Иванович, скрепя сердце, должен был выписать из Москвы гувернера-француза и дядьку-немца (сии тонкие различия были предписаны Маргаритою Савишной), а сверх того ехать в губернский город и приискать там учителя-семинариста, который бы обучил Валеньку всем возможным наукам. В ожидании прибытия француза и немца, которых уже одни путевые издержки пугали деньголюбивое воображение Терентия Ивановича, сей последний уте-

шался, по крайней мере, тем, что за самую сходную цену нашел желанного семинариста и привез его с собою на облучке. Семинарист, в долгополом китайчатом сюртуке, с бурым — некогда черным — платком на шее, явился пред ясные очи Маргариты Савишны для предварительного испытания в науках, которые он должен был преподавать Валеньке и в которых Маргарита Савишна считалась и сама себя считала весьма сведущею.

— Ты учился, дружок? — был первый вопрос ее, после низкого поклона и краткой приветственной речи вежливого семинариста.

— Учился, премногомилостивая государыня! — отвечал он с новым поклоном.

— Чему же учился ты?

— Всему, от Инфимы и Синтаксимы до Богословия.

— А! хорошо! знаю. Поэтому тебе должны быть известны: зоология, филология, антропология, космология, хронология, этимология, орнитология, патология, метеорология, идеология, минералогия и мифология?

Семинарист отвечал только поклоном.

— Также астрономия, биномия, агрономия, анатомия, метрономия и политическая экономия?

Ни слова, и поклон.

— А логика, физика, геральдика, грамматика, гидравлика, тактика, пиитика, ботаника, материя-медика, риторика, этика и арифметика?

Молчание, и новый поклон.

— География, стенография, орфография, гидрография, каллиграфия и хорография?

Тоже молчание, и еще поклон.

Маргарита Савишна приостановилась, между тем как Терентий Иванович восхищался столь разнообразными знаниями своей супруги. Молчание — знак согласия, слыхала она; следовательно, семинарист соглашался, что знал все вычисленные ею науки (которых название — скажем в скобках — выписывала она в свободные минуты на особых листках из лексикона и других книг и затверживала наизусть для своего ученого обихода). Однако же сомнение — сей заклятый враг великодушного убеждения, как говаривал новый наш знакомец, семинарист — злобное сомнение колебало дух Маргариты Савишны.

— Так ты знаешь все эти науки, голубчик? — покусывая губы, спросила она опять семинариста, который прямо смотрел ей в глаза.

— Знаю кое-что по силе возможности, многомилостивая государыня; но ваше благоутробие изволили наименовать многие такие науки, которые не преподаются в семинариях.

— Как не преподаются? куда же годятся ваши семинарии? Чему же вас там учат? Поэтому ты очень мало знаешь?

Студент был, как говорится, малый не промах; его недаром товарищи прозвали медным лбом. Он уставил большие свои глаза свинцового цвета на Маргариту Савишну, поклонился ей пренизко и отвечал:

— Милостивая и премногомилостивая государыня! поелику мудрейший из человеков, divinus ille Socrates*, говаривал: «Я только то знаю, что ничего не знаю», то мне ли, малейшему в братии моей и последнейшему в доме отца моего, похваляться знаниями, которыми Бог сподобил просветить слабое мое разумение? И пред кем? пред ученейшею и разумнейшею из жен благорожденных! пред оною, что превосходит лепотою Юдифь и Вирсавию, целомудрием Сусанну и дщерей Лотовых, мудростию же Эсфирь и царицу Савскую! Мне ли, смиренному, возвысить глас мой там, где сама олицетворенная мудрость председает в лице вашем? О! да мимо идет сей фиял гордыни и самонадеяния! Я же, уничиженно припадая к стопам вашего благоутробия, взываю: пред вами я безгласен, аки рыба, и глуп, аки пень древесный!

Сей поток красноречия, сия похвальная скромность, разведенная сахарною сытóю лести, весьма понравились Маргарите Савишне. Она улыбнулась весьма благосклонно и, потупя взор свой с самодовольною ужимкой, сказала: «Знаю я вас, господа ученые! Все вы говорите, будто запас сведений ваших скуден; а дойдет до дела, так откуда что возьмется: и ученость, и отборные слова польются рекою».

Студент поклонился с таким видом, который ясно говорил: ты не ошиблась; и обе состязавшиеся стороны расстались гораздо довольнее друг другом, нежели сначала были. Всех же довольнее был Терентий Иванович, который дешево отделался в полном смысле сего выражения: и успел угодить своей супруге, и не слишком истратился.

Круг познаний Валерия Терентьевича Вышеглядова на 14-м году его возраста весьма распространился; ему преподавали: грамматику, арифметику, пиитику Аполлоса, логику Баумейстера. Наконец приехали из Москвы француз, молодой и развязный щеголь, бывший камердинером у камерди-

* Божественный тот Сократ (*лат.*).

нера какого-то вельможи, и немец, отставленный по болезни в ногах и еще другой непоименованной слабости берейтор и паяцо трупы скакунов на лошадях и плясунов на канате. Первый выдал себя за воспитанника Парижской академии наук и предъявил диплом, написанный на большом листе с чудно разрисованными и раскрашенными каймами и диковинною печатью. Диплом сей, заключавший в себе самые лестные засвидетельствования ума, учености и редких дарований, скреплен был весьма многими подписями славнейших академиков; и какой-нибудь привязчивый хронолог, судя по летам г-на Тирботта (так назывался француз), нашел бы явные анахронизмы в сих подписях; ибо тут были имена Вольтера, Дидрота, д'Аламбера, Мопертюи, Шамфора, Лагарпа и пр. и пр. — словом, почти всех энциклопедистов и других отживших знаменитостей XVIII века. Другой учитель, т. е. немец, сказал о себе просто, что он доктор всех наук и всех германских университетов; но что оставил все свои дипломы в Москве, ибо их столько набралось и они так огромны и тяжеловесны, что для них надобно было б нанимать особую подводу. Поверив одному, помещики села Закурихина не видели никакой причины не поверить на слово и другому; особливо Терентий Иванович скорее всех убедился доказательствами немца и еще благодарил его за столь благоразумную расчетливость, смекнув, что наём лишней подводы поставлен был бы на счет его же, Терентия Ивановича, и, следовательно, ввел бы его в новый убыток. А что прибыли в этих размалеванных дипломах? Немец был как немец и, конечно, говорил на своем языке без запинки; иного и не требовал от него Терентий Иванович. Притом же нахмуренный вид, беззубый рот, удушливый кашель и брюзгливая, отчасти похожая на кривлянье усмешка Адама Адамовича Гросшпрингена заявляли глубокий ум его, а огромный, рыжий его парик ясно показывал, что под ним-то гнездилась вся ученость. Оба сии профессора (они не величали себя иначе) учили Валерия почти так, как учат попугаев, и хвалились легкостию своей методы преподавания; за книги они редко принимались, сберегая их, по выражению Грибоедова, *для больших оказий.*

Юный их питомец с жадностию пожирал первенцы плодов учения: лепетал по-французски, сбиваясь отчасти на гасконское произношение, и твердо, резким голосом выкрикивал слова на так называемом *плат-дейч;* ездил верхом и прыгал какие-то затейливые *па* под руководством Адама Адамовича, кланялся и шаркал весьма *грациозно* в подра-

жание мосье Тирботту. Русское ученье не так легко давалось ему: во-первых, потому, что и науки казались ему несколько скучными, а во-вторых, что и сам его учитель, семинарист, гораздо охотнее сиживал за обеденным столом, нежели за учебным.

В осьмнадцать лет Валерий Терентьевич слыл уже самым благовоспитанным, самым ученым и самым ловким молодым человеком во всем околотке села Закурихина. Француз, немец и семинарист уже были отпущены из дома г-д Вышеглядовых с одобрительными свидетельствами и с приличным награждением, к немалому прискорбию Терентия Ивановича. Матушка начала вывозить Валерия с собою в гости к ближним и дальним соседям, чтобы, как говорила она, ввести его в свет. Случались ли у кого-нибудь из достаточных помещиков их округа именины, храмовой праздник или другое какое собрание,— Маргарита Савишна, разряженная в пух, являлась там с сынком своим и говорила с ним не иначе как по-французски, поглядывая вокруг себя с гордым и самодовольным видом. «M. Valère, dites au cocher qu'il donne la carosse; — M. Valère, demandez à Яшка mon salope;— M. Valère, ne vous refroidissez pas en dansant»*, сии и подобные фразы поминутно спархивали у нее с языка и удивляли сельских дворян отличною образованностию матушки и сына, которые, по общему сознанию, «за французским языком в карман не ходили».

Пора юности пылкой, мечтательной, полной страстями, предсказанная нами за несколько страниц пред сим, теперь уже наступила для Валерия Терентьевича Вышеглядова. Воспитанный на романах, выученный всему, как птица певчая по серинетке, Валерий сам во глубине души соглашался с теми из своих соседей, которые видели в нем осьмое чудо света; но он был скромен, вежливо кланялся, усердно целовал ручки дамам, отвечал всем и каждому *да-с* и *нет-с*,— словом, ни в чем не похож был на Евгения Онегина, за что, без сомнения, добропорядочные наши журналисты похвалят моего Валерия Вышеглядова. Следствием такого поведения было то, что все любили его столько же, сколько не жаловали пышной и надменной его матушки. Первое в жизни горе поразило его около этого времени: родитель его, Терентий Иванович, день ото дня становившийся более хилым и немощным, наконец, вопреки злоречивой отметке эпиграмматиста, *гори-*

* Господин Валерий, скажите кучеру, чтобы он подавал карету;— Господин Валерий, спросите у ⟨Яшки⟩ мой салоп; — Господин Валерий, не простудитесь, танцуя (*фр.*).

зонтально кончил век, т. е умер своею смертию, как говорит наш добрый народ о тех, которые не погибли от руки палача, от ножа разбойничьего или от когтей медведя и других подобных *казусов*. Валерий Терентьевич в глубокой печали, о которой свидетельствовал черный его фрак с широкими плёрёзами чуть ли не по всем швам, поникнув головою, шел за гробом своего батюшки и плакал горькими слезами в назидание всех, видевших его во время погребальной процессии. Матушка его, соблюдая приличия, свойственные особам высшего звания, к коим причисляла она себя, скрыла свою горесть в уединении внутренних комнат; однако же, как женщина с твердым духом и удивительною способностию соображения, испросила себе законным порядком право опеки над имением своего сына до совершеннолетия сего последнего.

Год траура мать и сын провели в строгих правилах наружной скорби, сей установленной приличиями вывески скорби внутренней (хотя, как и все другие вывески, она не всегда может служить надежною порукой в неподдельности того, что́ ею возвещается). Во весь этот год Маргарита Савишна никуда не выезжала, никого не принимала; она и Валерий почти беспрерывно читали вдвоем, читали романы, которых выписали они из Москвы огромный запас, основываясь в выборе заглавий на одобрительных свидетельствах объявлений, помещаемых в прибавлениях к Московским Ведомостям и составляемых сметливыми издателями-книгопродавцами. Объявления сии хотя не служат доказательством грамотности своих сочинителей, но взамен того сколько пышных, заученных похвал, сколько восклицаний, сколько точек они в себе заключают! Маргарита Савишна и Валерий всегда с жадностию их пробегали, увлекались высказанными в них достоинствами новых произведений московской книжной промышленности — и почта за почтой отправляли в Москву деньги, с тех пор как Терентий Иванович успокоился в гробе, и некому стало ворчать и жаловаться на лишние и бесполезные издержки.

Чтение сих книг действовало совершенно различно на мать и сына. Маргарита Савишна страстно любила разбойничьи за́мки, блеск кинжалов, похищение несчастных героинь и тайные заговоры душегубцев под окнами невинной жертвы, обреченной на убиение и заключенной в тесной комнате восточной либо западной башни. Словом, воображение Маргариты Савишны, женщины с сильным характером и крепкими нервами, услаждалось только романическою кровью, дышало атмосферою темниц, питалось запахом убийств; она,

так сказать, жила ужасами. Напротив того, Валерий Терентьевич, юноша мягкосердечный, пленялся исключительно романами чувствительными, симпатией двух нежных сердец, бедствиями юных любовников, разрозненных судьбою и несправедливостию людей.

Откройся мне, о милый сын натуры!
Что сладкое твой окропило взор?

мог бы спросить у него сочувствующий ему *сентиментальный* поэт или путешественник, увидя на глазах его слезы, слезы чувства живого и доброго, исторгнутые чтением жалостных приключений, коими заунывные наши Стерно-Вертеры долго и безжалостно терзали тоскливые сердца своих читателей.

Это различие во вкусах матери и сына наложило печать свою на самые их поступки, и даже на семейственные их отношения друг к другу. Маргарита Савишна во всем изъявляла твердую волю, решительность и некоторое величавое упорство; Валерий Терентьевич, напротив, считал себя существом чисто страдательным, покорнейшим слугою обстоятельств и чужой воли. Диво ли, что мать совершенно овладела им? и если от этой противоположности понятий и целей не происходило у них до сей поры домашних несогласий, то причиною тому было убеждение Валерия Терентьевича, что он создан для того, чтобы страдать, чтобы люди и введенный ими порядок враждовали с ним и подчиняли его своему игу; словом, что он несчастный, нелюбимый сын природы и родился для меланхолии, безответной грусти и слез.

Таким образом, когда по совершении Валерию девятнадцати лет матушка объявила ему, что он должен путешествовать, и по крайней мере года четыре,— он беспрекословно уложил в чемоданы белье, платье и книги свои, сел в коляску с старым камердинером отца своего Трофимом Чучиным и отправился куда глаза глядят. Нужно прибавить, что Трофим Чучин, произведенный Маргаритою Савишною в походные менторы ее сына, был старик себе на уме, особливо же в высшей степени одарен был общею почти способностию русских слуг: подсматривать и подслушивать, что делают господа их. Кроме того, он был расторопен, скромен, усерден (в особенности к барыне, которую всегда и все признавали главою дома) и верен — когда дело не доходило до денег. Он принял от Маргариты Савишны некоторые тайные наставления и шкатулку с предписанием: выдавать из нее Валерию Терентьевичу по его требованию, но не более полу-

сотни червонцев разом, и вести путевые и прочие расходы. В заключение всего ему было обещано, что если он благополучно совершит путешествие с молодым своим барином и представит его обратно подобру-поздорову, то будет награжден по заслугам и даже получит отпускную на волю. Сколько причин для сметливого старика служить и прямить Маргарите Савишне, и какое обширное поле для его небескорыстной расчетливости!

Из одного уездного города той же губернии, в которой Маргарита Савишна *пребывала здраво* (говоря поэтическим языком Тредьяковского), получила она от сына своего письмо следующего содержания:

«Дражайшая родительница!

Милостивая государыня, матушка Маргарита Савишна!

Еще я странствую под отечественным небом, в нежных объятиях сладостного воздуха родины, хотя и совершил уже значительный переезд, а именно почти шестьдесят верст от колыбели лучших дней моей жизни и свидетеля первых моих восторгов, села Закурихина. Благословляю сей мирный приют моего детства и посвящаю ему от сердца капли благородных слез!.. Оставляю на минуту перо... Сердце мое сжалось: какая-то мрачная тоска завивается в нем... и письмо сие, омытое моими слезами... Но поглощу в себе сие чувство безотрадной грусти и стану продолжать далее.

Мы выехали из Закурихина под благоприятнейшими предвестиями: солнце текло по небесному пути своему, птички пели по рощам, бабочки порхали по лугам. Дорогою встречались нам *интересные* крестьянки в изорванных сарафанах, как толпа *фараонитов*, с граблями на плечах и с громкими звуками *национальных* песен, сладостных в своей дикости... Природа неизмеримо глубокая и вечно юная! благоговею пред тобою!..

Вечером мы приехали в городок*** — не хочу назвать его по имени, чтобы доставить будущим моим читателям удовольствие догадываться. Жалостная *группа* бедных ребятишек окружила нашу коляску и с криком просила подаяния. Осушив платком слезу душевного участия, выкатившуюся из глаз моих, я вынул кошелек и роздал им все мелкое серебро, которое имел при себе.

Добрый верный мой Сысоевич Чучин сообщил мне благую мысль, с которою я тогда же согласился. Он сказал мне, что, прежде нежели я увижу страны далекие, чуждые, мне должно покороче познакомиться с моим отечеством. Мысль

превосходная! Добрый, добрый Сысоевич! будь по совету твоему! — Россия! отечество! тебе первый вздох благодарного сыновнего сердца!.. Хочу проникнуть в самые тончайшие *фибры*, бьющиеся в груди твоей, и остаюсь в городке*** по крайней мере на две недели.

Не беспокойтесь же обо мне: еще меня лелеет атмосфера родины. Посылаю вам вздох и слезу прощения.

Ваш всепокорнейший слуга и сын,

Валерий Вышеглядов».

Вместе с сим письмом Маргарита Савишна получила донесение Ментора Сысоевича Чучина, который уведомлял госпожу свою весьма подробно и поименно о городе, улице и доме, где путешественники наши остановились, и заключил отчет свой сею успокоительною фразой: «При его благородии Валерии Терентьевиче, а так равно при экипаже и поклаже все обстоит благополучно».

Прямодушный повествователь приключений Валерия Терентьевича Вышеглядова и дядьки его, Трофима Чучина, я не скрою от читателей моих истинной причины, внушившей сему последнему ту патриотическую мысль, которую сообщил он юному своему Телемаку. Сысоевич, как выше сказано, одарен был редкою сметливостию, особливо в тех случаях, которые могли наполнить деньгами карманы его поношенного сюртука, сшитого из синего домашнего сукна. Он тотчас смекнул, что за границею, по незнанию чужеземных языков, должен он будет поневоле передать все денежные сделки в руки своего барина; притом же, что выторгуешь в Немечине (так называл он все чужие края)? Он слыхал, что там не торгуются, не то что у нас, особливо в уездных городках. Следствием этого умного соображения было твердое намерение удержать сколько можно долее господина своего в Русском царстве, и лучше всего на родине, т. е. в той губернии, где он родился, и в соседних с нею. Там нравы жителей и цены припасов были совершенно известны Сысоевичу; там мог он торговаться вволю и, по словам его, *зашибить копейку*. Но Сысоевич знал, что хотя он и облечен был в почетное звание барского дядьки, однако же не мог действовать самовластно; знал также, с которой стороны можно было подъехать к молодому его господину — со стороны чувства, истинного или ложного все равно, лишь бы тут была тень чувства. Еще на первом переезде Сысоевич, сидя в коляске подле Валерия Терентье-

вича, повел речь стороною, что Лукерья Минишна, нянька Валериева, горевала об отъезде своего вскормленника, а пуще всего о том, что он ехал к нехристам, не наглядевшись прежде света божьего на святой Руси, между православными. К этому Сысоевич прибавил и свое замечание, вставленное как бы невзначай, что русскому дворянину гораздо нужнее и полезнее знать свой родимый край, нежели то, что делается у немцев и французов. Каковы ни были тайные побуждения Трофима Чучина, но мы должны сознаться, что мысль его в основании своем была справедлива. Сила его логики убедила Валерия Терентьевича, и доказательством сего убеждения служит предположенное им двухнедельное пребывание в уездном городке, которого имя скрыл он с столь замысловатою целью в письме к своей матери.

Сысоевич того только и ждал. Едва въехали они в город, как сей неутомимый человек выскочил из коляски и пустился из двора во двор по ветхим домикам, стоявшим почти у самого въезда в непоказный городок. Вы легко отгадаете, зачем он пустился; а если нет, то, по обязанности верного историка, я скажу вам, что Трофим Чучин хотел отыскать в обывательских домишках квартиру поуютнее и подешевле. Это удалось ему вполне. Он нанял за самую сходную цену две отдельные комнатки в доме вдовы дьяконицы и просвирни. Поклажа была мигом выгружена, коляска подкачена под соломенный навес и Телемак-Валерий с Ментором Сысоевичем водворились в новом своем жилище.

Увы! расчетливый и благоразумный Ментор не предвидел, что жилище сие будет истинным островом Калипсы для юного спутника его! У просвирни была дочь Малаша, девушка лет шестнадцати, стройненькая, смазливенькая, белокуренькая резвушка, с личиком полным; белым и румяным, как свежий персик, манящий жадные взоры лакомого зрителя. Малаша жила с матерью своею через сени от комнат Валериевых. Молодые люди встретились впервые в сенях, поклонились друг другу, стыдливо усмехнулись, покраснели — и сердца их сильно забились; а от чего? сами они не могли понять. Окна Валериевой спальни были прямо в огород просвирнин. Малаша поминутно туда выпархивала с легкостию птички то сорвать петрушки, то прополоть гряду с капустой, то полить любимые свои цветочки. Валерий безотходно сидел у окна. Глаза их всякой раз невольно встречались — и опять он и она усмехались стыдливо, и опять краснели, и опять сердца их бились, как будто хо-

тели выскочить. Что это? любовь? — Да, любовь: первая любовь двух юных сердец, о которой Валерий так много начитался.

Наконец Валерий не мог долее сносить полноты своего сердца. Ему становилось душно, голова его горела, глаза покрывались какою-то теплою влагой при одном взгляде на Малашу. «Мелания! прелестная Мелания!» — вскричал он однажды, как бы в забытьи, и мигом очутился в огороде. Подошел к красавице, хотел высказать ей все, что чувствовал — и вдруг смутился, оробел и мог только сквозь зубы пролепетать: «У вас на зиму много будет капусты...»

— Много, сударь, слава богу! — отвечала Малаша, нисколько не смешавшись.— Да и не одной капусты: посмотрите, сколько моркови, репы, луку...

— Ах! лук выедает мне глаза! — жалобно проговорил Валерий.— Я от него всегда плачу...— И слезы в самом деле навернулись у него на глазах.

— Ништо! — возразила девушка,— не кушайте сырого.

— Ах! я не ем... Я теперь ничего не ем! — вскричал Валерий в каком-то самозабвении.

— Ахти! ужли нездоровы? Не сглазил ли кто?

— Ты, ты меня сглазила, милая, прелестная Мелания!

— Я? Упаси господи! Да с чего мне? У меня же и глаз не черный.

— Так! Эти голубые глаза, эти небесные очи обворожили мое сердце...

— Вот что! — протяжно и вполголоса промолвила девушка, у которой светлая мысль промелькнула в голове, и глаза ее невольно потупились в землю.

— Мелания! милая, несравненная Мелания! ангел красоты и невинности! — восклицал Валерий, более и более усиливая голос и почти не помня себя.

— Потише, сударь; бога ради, потише! Матушка услышит, либо кто посторонний, тогда мне беда.

— Что мне в том! Пусть слышит меня целый мир! Пусть само небо внемлет моим клятвам! Я твой, навеки твой!

— А коли ты не на шутку ее, господин честной, так на это есть поп да святая церковь,— отвечала вместо дочери своей просвирня, которая, услыша громкие речи в огороде, заглянула туда и подкралась молодым людям.

— Ах! — воскликнула Малаша.

— Ох! — вздохнул всею грудью Валерий, но скоро оправился и отвечал просвирне:

— Ужли вы думали найти во мне злобного соблазнителя невинности? Нет! клянусь: намерения мои чисты, как душа моя. Дочь ваша будет подругою моей жизни — или никто в мире.

— Ну, то-то же! — молвила просвирня, поняв из этих, не совсем ясных для нее слов, что дело шло о законном супружестве.— Пишите к своим родным, а мы пока поприготовимся; а там веселым пирком и за свадебку.

— Дайте мне срок... позвольте устроить все...

— И ведомо! Мы вас не тянем сейчас под венец. Уладьте все, как надо; а с Малашей вам пока не след шушукаться. Можете видаться с нею при мне, а не заглазно. Теперь милости прошу отсюда вон. Огород я запру на замо́к, и сама буду ходить в него; этой дуре не удастся больше продавать здесь глазки да слушать медовые речи. Прощенья просим!

Старуха вывела за руку дочь свою; Валерий отправился к себе в комнату, встревоженный, взволнованный и даже испуганный тем, что случилось, особливо безрассудно своею клятвой, которую считал он священным обязательством. Слезы, обыкновенное его прибежище в сомнительных случаях, обильными ручьями пролились из глаз его.

Беды росли и множились над нашим героем. Не одни Малаша и мать ее слышали его клятву: у него был свидетель гораздо опаснее. Трофим Чучин, вязавший на досуге шерстяной чулок, видел как барин его опрометью бросился вон из комнаты. Лукавый старик тотчас догадался, что это было недаром. Он вошел в спальню Валерия, притаился у отворенного окна и подслушал весь разговор в огороде, не проронив ни одного слова. Волосы стали дыбом на седой его голове. «Вот-те и отпускная! Вот-те и барские милости! Вот-те и награждение от госпожи!.. Не потерплю этого, хрычовка просвирня! Не дам тебе над нами насмеяться! Завтра же напишу к барыне, не то она отсчитает иное жалованье на моей спине... И я, старый дурак, уговорил его остаться здесь на две недели! Куда мой ум девался?..» Так ворчал он себе под нос, скрежеща с досады зубами; но когда Валерий возвратился в спальню, Сысоевич сидел уже на своем месте и по-прежнему вязал чулок, как будто ничего не знал и не подозревал.

Вечером хитрый дядька пытался уговорить своего молодого барина уехать из тамошнего городка прежде назначенного им срока. «Не поеду! — был ему ответ.— Судьба приковывает меня к здешнему месту; я не властен, я

не могу бороться с нею...» Слезы помешали Валерию докончить.

Делать было нечего. Сысоевич на другой же день отправил к Маргарите Савишне письмо, в котором заключался полный донос о любви Валерия и в котором, разумеется, просвирня и дочь ее не были пощажены. Старуха была описана как страшная колдунья, поселившая в Валерия Терентьевича любовь к своей дочери приворотными корешками. Любовь! без ведома матери! замыслы тайного брака! Колдовство и, может быть, яд, и все неведомые силы природы, и вся бесовщина... Это взорвало мрачное воображение Маргариты Савишны, дочитывавшей в то время «Видения в Пиренейском замке». Казнь преступнице-колдунье, похищение юной ее дочери и заключение ее в подземелье, в которое можно было превратить винный погреб Закурихинского дома,— всё это мигом отразилось в мыслях г-жи Вышеглядовой. Но когда холодный рассудок сменил пылкость первых ощущений, тогда дело приняло другой оборот. О горящем костре для просвирни нельзя было и думать: в наше время не жгут колдунов, да и доказать колдовство было делом сомнительным, даже невозможным. Короче, желанного костра нельзя было сложить ни за какие деньги. Похитить девушку? это, конечно, было легче; да каково отвечать перед судом? Теперь уже люди не пропадают так, чтоб и след простыл. Не те времена! Не возвратить уже блаженных средних веков, когда сильный мог давить слабого, сколько душе угодно; когда башни и подземелья безнаказанно наполнялись несчастными жертвами; когда подкупные убийцы всегда держали наготове кинжалы и яды к услугам руки мстительной и щедрой... Маргарита Савишна, перебирая все это в мыслях своих, тяжело вздохнула об испорченности нашего века.

Однако надобно же было на что-нибудь решиться. Средства, более простые, но зато более верные и безопасные, пришли ей в ум: разлучить Валерия с его нареченною невестой, увезти его и запереть у себя в доме, а между тем откупиться от старухи и подослать выгодного жениха к ее дочери... Прекрасно! тут и роман, роман полный: с завязкой, случайностями и развязкой. Прекрасно! да здравствуют романы! Они служат превосходным запасным пособием в подобных случаях. Ну какой бы человек, будь он хоть самый умный и рассудительный, мог подать лучший совет? А из романов и без посторонней помощи можно всему этому научиться. Да здравствуют же романы! Хвала и веч-

ная память вам, Радклиф, Дюкре-Дюмениль, и прочие, и прочие... И Маргарита Савишна мигом отдала приказ, чтобы завтра же с рассветом была ей готова карета, запряженная шестернею, и чтобы с вечера еще переменные лошади отправлены были на полдороги к известному нам безыменному городку.

Между тем Валерий Терентьевич, не предвидя собиравшейся над ним грозы, таял в нежных чувствованиях подле Малаши. Месила ли она тесто, он жадным взором смотрел на обнаженные до плеч ее руки, любовался их движениями, сравнивал их белизну и нежность с белизною и нежностию крупичатой муки и находил, что руки Малашины несравненно белее и нежнее; но он завидовал тесту, которое она сжимала в руках своих так мило, с такою роскошною негой и, можно сказать, почти с любовью! Он жалел, для чего сам он не тесто! Варила ли она щи, стоя перед большою русскою печью, он и тут любовался ею и сравнивал живой румянец ее разордевшихся щек с ярким пламенем горевших дров, а искры глаз ее с искрами, брызгавшими от угольев. Несла ли она ведра с водою, он опять любовался красивым наклонением ее тонкого стана, ее легкими перевалами со стороны на сторону, приятною игрой кругленьких ее плечиков, ее мерною поступью и находил, что лебединая шея красавицы несравненно гибче и стройнее коромысла, которое она держала на плечах с обворожительною ловкостью; он заглядывал в полные ведра, чтобы видеть в них отражение миловидного ее личика. Словом, все мечтательные глупости сентиментальных романических любовников выполнял он на самом деле, и еще с разными добавками, с разными утончениями. Он почти не выходил из светлицы просвирниной, ибо ему строго было запрещено видеться с Малашей иначе, как перед глазами ее матери; а мы уже знаем, что Валерий всегда был покорнейшим слугою чужой воли.

Увы! не долги были сии тихие, невинные наслаждения! Не долго жил всею полнотою души несчастный друг наш, Валерий Терентьевич! На третий день после известного нам признания, в два часа полудни, раздался необыкновенный стук на большой улице мирного городка***. Стук приближался, усиливался — и перед воротами просвирнина домика остановилась большая дорожная карета. Два долговязых лакея в богатой мишурою ливрее, соскочили с запя-

ток, отворили дверцы, опустили подножку — и по ней медленно и важно спустилась тучная Маргарита Савишна, одетая со всею пышностию знатной барыни (в этом заключалось у ней особое намерение, а именно — чтобы блеском и пышностию ослепить и унизить просвирню и дочь ее). Старуха и Малаша вздрогнули; Валерий, бывши тогда у них, побледнел как полотно и опрометью выскочил на улицу, встретить нежданную и незваную гостью. «Веди меня в свою комнату!» — проговорила она повелительным голосом и с суровым взглядом, отдернув прочь руку, которую Валерий хотел поцеловать. И он за своею матерью

побрел, как теленок
Вслед за своим мясником бредет к кровавой колоде.

— Неблагодарный сын! — воскликнула Маргарита Савишна, войдя в комнату и сев на лавке, в переднем углу.— Так ли ты платишь за материнские мои попечения, за ту высокую образованность, которою ты мне обязан?

— Матушка, бесценная родительница! — говорил Валерий, всхлипывая,— чем заслужил я гнев ваш?

— Чем? безрассудный! Я все знаю. Думаешь ли ты утаить от меня свою низкую, презренную страсть, свои преступные замыслы?

— Успокойтесь, матушка,— отвечал Валерий, приосанясь.— Страсть моя благородна, предмет ее достоин обожания, и намерения мои чисты.

— Тебе ли говорить это, мелкое исчадие рода Вышеглядовых? — вскрикнула раздраженная Маргарита Савишна громовым голосом.— Недостойный выродок своих предков! ты мечешь под ноги те преимущества, которые они тебе передали, те права, которыми они тебя наделили.

— Матушка, матушка! я ценю преимущества сердца невинного и души ясной, признаю права матери-природы!

— Так ты не боишься гнева моего? не боишься проклятий, которые обрушу я на твою голову?.. С кем ты говоришь? Разве с обыкновенною женщиной? Забыл ли ты, какою силою духа закалены мой ум и характер?.. О! если бы не нынешний, вялый порядок вещей, я показала бы этим ничтожным тварям, этим пресмыкающимся гадам, каково мщение раздраженной женщины моей породы! Я отравила бы каждую минуту их существования, я превратила бы в пытку самый воздух, которым они дышат, я поразила бы их тысячью смертей; их стоны были бы для меня усладительною музыкой...

— Матушка, матушка! пощадите! о, пощадите! — пролепетал Валерий, почти без памяти упав перед ней на колени.

— Оставишь ли ты свое сумасбродство? откажешься ли от презрительной своей страсти? разорвешь ли те постыдные цепи, которыми спутан?

— Нет, это уже слишком! это свыше сил человека! — сказал Валерий, встав и выпрямясь.— Вы властны делать со мною что угодно: лишить меня наследства, заключить в темницу, терзать меня всеми возможными муками... Но заставить меня отречься от сладостнейшей моей мечты, переменить предопределение судеб, вырвать из меня заживо половину сердца,— о! этого не вы, ни что в мире не может сделать.

— Хорошо! — отвечала Маргарита Савишна с грозным хладнокровием обдуманной мести.— Следуй за мною.

Валерий безмолвно повиновался. Она вывела его на улицу, велела отпереть карету, втолкнула в нее своего сына и заперла ключом дверцы кареты. И между тем как Валерий прощался взорами с Малашей, грустно смотревшею в окно своей светлицы, Маргарита Савишна в стороне приказывала Трофиму Чучину переговорить со старою просвирней, употребить и угрозы, и обещание наград, чтоб она скорее выдала дочь замуж, а по использовании сего поручения возвратиться с коляской и поклажей в деревню. Окончив сей наказ, Маргарита Савишна отперла дверцы, села в карету, опустила шторы у каретных стекол и велела людям во весь опор скакать по дороге к Закурихину.

Старуха Селифонтьевна, мать Малаши, была женщина с характером, может быть, вторая Маргарита Савишна в черном теле. Она решительно отвергла все предложенные ей условия, не щадя обидных колкостей барыне и ее поверенному; объявила сему последнему, что она ни за что в свете не откажется от будущего своего зятя, Валерия Терентьевича; что дочь ее еще очень молода и может подождать, пока нареченный ее жених сделается сам себе господином; что она, просвирня, не хуже иных-прочих; что хотя бог не наделил ее богатством, а все-таки у нее водится копейка про черный день, и что наконец дочка у нее моленая, прошеная у бога, а не продажная. Сысоевич должен был выслушать все это, заплатить старухе за постой, не выторговав ни гроша, и отправиться в Закурихино, повеся голову от неуспешности своих переговоров.

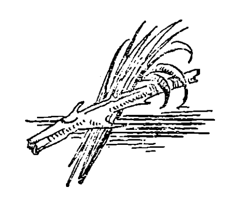
Маргарита Савишна между тем уже возвратилась домой, уже ввела Валерия в северную башню, построенную ею незадолго перед тем на одном углу дома, по плану, начитанному в каком-то разбойничьем романе. Башня сия снаружи обита была сосновыми драницами, выкрашена дикою краской под цвет гранита и по швам облеплена мхом, чтобы дать ей вид более древний и более угрюмый. Окна в ней были маленькие, круглые, сделанные высоко от полу. Комната, назначенная для Валерия, стояла лицом на большую дорогу, и чтобы заключеннику удобнее было смотреть на свет божий, у окна сделаны были подмостки о нескольких ступеньках. Впрочем, для узника заранее приготовлены были все удобства жизни в этой темнице, даже все, что составляло любимые его занятия. Илюшка Лыкодеров, высокий, ражий, плечистый мужичина, произведен был из лесничих в тюремщики. Он расхаживал увесистым шагом у наружных дверей башни, в смуром камзоле, в высоком кожаном картузе, сделанном наподобие шлема, с черною бахромою по гребню. Страшно было видеть, когда при лунном свете Илюшка Лыкодеров стоял неподвижно как привидение и дремал, опершись на древко ржавого своего бердыша, и когда длинная тень его черным очерком рисовалась на мрачной стене северной башни!

Бедный узник, заключенный в стенах ее, лил неиссякавшие ручьи слез. Если бы пора Овидиевых превращений не миновала, он верно бы разлился рекою, как Ахелой. Напрасны были все старания деятельной просвирни, напрасно она доносила суду, что Маргарита Савишна томит сына своего в тяжкой неволе: когда суд приехал с повальным обыском, то Валерий Терентьевич со слезами объявил, что он, жалкая жертва ударов строгой судьбы, сам добровольно обрек себя на заключение. Самоотвержение истинно великодушное! Но оно не подействовало на черствое сердце Маргариты Савишны: Валерий по-прежнему остался узником под надзором Илюшки Лыкодерова. Там сидит он и теперь, у окна башни, устремя слезящий взор в синюю либо туманную даль, бессменно мечтая о незабвенной Малаше, которая для него отказывается от всех женихов и, произвольный отверженец свободы, ждет оной от какого-то чуда, в каждом облаке пыли, поднимающемся на большой дороге.

А Маргарита Савишна? она по-прежнему читает романы и тучнеет год от году, опровергая тем мнение физиологов и поэтов, что будто бы ненависть и мщение сушат чело-

века и медленно подтачивают жизнь его. Посмотрели бы они на Маргариту Савишну!

Если между нашими современниками найдутся еще странствующие рыцари, защитники гонимой невинности, достойные последователи Амадисов, Эспландианов и Галаоров, то мы приглашаем их съездить в село Закурихино, отыскать северную башню, сразиться с исполином Илюшкою Лыкодеровым и вывесть из заточения друга нашего, Валерия Терентьевича. Подвиг сей покроет их неувядаемою славою и докажет свету, что в наш век не все сердца облиты холодным *эгоизмом*.



ПРИМЕЧАНИЯ

Собрание своих прозаических опытов Сомов обдумывал с конца 1820-х гг. В сознании автора задачу эту облегчало то обстоятельство, что за малыми исключениями его повествовательная проза тяготела к такому объединению, представляя собою своего рода несобранные циклы. По ряду причин (и можно думать, появление гоголевских «Вечеров» занимает среди них далеко не последнее место) намерения этого Сомов при жизни осуществить не успел, а после его смерти стремительное развитие новой русской прозы надолго заслонило скромный вклад одного из деятелей начального периода ее становления. Однако уже с начала нашего века наследие Сомова-прозаика все чаще привлекает внимание историков литературы. За последние десятилетия признание его исторической значимости выразилось в неуклонном росте числа переизданий в составе то новейших сборников романтической прозы, то альманахов 1820—1830-х гг. За «Романом в двух письмах», включенным Б. С. Мейлахом в подготовленный им двухтомник «Русские повести XIX века 20-х — 30-х годов» (М.—Л., 1950), последовали «малороссийская быль» «Гайдамак» и анекдот «Французские чудаки» — в кн.: «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. Изд. подгот. В. А. Архипов, В. Г. Базанов и Я. Л. Левкович. М.—Л., 1960 (Лит. памятники); «Киевские ведьмы» — в кн.: Русская романтическая повесть. Сост., вступ. ст. и примеч. В. И. Сахарова. М., 1980; «Сватовство»—

в кн.: Северные цветы на 1832 год. Изд. подгот. Л. Г. Фризман. М., 1980 (Лит. памятники); «Русалка», «Оборотень», «Бродящий огонь», «Матушка и сынок» — в кн.: Русская романтическая повесть. (Первая треть XIX века). Сост., общ. ред., вступ. ст. и комм. В. А. Грихина. М., 1983 (Университетская библиотека).

Настоящее издание, не объединяя всего наследия Сомова-прозаика, ставит своей целью собрать воедино опубликованные автором фрагменты незавершенной повести «Гайдамак», а также представить основные типы и тематические группы повестей Сомова. Пользуясь тем, что едва ли не лучшая из всех «малороссийских небылиц» Сомова — повесть «Киевские ведьмы» недавно перепечатана в многотиражном издании, мы не включили ее в этот сборник. Поскольку современные перепечатки других повестей выходили в разное время, а публикаторы их руководствовались разными текстологическими принципами, тексты печатаются на основе прижизненных изданий с устранением явных опечаток и погрешностей, оговоренных в примечаниях. За исключением сосредоточенных в начале книги глав «Гайдамака» материал располагается в хронологической последовательности.

Авторские примечания (кроме тех случаев, когда они единичны и приводятся под строкой) печатаются в конце каждой из повестей. Знаком отсылки к ним служат арабские цифры. Знак звездочки (*) отсылает к переводам иноязычных слов и выражений, которые даются составителем под строкой. Постраничные примечания составителя — в конце книги.

ГАЙДАМАК

Малороссийская быль

Впервые: Звездочка на 1826 год. Спб., с. 47—80. Подпись: Сомов. (См. вступ. ст., с. 7—8); перепечатано: Невский альманах на 1827 год. Спб., 1826, с. 242—286. Подпись: Порфирий Байский.

С. 21. Эпиграф — из поэмы И. П. Котляревского (1769—1838) «Энеида» (1798; IV, 101).

чумаки — см. примеч. Сомова на с. 217.

С. 22. *ворган* — музыкальный инструмент; играют на нем, вертя ручку, напевы, записанные на валике.

С. 23. ...*под красную шапку*...— в солдаты.

С. 23. *Добрый человек и скотов милует* — неточная цитата из ветхозаветной «Книги притчей Соломоновых» (12; 10).

С. 24. Эпиграф — из «Думы о походе Хмельницкого в Молдавию» (Малороссийские песни, изд. М. Максимовичем. М., 1827, с. 32). Хмельницкий Богдан Михайлович (ок. 1595—1657) — гетман Украины, руководитель борьбы за ее освобождение от польско-шляхетского гнета, провозгласил воссоединение Украины с Россией (1654).

Каин — по ветхозаветному преданию (Бытия, 4, 1—17), первый сын Адама и Евы, убийца брата своего Авеля.

Сеннахерим — искаженное: Сеннахериб (704—680 до н. э.), ассирийский царь, знаменитый своими вторжениями в Иудею и в сопредельные области.

моавит — моавитяне, семитский народ, родственный израильтянам.

...*в толпе этих назареев*...— в «Звездочке» и в «Невском альманахе», согласно поправке цензора А. С. Бирукова в цензурной рукописи, было: *в толпе народа. Назареи* — иноверцы; здесь: христиане.

С. 25. *Велиал* — (мифологич.) демон-обольститель человека, дух небытия, лжи и разрушения.

С. 25. *торбан* — струнный щипковый музыкальный инструмент, родственный бандуре.

С. 26. *пейсики* (пейсы) — у патриархальных евреев длинные неподстриженные пряди волос у висков.

С. 27. ... *дай ему острогу...* — предостереги его.

С. 28—29. *З низу Дніпра тихий вітер...* — из «Думы о походе Хмельницкого в Молдавию» (см. примеч. к с. 24). Ниже цитируются заключительные стихи той же думы.

С. 29. *...о быстром набеге~из Сочавы...* — события, о которых повествует «Дума», происходили в 1650 г.

...когда Малороссия~горе покоренным! — Из текста, опубликованного в «Невском альманахе на 1827 год», фрагмент этот изъят по цензурным соображениям; восстановлен по тексту «Звездочки».

С. 32. Эпиграф — неточная цитата из поэмы И. П. Котляревского «Энеида» (IV, 126).

ГАЙДАМАК.

Главы из малороссийской повести

Опубликовано в виде трех самостоятельных фрагментов (см. ниже). Подробнее о замысле повести (романа) «Гайдамак» и работе Сомова над ней см. во вступ. ст.

Глава I—III

Впервые: Северные цветы на 1828 год. Спб., 1827, с. 227—300. Подзаголовок: «Отрывок из малороссийской повести». Подпись: П. Байский.

С. 36. *...питомцев Фебовых...* — поэтов.

С. 37. *кунтуш* — старинная польская и украинская верхняя одежда наподобие кафтана с широкими откидными рукавами.

жупан — род полукафтанья.

свита — см. примеч. Сомова (с. 35).

С. 38. *...изображениями, какими Котляревский убрал палаты царя Латина...* — Имеется в виду комическое описание наивных лубочных картинок, представляющих сцены и персонажей (царей, богатырей, разбойников) из книжек, популярных у народного читателя. Ср. примеч. Сомова на с. 57.

филижанка (укр.) — чайная чашка.

С. 39. *подкоморий* — судья, занимающийся вопросами межевания владений.

С. 46. *дукаты* — старинные серебряные, затем золотые монеты. Чеканились во многих странах Европы.

С. 53. *приличные* — здесь: подобающие, подходящие.

С. 54. *...точил балы...* — шутил, балагурил.

С. 56. *притин* — здесь: пристанище.

С. 57. *Як Александр цареві Пору...* — Александр Македонский (356—323 до н. э.) и побежденный им индийский царь Пор; сюжет картинки восходит к переводной повести «Александрия», известной на Руси с XV в. и особенно популярной в XVII—XVIII вв.

...пранцюз (француз) *Картуш*, Луи Доминик (1693—1721), главарь воровской банды, действовавшей в Париже. *Ванька Каин* (II четверть XVIII в.) — известный московский вор, разбойник, а потом сыщик. Легенды и анекдоты об их похождениях составили со временем книги, популярные у народного читателя. Обе «истории» в обработке Матвея Кома-

рова не раз, начиная с 1779 г., издавались вместе под названием «Обстоятельные и верные истории двух мошенников: первого российского славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина...; второго французского мошенника Картуша и его сотоварищей».

Главы XIX—XXI

Впервые: Сын Отечества, 1829, № 23, с. 133—150; № 24, с. 197—213; № 25, с. 261—273. Озаглавлено: «Отрывок из малороссийской повести: Гайдамак». Подпись: Порфирий Байский.

С. 58. Эпиграф — из сборника: Малороссийские песни, изд. М. Максимовичем. М., 1827, с. 110.

смушок — шкурка, снятая с новорожденного ягненка.

С. 64. *присошки* — подставки, подпорки с развилкой.

С. 65. *часточку* — частичку.

Эпиграф — из того же сборника Максимовича, с. 177.

С. 66. *обронной* — чеканной.

С. 66—67. *...стих о убогом Лазаре...* — Убогий Лазарь — персонаж евангельской притчи (От Луки, 16, 19—25) и фольклорных текстов, образ бедности, получающей награду в загробной жизни. Пользовался большой популярностью у нищих певцов, был частой темой так называемых духовных стихов. Ср. выражение «петь Лазаря».

С. 69. *потазать* — потузить, поколотить; или: побранить, пожурить.

С. 77. *наветкой* — здесь: предупреждением.

Глава XXVII. Ночлег гайдамаков

Вперьые: Денница на 1830 год. М., 1830, с. 67—88. Подзаголовок: «Из малороссийской повести: Гайдамак». Подпись: Порфирий Байский.

С. 79. Эпиграф — из песни «Зловещий сон казака» (Малороссийские песни, изд. М. Максимовичем, с. 42).

полстяный — сделанный из полсти, плотного полотнища, тканого, плетеного или, чаще, валеного (кошма, войлок).

С. 81. *морлаки* — славянская народность в южной и восточной частях Истрии.

С. 82. *бей* — в старой Турции — мелкий вассальный князь.

аян — должностное лицо турецкой гражданской администрации, местный управитель.

С. 85. *...Ко се не освети, он се не посвети...* — В «Деннице» допущена опечатка, исправленная в наст. изд. Начало пословицы там читается: «Ко не се освети».

ЮРОДИВЫЙ

Впервые: Северные цветы на 1827 год. Спб., 1827, с. 159—217. Подпись: Порфирий Байский.

С. 90. *...отделаться медным лбом.* — Здесь: попреком, обличением. Медный лоб — наглец, бесстыжий человек.

...старинную песнь о блудном сыне... — духовный стих, основанный на евангельской притче (От Луки, 15, 11—32) и распространенный в фольклорной традиции, особенно в юго-западной России.

С. 94. *котильон* — кадриль, перемежающаяся другими бальными танцами, которой обычно заканчивались балы.

С. 100. *шнеллер* — спуск у пистолета.

ВЫВЕСКА

Впервые: Невский альманах на 1829 год. Спб., 1828, с. 46—128. Подпись: О. Сомов.

Отдельные фабульные ситуации повести навеяны серией картин французского художника О. Верне (1789—1863). Сомов характеризовал их словами: «12. Солдаты, делающие примочку раненой собаке во время битвы. 13. Убитый трубач. Верный конь его стоит над ним в унылом положении, а собачка слизывает кровь с смертельной его раны. 14. Гренадер, сидящий на поле сражения среди груды снегов и трупов своих товарищей; он перевязывает раненую свою ногу» (О. М. Сомов. Новые произведения изящных искусств, выставленные в Лувре (1819 года). Письмо к А. Р. Шидловскому. Париж, декабря 16/28 1819 года.— Сын Отечества. 1820, № 51, с. 216—217).

С. 106. *Верн* де Люз, Франсуа (1765—1834) — швейцарский писатель, автор книг «Сентиментальный путешественник, или Моя прогулка в Иверден» (1781) и «Сентиментальный путешественник во Франции времен Робеспьера» (1799).

ток — высокий, прямой, без полей женский головной убор.

С. 107. *Дю-Дефан*, Мари де Виши-Шамон, маркиза (1697—1780) — хозяйка известного парижского салона, который посещали просветители-энциклопедисты. В 1752 г. ослепла. *Гиббон*, Эдвард (1737—1794) — английский историк-просветитель, автор «Истории упадка и падения Римской империи» (1776—1788). Его крайняя тучность служила мишенью для анекдотов. В «Мемуарах» мадам Жанлис рассказывается, будто мадам дю Дефан, ощупав пухлое лицо Гиббона, оскорбилась, так как решила, что в насмешку над слепой он повернулся к ней задом.

...штиблеты дикого казимира... — гетры на пуговицах из особого сорта полушерстяной ткани.

City (Сити) — деловой район Лондона.

С. 111—112. *...голубиные крылышки... а-ла Титюс...* — прически, модные одна — в XVII в., другая — в годы Великой Французской революции, с 1793 г.; изменение причесок отражает смену исторических эпох от старых времен через революцию к императорской Франции.

С. 113. *Феникс* — в греческой мифологии чудесная птица, имеет вид орла с оперением красно-золотых и огненных тонов.

С. 115. *...Буфлерами, Доратами, Леонарами...* — Буфлер, Станислав (1738—1815). Дора, Клод Жозеф (1734—1780), Леонар, Никола Жермен (1744—1793) — представители французской легкой поэзии.

С. 118. *наполеондор* — золотая монета достоинством в 20 франков.

С. 119. *Великий Могол* — династия Великих Моголов правила в Индии в XVI—XVIII вв.

С. 120. *крезами* — обладателями несметных богатств (по имени лидийского царя Креза (595—546 до н. э.), богатство которого вошло в поговорку).

«Худо, худо, о французы...» — неточная цитата из «древней гишпанской исторической песни» Н. М. Карамзина (1766—1826) «Граф Гваринос» (1789).

Ронсеваль — ущелье в Западных Пиренеях (Испания), где в 778 г.

в сражении с басками был уничтожен арьергард франкской армии Карла Великого. В бою погиб Роланд (Хруоланд), ставший позднее героем «Песни о Роланде».

С. 125. *в ольстрах* — olstro *(пол.)* — кобура на седле.

РУСАЛКА

Впервые: Подснежник на 1829 год. Спб., 1829, с. 59—84. Подпись: Порфирий Байский.

С. 136. ...*Киев был во власти поляков*...— с 1569 г. до воссоединения Украины с Россией (1654).

С. 143. ...*примечания к повести «Гайдамак»*,— см. наст. изд., с. 57.

ОБОРОТЕНЬ

Впервые: Подснежник на 1829 год. Спб., 1829, с. 189—225. Подпись: О. Сомов. Опущенный в тексте альманаха подзаголовок «Народная сказка» приведен в оглавлении.

С. 145. ...*Корсары, Пираты, Гяуры, Ренегаты и даже Вампиры*...— «Гяур» (1813) и «Корсар» (1814) — поэмы Д. Г. Байрона (1788—1824); «Пират» (1821) — роман В. Скотта (1771—1832); «Ренегат» (1822) — роман французского писателя-романтика Ш. В. д'Арленкура (1789—1856); повесть «Вампир» (1819) — замысел Байрона, реализованный его личным врачом и секретарем Д. В. Полидори (1795—1821).

В тексте альманаха дважды допущена опечатка, исправленная в наст. изд.: *Регенат*, вместо правильного *Ренегат*.

146. ...*в виде разговора кого-нибудь из моих приятелей с кем-нибудь из моих неприятелей*...— намек на широко применявшуюся в 1820-х гг. форму критической статьи, построенной в виде разговора двух или нескольких собеседников.

С. 148. *торговая казнь* — публичное наказание преступника кнутом (обычно на торговых площадях) в России до 1845 г.

С. 155. ...*челышко изо всех умных баб* — самая умная из умниц. *антидот* — противоядие.

Цитата неточная, у Ломоносова: «Могу вам, господа, сказать».

СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ УКРОМЕ-ТАБУНЩИКЕ

Впервые: Невский альманах на 1830 год. Спб., 1829, с. 408—413. Подпись: Сомов.

СКАЗКА О МЕДВЕДЕ КОСТОЛОМЕ И ОБ ИВАНЕ, КУПЕЦКОМ СЫНЕ

Впервые: Царское село на 1830 год. Спб., [1829], с. 148—156. Подпись: О. Сомов. Датировано 17 сентября 1829 г.— днем рождения жены А. А. Дельвига, которой посвящена сказка.

С. 159. *истрощит* — расщепит намелко.

С. 160. ...*к Макарьеву на ярманку*.— Знаменитые ярмарки у Макарьева монастыря на левом берегу Волги; происходили с середины XVI в. по 1816 г., затем были перенесены в Нижний Новгород.

С. 160. *...красной александрийской своей рубашки* — то есть сшитой из александрийской (красной бумажной, с прониткою другого цвета — белой, синей, желтой) ткани.

С. 161. *до пологу* — до упаду.

СКАЗКИ О КЛАДАХ

Впервые: Невский альманах на 1830 год. Спб., 1829, с. 1—154. Подпись: Порфирий Байский.

С. 163. *Нимврод* — в ветхозаветной мифологии богатырь-охотник.

король Дагоберт — герой озорной песенки («Chanson du roi Dagobert»), высмеивающей бесшабашного и беспутного короля, любителя собак и охоты. Песенка эта была особенно популярна после падения Наполеона в 1814 г.

С. 166. *универсалы* — указы или грамоты, издававшиеся для общего сведения.

уставчатая рукопись — писанная уставом — четкими, с ровным нажимом буквами, без сокращений слов.

сказка о Соловье-разбойнике — литературно-повествовательная обработка былины об Илье Муромце и Соловье-разбойнике; *сказка* (точнее — история) *о Семи мудрецах и о Юноше* — старинная переводная повесть, известная на Руси с XVII в. Имели широкое хождение в рукописных списках.

С. 167. *...никакому археологу не было столько труда от чтения и пояснения древних рукописей геркуланских...* — После первого известия о находке рукописей при раскопках Геркуланума (1754) неустанное их изучение принесло ощутимые результаты лишь почти сто лет спустя, уже после смерти Сомова.

С. 168. *семилетняя война* — война 1756—1763 гг. между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией, Швецией, с одной стороны, и Пруссией, Великобританией, Португалией — с другой.

С. 172. *крестовики* — петровские рубли (с крестом из четырех букв «П»).

С. 174. *первая Турецкая война* (1735—1739) велась Россией за выход к Черному морю и ради пресечения набегов крымских татар.

С. 179. *Иванов день* — Иван Купала, древний праздник летнего солнцестояния у восточных славян. Праздновался 24 июня ст. стиля.

С. 195. *Зух Раббин, Каин, Абель!* — набор слов, имитирующий формулу заклинания духов.

С. 216. *Сагайдачный* Петр (ум. 1622) — политический и военный деятель Украины, гетман реестрового казачества.

КИКИМОРА

Впервые: Северные цветы на 1830 год. Спб., 1829, с. 182—215. Подпись: О. Сомов.

С. 219. *кикимора* — в народных поверьях род домового. Днем она сидит невидимкою за печкой, а ночами прядет, проказит с веретеном и прялкой.

С. 220. *богатель* — домашний скарб, имущество.

С. 222. *...что-то похоже на мухамор...* — искаженное: метеор.

С. 223. *Звали его... Вот-он Иванович...* — искаженное: Оттон Иванович.

С. 223. *тавлинка* — берестяная табакерка.

С. 224. *беленькая* — двадцатипятирублевая ассигнация.

...велел согреть воды~долил ромом... — так готовили пунш.

С. 226. *иверни* — осколки, обломки.

СТРАННЫЙ ПОЕДИНОК

Впервые: Подснежник на 1830 год. Спб., 1830, с. 147—177. Подпись: О. Сомов.

Ранний вариант повести под названием «Странный поединок. Анекдот» был напечатан в журнале «Благонамеренный», 1826, ч. 34, № 7, с. 24—44. Подпись: Сомов.

С. 229. *редингот* — длинный сюртук широкого покроя.

С. 234. *...катоновский его ригоризм...* — Римский писатель и государственный деятель Катон Старший (234—149 до н. э.) был непримиримым поборником суровой патриархальной простоты нравов.

С. 236. *Бахус* — латинская форма имени Вакх, одно из имен Диониса — бога виноградарства и виноделия.

С. 237. *...вырвался из Шарантона...* — ходячее выражение по названию старинной лечебницы для душевнобольных близ Парижа.

СВАТОВСТВО

Впервые: Северные цветы на 1832 год. Спб., 1831, с. 150—240. Подпись: О. Сомов.

С. 241. Эпиграф — неточная цитата из поэмы И. П. Котляревского «Энеида» (III, 81).

...состою в чине 9-го класса и буду состоять по конец дней моих... — По закону от 6 августа 1809 г. титулярный советник (чин 9-го класса) впредь мог быть произведен в чин 8-го класса (коллежский асессор), дававший право на личное дворянство, лишь имея свидетельство об окончании одного из университетов или выдержав экзамен по установленной программе. Нововведение это, вызвавшее бурю негодования в среде необразованного чиновничества, с просветительских позиций приветствовал харьковский поэт А. Н. Нахимов (1782—1814). Его широко известную ироническую «Элегию» (1809) — сатиру на «приказное семя», потерявшее надежду на *«чин асессорский, толико вожделенный»,* — цитирует и перефразирует герой-повествователь, рекомендуя себя читателю.

С. 243. *гродетуровый* — из особого вида плотной шелковой ткани.

камчатный — из камчатной льняной ткани.

С. 245. *Dulce fumus patriae!* — Позднелатинская пословица, восходящая, по-видимому, к стиху Овидия (Письма с Понта, 1, 3, 34).

С. 246. *И любят хлопотать, где их совсем не просят* — Последний стих басни И. А. Крылова «Муха и дорожные» (1808).

С. 255. *презорство* — высокомерная самоуверенность.

Блажен человек, иже и скоты милует — см. примеч. к с. 23.

С. 258. *...Лаван выдал обеих дочерей своих за Иакова...* — По ветхозаветному преданию (Бытия, 28, 10—30), Иаков полюбил младшую дочь дяди своего Лавана красавицу Рахиль и отработал за нее 7 лет. Лаван же обманом дал ему в жены старшую из сестер — Лию, а получив вскоре и Рахиль, Иаков работал у Лавана еще 7 лет.

С. 262. *...о мудрейших: Давиде и Соломоне, и о сильнейшем из смертных — Сампсоне.* — По ветхозаветному преданию (II Царств, 11, 2—15),

царь Давид, покоренный красотой Вирсавии, отправил мужа ее на верную смерть, а Вирсавию взял в жены (II Царств, 11, 2—27); сын их легендарный царь Соломон любил многих чужестранных женщин, и на склоне лет они вовлекли его в ересь (III Царств, 11, 1—9); ветхозаветный герой Самсон (Сампсон) доверил возлюбленной Далиле тайну своей силы, она же предала его врагам — филистимлянам (Судей, 16, 4—21).

С. 263. *Овидий* — Публий Овидий Назон (43 до н. э. — ок. 18 н. э.), римский поэт, здесь — автор любовных элегий, посланий, поэмы «Наука любви». *Сумароков* Александр Петрович (1717—1777) — русский поэт, в его *эклогах* воспевается «пастушеская» любовь.

ПОЧТОВЫЙ ДОМ В ШАТО-ТЬЕРРИ

Впервые: Литературная газета, 1830, № 20, 6 апреля, с. 155—158; № 21, 11 апреля, с. 163—166; № 22, 16 апреля, с. 171—172. Подпись: О. Сомов.

С. 268. *Лафонтен*, Жан де (1621—1695) — французский поэт, автор знаменитых «Басен» (1668, 1678—1679, 1694).

...как в Иполитовой колеснице.— В греческом мифе испуганные кони понесли колесницу Ипполита, ось колесницы сломалась, Ипполит запутался в упряжи и погиб, растоптанный собственными конями. Детали описания Сомова восходят к трагедии Ж. Расина (1639—1699) «Федра» (1677; д. V, явл. 6).

С. 269. *Терамен* — у Расина наставник Ипполита и очевидец, рассказывающий о его гибели.

С. 270. *ливр* — денежная единица во Франции до введения в 1799 г. франка.

С. 271. *наполеондор* — см. примеч. к с. 118.

С. 272. *...разорвал сей гордиев узел* — то есть разом разрешил затруднения (по преданию, Александр Македонский, не умея развязать узел, завязанный фригийским царем Гордием, рассек его мечом).

...аббатами де л'Эпе и Сикаром...— Эпе, Шарль Мишель, аббат де л' (1712—1789) основал в Париже институт для глухонемых, где он преподавал язык знаков. Его преемником стал аббат *Сикар*, Рош Амбруаз Кукуррон (1742—1822).

С. 274. *конскрипция* — способ набора в армию, осуществлявшийся на основе общей воинской повинности, но допускавший заместительство и денежный выкуп.

С. 279. *Люценское дело.*— При Лютцене, близ Лейпцига, 2 мая 1813 г. армия Наполеона нанесла поражение объединенным русско-прусским войскам ген. П. Х. Витгенштейна.

...где за 180 лет Густав Адольф кровью своею запечатлел ревность свою к новому учению веры...— 16 ноября 1632 г. во время Тридцатилетней войны (1618—1648) имперские католические войска А. Валленштейна были разбиты близ Лютцена шведскими протестантскими войсками Густава II Адольфа (1594—1632), который погиб в сражении.

АЛКИД В КОЛЫБЕЛИ

Впервые: Альциона на 1832 год. Спб., 1832, с. 157—159. Подпись: О. Сомов.

С. 285. *Алкид* (Геракл) — в греческой мифологии герой, сын Зевса и смертной женщины *Алкмены*, жены Амфитриона. Еще до рождения его преследует ревнивая Гера (в римской мифологии — *Юнона*), супруга Зевса. Что-

бы умертвить младенца, Гера послала к нему двух чудовищных *змеев*, но Алкид задушил их. Впоследствии, на службе у царя Эврисфея, герой совершил 12 подвигов, среди них добыча шкуры *Немейского Льва*, убийство девятиглавой *гидры Лернейской*, путешествие в царство мертвых за стражем преисподней *Цербером* — трехглавым чудовищем с туловищем, усеянным головами змей. Добывая для Эврисфея чудесных коров Гериона, Алкид одержал победу над великаном-разбойником *Какусом* и убил его.

РОМАН В ДВУХ ПИСЬМАХ

Впервые: Альциона на 1832 год. Спб., 1832, с. 191—254. Подпись: О. Сомов.

С. 288. *...буколическим поэтом...*— поэтом, воспевающим «пастушескую», сельскую жизнь на лоне природы.

пенаты — в римской мифологии фамильные божества — хранители домашнего очага; здесь: родительский дом.

Иерусалим — столица древней Палестины, город, где находится «гроб господень»; на *Афонской горе* (в восточной Греции) расположены прославленные православные монастыри. Известные места паломничества.

С. 289. *...совершаю... байроновский подвиг и... переплываю этот стосаженный Геллеспонт.*— Геллеспонт — древнегреческое название Дарданельского пролива. Байрон переплыл его 3 мая 1810 г.

Геро — в греческой мифологии жрица Афродиты в г. Сест, на берегу Геллеспонта. В Абидосе, на другом берегу пролива, жил влюбленный в нее Леандр, который каждую ночь переплывал Геллеспонт для встречи с возлюбленной. Ожидая его, Геро зажигала маяк. Однажды в бурю маяк погас, и Леандр утонул.

...подобно Байрону... похвалиться в пленительных стихах...— подразумевается стихотворение Байрона, которое имеет заголовок «Написано после того, как я проплыл из Сестоса в Абидос» и датировано 9 мая 1810 г.

Петров день — праздник апостолов Петра и Павла, у православных 29 июня ст. стиля.

Мельмот — герой популярного в то время романа Ч. Г. Метьюрина (1780—1824) «Мельмот Скиталец» (1820). Здесь: кличка собаки.

С. 290. *...le pate d'anguilles доброго Лафонтеня...*— имеется в виду стихотворная сказка Ж. Лафонтена (см. примеч. к с. 268) «Паштет из угрей» из IV части его «Сказок и рассказов в стихах» (1675).

Запрыгали глаза и зубы разгорелись — первая редакция стиха из басни И. А. Крылова «Лисица и виноград» (1808). С 1834 г. печатается: «У кумушки глаза и зубы разгорелись».

С. 291. *...подобно Тришке* — персонажу басни Крылова «Тришкин кафтан» (1815).

Владимир в петличке — орден св. Владимира, учрежденный в 1782 г. Низшую степень этого ордена носили на ленте, три остальные — в петлице.

С. 292. *кухенрейтерское ружье* — по имени известного немецкого мастера огнестрельного оружия (конец XVIII в.).

...подобию египетских термов...— В римской мифологии Термин (фр.: Terme) — бог-покровитель границ, межевых знаков; изображался в виде каменного блока; позднее — бюст, иногда полуфигура, внизу переходящая в столпообразное основание. Термы устанавливались вдоль дорог в Риме и в завоеванных им провинциях, в том числе в Египте. Вероятно, Сомов узнал о них из какого-то описания Египта в связи с походами Наполеона.

С. 293. *Лазарь Лазаринов* — старинный оружейник.

С. 293. *раковины* — здесь: пустоты, выбоины в выделанном металле.

С. 294. *тройник* — здесь: трижды перегнанная водка.

...цвета Robin-des-bois (Лесной Робин)...— то есть зеленого; цвета курток, которые носят Робин Гуд и его лесные приверженцы, вольные стрелки, в романе В. Скотта «Айвенго» (1819).

С. 295. *...Нимвродов нашего века* — охотников, см. примеч. к с. 163.

С. 296. *«Письмовник»* (1769; наиболее полное — 4 изд., 1790) Николая Гавриловича Курганова (1725(?)—1796) — своеобразная энциклопедия, соединяющая в себе учебник и книгу для «полезно-забавного» чтения. Имел особый успех у демократического читателя.

Амфитрион — в греческой мифологии царь, муж Алкмены. Зевс, приняв облик Амфитриона, явился к Алкмене, и она родила Геракла. В комедии Ж.-Б. Мольера «Амфитрион» (1668) — хлебосольный хозяин.

...пастушки — не из аркадских...— Аркадия — в идиллической поэзии — страна патриархальных нравов, населенная счастливыми «пастухами» и «пастушками».

С. 297. *...монастырка из Смольного...*— воспитанница института благородных девиц при Смольном монастыре в Петербурге.

...Как мимолетное виденье...— цитата из стихотворения А. С. Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье...») (1825).

С. 298. *омнибус* — многоместная конная карета, совершавшая регулярные рейсы, род общественного транспорта. В Петербурге введен с лета 1830 г.

станцы — здесь: строфы.

петиметр — в русской литературе XVIII в.— тип молодого дворянина, копирующего облик и манеру поведения французских щеголей.

С. 300. *...времен короля Дагобера...*— то есть в незапамятные времена; соответствует русскому: во времена царя Гороха. Дагобер I (ок. 600—638) — король франков, другие два короля этого имени (VII — начало VIII в.) — незначительны. См. также примеч. к с. 163.

ангежировать (правильно: ангажировать) — пригласить на танец.

французик из Бордо — слова Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»» (д. III, явл. 22), ставшие нарицательными.

С. 301. *щепетко* — с мелочной обдуманностью.

рукава *à l'imbècile* (по-дурацки) — фасон узких рукавов с буфами у плеча.

каньзу (фр.: canezou) — корсаж без рукавов.

Их разговор благоразумный — цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. II, строфа XI).

С. 302. *планшевый* — телесного цвета.

С. 304. *Хмельницкий Богдан* — см. примеч. к с. 24.

С. 305. *...ждал Покрова...*— праздник Пресвятой богородицы (1 (14) октября), на Руси традиционное время свадеб.

С. 307. *Некар* (Неккар) — река в княжестве Вюртемберг, приток Рейна; *Штутгарт* — столица Вюртемберга; *Гейслингенская долина* находится близ Штутгарта.

С. 309. *Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский оратор и политический деятель.

...приятно или полезно.— При первой публикации повесть была сопровождена издательским примечанием барона Е. Ф. Розена: «Надеемся, что читатели, вопреки мнению г-на Сомова, найдут сии письма и полезными и занимательными. Верно, всякий любитель русского слова желает, чтобы два таких хозяина языка, как Издатель «Повестей Белкина» и Орест Михайлович Сомов, продолжали учить нас легкому, разговорному слогу, которого не имеем» (Альциона на 1832 год, с. 254).

В ПОЛЕ СЪЕЗЖАЮТСЯ, РОДОМ НЕ СЧИТАЮТСЯ

Впервые: Русский альманах на 1832 и 1833 годы. Спб., 1832, с. 226—229. Подпись: Сомов.

С. 311. *шатры мурзовецкие* — татарские, восточные.

СКАЗКА О НИКИТЕ ВДОВИНИЧЕ

Впервые: Русский альманах на 1832 и 1833 годы. Спб., 1832, с. 329—356. Подпись: О. Сомов.

С. 314. *царево кружало* — питейный дом, кабак, где народ «кружит».

в запол — под полу.

С. 315. *шкнуть* — подать голос.

С. 316. *почтись* — приложи усердие, постарайся.

...не применно будучи... — от применять — сравнивать.

С. 317. *совок* — здесь: толчок.

С. 318. *загуло* — загудело.

С. 321. *в сугорбок* — здесь: в спину.

присенок — чулан в сенях.

калита — сумка, киса, подвесной карман.

С. 322. *полстяный* — валяный, войлочный.

С. 323. *кармазинный* — здесь: алый.

в пологу — на кровати под пологом.

МАТУШКА И СЫНОК

Впервые: Альциона на 1833 год. Спб., 1833, с. 128—186. Подпись: О. Сомов.

С. 327. Эпиграф — вольная цитата из комедии Н. И. Хмельницкого (1789—1845) «Школа женщин» (1821) — перевода «Школы жен» Ж.-Б. Мольера (д. IV, явл. I).

С. 328. *...мон-киор, ма-шер и се сюперб...* — mon coeur, ma chere, c'est superbe (фр.) — душенька, моя дорогая, это великолепно.

«Войди [точнее Приди] *в чертог...»* — ария русалки Лесты из оперы Н. С. Краснопольского «Русалка» (1803; д. 1, явл. 4) — переделки оперы венского драматурга К. Ф. Генслера «Дунайская фея» («Das Donauweibchen»).

«Желанья наши совершились» — песня, входившая в популярные песенники начала XIX в. См., например: Всеобщий новоизбранный песенник, всех лучших российских авторов содержащий в себе песни, арии и хоры... Ч. I. М., 1805, с. 27—29.

И книжного ума брадатый продавец — стих из сатиры М. В. Милонова (1792—1821) «К Луказию» (1810).

Повесть о двух турках — «Повесть забавная о двух турках в бытность их во Франции», переведенная с французского В. И. Лукиным (1764) и переиздававшаяся до 1794 г.

*...похождения маркиза Г***, Совездрала, Ваньки Каина...* — не раз переиздававшиеся сочинения, которые не принимались всерьез просвещенной частью читающей публики, но имели устойчивый успех у народного и провинциального читателя; в XIX в. были анахронизмом: многотомный роман А. Ф. Прево «Приключения маркиза Г... или Жизнь благородного человека, оставившего свет» (Пер. с фр. И. П. Елагина и В. И. Лукина. Спб., 1756—1765); «Похождении нового увеселительного шута и великого в делах любовных плута Совест-Драла. Большого Носа. Переведена с поль-

ского и дополнена с других языков» [А. И. Апухтиным (?)] (не ранее 1775); сочинение Матвея Комарова «Обстоятельное и верное описание добрых и злых дел российского мошенника, вора и разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина, всей его жизни и странных похождений» (Спб., 1779).

С. 328. *«Полночный колокол,* или Таинства Когенбургского замка» (М., 1802) и *«Пещера смерти* в дремучем лесу» (М., 1806) — переводные «романы ужасов», выдававшиеся за сочинения классика этого жанра английской писательницы Анны Радклиф (1764—1823).

Коцебу, Август (1761—1819) — плодовитый немецкий писатель, автор сентиментально-мелодраматических романов и пьес.

«Твердость духа русских» (кн. I—III. Пгр., 1813—1814). Соч. Г. Геракова.

«Храм славы российских ироев от времен Гостомысла до царствования Романовых» П. Ю. Львова (1803).

«Путешествие в Малороссию» (1803) — сентиментально-подражательное сочинение П. И. Шаликова (1767—1852), служившее мишенью для насмешек и многочисленных пародий.

...«Гамлета», пересозданного г-м Висковатовым — свой вольный перевод (1811), выполненный не с шекспировского оригинала, а с французской обработки Ж. Ф. Дюсиса, С. И. Висковатов дополнил двумя актами собственного сочинения и назвал «подражанием».

С. 329. *«Бова-Королевич» и «Еруслан Лазаревич»* — сказочно-рыцарские повести, широко известные в устной сказочной традиции, с конца XVIII в. распространявшиеся в лубочных изданиях и сказочных сборниках.

...подобно Богатонову... — герою комедии М. Н. Загоскина (1789—1852) «Богатонов, или Провинциал в столице» (1817), который, накупив книг, «подобрал их, крупные к крупным, а мелкие к мелким» (д. IV, явл. 4).

Однако я клянусь моим Пермесским богом — цитата из стихотворной сказки И. И. Дмитриева (1760—1837) «Причудница» (1794).

...Du droit... — цитата из трагедии Вольтера (1694—1778) «Магомет» (1741; акт. II, сц. 5).

С. 330. В *«Оде в громко-нежно-нелепо-новом вкусе»* (1802) П. П. Сумароков (1763—1814) пародировал высокопарно-торжественный одический слог.

С. 331. *«Влюбленный Роланд»* (1495) — рыцарская поэма итальянского поэта Маттео Боярдо (1441—1494), переведенная в 1777—1778 гг. прозой Я. И. Булгаковым с прозаического же французского перевода А. Я. Лесажа.

меч Смертодав — в русском переводе «Влюбленного Роланда» меч Ренальда (Ринальдо).

«История о разорении Трои, столичного града Фригийского царства, из разных древних писателей собранная» — выдержавшая с 1709 г. ряд изданий русская обработка средневекового латинского романа (1272—1287) Гвидо де Колумна, проникшего на Русь в XV — начале XVI в.

С. 332. *Ипогриф* — крылатый конь во «Влюбленном Роланде» Боярдо.

Аграмант, Сакрипант — у Боярдо первый — «император всей Африки», второй — «царь Черкассии».

С. 333. *Инфима и Синтаксима* — два низших класса духовного училища (бурсы). *Богословие* — высший его класс.

С. 334. *...прозвали медным лбом* — см. примеч. к с. 90.

Сократ (470/469—399 до н. э.) — древнегреческий философ, цитируемые слова — одно из любимых и наиболее популярных его изречений.

С. 334. *Юдифь* — в Ветхом завете — героиня неканонической «Книги Юдифи»; когда ассирийский полководец Олоферн осадил иудейский город Ветилуй, Юдифь, прельстив своей красотой Олоферна, отрубила ему голову и тем спасла родной город.

Вирсавия — см. примеч. к с. 262.

Сусанна — в апокрифических добавлениях к ветхозаветной «Книге пророка Даниила» (гл. XIII) прекрасная и благочестивая жена Иоакима. Она была ложно обвинена домогавшимися ее любви старейшинами в прелюбодеянии, но мудрый Даниил уличил старейшин в лжесвидетельстве.

...дщерей Лотовых... — по ветхозаветному преданию, когда Содом и Гоморра были за неправедность жителей обречены на уничтожение, спаслись лишь Лот и его целомудренные дочери (Бытия, 19, 8—30).

Эсфирь — в Ветхом завете — жена царя Артаксеркса, мудростью спасшая свой народ от истребления (Эсфирь, 2—7).

царица Савская — легендарная царица Сабы в южной Аравии; в Ветхом завете (III Царств, 10, 1—13) она испытывает мудрость царя Соломона, в Новом завете (От Матфея, 12, 41) упоминается как носительница его мудрости.

...пиитику Аполлоса... — имеются в виду «Правила пиитические в пользу юношества» (1774) А. Д. Байбакова (в монашестве: Аполлос; 1745—1801). До 1826 г. книга выдержала десять изданий.

Баумейстер, Фридрих Христиан (1708—1785) — немецкий философ и логик, последователь Г. Лейбница и Хр. Вольфа. Переведенная А. Павловым «Логика Баумейстера» (М., 1760) — первый переводной учебник по логике в России, была переиздана в 1787 г.

С. 335. *Вольтер* (1694—1778) — французский писатель и философ-просветитель; *Дидро*, Дени (1713—1784) — французский писатель, философ-материалист, художественный критик, редактор-издатель «Энциклопедии»; *д'Аламбер*, Жан Лерон (1717—1783) — французский математик и философ; *Мопертюи*, Пьер Луи Моро, де (1698—1759) — французский математик, физик и философ; *Шамфор*, Никола Себастьен Рок (1741—1794) — французский писатель-моралист, автор известных афоризмов; *Лагарп*, Жан Франсуа, де (1739—1803) — французский драматург и теоретик литературы.

...для больших оказий — слова Скалозуба из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. III, явл. 21).

плат-лейч — нижненемецкий диалект.

С. 336. *серинетка* (фр.: la serinette) — ручной органчик для обучения птиц пению, в переносном смысле — человек, поющий с чужого голоса.

...да-с и нет-с... — слова из романа Пушкина «Евгений Онегин» (гл. II, строфа V). В описываемое время употребление словоерса (сократившееся слово «сударь») — архаическая черта провинциального помещичьего этикета, знак вежливости или подобострастия.

С. 337. *плёрёзы* — траурные нашивки на платье.

С. 338. *Откройся мне, о милый сын натуры!* — неточная цитата из эпиграммы А. С. Пушкина и Е. А. Баратынского на кн. П. И. Шаликова (1827). Второй из приведенных стихов в оригинале читается: «Ах! что слезой твой осребрило взор?»

...заунывные наши Стерно-Вертеры... — иронический выпад по адресу эпигонов сентиментализма, родовое имя которых образовано от имен одного из зачинателей английского сентиментализма Лоренса Стерна (1713—1768) и Вертера — героя романа И.-В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

ментор — наставник, воспитатель, по имени персонажа «Одиссеи» Гомера, воспитателя сына Одиссея Телемака.

С. 339. *Тредьяковский* Василий Кириллович (1703—1768) — русский поэт и ученый-филолог, многие из его стихов отличаются неуклюжим педантизмом.

фараониты — цыгане.

С. 340. *Телемак* — см. примеч. к с. 338.

С. 341. *непоказный* — здесь: неказистый.

Калипсо — могущественная нимфа, которая волшебными чарами семь лет удерживала на своем острове стремящегося на родину Одиссея.

С. 344. *«Видения в Пиренейском замке»* — многотомный французский роман, подписанный буквами М. G. R. и приписанный в русском переводе (М.. 1809) А. Радклиф.

С. 345. *Радклиф*, Анна (см. примеч. к с. 328) и *Дюкре-Дюмениль*, Франсуа Гильом (1761—1819) — популярные у широкого читателя романисты, широко переводившиеся в России начала XIX в.

С. 346. *...побрел, как теленок...* — неточная цитата из «сказки» В. А. Жуковского (1783—1852) «Красный карбункул (Из Гебеля)» (1816).

С. 348. *драница* — дранка.

смурый — темно-серый, темно-бурый.

...пора Овидиевых превращений... — В греко-римских мифологических преданиях рассказывается о чудесных «превращениях», творимых богами. Овидий объединил такие мифы в поэме «Метаморфозы» («Превращения»).

...разлился рекою, как Ахелой. — В греческой мифологии Ахелой — речное божество. Он мог принимать любой образ и, побежденный Гераклом, скрылся в реке, которая стала называться его именем.

С. 349. *Амадис* Галльский — герой рыцарского романа «Смелый и доблестный рыцарь Амадис, сын Периона Галльского и королевы Элисены» (старейшее печатное издание — 1508 г.); *Эспландиан* — герой романа «Подвиги весьма добродетельного рыцаря Эспландиана, сына Амадиса Галльского» (1510); *Галаор* — брат Амадиса Галльского.

СОДЕРЖАНИЕ

Сомов О. М.

С61 Были и небылицы/Сост., вступ. ст. и примеч. Н. Н. Петруниной — М.: Сов. Россия, 1984.— 368 с.; ил.

Отдельные произведения О. Сомова, известного писателя, критика, журналиста первой трети XIX века, уже знакомы современному читателю по предыдущим публикациям. В этой книге впервые в советское время собраны наиболее характерные прозаические произведения Сомова, его художественное наследие представлено основными направлениями и жанрово-тематическими циклами, показательными для творческих поисков писателя. Стоявший на грани двух периодов развития русской литературы, Сомов принадлежал к плеяде литераторов, своими теоретическими работами и художественной практикой, в меру собственных сил, подготовлявших взлет и утверждение отечественной прозы на новом этапе.

С $\frac{4702010100—377}{М-105(03)84}$ 88—84 Р1

Орест Михайлович Сомов

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ

Редактор **Т. М. Мугуев**
Художественный редактор **Г. В. Шотина**
Технические редакторы **Н. П. Карасик**
и Т. С. Маринина
Корректор **М. Е. Козлова**

ИБ № 4008

Сдано в набор 29.04.84. Подписано в печать 18.12.84. А14562. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага типогр. № 2. Гарнитура академическая. Печать высокая. Усл. п. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,74. Уч.-изд. л. 21,65. Тираж 400 000 экз. (2-й завод 200 001—400 000 экз.). Зак. 144. Цена 1 р. 80 к. Изд. инд. ЛХ—389.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



1 р. 80 к.



·Советская Россия·